

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ
МИР

1990

5

1990



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1925 г.

№ 5

Май, 1990 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
НА ПОДВИГИ ОБРЕЧЕНЫ — Борис Тедерс, Николай Зусик, Михаил Тимошечкин, стихи. Предисловие Николая Старшинова	3
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — В круге первом, роман. Окончание	6
ЛЕВ СМИРНОВ — Вода из колодца, стихи	109
ИВАН ЕВСЕЕНКО — Петушьи Дворики, повесть	111
ОЛЬГА СЕДАКОВА — Потому что все мы были, стихи	161

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

БОРИС ПАСТЕРНАК: НЕИЗВЕСТНАЯ ПРОЗА. Публикация, вступление, послесловие и примечания М. А. Рашковской	165
ЕЛИЗАВЕТА КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА — Убери меня с Твоей земли, стихи. Вступительное слово и подготовка текстов М. Ю. Рощина	178

ПУБЛИЦИСТИКА

ВИКТОР ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН — Новые опасности экономического романтизма	184
---	-----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

М. С. ВОЛОШИНА — Записи военных лет. Публикация, примечания и послесловие Вл. Купченко	200
--	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

«САМЫЙ НЕПРОЧИТАННЫЙ ПОЭТ». Заметки Анны Ахматовой о Николае Гумилеве. Публикация, составление и примечания В. А. Черных	219
--	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- АНДРЕЙ БИТОВ — Одноклассники. К 90-летию О. В. Волкова и В. В. Набокова 224
С. ДЖИМБИНОВ — Эпитафия спецхрану?.. 243

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

- Литература и искусство* 253
И. Винокурова. Жестокая, милая жизнь.
Андрей Василевский. Опыт занимательной футуро(эсхато)логии. II.
Полигика и наука 262
А. Руткевич. Имперский век.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

- М. ПЕТРОВ — В дополнение к «делу Н. С. Гумилева» 264

КОРОТКО О КНИГАХ:

- Д. Фельдман.— Борис Костюковский, Семен Табачников. Время не властно. Повесть о Дмитрие Курском. ✦
С. Субботин.— Воспоминания о Павле Васильеве. ✦
Татьяна Бек.— Александр Зорин. Вверх по водопаду. Книга стихотворений. Александр Зорин. Гнездо. Стихи. ✦
Илья Фояков.— Наталья Астафьева. Заветы. Книга стихов. ✦
Юрий В. Давыдов.— Радий Фиш. Спящие пробудятся. Исторический роман. ✦
Л. Загальский.— В. И. Вернадский. Начало и вечность жизни 267

- КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 272

К СВЕДЕНИЮ ИЗДАТЕЛЬСТВ И РЕДАКЦИЙ

Обращаемся с просьбой ко всем советским и зарубежным издательствам, а также к редакциям газет и журналов всякий раз ставить нас в известность о намерениях перепечатать произведения, помещенные на страницах нашего журнала.

Редакционная коллегия

НА ПОДВИГИ ОБРЕЧЕНЫ



Отбирая для двенадцатитомной антологии о Великой Отечественной войне «Венок славы», которая выходила к сорокалетию Победы, все лучшее, что было написано, я глумал о том, чтобы этот раздел не оказался сплошным повторением ранее выпущенных военных поэтических антологий. Мне хотелось обновить, освежить это издание стихами и песнями малоизвестных или даже безвестных авторов. Я стал вспоминать песни, которые мы пели в строю в годы войны. Многие из них в поэтическом отношении не представляли никакого интереса. Но самыми ходовыми и даже любимыми, кроме нескольких песен, написанных профессиональными композиторами и поэтами (скажем, «Священной войны» или «В прифронтовом лесу»), были у нас переделки песен времен гражданской войны или даже первой мировой. Так, очень часто мы пели в походах:

По Уральским горам и долинам
Партизанский отряд проходил.
Они шли, за свободу дрались,
Им на помощь рабочие шли.

Здесь явные признаки гражданской войны. И вдруг:

Захотелось фашистам напиться
Пролетарской горячей крови.
А, наверно, придется напиться
Прибалтийской холодной воды.

В песне все смещено, перепутано. Но мы ее пели, даже не вникая в смысл,— она очень подходила для солдатского шага. Только позже, в гражданке, я понял несуразность ее слов.

Неувядающей любовью пользовалась у нас, пулеметчиков, песня, которую надо отнести, вероятно, еще к первой мировой войне:

Я пулеметчиком родился,
В команде «максима» возрос.
Свинцом, картечью я крестился
И смертный бой я перенес.

Помню, как в середине лета 1943 года, находясь во втором эшелоне под Юхновом, мы по приказу командира части прорубили в лесу просеку, утрамбовали землю и даже построили трибуну. Как выяснилось потом, командующий нашей 21-й армией генерал Николай Иванович Крылов решил устроить смотр. Когда мы проходили мимо трибуны, на которой находился он, мы громоподобно пропели не только эту песню, но и припев, присочиненный к ней явно позже, припев, могущий служить пособием для изучения пулемета:

Эх, короб, кожух, рама,
Шатун с мотылем,
Возвратная пружина,
Приемник с ползунком.

Крылов заулыбался, помахал нам рукой и крикнул:

— Молодцы, товарищи пулеметчики! Все части пулемета назвали, даже приемник с ползунком!..

Как я узнал позже, на наш участок фронта должен был приехать Сталин, и генерал Крылов, возможно, предполагал, что он захочет взглянуть на своих воинов. Вот и устроил что-то вроде репетиции...

Примерно в середине войны появилась песня, которая была своеобразной пародией на песню «А первая пуля...» из кинофильма «Александр Пархоменко». И пели ее на тот же мотив, и припев у нее был тот же: «Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить...» Написана она была, вероятно, после приказа Верховного главнокомандующего, который предусматривал жесткое наказание за потерю оружия. Нам этот приказ зачитывали неоднократно. И предупреждали о том, что даже раненого, пришедшего в санбат без оружия, ждет суровое наказание. Я сам, тяжело раненный в обе ноги и в правую руку, всю ночь полз к своим (наша часть была отброшена на километр), бросив все, кроме винтовки. Я волочил ее за собой всю ночь, хотя, конечно, не смог бы оказать никакого сопротивления, повстречайся мне противник. Но я был уверен, что без винтовки меня не возьмут в санбат. Вот в то время и появилась эта песня:

Первая болванка,
Первая болванка,
Первая болванка
Попала в бензобак.
Я выскочил из танка,
Я выскочил из танка,
Я выскочил из танка,
Сам не знаю как.

Меня вызывают,
Меня вызывают,
Меня вызывают
В особый отдел:
«Почему ты с танком,
Почему ты с танком,
Что же ты, подлюка,
Вместе с танком не сгорел?»

А я им отвечаю,
Я им отвечаю,
Я им отвечаю,
Я им говорю:
«В следующей атаке,
В следующей атаке,
В следующей атаке
Обязательно сгорю!..»

После каждой строфы шел припев: «Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить...»

Кроме самодеятельных песен, я обратился и к стихам участников войны — не профессионалов. И нашел немало стихотворений, написанных ярко, правдиво, на высоком поэтическом уровне, достойных быть включенными в любую военную антологию. Среди них особенно выделялись подлинной правдой, самостоятельностью стихи учителя истории из города Россось Михаила Тимошечкина, радиоинженера из Ростова-на-Дону Николая Зусика, художника Бориса Тедерса из Москвы¹.

НИКОЛАЙ СТАРШИНОВ.

БОРИС ТЕДЕРС

* * *

Ботинцы мои
Да с обмотками,
Молодые пехотинцы —
Первогодки мы.

С двухметровыми
Да голенищами,

На фронт — здоровыми
Мы едем тыщами.

А с одной ногой
Да на двух солдат,
Уж когда домой
Едем мы назад...

¹ Из собранного Николаем Старшиновым мы предлагаем вниманию наших читателей несколько стихотворений.

Где твоя — своя,
Где — еловая?
Эх обмотка моя
Двухметровая!

Эх ты доля моя
Незавидная —
Песнь вагонная,
Инвалидная.

НИКОЛАЙ ЗУСИК

* * *

Не пыли, полынь густая,
Горькой горечью не вей.
У меня судьба не злая
Даже в тягости своей;

Даже потом залитая,
Тем, что лился на войне;
Даже — кровью... Нет, иная
И не снилась просто мне.

Невеселая? Похоже...
Неудачливая? Что ж...

До седин с такою дожил,
Значит, я-то был ей гожд.

Не петляй, дорога, круто,
Над тесниной не теснись —
В жизни лишняя минута —
Это тоже, знаешь, жизнь...

На земле, донельзя близкой
И встревоженной, как мать,
Ради жизни, а не риска
Лишь и стоит рисковать.

МИХАИЛ ТИМОШЕЧКИН

Судьба

Кому-то выдала судьба
За что-то все земные блага.
А нам досталась лишь борьба
И до безумия отвага.

Еще бушует артналет,
Снаряды нудно долбят землю,
А нам уже кричат: «Вперед!»
И мы встаем, командам внемля.

А мы, невольники войны,
В свои семнадцать-восемнадцать,

Как старики, умудрены,
И не с кем нам судьбой меняться.

Стеной встает разрывов лес.
А мы, голодные подранки,
С винтовками наперевес
Бежим на вражеские танки.

А мы, России пацаны,
На подвиги обречены.

* * *

Шинельная скатка —
Суконный хомут.
Стою, как лошадка,
Взлюбившая труд.

Затянут подпрутой,
Двуногий ходок,
Впрягаюсь с потугой
В заспинный мешок.

Основа порядка —
Походный уют.
И тяжело, и сладко,
И ноги гудут.

Без дневки-ночевки
Какой уже день...
Запрягся — винтовку
Беру на ремень.

И — можно в дорожку,
В немеркнувший путь.
Осталось лишь ложку
В обмотку заткнуть.

Займу свое место
В шеренге, в ряду,
Подскоком с присеста
Шагну и пойду.

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

*

В КРУТЕ ПЕРВОМ

Роман

79

В кабинете инженер-полковника Яконова был майор Шикин. Они сидели и беседовали как равный с равным, вполне приязненно, хотя каждый из них презирал и терпеть не мог другого.

Яконов любил говаривать на собраниях: «мы, чекисты». Но для Шикина он всё равно оставался тем прежним — врагом народа, ездившим за границу, отбывавшим срок, прощённым, даже принятым в лонно госбезопасности, но не невиновным! Неизбежно, неизбежно должен был наступить тот день, когда Органы разоблачат Яконова и снова арестуют. С наслаждением Шикин сам бы тогда сорвал с него погоны! Старательного большеголового коротышку-майора задевала роскошная снисходительность инженер-полковника, та барская самоуверенность, с которой он нёс бремя власти. Шикин всегда поэтому старался подчеркнуть значение своё и недооцениваемой инженер-полковником оперативной работы.

Сейчас он предлагал на следующем развёрнутом совещании о бдительности поставить доклад Яконова о состоянии бдительности в институте, с жестокой критикой всех недостатков. Такое совещание хорошо было бы связать с этапированием недобросовестных ээ-ка и с введением новой формы секретных журналов.

Инженер-полковник Яконов, после вчерашнего приступа замученный, с синими подглазными мешками, но всё же сохраняя приятную округлость черт лица и кивая словам майора, — там, в глубине, за стенами и рвами, куда не проникал ничей взгляд, может быть только взгляд жены, думал, какая гадкая сероволосая поседевшая над анализом доносов вошь этот майор Шикин, как идиотски ничтожны его занятия, какой кретинизм все его предложения.

Яконову дали единственный месяц. Через месяц могла лечь на плаху его голова. Надо было вырваться из брони командования, из оскоружлости высокого положения — самому сесть за схемы, подумать в тишине.

Но полуторное кожаное кресло, в котором сидел инженер-полковник, в самом себе уже несло своё отрицание: за всё ответственный, полковник ни к чему не мог прикоснуться сам, а только поднимать телефонную трубку да подписывать бумаги.

Ещё эта мелкая бабья война с группой Ройтмана забирала душевные силы. Войну эту он вёл по нужде. Он не был в состоянии вытеснить их из института, а только хотел принудить к безусловному подчинению. Они же хотели — изгнать его, и способны были — погубить его.

Шикин говорил. Яконов смотрел чуть мимо Шикина. Физически он не закрывал глаз, но духовно закрыл их — и покинул своё рыхлое тело в кителе и перенёсся к себе домой.

Дом мой! Мой дом — моя крепость! Как мудры англичане, первые понявшие эту истину. На твоей маленькой территории существуют только твои законы. Четыре стены и крыша прочно отделяют тебя от любимой отчизны. Внимательные, с тихим сиянием глаза же-

ны встречают тебя на пороге твоего дома. Весело щебечущие девочки (увы, уже и их заглатывает школа, как казённая задуривающая служба) потешают и освежают тебя, уставшего от травы, от дёрганий. Жена уже научила обеих тараторить по-английски. Подсев к пианино, она сыграет приятный вальсик Вальдтейфеля. Коротки часы обеда и потом самого позднего вечера, уже на пороге ночи — но нет в твоём доме ни сановных надутых дураков, ни прицепчивых злых юношей.

То, что составляло работу инженер-полковника, включало в себя столько мук, унижительных положений, насилий над волей, административной толкотни, да и настолько уже немолодым чувствовал себя Яконов, что он охотно бы пожертвовал этой работой, если бы мог, — а оставался бы только в своём маленьком уютном мире, в своём доме.

Нет, это не значит, что внешний мир его не интересовал — интересовал и очень живо. Даже трудно было найти в мировой истории время, завлекательнее нашего. Мировая политика была для него род шахмат — усотерённых Шахмат. Только Яконов не претендовал играть в них или, того хуже, быть в них пешкой, головкой пешки, подстилкой под пешку. Яконов претендовал наблюдать игру со стороны, смаковать её — в покойной пижаме, в старинной качалке, среди многих книжных полок.

Все условия для таких занятий у Яконова были. Он владел двумя языками, и иностранное радио наперебой предлагало ему информацию. Иностранные журналы первым в Союзе получало МГБ и по своим институтам рассылало без цензуры технические и военные. А они все любили тиснуть статейку о политике, о будущей глобальной войне, о будущем политическом устройстве планеты. Вращаясь среди видных гебистов, Яконов нет-нет да и слышал подробности, не доступные печати. Не брезговал он и переводными книгами о дипломатии, о разведке. И ещё у него была собственная голова с отточенными мыслями. Его игра в Шахматы в том и состояла, что он из качалки следил за партией Восток — Запад и по делаемым ходам пытался угадать будущие.

За кого же был он? Душою — за Запад. Но он верно знал победителя и не ставил ни фишки против него: победителем будет Советский Союз. Яконов понял это ещё после поездки в Европу в 1927 году. Запад был обречён именно потому, что хорошо жил — и не имел воли рисковать жизнью, чтоб эту жизнь отстоять. И виднейшие мыслители и деятели Запада, оправдывая перед собой эту нерешительность, эту жажду оттяжки боя — обманывали себя верою в пустые звуки обещаний Востока, в самоулучшение Востока, в его светлую идейность. Всё, что не подходило под эту схему, они отметали как клевету или как черты временные.

Здесь был общий мировой закон: побеждает тот, кто жесточе. В этом, к сожалению, вся история и все пророки.

Рано в молодости подхватил Антон и усвоил ходячую фразу: «все люди — сволочи». И сколько жил он потом — истина эта лишь подтверждалась и подтверждалась. И чем прочней он в ней укоренялся, тем больше он находил ей доказательств, и тем легче ему становилось жить. Ибо если все люди — сволочи, то никогда не надо делать «для людей», а только для себя. И никакого нет «общественного алтаря», и никто не смеет спрашивать с нас жертв. И всё это очень давно и очень просто выражено самим народом: «своя рубаха ближе к телу».

Позтому бюститители анкет и душ напрасно опасались его прошлого. Размышляя над жизнью, Яконов понял: в тюрьму попадают лишь те, у которых в какой-то момент не хватило ума. Настоящие умники предусмотрят, извернутся, но всегда уцелеют на воле. Зачем же существование наше, данное нам лишь покуда мы дышим — про-

водить за решёткой? Нет! Яконов не для видимости только, но и внутренне отрёкся от мира эков. Четырёх просторных комнат с балконом и семи тысяч в месяц он не получил бы из других рук или получил бы не сразу. Власть причинила ему зло, она была взбалмошна, бездарна, жестока — но в жестокости и была ведь сила, её вернейшее проявление!

И не имея возможности совсем забросить службу, Яконов готовился вступить в коммунистическую партию, как только (если) примут.

Шикин тем временем протягивал ему список эков, обречённых на завтрашний этап. Согласованных ранее кандидатур было шестнадцать, и теперь Шикин с одобрением дописал туда ещё двоих из настоящего блокнота Яконова. Договорённость же с тюремным управлением была на двадцать. Недостающих двух надо было срочно «подработать» и не позже пяти часов вечера сообщить подполковнику Климентьеву.

Однако, кандидатуры сразу на ум не шли. Как-то так всегда получалось, что лучшие специалисты и работники были ненадёжны по оперативной линии, а любимчики оперуполномоченного — шалопаи и бездельники. Из-за этого трудно было согласовывать списки на этапы.

Яконов развёл пальцами.

— Оставьте список мне. Я ещё подумаю. И вы подумайте. Со звонимся.

Шикин неторопливо поднялся и (надо было сдержаться, да не сдержался) человеку недостойному пожаловался на действия министра: в 21-ю комнату пускали заключённого Рубина, пускали Ройтмана, — а его, Шикина, да и полковника Яконова на их собственном объекте не пускают, каково?

Яконов поднял брови и совершенно опустил веки, так что лицо его сделалось на мгновение слепым. Он выражал негодование:

«Да, майор, да, друг мой, мне больно, мне очень больно, но поднимать глаза на солнце я не смею».

На самом деле отношение к двадцати первой комнате у Яконова было сложное. Когда в кабинете Абакумова в ночь на воскресенье он услышал от Рюмина об этом телефонном звонке, Яконова захватила острота этих двух новых ходов в мировых Шахматах. Потом своя буря заставила забыть всё. Вчера утром, отходя после сердечного припадка, он охотно поддержал Селивановского в намерении поручить всё Ройтману (дело хлипкое, мальчик горячий, может и шею свернёт). Но любопытство к этому дерзкому телефонному звонку осталось у Яконова, и ему-таки было обидно, что его в 21-ю комнату не пускают.

Шикин ушёл, Яконов же вспомнил самое приятное из дел, которое его сегодня ждало — а вчера он не успел. А между тем, если резко двинуть вперёд абсолютный шифратор — это спасёт его перед Абакумовым через месяц.

И, позвонив в конструкторское бюро, он велел прийти Сологдину с его новым проектом.

Через две минуты, постучав, вошёл с пустыми руками Сологдин — стройный, с курчавой бородкой, в засаленном комбинезоне.

Яконов и Сологдин почти не разговаривали раньше: вызывать Сологдина в этот кабинет надобностей не было, в конструкторском же бюро и при встречах в коридоре инженер-полковник не замечал личности, столь незначительной. Но сейчас (скосясь на список имён-отчествов под стеклом) со всем радушием хлебосольного барина Яконов одобрительно посмотрел на вошедшего и широко пригласил:

— Садитесь, Дмитрий Александрович, очень рад вас видеть.

Держа руки прикованными к телу, Сологдин подошёл ближе, молча поклонился и остался стоять неподвижно-прямой.

— Так вы, значит, тайком приготовили нам сюрприз? — рокотал Яконов. — На днях, да чуть ли не в субботу, я у Владимира Эрастовича видел ваш чертёж главного узла абсолютного шифратора... Да что же вы не садитесь?.. Просмотрел его бегло, горю желанием поговорить подробнее.

Не опуская глаз перед взглядом Яконова, полным симпатии, стоя вполоборота, недвижно, как на дуэли, когда ждут выстрела в себя, Сологдин ответил раздельно:

— Вы ошибаетесь, Антон Николаевич. Я, действительно, сколько умел, работал над шифратором. Но то, что мне удалось и что вы видели, есть создание уродливо несовершенное, в меру моих весьма посредственных способностей.

Яконов откинулся в кресле и доброжелательно запротестовал:

— Ну-у, нет, батенька, уж пожалуйста без ложной скромности! Я хоть смотрел вашу разработку мельком, но составил о ней весьма уважительное представление. А Владимир Эрастович, который обоим нам с вами высший судья, высказался с определённой похвалой. Сейчас я велю никого не принимать, несите ваш лист, ваши соображения — будем думать. Хотите, позовём Владимира Эрастовича?

Яконов не был тупым начальником, которого интересует только результат и выход продукции. Он был — инженер, когда-то даже азартный, и сейчас предощущал то тонкое удовольствие, которое нам может доставить долговыношенная человеческая мысль. То единственное удовольствие, которое ещё оставалась ему работа. Он смотрел почти просительно, лакомо улыбаясь.

Инженером был и Сологдин, уже лет четырнадцать. А арестантом — двенадцать.

Ощущая на себе приятный холод закрытого забрала, он выговорил чётко:

— И тем не менее, Антон Николаевич, вы ошиблись. Это был набросок, недостойный вашего внимания.

Яконов нахмурился и, уже немного сердясь, сказал:

— Ну, хорошо, посмотрим, посмотрим, несите лист.

А на погонах его, золотых с голубой окаёмкой, было три звезды. Три больших крупных звезды, расположенных треугольником. У старшего лейтенанта Камышана, оперуполномоченного Горной Закрытки, в месяцы, когда он избивал Сологдина, тоже появились вместо кубиков такие — золотые, с голубой окаёмкой и треугольником три звезды, только мельче.

— Наброска этого больше нет, — дрогнул голос Сологдина. — Найдя в нём глубокие, непоправимые ошибки, я его... сжёг.

(Он вонзил шпагу и дважды её повернул.)

Полковник побледнел. В зловещей тишине послышалось его затруднённое дыхание. Сологдин старался дышать беззвучно.

— То есть... Как?.. Своими руками?

— Нет, зачем же. Отдал на сожжение. Законным порядком. У нас сегодня сжигали. — Он говорил глухо, неясно. Ни следа не было его обычной звонкой уверенности.

— Сегодня? Так может он ещё цел? — с живой надеждой подвинулся Яконов.

— Сожжён. Я наблюдал в окно, — ответил, как отвесил, Сологдин.

Одной рукой вцепившись в поручень кресла, другой ухватясь за мраморное пресс-папье, словно собираясь разожжить им голову Сологдина, полковник трудно поднял своё большое тело и переклонился над столом вперёд.

Чуть-чуть запрокинув голову назад, Сологдин стоял синей статуей.

Между двумя инженерами не нужно было больше ни вопросов, ни разъяснений. Меж их сцепленными взглядами металась разряды безумной частоты.

«Я уничтожу тебя!» — налились глаза полковника.

«Хомутай третий срок!» — кричали глаза арестанта.

Должно было что-то с грохотом разорваться.

Но Яконов, взявшись рукою за лоб и глаза, будто их резало светом, отвернулся и отошёл к окну.

Крепко держась за спинку ближнего стула, Сологдин измученно опустил глаза.

«Месяц. Один месяц. Неужели я погиб?» — до мелкой чёрточки прояснилось полковнику.

«Третий срок. Нет, я его не переживу», — обмирал Сологдин.

И снова Яконов обернулся на Сологдина.

«Инженер-инженер! Как ты мог?!» — пытал его взгляд.

Но и глаза Сологдина слепили блеском:

«Арестант-арестант! Ты всё забыл!»

Взглядом ненавистным и зачарованным, взглядом, видящим себя самого, каким не стал, они смотрели друг на друга и не могли расцепиться.

И призрак желтокрылой Агнии второй раз за эти дни пропорхнул перед Антоном.

Теперь Яконов мог кричать, стучать, звонить, сажать — у Сологдина было заготовлено и на это.

Но Яконов вынул чистый мягкий белый платок и вытер им глаза.

И ясно посмотрел на Сологдина.

Сологдин старался выстоять ровно ещё эти минуты.

Одной рукою инженер-полковник опёрся о подоконник, а другой тихо поманил к себе заключённого.

В три твёрдых шага Сологдин подошёл к нему близко.

Немного горбясь по-старчески, Яконов спросил:

— Сологдин, вы — москвич?

— Да.

— Вон, посмотрите, — сказал ему Яконов. — Вы видите на шоссе автобусную остановку?

Её хорошо было видно из этого окна.

Сологдин смотрел туда.

— Отсюда полчаса езды до центра Москвы, — тихо рассказывал Яконов. — На этот автобус вы могли бы садиться в июне — в июле этого года. А вы не захотели. Я допускаю, что в августе вы получили бы уже первый отпуск — и поехали бы к Чёрному морю. Купаться! Сколько лет вы не входили в воду, Сологдин? Ведь заключённых не пускают никогда!

— Почему? На лесосплаве, — возразил Сологдин.

— Хорошенькое купанье! Но вы попадёте на такой север, где реки никогда не вскрываются...

Ведь тут как? Жертвуешь будущим, жертвуешь именем — мало. Отдай им хлеб, покинь кров, кожу сними, спускайся в каторжный лагерь...

— Сологди-ин! — нараспев и с мучением выстонал Яконов и две руки, как падая, положил на плечи арестанта. — Вы наверно можете всё восстановить! Слушайте, я не могу поверить, чтобы жил на свете человек, не желающий блага самому себе. Зачем вам погибать? Объясните мне: зачем вы сожгли чертёж??

Была всё так же невзмучаема, неподкупна, непорочна голубизна глаз Дмитрия Сологдина. А в чёрном зрачке его Яконов видел свою дородную голову. Голубой кружочек, чёрная дырочка посередине — а за ними целый неожиданный мир одного единственного человека.

Хорошо иметь сильную голову. Ты владеешь исходом до последней минуты. Все пути событий подчинены тебе. Зачем тебе погибать? Для кого? Для безбожного потерянного развращённого народа?

— А как вы думаете? — вопросом ответил Сологдин. Его розовые губы между усами и бородкой чуть-чуть изогнулись как будто даже в насмешке.

— Не понимаю,— Яконов снял руки и пошёл прочь.— Самоубийц — не понимаю.

И услышал из-за спины звонкое, уверенное:

— Гражданин полковник! Я слишком ничтожен, никому не известен. Я не хотел отдать свою свободу ни за так.

Яконов резко повернулся.

— ...Если бы я не сжёг чертежа, а положил его перед вами готовым — наш подполковник, вы, Фома Гурьянович, кто угодно, могли бы завтра же толкнуть меня на этап, а под чертежом поставить любое имя. Такие примеры были. А с пересылок, я вам скажу, очень неудобно жаловаться: карандаши отнимают, бумаги не дают, заявления доходят не туда... Арестант, отосланный на этап, не может оказаться прав ни в чём.

Яконов дослушивал Сологодина почти с восхищением. (Этот человек сразу понравился ему, как он вошёл!)

— Так вы... берётесь восстановить чертёж?! — Это не инженер-полковник спросил, а отчаявшийся измученный безвластный человек.

— То, что было на моём листе — в три дня! — сверкнул глазами Сологдин. — А за пять недель я сделаю вам полный эскизный проект с расчётами в объёме технического. Вас устроит?

— Месяц! Месяц!! Нам месяц и нужен!! — не ногами по полу, а руками по столу возвращался Яконов навстречу этому чёртову инженеру.

— Хорошо, получите в месяц,— холодно подтвердил Сологдин. Но тут Яконова отбросило в подозрение.

— Погодите,— остановил он.— Вы только что сказали, что это был недостойный набросок, что вы нашли в нём глубокие, непоправимые ошибки...

— О-о! — открыто засмеялся Сологдин. — Со мной иногда играет шутки нехватка фосфора, кислорода и жизненных впечатлений, находит какая-то полоса мрака. А сейчас я присоединяюсь к профессору Челнову: там всё верно!

Яконов тоже улыбнулся, от облегчения зевнул и сел в кресло. Он любовался, как Сологдин владеет собой, как он провёл этот разговор.

— Рискованно же вы сыграли, сударь. Ведь это могло кончиться иначе.

Сологдин слегка развёл пальцами.

— Вряд ли, Антон Николаич. Я, кажется, ясно оценил положение института и... ваше. Вы, конечно, владеете французским? *Le hasard est roi!* Его величество Случай! Он очень редко мелькает нам в жизни — и надо прыгнуть на него вовремя, и точно на середину спины!

Сологдин так просто говорил и держался, будто это было с Нержиным на дровах.

Теперь он тоже сел, продолжая смотреть на Яконова весело.

— Так что будем делать? — дружелюбно спросил инженер-полковник.

Сологдин отвечал как по-печатному, как о решённом давно:

— Фому Гурьяновича я бы хотел на первом же шаге миновать. Это как раз та личность, которая любит быть соавтором. С вашей стороны я не предполагаю такого приёмчика. Я ведь не ошибаюсь?

Яконов радостно покачал головой. О, как он был облегчён и без этого!

— К тому ж напоминаю, что и лист пока сожжён. Теперь, если вы дорожите моим проектом — найдите способ доложить обо мне прямо министру. В крайнем случае — замминистру. И пусть приказ о моём назначении ведущим конструктором подпишет именно он. Это будет для меня гарантия — и я принимаюсь за работу. И мы формируем специальную группу.

Вдруг распахнулась дверь. Без стука вошёл лысый худой Степанов с мертво-поблескивающими стёклами очков.

— Так, Антон Николаевич,— сказал он строго.— Есть важный разговор.

Степанов обращался к человеку по имени-отчеству! Это было невероятно.

— Значит, я жду приказа? — встал Сологдин.

Инженер-полковник кивнул. Сологдин вышел легко и твёрдо.

Яконов даже не сразу вник, о чём это так оживлённо говорил парторг.

— Товарищ Яконов! Только что у меня были товарищи из Политуправления и очень-таки намылили голову. Я допустил большие и серьёзные ошибки. Я допустил, что в нашей парторганизации гнездились группа, будем говорить — безродных космополитов. А я проявил политическую близорукость, я не поддержал вас, когда они пытались вас затравить. Но мы должны быть бесстрашными в признании своих ошибок! Вот мы сейчас с вами вдвоём подработаем резолюцию, потом соберём открытое партсоборание — и крепко ударим по низкопоклонству.

Дела Яконова, столь безнадёжные ещё вчера, круто поправились.

80

Перед обеденным перерывом в коридоре спецтюрьмы дежурный Жвакун вывесил список лиц, вызываемых в перерыв к майору Мышину. Официально считалось, что по такому списку зэки вызывались за получением писем и извещений о переводах на лицевой счёт.

Процедура выдачи арестанту письма была в спецтюрьмах обставлена таинственно. Её нельзя было так пошло, как на воле, поручить бродяге-почтальону. За глухую дверь, с глазу на глаз, духовный отец — кум, сам прочетший это письмо и убедившийся, что в нём нет греховных смутных мыслей,— передавал его арестанту, сопровождая поучениями. Письмо выдавалось откровенно распечатанным, в нём была убита последняя интимность мысли, летящей от родного к родному. Письмо, прошедшее многие руки, расхвачанное на цитаты в досье, получившее внутри себя чёрную размазанную печать цензуры,— теряло ничтожный личный смысл и приобретало важное значение государственного документа. (На иных шарашках это понимали настолько хорошо, что вообще не отдавали письма арестанту, а разрешали ему лишь прочесть его, редко дважды, в кабинете у кума и отбирали в конце письма расписку о прочтении; если же, читая письмо жены или матери, зэк пытался сделать выписки для памяти,— это вызывало подозрение, как если б он покушался скопировать документы Генерального Штаба. На присылаемых из дому фотографиях тамошний зэк тоже расписывался, что их смотрел,— и их подшивали в его тюремное дело.)

Итак, список был вывешен — и становились в очередь за письмами. Ещё становились в очередь те, кто хотел не получить, а отправить своё письмо за декабрь — его тоже полагалось сдать лично в руки куму. Под видом всех этих операций майор Мышин имел возможность беспрепятственно беседовать со стукачами и вызывать их вне графика. Но дабы не было явно, с кем он беседует дольше, тюремный кум иногда задерживал в кабинете и честных зэков, сбивая остальных с толку.

Так в очереди подозревали друг друга, а иногда и знали точно, кто *закладывает* их жизни, но заискивающе улыбались им, чтобы не рассердить.

Хотя советское тюремноеведение и не опиралось прямо на опыт Катона Старшего, но верно следовало его завету: не допускать, чтобы рабы жили между собою слишком дружно.

По обеденному звонку взбежав из подвала во двор, зэки пересекали его, не одетые и без шапок, при сыром нехолодном ветре, и шмы-

гали в дверь тюремного штаба. Из-за того, что утром был объявлен новый порядок переписки, очередь собралась особенно большая — человек сорок, и в коридоре не помещалась. Помощник дежурного, шибутной старшина, ретчиво распоряжался во всю силу своего пышущего здоровьем. Он отсчитал двадцать пять человек, остальным велел гулять и прийти в ужинный перерыв, запущенных же в коридор разместил вдоль стенки поодаль от кабинетов начальства и сам всё время ходил по проходу, наблюдая порядок. Очередной зэк миновал несколько дверей, стучался в кабинет майора Мышина и, получив разрешение, вступал. По его возврату пускался другой. Весь обеденный перерыв шибутной старшина руководил движением.

Как ни домогался Спиридон с утра получить письмо, Мышин твёрдо сказал ему, что будет выдавать в перерыв, когда и всем. Но за полчаса до обеда Спиридону вызвал к себе на допрос майор Шикин. Спиридону бы дать требуемые показания, признаться во всём — и он, глядишь, успел бы получить письмо. Но он заперся, упорствовал — и майор Шикин не мог отпустить его в таком нераскаянном виде. Поэтому, жертвуя своим перерывом (в столовую вольных он ходил всё равно не в перерыв, чтоб не толкаться) — Шикин продолжал допрашивать Спиридона.

А первым в очереди за письмами оказался Дырсин, заморенный инженер из Семёрки, один из основных её работников. Больше трёх месяцев он не получал писем. Тщетно он осведомлялся у Мышина, ответы были: «нет», «не пишут». Тщетно он просил Мамурина, чтобы слали розыск — розыска не слали. И вот сегодня он увидел свою фамилию в списке и, перемогая боль в груди, успел прибежать первый. Осталась у него из семьи одна жена, изведенная десятилетним ожиданием, как и он.

Старшина махнул Дырсину идти — и первым в очереди стал озорно-сияющий Руська Доронин с волнисто-дрожащим взбитком светлых волос. Увидев рядом в очереди латыша Хуго, одного из своих доверенных, он тряхнул волосами и шепнул, подмигивая:

— Иду деньги получать. Заработанные.

— Пройдите! — скомандовал старшина.

Доронин рванул вперёд навстречу пониклому возврату Дырсина.

— Ну, что? — уже во дворе спросил у Дырсина его друг по работе Амантай Булатов.

Всегда небритое, всегда унылое лицо Дырсина ещё вытянулось:

— Не знаю. Говорит — письмо есть, но зайдите после перерыва, будем разговаривать.

— ...яди они! — уверенно заключил Булатов, и через роговые очки его вспыхнуло. — Я тебе давно говорю — зажимают письма. Откажись работать!

— Второй срок припаяют, — вздохнул Дырсин. Всегда он был пригорблен и голову втягивал в плечи, как будто стукнули его хорошо один раз сзади чем-то большим.

Вздохнул и Булатов. Он потому был такой воинственный, что ему ещё было сидеть и сидеть. Но решительность зэка тем более падает, чем меньше ему остаётся до освобождения. Дырсин же *разменял* последний год.

Небо было равномерно серое, без сгущений и без просветов. Не было в нём ни высоты, ни куполообразности — грязная брезентовая крыша, натянутая над землёй. Под резким влажным ветром снег оседал, ноздревател, исподволь рыжела его утренняя белизна. Под ногами гуляющих он сбивался в буроватые скользкие бугорки.

А прогулка шла, как обычно. Нельзя придумать такой мерзкой погоды, чтобы вянущие без воздуха арестанты шарашки отказались от прогулки. Засидевшимся в комнатах, им были даже приятны эти резкие порывы сырого ветра — они выдували из человека застойный воздух и застойные мысли.

Среди гуляющих метался гравёр-оформитель. То одного, то другого зэка он брал под руку, совершал с ним петлю-две и просил совета. Его положение было особенно ужасно, как считал он: ведь, находясь в заключении, он не мог вступить в брак со своей первой женой, и она теперь рассматривалась как незаконная; он не имел права дольше ей писать; и даже написать о том, что не будет писать — не мог, исчерпавши декабрьский месячный лимит. Ему сочувствовали. Его положение, в самом деле, было нелепо. Но у каждого своя боль пересиливала чужие.

Склонный к ощущениям крайним, Кондрашён-Иванов, высокий, прямой, как со вставленной жердью, медленно шёл, глядя поверх голов гуляющих, и в мрачном упоении высказывал профессору Челнову, что когда так поправно человеческое достоинство, жить дальше — значит унижать себя. У каждого мужественного человека есть простой выход из этой цепи издевательств.

Профессор Челнов в неизменной вязаной шапочке и пледе, обёрнутом вокруг плеч, со сдержанностью цитировал художнику «Тюремные утешения» Бозция.

У дверей штаба сбилась группа добровольных охотников на стукачей — Булатов, чей голос разносился на весь двор; Хоробров; беззлостный вакуумщик Земеля; старший вакуумщик Двоетёсов, принципиально в лагерном бушлате; юркий, во всё сующийся Пряничков; лидер немцев Макс; и один из латышей.

— Страна должна знать своих стукачей! — повторял Булатов, поддерживая их в намерении не расходиться.

— Да мы их в основном и так знаем, — отвечал Хоробров, став на порог и пробегая глазами вереницу очереди. О некоторых он мог с вероятностью сказать, что они стоят за получением своей иудиной платы. Но подозревали, конечно, наименее ловких.

Руська вернулся к компании весёлый, едва удерживаясь, чтобы над головой не помахивать денежным переводом. Соткнувшись головами, они все быстро осмотрели перевод: он был от мифической Клавдии Кудрявцевой Ростиславу Дорониному на 147 рублей!

Идя с обеда и становясь в хвост очереди, эту группу оглядел своим омутнённым взглядом обер-стукач, премьер стукачей, Артур Сиромаха. Он оглядел группу по привычке замечать всё, но ещё не прида ей значения.

Руська забрал свой перевод и по уговору отошёл от группы.

Третьим к куму зашёл инженер-энергетик, сорокалетний мужчина, вчера вечером в запертом ковчеге предлагавший приравнять министров к ассенизаторам, а потом как ребёнок устроивший потасовку подушками на верхних койках.

Четвёртым быстрой лёгкой походкой прошёл Виктор Любимичев — парень «свой в доску». В улыбке он обнажал крупные ровные зубы и молодых ли, старых ли арестантов — всех подкупающе звал «братцы». Через это сердечное обращение сквозила его чистая душа.

Энергетик вышел на порог с раскрытым письмом. Углублённый в него, он не сразу нащупал ногой обрыв ступеньки. Так же не видя, сошёл с неё в сторону — и никто из группы «охотников» не потревожил его. Неодетый, без шапки, под ветром, трепавшим его волосы, ещё молодые вопреки всему пережитому, он читал после восьми лет разлуки первое письмо от дочери Ариадны, которую, уходя в 41-м году на фронт (а оттуда — в плен, а из плена — в тюрьму), оставил светленькой шестилетней девчушкой, цеплявшейся за его шею. И когда в бараке военнопленных ходили с хрустом по слою тифозных вшей, и когда по четыре часа он стоял в очереди за черпаком мутно-воionючей баланды, — дорогой светленький клубочек всё тянул его ниточкой Ариадны — как-нибудь пережить и вернуться. Но вернувшись на родину, сразу в тюрьму, он так и не увидел дочери: они с матерью остались в Челябинске, где были в эвакуации. И мать Ариад-

ны, видимо уже с кем-то сойдясь, долго не хотела открывать дочери существование отца.

Наклонным, старательно-ученическим почерком без помарок дочь теперь писала:

«Здравствуй, дорогой папа!

Я не отвечала потому, что не знала, с чего начать и что писать. Это простительно мне, так как я тебя очень давно не видела и привыкла к тому, что отец мой погиб. Мне даже странно, что у меня и вдруг папа.

Ты спрашиваешь, как я живу. Живу как все. Можешь поздравить — поступила в Комсомол. Ты просишь написать тебе, в чём я нуждаюсь. Хочется мне, конечно, очень много. Сейчас коплю деньги на боты и на пошивку демисезонного пальто. Папа! Ты просишь, чтоб я к тебе приехала на свидание. Но разве это такая срочность? Ехать где-то так далеко тебя разыскивать — согласишься сам, не очень приятно. Когда сможешь — приедешь сам. Желаю тебе успехов в работе. Пока до свиданья.

Целую.

Ариадна.

Папа, ты видел картину «Первая перчатка»? Вот замечательная! Я не пропускаю ни одной картины».

— Любимичева будем проверять? — спросил Хоробров в ожидании его выхода.

— Что ты, Терентьич! Любимичев — парень наш! — ответили ему.

Но Хоробров глубоким чутьём что-то чувствовал в этом человеке. И вот сейчас он как раз задерживался у кума.

У Виктора Любимичева были открытые крупные глаза. Природа наградила его гибким телом спортсмена, солдата и любовника. Жизнь вырвала его сразу с беговых дорожек юношеского стадиона в концлагерь, в Баварию. В этом тесном пространстве смерти, куда загнали русских солдат враги, а своя советская власть не допустила международного Красного Креста, — в этом маленьком плотном пространстве ужаса выживали только те, кто наиболее отрешился от ограниченных относительных классовых понятий добра и совести; те, кто мог продавать своих, став переводчиком; те, кто мог палкой по лицу бить соотечественников, став лагерным надзирателем; те, кто мог есть хлеб голодающих, став хлеборезом или поваром. И ещё было две возможности выжить — могильщиком и золотарём. За рытьё могил и за чистку уборных нацисты положили лишний черпак балабанды. Но с уборными справлялись двое. На могилы же выходило каждый день полсотни. Что ни день, десяток дрог вывозил мёртвых на свалку. К лету сорок второго года подходила очередь и самих могильщиков. Со всей жадной ещё не жившего тела Виктор Любимичев хотел жить. Он решил, что если умрёт, то последним, и уже договаривался в надзиратели. Но выпала счастливая возможность — приехал в лагерь какой-то гнусавый бывший политрук — и стал уговаривать идти бить коммунистов. Записывались. Среди них — и комсомольцы... За воротами лагеря стояла немецкая военная кухня, и волонтёров тут же кормили кашей «от пуза». После этого в составе легиона Любимичев воевал во Франции: ловил по Вогёзам партизан «движения сопротивления», потом отбивался на Атлантическом Валу от союзников. В сорок пятом году во времена великого лова он как-то просеялся сквозь решето, приехал домой, женился на девушке с такими же ясными глазами, таким же юным гибким телом и, оставив её на первом месяце, был арестован за прошлое. Тюрмы как раз в это время проходили русские участники того самого «движения сопротивления», за которыми он гонялся по Вогёзам. В Бутырках резались в домино, вспоминали проведенные во Франции дни и бои и ждали передач от домашних. Потом

всем дали поровну — по десять лет. Так всей своей жизнью Любимичев был воспитан и приучен, что ни у кого, от рядового парня до члена Политбюро, никаких «убеждений» никогда не было и быть не может — и у тех, кто их судит — тоже.

Ничего не подозревая, с простодушными глазами, держа в руке листик, сильно похожий на почтовый денежный перевод, Виктор не только не пытался миновать группу «охотников», но сам подошёл к ней и спросил:

— Братцы! Кто обедал? Что там на второе? Стоит идти?

Кивая на бланк перевода в опущенной руке Виктора, Хоробров спросил:

— Что, много денег получил? Уже в обеде не нуждаешься?

— Да где много! — отмахнулся Любимичев и хотел спрятать бланк в карман. Он потому не удосужился его спрятать раньше, что все боялись его силы и никто бы не посмел спрашивать отчёта. Но пока он разговаривал с Хоробровым, Булатов словно в шутку наклонился, искособолился и прочёл:

— Фу-у! Тысяча четыреста семьдесят рублей! Наплевать тебе теперь на Климентиадисов харч!

Сделай это любой другой зэк, Виктор шутливо двинул бы его в лоб и бланка не показал. Но с Амантаем не следовало, чтоб он предполагал у своего подчинённого изобилие денег, это общее лагерное правило. И Любимичев оправдался:

— Да где тысяча, смотри!

И все увидели: 147 р. 00 к.

— Во, чудно! Не могли полтораста прислать! — невозмутимо заметил Амантай. — Тогда иди, на второе шницель.

Но Любимичев не успел тронуться, и не успел замолкнуть голос Булатова, — как затрясся Хоробров. Хоробров потерял свою роль. Он забыл, что надо сдерживаться, улыбаться и ловить дальше. Он забыл, что главное — это стукачей узнать, уничтожить же их невозможно. Сам пострадавший от стукачей, видевший гибель многих — и всё от стукачей, он ненавидел этих скрывчивых предателей больше, чем открытых палачей. По возрасту — сын Хороброву, юноша, годный для лепки статуй, — оказался такая добровольная гадина!

— С-сволочь ты! — проговорил Хоробров дрожащими губами. — На нашей крови досрочки ищешь? Чего тебе не хватало?

Боец, всегда готовый к бою, Любимичев передёрнулся и отвёл руку для короткого боксёрского удара.

— Ух ты, падал вятская! — предупредил он.

— Чтó ты, Терентьич! — ещё раньше кинулся Булатов отвести Хороброва.

Громадный неуклюжий Двоетёсов в лагерном бушлате перехватил своей левой отведенную правую руку Любимичева и впился в неё.

— Мальчик, мальчик! — сказал он с пренебрежительной усмешкой, с той почти ласковой тихостью, которая даётся напряжением всего тела. — Что, как партиец с партийцем поговорим?

Любимичев круто обернулся к Двоетёсову, и его открытые ясные глаза почти сошлись с близорукими выкаченными глазами Двоетёсова.

И Любимичев не отвёл второй руки для удара. В этих свиных глазах и в перехвате его руки мужицкою рукой он понял, что один из двоих сейчас не опрокинется, а упадёт мёртвым.

— Мальчик, мальчик, — залаженно повторял Двоетёсов. — На второе шницель. Пойди покушай шницель.

Любимичев вырвался и, гордо запрокинув голову, пошёл к трапу. Его атласные щёки пылали. Он искал, как рассчитаться с Хоробровым. Он сам ещё не знал, что обвинение пронзило его. Хоть он с любимым готов был спорить, что понимает жизнь, а оказывалось — ещё не понимает.

И как могли догадаться? Откуда?

Булатов проводил его взглядом и взялся за голову:

— Мать моя родная! Кому ж теперь верить?

Вся эта сцена прошла на мелких движениях, во дворе её не заметили ни гуляющие эски, ни два неподвижных надзирателя по краям прогулочной площадки. Только Сиромаха, смежив устало-неподвижные глаза, из очереди всё видел сквозь дверь и, припомнив Руську — понял до конца!

Он заметался.

— Ребята! — обратился он к передним, — у меня схема под током осталась. Вы меня без очереди не пропустите? Я быстро.

— У всех схема под током!

— У всех ребёнок! — ответили ему и рассмеялись.

Не пустили.

— Пойду выключу! — озабоченно объявил Сиромаха и, обегая стороной охотников, скрылся в главном здании. Не переводя дыхания, он взлетел на третий этаж. Но кабинет майора Шикина был заперт изнутри, и скважина закрыта ключом. Это мог быть допрос. Могло быть и свидание с долговязой секретаршей. Сиромаха в бессилии отступил.

С каждой минутой проваливались кадры и кадры — и ничего нельзя было сделать!

Следовало идти стать снова в очередь, но инстинкт гонимого зверя сильнее желания выслужиться: было страшно идти опять мимо этой распалённо-злой кучки. Они могли зацепить Сиромаху и безо всякого повода. Его слишком знали на шарашке.

Тем временем во дворе выпешедший от Мышина доктор химических наук Оробинцев, маленький, в очках, в богатой шубе и шапке, в которых ходил и на воле (он не побывал даже на пересылках, и его не успели ещё раскурочить), собрал вокруг себя таких же простаков, как сам, в том числе лысого конструктора, и давал им интервью. Известно, что человек верит главным образом тому, чему он хочет верить. Те, кто хотел верить, что подаваемый список родственников не является доносом, а разумной регулирующей мерой, и собрались теперь вокруг Оробинцева. Оробинцев уже отнёс аккуратно расчерченный на графы список, сдал его, сам говорил с майором Мышиным и авторитетно повторял его разъяснения: куда писать несовершеннолетних детей, и как быть, если отец неродной. В одном только майор Мышин оскорбил воспитанность Оробинцева. Оробинцев пожаловался, что не помнит точно места рождения жены. Мышин раззявил пасть и засмеялся: «Что вы её — из бардака взяли?»

Теперь доверчивые кролики слушали Оробинцева, не приставая к другой компании — в заветрии у стволов трёх лип, вокруг Абрамсона.

Абрамсон, после сытного обеда лениво покуривая, рассказывал слушателям, что все эти запреты переписки не новы, и бывали даже хуже, что и этот запрет не навечно, а до смены какого-нибудь министра или генерала, поэтому духом падать не следует, по возможности от подачи списка пока воздержаться, а там и минует. Глаза Абрамсона имели от рождения узкий долгий разрез, и, когда он снимал очки, усиливалось впечатление, что он скучающе смотрит на мир заключённых: всё повторялось, ничем новым не мог его поразить Архипелаг ГУЛаг. Абрамсон столько уже сидел, что как будто разучился чувствовать, и то, что для других было трагедия, он воспринимал не более, как мелкую бытовую новость.

Между тем охотники, увеличившиеся в числе, поймали ещё одного стукача — с шутками вытащили бланк на 147 рублей из кармана Исаака Кагана. До того, как у него вытащили перевод, на вопрос, что он получил у кума, он ответил, что не получил ничего, сам удивляется, по какой ошибке его вызвали. Когда же перевод вытащили силой и

стали срамить — Каган не только не покраснел, не только не торопился уйти, но, всех своих разоблачителей по очереди цепляя за одежду, клялся неотвязчиво, назойливо, что это чистое недоразумение, что он покажет им всем письмо от жены, где она писала, как на почте у неё не хватило трёх рублей, и пришлось послать 147. Он даже тянул их идти с ним сейчас в аккумуляторную — и он там достанет это письмо и покажет. И ещё, трясая своей кудлатой головой и не замечая сползшего с шеи, почти волочащегося по земле кашне, он очень правдоподобно объяснял, почему он скрыл вначале, что получил перевод. У Кагана было особое прирождённое свойство вязкости. Начав с ним говорить, никак нельзя было от него отцепиться, иначе как полностью признав его правоту и уступив ему последнее слово. Хоробров, его сосед по койке, знающий историю его посадки за недоносительство, и уже не имея сил на него как следует рассердиться, только сказал:

— Ах, Исак, Исак, сволочь ты, сволочь! — на воле за тысячи не пошёл, а здесь на сотни польстился!

Или уж так напугали его лагерем?..

Но Исаак, не смущаясь, продолжал оправдываться и убедил бы их всех — если б не поймали ещё одного стукача, на этот раз латыша. Внимание отвлеклось, и Каган ушёл.

Кликнули на обед вторую смену, а первая выходила на прогулку. По трапу поднялся Нержин в шинели. Он сразу увидел Руську Доронина, стоящего на черте прогулочного двора. Торжествующим блестящим взором Руська то поглядывал на им подстроенную охоту, то окидывал дорожку на двор вольных и просвет на шоссе, где должна была вскоре сойти с автобуса Клара, приехав на вечернее дежурство.

— Ну?! — усмехнулся он Нержину и кивнул в сторону охоты. — А про Любимичева слышал?

Нержин остановился близ него и слегка приобнял.

— Качать тебя, качать! Но — боюсь за тебя.

— Хо! Я только разворачиваюсь, подожди, это цветики!

Нержин покрутил головой, усмехнулся, пошёл дальше. Он встретил спешащего на обед сияющего Пряничкова, накричавшегося вдоволь своим тонким голосом вокруг стукачей.

— Ха-ха, парниша! — приветствовал тот. — Вы всё представление пропустили! А где Лев?

— У него срочная работа. На перерыв не вышел.

— Что? Срочней Семёрки? Ха-ха! Такой не бывает.

Убежал.

Ни с кем не смешиваясь, уйдя в разговор, прорезали свои круги большой Бобынин со стриженной головой, в любую погоду без шапки, и маленький Герасимович в нахлобученной замызганной кепочке, в коротеньком пальтишке с поднятым воротником. Кажется, Бобынин мог всего Герасимовича заглотить и поместить в себе.

Герасимович ёжился от ветра, держал руки в боковых карманах — и, щуплый, походил на воробья.

На того из народной пословицы воробья, у которого сердце с кошку.

81

Бобынин отдельно крупно шагал по главному кругу прогулки, не замечая или не придавая значения кутерьме со стукачами, когда к нему наперехват, как быстрый катер к большому кораблю, сближая и изгибая курс, подошёл маленький Герасимович.

— Александр Евдокимыч!

Вот так подходить и мешать на прогулке не считалось среди шарашечных очень вежливым.

К тому ж они друг друга и знали мало, почти никак.

Но Бобынин дал стоп:

— Слушаю вас.

— У меня к вам один научно-исследовательский вопрос.

— Пожалуйста.

И они пошли рядом, со средней скоростью.

Однако, полкруга Герасимович промолчал. И лишь тогда сформулировал:

— Вам не бывает стыдно?

Бобынин от удивления крутанул чугуном головы, посмотрел на спутника (но они шли). Потом — вперёд по ходу, на липы, на сарай, на людей, на главное здание.

Добрых три четверти круга он продумал и ответил:

— И даже как!

Четверть круга.

— А — зачем тогда?

Полкруга.

— Чёрт, всё-таки жить хочется...

Четверть круга.

— ...Сам недоумеваю.

Ещё четверть.

— ...Разные бывают минуты... Вчера я сказал министру, что у меня ничего не осталось. Но я соврал: а — здоровье? а — надежда? Вполне реальный первый кандидат... Выйти на волю не слишком старым и встретить именно ту женщину, которая... И дети... Да и потом это проклятое интересно, вот сейчас интересно... Я, конечно, презираю себя за это чувство... Разные минуты... Министр хотел на меня навалиться — я его отпёр. А так, само по себе, втягиваешься... Стыдно, конечно...

Помолчали.

— Так не корите, что система плоха. Сами виноваты.

Полный круг.

— Александр Евдокимыч! Ну а если бы за скорое освобождение вам предложили бы делать атомную бомбу?

— А вы? — с интересом быстро метнул взгляд Бобынин.

— Никогда.

— Уверены?

— Никогда.

Круг. Но какой-то другой.

— Так вот задумаешься иногда: что это за люди, которые делают им атомную бомбу?! А потом к нам присмотришься — да такие же, наверно... Может, ещё на политучёбу ходят...

— Ну уж!

— А почему нет?.. Для уверенности им это очень помогает.

Осьмушка.

— Я думаю так, — развивал малыш. — Учёный либо должен в сё знать о политике — и разведанные, и секретные замыслы, и даже быть уверенным, что возьмёт политику в руки сам! — но это невозможно... Либо вообще о ней не судить, как о мути, как о чёрном ящике. А рассуждать чисто этически: могу ли я вот эти силы природы отдать в руки столь недостойных, даже ничтожных людей? А то делают по болоту один наивный шаг: «нам грозит Америка»... Это — детский ляпсус, а не рассуждение учёного.

— Но, — возразил великан, — а как будут рассуждать за океаном? А что там за американский президент?

— Не знаю, может быть — тоже. Может быть — никому... Мы, учёные, лишены собраться на всемирный форум и договориться. Но превосходство нашего интеллекта над всеми политиками мира даёт возможность каждому и в тюремной одиночке найти правильное вполне общее решение и действовать по нему.

Круг.

— Да...

Круг.

— Да, может быть...

Четвертушка.

— Давайте завтра в обед продолжим этот колоквиум. Вас... Илларион...?

— Павлович.

Ещё незамкнутый круг, подкова.

— И особо — в применении к России. Мне сегодня рассказали о такой картине — «Русь уходящая». Вы ничего не слышали?

— Нет.

— Ну, да она ещё не написана. И может быть совсем не так. Тут — название, идея. На Руси были консерваторы, реформаторы, государственные деятели — их нет. На Руси были священники, проповедники, самозванные домашние богословы, еретики, раскольники — их нет. На Руси были писатели, философы, историки, социологи, экономисты — их нет. Наконец, были революционеры, конспираторы, бомбометатели, бунтари — нет и их. Были мастеровые с ремешками в волосах, сеятели с бородой по пояс, крестьяне на тройках, лихие казаки, вольные бродяги — никого, никого их нет! Мохнатая чёрная лапа сгребла их всех за первую дюжину лет. Но один родник просочился через всю чуму — это мы, технозлита. Инженеров и учёных, нас арестовывали и расстреливали всё-таки меньше других. Потому что идеологию им накропают любые проходимцы, а физика подчиняется только голосу своего хозяина. Мы занимались природой, наши братья — обществом. И вот мы остались, а братьев наших нет. Кому ж наследовать неисполненный жребий гуманитарной элиты — не нам ли? Если мы не вмешаемся, то кто?.. И неужели не справимся? Не держа в руках, мы взвесили Сириус-Б и измерили перескоки электронов — неужели заплутаемся в обществе? Но что мы делаем? Мы на этих шарашках преподносим им реактивные двигатели! ракеты фау! секретную телефонию! и может быть атомную бомбу? — лишь бы только было нам хорошо! И интересно? Какая ж мы элита, если нас так легко купить?

— Это очень серьёзно, — кузнечным мехом дохнул Бобынин. — Продолжим завтра, ладно?

Уже был звонок на работу.

Герасимович увидел Нержина и договорился встретиться с ним после девяти часов вечера на задней лестнице в ателье художника.

Он ведь обещал ему — о разумно построенном обществе.

82

По сравнению с работой майора Шикина в работе майора Мышина была своя специфика, свои плюсы и минусы. Главный плюс был — чтение писем, их отправка или неотправка. А минусы были — что не от Мышина зависели этапирование, невыплата денег за работу, определение категории питания, сроки свиданий с родственниками и разные служебные придирки. Во многом завидуя конкурирующей организации — майору Шикину, который даже внутритюремные новости узнавал первый, майор Мышин налегал также на подсматривание через прозрачную занавеску: что делалось на прогулочном дворе. (Шикин, из-за неудачного расположения своего окна на третьем этаже, был лишён такой возможности.) Наблюдения за заключёнными в их обычной жизни тоже давали Мышину кое-какой материал. Из своей засады он дополнял сведения, получаемые от осведомителей — видел, кто с кем ходил, говорил ли оживлённо или равнодушно. А затем, выдавая или беря письмо, любил внезапно огорошить:

— Кстати, о чём вы вчера в обеденный перерыв говорили с Петровым?

И иногда получал таким образом от растерянного арестанта бесполезные сведения.

Сегодня в обеденный перерыв Мышин на несколько минут велел

очередному эзку подождать и тоже подглядывал во двор. (Но охоты на стукачей он не увидел — она шла у другого конца здания.)

В три часа дня, когда обеденный перерыв закончился, и неуспевших попасть на приём рассеял шебутной старшина, — велено было допустить Дырси́на.

Иван Феофанович Дырсин был награждён от природы углоскулым впалым лицом, неразборчивостью речи, и даже фамилией, будто данной в насмешку. В институт когда-то он был принят от станка, через вечерний рабфак, учился скромно, упорно. Способности были в нём, но не умел он их выставлять, и всю жизнь его затирали и обижали. В Семёрке сейчас его не эксплуатировал только кто не хотел. Именно потому, что десятка его, немного смягчённая зачётами, теперь кончалась, он особенно робел перед начальством. Он больше всего боялся получить второй срок, которых навиделся в военные годы немало.

Он и первый-то срок получил несуразно. В начале войны его посадили за «антисоветскую агитацию» — по доносу соседей, метивших на его квартиру (и потом получивших её). Правда, выяснилось, что агитации такой он не вёл, но мог её вести, так как слушал немецкое радио. Правда, немецкого радио он не слушал, но мог его слушать, так как имел дома запрещённый радиоприёмник. Правда, такого приёмника он не имел, но вполне мог его иметь, так как по специальности был инженер-ради́ст, а по доносу у него нашли в коробочке две радиолампы.

Дырсину пришлось вдосыть хватить лагерей военных лет — и тех, где люди ели сырое зерно, украв его у лошади, и тех, где муку замешивали со снегом под дощечкой «Лагерный Пункт», прибитой на первой таёжной сосне. За восемь лет, что Дырсин пробыл в стране ГУЛаг, умерли два их ребёнка, стала костлявой старухой жена, — об эту пору вспомнили, что он — инженер, привезли сюда и стали выдавать ему сливочное масло, да ещё сто рублей в месяц он посылал жене.

И вот от жены теперь необъяснимо не было писем. Она могла и умереть.

Майор Мышин сидел, сложив на столе руки. Был свободен от бумаг перед ним стол, закрыта чернильница, сухо перо, и не было никакого (как и никогда не бывало) выражения на его налитом искрасналиловом лице. Лоб его был такой налитой, что ни морщина старости, ни морщина размышления не могли пробиться в его коже. И щёки его были налитые. Лицо Мышина было как у обожжённого глиняного идола с добавлением в глину розовой и фиолетовой красок. А глаза его были профессионально невыразительны, лишены жизни, пусты той особенной надменной пустотой, которая сохраняется у этого разряда при переходе на пенсию.

Никогда такого не случалось! Мышин предложил сесть (Дырсин уже стал перебирать, какую беду он мог нажать и о чём будет протокол). Затем майор помолчал (по инструкции) и, наконец, сказал:

— Вот вы всё жалуетесь. Ходите и жалуетесь. Писем вам нет два месяца.

— Больше трёх, гражданин начальник! — робко напомнил Дырсин.

— Ну три, какая разница? А подумали вы о том, что за человек ваша жена?

Мышин говорил неторопливо, ясно выговаривая слова и делая приличные остановки между фразами.

— Что за человек ваша жена. А?

— Я... не понимаю... — пролепетал Дырсин.

— Ну, чего не понимать? Политическое лицо её — какое?

Дырсин побледнел. Не ко всему ещё, оказывается, он притерпелся и приготовился. Что-то написала жена в письме, и теперь её, накануне его освобождения...

Он про себя тайно помолился за жену. (Он научился молиться в лагере.)

— Она — нытик, а нытики нам не нужны, — твёрдо разъяснял майор. — И какая-то странная у неё слепота: она не замечает хорошего в нашей жизни, а выпячивает одно плохое.

— Ради Бога! Что с ней случилось?! — болтая головой, воскликнул умоляюще Дырсин.

— С ней? — ещё с большими паузами говорил Мышин. — С ней? Ничего. — (Дырсин выдохнул.) — Пока.

Очень не торопясь, он вынул из ящика письмо и подал его Дырсину.

— Благодарю вас! — задыхаясь, сказал Дырсин. — Можно идти?

— Нет. Прочтите здесь. Потому что такого письма я вам дать в общепитие не могу. Что будут думать заключённые о воле по таким письмам? Читайте.

И застыл лиловым истуканом, готовый на все тяготы своей службы.

Дырсин вынул лист из конверта. Ему незаметно было, но посторонний глаз письмо неприятно поражало, как бы заключая в себе образ написавшей его женщины: оно было на бумаге корявой, почти обёрточной, и ни одна строка с края до края листа не проходила ровно, но все строки прогибались и безвольно падали направо вниз, вниз. Письмо было помечено 18 сентября:

«Дорогой Ваня! Села писать, а сама спать хочу, не могу. Прихожу с работы и сразу на огород, копаем с Манюшкой картошку. Уродила мелкая. В отпуск я никуда не ездила, не в чем было, вся оборвалась. Хотела денег скопить, да к тебе поехать — ничего не выходит. Ника тогда к тебе ездила, ей сказали — такого здесь нету, а мать и отец её ругали — зачем поехала, теперь мол и тебя на заметку взяли, будут следить. Вообще мы с ними в отношениях натянутых, а с Л. В. они совсем даже не разговаривают.

Живём мы плохо. Бабушка, ведь, третий год лежит, не встаёт, вся высохла, умирать не умирает и не выздоравливает, всех нас замучила. Тут от бабушки вонь ужасная, а тут постоянно идут ссоры, с Л. В. я не разговариваю, Манюшка совсем разошлась с мужем, здоровье её плохое, дети её не слушаются, как приходим с работы, то ужас, висят одни проклятья, куда убежать, когда это кончится?

Ну, целую тебя крепко. Будь здоров».

И даже не было подписи, или слова «твоя».

Терпеливо дождавшись, пока Дырсин прочтёт и перечтёт это письмо, майор Мышин пошевелил белыми бровями и фиолетовыми губами и сказал:

— Я не отдал вам этого письма, когда оно пришло. Я понимал, что это минутное настроение, а вам надо работать бодро. Я ждал, что она пришлёт хорошее письмо. Но вот какое она прислала в прошлом месяце.

Дырсин безмолвно вскинулся на майора — но даже упрека не выражало, а только боль, его нескладное лицо. Он принял и вздрагивающими пальцами развернул второй распечатанный конверт и достал письмо с такими же перешибленными, заблудившимися строчками, в этот раз на листе из тетради.

«30 октября.

Дорогой Ваня! Ты обижаешься, что я редко пишу, а я с работы прихожу поздно и почти каждый день иду за палками в лес, а там вечер, я так устаю, что прямо валюсь, ночь сплю плохо, не даёт бабушка. Встаю рано, в пять утра, а к восьми должна быть на работе. Ещё, слава Богу, осень теплая, а вот зима нагрянет! Угля на складе не добьёшься, только начальству или по блату. Недавно вязанка свалилась со

спины, ташу её прямо по земле за собой, уж нет сил поднять, и думаю: «Старушка, везущая хворосту воз!» Я в паху нажила грыжу от тяжести. Ника приезжала на каникулы, она стала интересная, к нам даже не зашла. Я не могу без боли вспомнить про тебя. Мне не на кого надеяться. Пока силы есть, буду работать, а только боюсь, не слечь бы и мне, как бабушка. У бабушки совсем отнялись ноги, она распухла, не может ни лечь сама, ни встать. А в больницу таких тяжёлых не берут, им невыгодно. Приходится мне и Л. В. её каждый раз поднимать, она под себя ходит, у нас вонь ужасная, это не жизнь, а каторга. Конечно, она не виновата, но нет сил больше терпеть. Несмотря на твои советы не ругаться, мы ругаемся каждый день, от Л. В. только и слышишь сволочь да стерва. А Манюшка на своих детей. Неужели б и наши такие выросли? Знаешь, я часто рада, что их уже нет. Валерик в этом году поступил в школу, ему всего нужно много, а денег нет. Правда, с Павла алименты Манюшке платят, по суду. Ну, пока писать нечего. Будь здоров. Целую тебя.

Хоть на праздниках бы отоспалась — так на демонстрацию переться...»

Над этим письмом Дырсин замер. Он приложил ладони к лицу, как будто умываться хотел и не умывался.

— Ну? Вы прочли, или что? Вроде, не читаете. Вот, вы человек взрослый. Грамотный. В тюрьме посидели, понимаете, что это за письмо. За такие письма во время войны срока давали. Демонстрация всем — радость, а ей — «переться»? Уголь! Уголь — не начальству, а всем гражданам, но в порядке очереди, конечно. В общем я и этого письма вам не знал, давать ли, нет — но пришлось третье, опять такое же. Я подумал-подумал — надо это дело кончать. Вы сами должны это прекратить. Напишите ей такое, знаете, в оптимистическом тоне, бодрое, поддержите женщину. Разъясните, что не надо жаловаться, что всё наладится. Вон, там разбогатели, наследство получили. Читайте.

Письма шли по системе, хронологически. Третье было от 8 декабря.

«Дорогой Ваня! Сообщаю тебе горестную новость: 26 ноября 1949 года в 12 часов пять минут дня умерла бабушка. Умерла, а у нас ни копейки, спасибо Миша дал 200 руб., всё обошлось дёшево, но, конечно, похороны бедные, ни попа, ни музыки, просто на телеге гроб отвезли на кладбище и свалили в яму. Теперь в доме стало немного потише, но пустота какая-то. Я сама болею, ночью пот страшный, даже подушка и простыня мокрые. Мне предсказывала цыганка, что я умру зимой, и я рада избавиться от такой жизни. У Л. В., наверно, туберкулёз, она кашляет и даже горлом идёт кровь, как придёт с работы — так в ругань, злая как ведьма. Она и Манюшка меня изводят. Я какая-то несчастливая — вот ещё зуба четыре испортилось, а два выпало, нужно бы вставить, но тоже денег нет, да и в очереди сидеть.

Твоя зарплата за три месяца триста рублей пришла очень вовремя, уж мы замерзали, очередь на складе подошла (была 4576-я) — а дают одну пыль, ну зачем её брать? К твоим триста Манюшка своих двести добавила, заплатили от себя шофёру, уж он привёз крупного угля. А картошки до весны не хватит — с двух огородов, представь, и ничего не нарыли, дождей не было, неурожай.

С детьми постоянные скандалы. Валерий получает двойки и колы, после школы шляется неизвестно где. Манюшку директор вызывал, что же мол вы за мать, что не можете

справиться с детьми. А Женьке, тому шесть лет, а оба уже ругаются матом, одним словом шпана. Я все деньги отдаю на них, а Валерий недавно меня обругал сукой, и это приходится выслушивать от какой-то дряни мальчишки, что же вырастут? Нам в мае месяце придётся вводится в наследство, говорят, это будет стоить две тысячи, а где их брать? Елена с Мишей затевают суд, хотят отнять у Л. В. комнату. Бабушка при жизни, сколько раз ей говорили, не хотела распределить, кому что. Миша с Еленой тоже болеют.

А я тебе осенью писала, да по-моему даже два раза, неужели ты не получаешь? Где ж они пропадают?

Посылаю тебе марочку 40 коп. Ну, что там слышно, освободят тебя или нет?

Очень красивая посуда продаётся в магазине, алюминиевая, кастрюльки, миски.

Крепко тебя целую. Будь здоров».

Мокрое пятнышко расплылось на бумаге, распуская в себе чернила.

Опять нельзя было понять — Дырсин всё ещё читает или уже кончил.

— Так вот, — спросил Мышин, — вам ясно?

Дырсин не шелохнулся.

— Напишите ответ. Бодрый ответ. Разрешаю — свыше четырёх страниц. Вы как-то писали ей, чтоб она в бога верила. Да уж лучше пусть в бога, что ли... А то что ж это?.. Куда это?.. Успокойте её, что скоро вернётесь. Что будете зарплату большую получать.

— Но разве меня отпустят домой? Не сошлют?

— Это там как начальству нужно будет. А жену поддержать — ваша обязанность. Всё-таки, ваш друг жизни. — Майор помолчал. — Или, может, вам теперь молоденькую хочется? — сочувственно предположил он.

Он не сидел бы так спокойно, если бы знал, что в коридоре, изводясь от нетерпения к нему попасть, перетаптывается его любимый осведомитель Сирромаха.

83

В те редкие минуты, когда Артур Сирромаха не занят был борьбой за жизнь, не делал усилий нравиться начальству или работать, когда он расслаблял свою постоянную напряженность леопарда, — он оказывался вялый молодой человек со стройной впрочем фигурой, с лицом артиста, утомлённого ангажементом, с неопределимыми серо-мутно-голубыми глазами, как бы овлажнёнными печалью.

Два человека в запальчивости уже обозвали Сирромаху в лицо стукачом — и обоих этапировали вскоре. Больше ему не повторяли этого вслух. Его боялись. Ведь на очную ставку с доносчиком не вызывают. Может быть, зэк обвинён в подготовке побега? террора? восстания? — он этого не знает, ему велят собирать вещи. Ссылают ли его просто в лагерь? или везут в следственную тюрьму?

Такова человеческая природа, и её хорошо используют тираны и тюремщики: пока человек ещё мог бы разоблачать предателей или звать толпу к мятежу, или смертью своей добыть спасение другим — в нём не убита надежда, он ещё верит в благополучный исход, он ещё цепляется за жалкие остатки благ — и потому молчалив, покорен. Когда же он схвачен, низвергнут, когда терять ему больше нечего, и он способен на подвиг — только каменная коробочка одиночки готова принять на себя его позднюю ярость. Или дыхание объявленной казни уже делает его равнодушным к земным делам.

Не обличив прямо, не поймав на доносе, но и не сомневаясь, что он стукач — одни Сирромаху избегали, иные считали безопаснее с ним

дружить, играть в волейбол, говорить «о бабах». Так жили и с другими стукачами. Так — мирно выглядела жизнь шарашки, где шла подземная смертельная война.

Но Артур мог говорить вовсе не только о бабах. «Сага о Форсайтах» была из его любимых книг, и он довольно умно рассуждал о ней. (Правда, без затруднения он чередовал Голсуорси с затрёпанными детективами.) У Артура был и музыкальный слух, он любил в музыке испанские и итальянские темы, верно мог насвистывать из Верди, из Россини, а на воле, ощущая неполноту жизни, раз в год заходил и в Консерваторию.

Род Сиромах был дворянский, хотя худой. В начале века один из Сиромах был композитором, другой по уголовному делу сослан на каторгу. Ещё один Сиромаха решительно пристал к революции и служил в ЧК.

Когда Артур достиг совершеннолетия, он по своим склонностям и потребностям почувствовал необходимость иметь постоянные независимые средства. Равномерная копотная жизньёнка с ежедневным корпением «от» и «до», с подсчитыванием два раза в месяц зарплаты, отягощённой вычетами налогов и займов, никак была не по нему. Ходя в кино, он серьёзно примерял к себе всех знаменитых киноартистов, он вполне представлял, как с Диною Дурбин закатился бы в Аргентину.

Конечно, не институт, не образование было путём к такой жизни. Артур нащупывал какую-то другую службу, с лёгким перебрасыванием, с порханияем — и та служба тоже нащупывала его. Так они встретились. Служба эта, хотя и не дала ему всех средств, сколько он хотел, но во время войны избавила от мобилизации, значит — спасла ему жизнь. И пока там дураки кисли в глиняных траншеях, Артур непринуждённо входил в ресторан «Савой» с приятно-гладкими щеками кремового цвета на удлинённом лице. (О, этот момент переступа через ресторанный порог, когда тёплый, с запахами кухни воздух и музыка разом обдают тебя, и ты выбираешь столик!)

Всё пело в Артуре, что он — на верном пути. Его возмущало, что служба эта считалась между людьми — подлой. Это шло от непонимания или от зависти! Эта служба была для талантливых людей, она требовала наблюдательности, памяти, находчивости, умения притворяться, играть — это была артистическая работа. Да, её надо было скрывать, она не существовала без тайны — но лишь по её технологическому принципу, ну, как требуется защитное стекло электросварщику. Иначе Артур ни за что бы не таился — этически в этой работе не было ничего позорного!

Однажды, не уместясь в своём бюджете, Артур примкнул к компании, польстившейся на государственное имущество. Его посадили. Артур ничуть не обиделся: сам виноват, не попадайся. С первых же дней за колючей проволокой он естественно ощутил себя на прежней службе, само пребывание здесь было лишь новой формой её.

Не оставили его и оперуполномоченные: он не послан был на лесоповал, ни в шахты, а устроен при Культурно-Воспитательной Части. Это был единственный в лагере огонёк, единственный уголок, куда можно было на полчаса зайти перед отбоем и почувствовать себя человеком: перелистать газету, взять в руки гитару, вспомнить стихи или свою прежнюю неправдоподобную жизнь. Лагерные Укропы Помидоровичи (как звали воры неисправимых интеллигентов) сюда тянулись — и очень у места был тут Артур с его артистической душой, понимающими глазами, столичными воспоминаниями и умением скользя, скользя поговорить о чём угодно.

И так Артур быстро оформил несколько одиночных агитаторов; одну антисоветски-настроенную группу; два побега, ещё не подготовившихся, но уже якобы задуманных; и лагпунктовское дело врачей, якобы затягивавших с целью саботажа лечение заключённых — то

есть, дававших им отдыхать в больнице. Все эти кролики получили вторые сроки, Артуру же по линии Третьего Отдела сброшено было два года.

Попавши в Марфино, Артур и здесь не пренебрегал своей проверенной службой. Он стал любимцем и душой обоих майоров-кумовей и самым грозным доносчиком на шарашке.

Но, пользуясь его доносами, майоры не открывали ему своих секретов, и теперь Сиромаха не знал, кому из двоих важнее знать новость о Доронине, чьим стукачом был Доронин.

Много писано, что люди в массе своей удивляют неблагодарностью и неверностью. Но ведь бывает и иначе! Не одному, не трём — двадцати с лишним экам с безумной неосторожностью, с расточительным безрассудством доверил Руська Доронин свой замысел двойника. Каждый из узнавших рассказал ещё нескольким, тайна Доронина стала достоянием почти половины жителей шарашки, о ней едва что не говорили в комнатах вслух, — и хотя через пятого, через шестого жил на шарашке стукач — ни один из них ничего не узнал, а может быть не донёс, узнавши! И самый наблюдательный, самый чутконосый премьер-стукач Артур Сиромаха тоже ничего не знал до сегодняшнего дня!

Теперь была задета и его честь осведомителя — пусть оперы в своих кабинетах прохлопали, но он?? И прямая его безопасность — так же точно, как и других, могли поймать с переводом и его самого. Измена Доронина была для Сиромахи выстрелом чуть-чуть мимо головы. Доронин оказался проворный враг — так и ударить его надо было проворно! (Впрочем, ещё не осознавая размеров беды, Артур подумал, что Доронин раскрылся только-только, сегодня или вчера.)

Но Сиромаха не мог прорваться в кабинеты! Нельзя было терять голову, ломиться в запертую дверь Шикина или даже слишком часто подбегать к его двери. А к Мышину стояла очередь! Её разогнали по трёхчасовому звонку, но пока самые надоедливые и упрямые эки препирались в коридоре штаба с дежурным (Сиромаха со страдающим видом, держась за живот, пришёл к фельдшеру и стоял в ожидании, пока группа разойдётся) — уже к Мышину был вызван Дырсин. По расчётам Сиромахи Дырсину нечего было задерживаться у кума — а он там сидел, и сидел, и сидел. Риска заслужить неудовольствие Мамурина своей часовой отлучкой из Семёрки, где стоял чад от паяльников, канифоли и проектов, Сиромаха тщетно ждал, когда же Мышин отпустит Дырсина.

Но и перед простыми надзирателями, глазевшими в коридоре, нельзя было расшифровывать себя! Потеряв терпение, Сиромаха ходил опять на третий этаж к Шикину, возвращался в коридор штаба к Мышину, опять поднимался к Шикину. В последний раз в тёмном тамбуре у двери Шикина ему повезло: сквозь дверь он услышал неповторимый скрипучий голос дворника, единственный такой на шарашке.

Тогда он сразу же условно постучал. Дверь отперлась — и Шикин показался в нешироком растворе двери.

— Очень срочно! — шёпотом сказал Сиромаха.

— Минуту, — ответил Шикин.

И лёгкой походкой, чтоб не встретиться с выпускаемым дворником, Сиромаха ушёл далеко по длинному коридору, тотчас деловито вернулся и без стука толкнул дверь к Шикину.

После недельного следствия по «Делу о токарном станке» суть происшествия всё ещё оставалась майору Шикину загадочной. Установлено было только, что станок этот с открытым ступенчатым шкивом, ручной подачей задней бабки, а подачей супорта как ручной,

так и от главного привода, станок, выпущенный отечественной промышленностью в разгар первой мировой войны, в 1916 году, был по приказу Яконова отъят от электромотора и передан в таком виде из лаборатории № 3 в механические мастерские. При этом, так как стороны не могли договориться о транспортировке, приказано было силами лаборатории спустить станок в подвальный коридор, а оттуда силами мастерских ручным волоком поднять по трапу и через двор доставить в здание мастерских (был путь короче, без спуска станка в подвал, но тогда пришлось бы выпускать эзков на парадный двор, просматриваемый с шоссе и из парка, что было, конечно, недопустимо с точки зрения бдительности).

Разумеется, теперь, когда непоправимое уже произошло, Шикин внутренне мог упрекнуть и самого себя: не придав значения этой важнейшей производственной операции, он не проследил за нею лично. Но ведь в исторической перспективе ошибки деятелей всегда видней — а поди их не сделай!

Сложилось так, что лаборатория № 3, имеющая в своём составе одного начальника, одного мужчину, одного инвалида и одну девушку, собственными силами перетащить станка не могла. И поэтому, совершенно безответственно, из разных комнат был собран случайный народ в количестве десяти заключённых (даже списка их никто не составил! — и майору Шикину стоило немало труда уже потом, с полумесячным опозданием, сличая показания, восстановить полный список подозреваемых) — и эти десять эзков спустили-таки тяжёлый станок по лестнице из бельэтажа в подвал. Однако мастерские (по каким-то техническим соображениям их начальник не гнался за этим станком) не только вовремя не выставили рабочей силы на смычку, но даже не прислали к месту встречи контролёра-приёмщика. Десять же мобилизованных эзков, стащив станок в подвал, никем не руководимые, разошлись. А станок, загораживая проход, ещё несколько дней стоял в подвальном коридоре (сам же Шикин и спотыкался об него). Наконец, пришли за ним люди из мехмастерских, но увидели трещину в станине, придрались к этому и ещё три дня не брали станка, пока их всё-таки не заставили.

Вот эта-то роковая трещина в станине и была основой к тому, чтобы завести «Дело». Может быть и не из-за этой трещины станок до сих пор не работал (Шикин слышал и такое мнение), но значение трещины было гораздо шире, чем сама трещина. Трещина означала, что в институте орудуют ещё не разоблачённые враждебные силы. Трещина означала также, что руководство института слепо-доверчиво и преступно-халатно. При удачном проведении следственного дела, вскрытии преступника и истинных мотивов преступления, можно было не только кое-кого наказать, а кое-кого предупредить, но и вокруг этой трещины провести большую воспитательную работу с коллективом. Наконец, профессиональная честь майора Шикина требовала разобраться в этом зловещем клубке!

Но это было не легко. Время было упущено. Среди арестантов — переносчиков станка успела возникнуть круговая порука, преступный сговор. Ни один вольный (ужасное упущение!) не присутствовал при переноске. Среди десяти носильщиков попался только один осведомитель, и то затруханный, самым большим достижением которого был донос о простыне, разрезанной на манишки. И единственно, в чём он помог, это восстановить полный список десяти человек. В остальном же все десять эзков, нагло рассчитывая на свою безнаказанность, утверждали, что они донесли станок до подвала в целости, по лестнице станиюю не полозили, об ступеньки её не били. И ещё как-то так получилось по их показаниям, что именно за то место, где потом возникла трещина, за станину под задней бабкой, никто из них не держался, а все держались за станину под шкивами и шпинделем. В погоне за истиной майор даже несколько раз рисовал

схему станка и расстановку носильщиков вокруг него. Но легче было в ходе допросов овладеть токарным мастерством, чем найти виновника трещины. Единственно, кого можно было обвинить хоть и не во вредительстве, но в намерении вредительства,— это инженера Потапова. Разозлясь от трёхчасового допроса, он проговорился:

— Да если б я вам это корыто хотел испортить, так я просто бы песку горсть сыпанул в подшипники, и всё! Какой смысл станину колотить?!

Эту фразу матёрого диверсанта Шикин сейчас же занёс в протокол, но Потапов отказался подписать.

Трудность нынешнего расследования залегала именно в том, что в руках Шикина не было обычных средств добывания истины: одинок, карцера, мордобоя, перевода на карцерный паёк, ночных допросов и даже элементарного разделения подследственных по разным камерам: здесь надо было, чтоб они продолжали полноценно работать, а для того нормально питаться и спать.

И всё-таки уже в субботу Шикину удалось вырвать у одного ээка признание, что когда они спускались по последним ступенькам и загоразивали узкую дверь,— навстречу им попался дворник Спиридон и с криком: «Стой, братки, поднесём!» — тоже взялся одиннадцатым и донёс до места. И из схемы никак иначе не получалось, что взялся он за станину под задней бабкой.

Эту новую богатую нить Шикин и решил разматывать сегодня, в понедельник, пренебрегши двумя поступившими с утра доносами о суде над князем Игорем. Перед самым обедом он вызвал к себе рыжеволосого дворника — и тот пришёл, как был, со двора в бушлате, перепоясанном драным брезентовым поясом, снял свою большую шапку и виновато мял её в руках, подобно классическому мужику, пришедшему просить у барина землицы. При этом он не сходил с резинового коврика, чтоб не наследить на полу. Неодобрительно покосясь на его непросохшие ботинки и строго поглядывая на него самого, Шикин так и оставил его стоять, а сам сидел в кресле и молча просматривал разные бумаги. Время от времени, словно по прочтённому поражённому преступностью Егорова, он вскидывал на него изумлённый взгляд как на кровожадного зверя, наконец-то попавшего в клетку (всё это полагалось по их науке, чтобы разрушительно подействовать на психику арестанта). Так прошло в запертом кабинете в ненарушимом молчании полчаса, явственно прозвенел и обеденный звонок, по которому Спиридон надеялся получить письмо из дому — но Шикин даже и слыхом не слышал того звонка: он молча всё перекалывал толстые папки, что-то доставал из одних ящичков, клал в другие, хмуро перечитывал разные бумаги и опять с изумлением коротко взглядывал на угнетённого, поникшего, виноватого Спиридона.

Последняя вода с ботинок Спиридона, наконец, сошла на коврик, ботинки обсохли, и Шикин сказал:

— А ну, подойди ближе! — (Спиридон подошёл.) — Стой. Вот это го — знаешь, нет? — И он протянул ему из своих рук фотографию какого-то парня в немецком мундире без шапки.

Спиридон изогнулся, сощурился, приглядываясь, и извинился:

— Я, вишь, гражданин майор, слеповат маненько. Дай я её облязю.

Шикин разрешил. Всё так же в одной руке держа свою мохнатую шапку, Спиридон другой рукой обхватил карточку кругом всеми пятью пальцами за рёбра и, по-разному наклоняя её к свету окна, стал водить мимо левого глаза, рассматривая как бы по частям.

— Не,— облегчённо вздохнул он.— Не видал.

Шикин принял фотокарточку назад.

— Очень плохо, Егоров,— сокрущённо сказал он.— От заpiresательства будет только хуже для вас. Ну, что ж, садитесь,— он ука-

зал на стул подальше.— Разговор у нас долгий, на ногах не простоишь.

И опять смолк, углубясь в бумаги.

Спиридон, пятась, отошёл к стулу, сел. Шапку сперва положил на соседний стул, но покосился на чистоту этого мягкого, обтянутого кожей стула и переложил шапку на колени. Круглую голову свою он вобрал в плечи, наклонил вперёд и всем видом своим выражал раскаяние и покорность.

Про себя же он совсем спокойно думал:

«Ах ты, змей! Ах ты, собака! Когда ж я теперь письмо получу? Да не у тебя ль оно?»

Спиридону, выдавшему в своей жизни и два следствия и одно переследствие, и тысячи арестантов, прошедших следствие, игра Шикина была яснее стёклышка. Однако, он знал, что надо притворяться, будто веришь.

— В общем, пришли на вас новые материалы,— тяжело вздохнул Шикин.— В Германии-то вы, оказывается, штучки откá-а-лывали!..

— Может, то ещё не я! — успокоил его Спиридон.— Нас-то, Егоровых, поверите, гражданин майор, в Германии было как мух. Даже, говорят, генерал один был Егоров!

— Ну, как не вы! как не вы! Спиридон Данилович, пожалуйста,— ткнул Шикин пальцем в папку.— И год рождения, всё.

— И год рождения? Тогда не я! — убеждённо говорил Спиридон.— Я-то ведь себе у немцев для спокойя три года прибрёживал.

— Да! — вспомнил Шикин, и лицо его просветлело, и с голоса спала обременительная необходимость вести следствие, и он отодвинул все бумаги.— Пока не забыл. Ты, Егоров, дней десять назад, помнишь, токарный станок перетаскивал? С лестницы в подвал.

— Ну-ну,— сказал Спиридон.

— Так вот, трахнули вы его где? — ещё на лестнице или уже в коридоре?

— Кого? — удивился Спиридон.— Мы не дрались.

— Станок! — кого!

— Да Бог с вами, гражданин майор,— зачем же станок бить? Что он, кому досадил или что?

— Вот я и сам удивляюсь — зачем разбили? Может — обронили?

— Что вы, обронили! Прямо за лапки, с осторожкою, как ребёнка малого.

— Да ты-то сам — где держал?

— Я? Отсюдова, значит.

— Откуда?

— Ну, с моей стороны.

— Ну, ты брал — под заднюю бабку или под шпindelъ?

— Гражданин майор, я этих бабков не понимаю, я вам так покажу! — Он хлопнул шапку на соседний стул, встал и повернулся, как будто втаскивая станок через дверь в кабинет.— Я, значит, спутёвись, так? Задом. А их, значит, двое в двери застряли — ну?

— Кто — двое?

— Да шут их знает, я с ними детей не крестил. У меня аж дух загорелся. Стой! — кричу,— дай перехвачу! А тюлька-то во!

— Какая тюлька?

— Ну, что не понимаешь? — через плечо, уже сердясь, спросил Спиридон.— Ну, несли которую.

— Станок, что ли?

— Ну, станок! Я — враз и перехвати! Вот так.— Он показал и напрыгся, приседая.— Тут один протискался сбочь, другой пропихнулся, а втрою — чего не удержать? фу-у! — Он распрямился.— Да у нас по колхозной поре не такую тяжёлъ таскают. Шесть баб на твой станок — золотое дело, версту пронесут. Где той станок? — пойдём, сейчас за потеху подыдем!

— Значит, не уроняли? — угрожающе спросил майор.

— Не ж, говорю!

— Так кто разбил?

— Всё ж таки ухайдакали? — поразился и Спиридон. — Да-а-а... — Перестав показывать, как несли, он снова сел на свой стул и был весь внимание.

— С места-то его взяли — целый был?

— Вот, чего не видал — не скажу, могёт и поломанный.

— Ну, а когда ставили — какой был?

— Вот тут уж — целый!

— Да трещина в станине была?

— Никакой трещины не было, — убеждённо ответил Спиридон.

— Да как же ты разглядел, чёрт слепой? Ты же — слепой?

— Я, гражданин майор, по бумажному делу слепой, верно, — а по хозяйству всё вижу. Вы вот, и другие граждане офицеры, через двор проходя, окурочки-то разбрасываете, а я всё чисто согребаю, хоть со снега белого — а всё согребаю. У коменданта — спросите.

— Так что вы? Станок поставили и специально осматривали?

— А как же? После работы перекур у нас был, не без этого.

Похлопали станочек.

— Похлопали? Чем?

— Ну, ладошкой так вот, по боку, как коня горячего. Один инженер ещё сказал: «Хорош станочек! Мой дед токарем был — на таком работал».

Шикин вздохнул и взял чистый лист бумаги.

— Очень плохо, что ты и тут не сознаёшься, Егоров. Будем писать протокол. Ясно, что станок разбил ты. Если бы не ты — ты бы указал виновника.

Он сказал это голосом уверенным, но внутреннюю уверенность потерял. Хотя господин положения был он, и допрос вёл он, а дворник отвечал со всей готовностью и с большими подробностями, но зря пропали первые следовательские часы, и долгое молчание, и фотографии, и игра голоса, и оживлённый разговор о станке, — этот рыжий арестант, с лица которого не сходила услужливая улыбка, а плечи так и оставались пригнутыми, — если сразу не поддался, то теперь — тем более.

Про себя Спиридон, ещё когда говорил о генерале Егорове, уже прекрасно догадался, что вызвали его не из-за какой Германии, что фотография была тухта, кум темнил, а вызвал именно из-за токарного станка — вдвиге бы было, если б его не вызвали — тех десяти-неделю полную трясали, как груш. И целую жизнь привыкнув обманывать власти, он и сейчас без труда вступил в эту горькую забаву. Но все эти пустые разговоры ему были как тёркой по коже. Ему то досаждало, что письмо опять откладывалось. И ещё: хоть в кабинете Шикина было сидеть тепло и сухо, но работу во дворе никто не делал за Спиридона, и она вся громоздилась на завтра.

Такшло время, давно отзвенел звонок с перерыва, а Шикин велел Спиридону расписаться об ответственности по статье 95-й за дачу ложных показаний и записывал вопросы и, как мог, искажал в записи ответы Спиридона.

Тогда-то раздался чёткий стук в дверь.

Выпроводив Егорова, надоевшего ему своей бестолковостью, Шикин встретил змеистого деловитого Сиромаха, умевшего всегда в два слова высказать главное.

Сиромаха вошёл мягкими быстрыми шагами. Принесенная им потрясающая новость и особое положение Сиромахи среди стукачей шарашки равняла его с майором. Он закрыл за собой дверь и, не давая Шикину взяться за ключ, драматически выставил руку. Он играл. Вятно, но так тихо, что никак его нельзя было подслушать сквозь дверь, сообщил:

— Доронин ходит-показывает перевод на сто сорок семь рублей. Провалил Любимичева, Кагана, ещё человек пять. Собрались кучкой и ловили во дворе. Доронин — ваш?..

Шикин схватился за воротник и растянул его, высвобождая шею. Глаза его как будто выдавились из глубины. Толстая шея побурела. Он бросился к телефону. Его лицо, всегда превосходяще самодовольное, сейчас выражало безумие.

Сиромаха не шагами, но как бы мягкими прыжками опередил Шикина и не дал снять телефонной трубки.

— Товарищ майор! — напомнил он (как арестант он не смел сказать «товарищ», но должен был сказать, как друг!), — не прямо! Не дайте ему приготовиться!

Это была элементарная тюремная истина! — но даже её пришлось напомнить!

Отступая спиной и лавируя, как будто видя мебель позади себя, Сиромаха отошёл к двери. Он не спускал глаз с майора.

Шикин выпил воды.

— Я — пойду, товарищ майор? — почти не спросил Сиромаха. — Что узнаю ещё — к вечеру или утром.

В растарашенные глаза Шикина медленно возвращался смысл.

— Девять грамм ему, гаду! — с сипением вырвались его первые слова. — Оформлю!

Сиромаха беззвучно вышел, как из комнаты больного. Он сделал то, что полагалось по его убеждениям, и не спешил просить о награде.

Он не совсем был уверен, что Шикин останется майором МГБ.

Не только на шарашке Марфино, но во всей истории Органов это был случай чрезвычайный. Кролики имели право умереть, но не имели права бороться.

Не от самого Шикина, а через дежурного по институту, чей стол стоял в коридоре, было позвонено начальнику Вакуумной лаборатории и велено Доронину немедленно явиться к инженер-полковнику Яконову.

Хотя было четыре часа дня, но в Вакуумной, всегда тёмной, давно горел верхний свет. Начальник Вакуумной отсутствовал, и трубку взяла Клара. Она позже обычного, только сейчас, пришла на вечернее дежурство, разговаривала с Тamarой, а на Руську не посмотрела ни разу, хотя Руська не спускал с неё пламенного взгляда. Трубку телефона она взяла рукою в ещё не снятой алой перчатке, отвечала в трубку потупясь, а Руська стал за своим насосом, в трёх шагах от неё, и впился в её лицо. Он думал, как сегодня вечером, когда все уйдут на ужин, охватит эту голову и будет целовать. От близости Клары он терял ощущение окружающего.

Она подняла глаза (не искала его, чувствовала, что он здесь!) и сказала:

— Ростислав Вадимович! Вас Антон Николаевич вызывает срочно.

Их видели и слышали, и нельзя было сказать иначе, — но глаза её были уже не те глаза! Их подменили! Какой-то безжизненный туск напыль на них...

Подчиняясь механически и не думая, что бы мог значить неожиданный вызов к инженер-полковнику, — Руська шёл и думал только о её выражении. Ещё из дверей он обернулся на неё — увидел, что она смотрела ему вслед и тотчас отвела глаза.

Неверные глаза. Испуганно отвела.

Что могло случиться с ней?..

Думая только о ней, он поднялся к дежурному, совсем покинув свою обычную настороженность, совсем забыв готовиться к неожиданным вопросам, к нападениям, как того требовала арестантская хитрость, — а дежурный, преградив ему дверь Яконова, показал в углубление чёрного тамбура на дверь майора Шикина.

Если бы не совет Сирوماхи, если бы Шикин позвонил в Вакуумную сам,— Руська бы сразу ждал худшего, он обежал бы десяток друзей, предупредил,— наконец он добился бы поговорить с Кларой, узнать, что с ней, увести с собой или восторженную веру в неё или самому освободиться от верности,— а сейчас, перед дверью кума, поздно посетила его догадка. Перед дежурным по институту уже нельзя было колебаться, возвращаться,— чтобы не вызвать подозрения, если его ещё нет,— и всё-таки Руська повернулся сбегать по лестнице — но отнизу уже поднимался вызванный по телефону тюремный дежурный лейтенант Жвакун, бывший палач.

И Руська вошёл к Шикину.

Он вошёл, за несколько шагов приструня себя, преобразясь лицом. Тренировкой двух лет жизни под розыском, особой авантюрной гениальностью своей натуры,— он безо всякой инерции сломил всю бурю в себе, стремительно перенёсся в круг новых мыслей и опасностей,— и с выражением мальчишеской ясности, беззаботной готовности доложил, входя:

— Разрешите? Я вас слушаю, гражданин майор.

Шикин странно сидел, грудью привалясь к столу, одну руку свесивши и как плетью помахивая ею. Он встал навстречу Доронину и этой рукой-плетью снизу вверх ударил его по лицу.

И замахнулся другой! — но Доронин отбежал к двери, стал в оборону. Из рта его сочилась кровь, взбиток белых волос свалился к глазу.

Не дотягиваясь теперь до его лица, коротенький оскаленный Шикин стоял против него и угрожал, брызгая слюной:

— Ах ты, сволочь! Продаёшь? Прощайся с жизнью, Иуда! Расстреляем, как собаку! В подвале расстреляем.

Уже два с половиной года, как в гуманнейшей из стран была навечно отменена смертная казнь. Но ни майор, ни его разоблачённый осведомитель не строили иллюзий: с неудобным человеком что ж было делать, если его не расстрелять?

Руська выглядел дико, лохмато, кровь стекала по подбородку с губы, пухнувшей на глазах.

Однако он выпрямился и нагло ответил:

— Насчёт расстрелять — это надо подумать, гражданин майор. Посажу я и вас. Четыре месяца над вами все куры смеются — а вы зарплату получаете? Снимут погончики! Насчёт расстрелять — это подумать надо...

85

Наша способность к подвигу, то есть к поступку, чрезвычайному для сил единичного человека, отчасти создаётся нашею волей, отчасти же, видимо, уже при рождении заложена или не заложена в нас. Тяжелее всего даётся нам подвиг, если он добыт неподготовленным усилием нашей воли. Легче — если был последствием усилия многолетнего, равномерно-направленного. И с благословенной лёгкостью, если подвиг был нам прирождён: тогда он происходит просто, как вдох и выдох.

Так жил Руська Доронин под всесоюзным розыском — с простотой и детской улыбкой. В его кровь, должно быть, от рождения уже был впрыснут пульс риска, жар авантюры.

Но для чистенького благополучного Иннокентия недоступно было бы — скрываться под чужим именем, метаться по стране. Ему даже в голову не могло прийти, что он может что-либо противопоставить своему аресту, если арест назначен.

Он звонил в посольство — порывом, плохо обдуманном. Он узнал внезапно — и было поздно откладывать на те несколько дней, когда он сам поедет в Нью-Йорк. Он звонил в одержимости, хотя

знал, что все телефоны прослушиваются, и их только несколько человек в министерстве, кто знает секрет Георгия Коваля.

Он просто бросился в пропасть, потому что осветилось ему, как это невыносимо, что так бессовестно уворуют бомбу — и начнут ею трясти через год. Он бросился в пропасть быстрым подхватом чувства, но всё же он не представлял ударяющего мозжащего каменного дна. Он может быть таил ещё где-то дерзкую надежду выпорхнуть, уйти от ответа, перелететь за океан, отдышаться, рассказывать корреспондентам.

Но ещё и дна не достигнув, он упал в опустошение, в изнеможение духа. Оборвался натяг его короткой решимости — и страх разорвал и выжигал его.

Это особенно сказалось с утра понедельника, когда надо было через силу опять начинать жить, ехать на работу, с тревогой ловить, не изменились ли взгляды и голоса вокруг него, не таят ли они угрозу.

Иннокентий ещё держался, сколько мог, с достоинством, но внутри уже был разрушен, у него отнялись все способности сопротивляться, искать выход, спастись.

Ещё не было одиннадцати утра, когда секретарша, не допустившая Иннокентия к шефу, сказала, что, как она слышала, назначение Володина задержано заместителем министра.

Новость эта, хотя и не до конца проверенная, так сотрясла Иннокентия, что он не имел даже сил добиваться приёма и убедиться в истине. Ничто другое не могло задержать уже разрешённый его отъезд! На его назначение в ООН уже была виза Вышинского, место резервировано за Советским Союзом... Значит он раскрыт...

Как-то видя всё потемневшим и плечи чувствуя как бы оттянутыми полными ведрами, он вернулся в свою комнату и только мог сделать одно: запереть дверь на ключ и ключ вынуть (чтоб думали — он вышел). Он мог сделать так потому, что сосед, сидящий за вторым столом, не вернулся из командировки.

Всё внутри Иннокентия противно обмякло. Он ждал стука. Было страшно, раздирающе страшно, что сейчас войдут и арестуют. Мелькала мысль — не открывать дверей. Пусть ломают.

Или повеситься до того, как войдут.

Или выпрыгнуть из окна. С третьего этажа. Прямо на улицу. Две секунды полёта — и всё разорвалось. И погашено сознание.

На столе лежал пухлый отчёт экспертов — задолженность Иннокентия. Прежде чем уезжать, надо сдать проверенным этот отчёт. Но тошно было даже смотреть на него.

В натопленном кабинете казалось холодно, знобко.

Мерзкое внутреннее бессилие! Так и ждать в бездействии своей гибели...

Иннокентий лёг на кожаный диван пластом, ничком. Только так, всей длиной тела, он принял от дивана род поддержки или успокоения.

Мысли мешались в нём.

Неужели это он? он! осмелился звонить в посольство?! И — зачем? Позвоните — офф Кэнеда... А кто такой ви? А откуда я знаю, что ви говорить правду?.. О, самонадеянные американцы! Они дождутся-таки сплошной коллективизации фермеров! Они — заслужили...

Не надо было звонить. Жаль — себя. В тридцать лет кончат жизнь. Может быть в пытках.

Нет, он не жалел, что звонил. Очевидно, так надо было. Будто кто-то вёл его тогда, и не было страшно.

Не то, что не жалел, — а у него не оставалось воли жалеть или не жалеть. Под расслабляющей угрозой он бездыханно лежал, придавленный к дивану, и хотел только, чтобы скорей это всё кончилось, чтобы скорей уж брали его, что ли.

Но счастливым образом никто не стучал, не пробовал потянуть двери. И телефон его не звонил ни разу.

Он забылся. Налезали друг на друга давящие несурзные сновидения, распирала голову, чтоб он проснулся. Он просыпался не освежённый, а в ещё более разбитом и безвольном состоянии, чем засыпал, измученный тем, что его уже несколько раз то пытались арестовать, то арестовывали. Но подняться с дивана, стряхнуть кошмары, даже пошевелиться — не было сил. И снова его затягивала противная сонная немочь. И в последний раз он заснул, наконец, каменно-крепко, — и проснулся уже при оживлении перерыва в коридоре и ощущая, что из его открытого бесчувственного рта насочилось слюны на диван.

Он встал, отперся, сходил умылся. Разносили чай с бутербродами.

Никто не шёл арестовывать. Сотрудники в коридоре, в общей канцелярии встречали его ровно, никто к нему не переменялся.

Впрочем, это ничего и не доказывало. Никто же не мог знать.

Но в обычных взглядах и звуках голоса других людей он почерпнул бодрости. Он попросил девушку принести ему чая погорячей и покрепче и с наслаждением выпил два стакана. Этим ещё подбодрился.

А всё-таки не было сил пробиваться к шефу и узнавать...

Покончить с собой — это была бы простая мера благоразумия, это было просто чувство самосохранения, жалость к самому себе. Но если наверняка знать, что арестуют.

А если нет?

Вдруг позвонил телефон. Иннокентий вздрогнул, сердце его — не сразу, потом — слышно-слышно застучало.

А оказалось — Дотти, её удивительно-музыкальный по телефону голос. Она говорила с вернувшимися правами жены. Спрашивала, как дела, и предлагала вечером сходить куда-нибудь.

И снова Иннокентий ощутил к ней теплоту и благодарность. Плохая — не плохая жена, а ближе всех!

Об отмене своего назначения он не сказал. Но он представил себе, как вечером в театре будет в полной безопасности — ведь не арестуют же прямо при всех в зрительном зале!

— Ну, возьми на что-нибудь весёленькое, — сказал Иннокентий.

— В оперетту, что ли? — спрашивала Дотти. — «Акулина» какая-то. А так нигде ничего нет. В ЦТКА на малой сцене «Закон Ликурга», премьеры, на большой — «Голос Америки». Во МХАТе — «Незабываемый».

— «Закон Ликурга» звучит слишком заманчиво. Красиво называют всегда самые плохие пьесы. Бери уж на «Акулину», ладно. А потом закатимся в ресторан.

— О кэй! о кэй! — смеялась и радовалась Дотти в телефон.

(Всю ночь там пробыть, чтоб дома не нашли! Ведь они приходят ночами!)

Постепенно токи воли возвращались в Иннокентия. Ну, хорошо, допустим, на него есть подозрение. Но ведь Щевронок и Заварзин — те прямо связаны со всеми подробностями, на них подозрение должно упасть ещё раньше. Подозрение — это ещё не доказательство!

Хорошо, допустим — арест угрожает. Но помешать этому — спосов нет. Прятать? Нечего. Так о чём заботиться?

Он уже имел силу прохаживаться и размышлять.

Ну, что ж, даже если арестуют. Может быть не сегодня и даже не на этой неделе. Перестать ли из-за этого жить? Или наоборот, последние дни — наслаждаться ожесточённо?

И почему он так перепугался? Чёрт возьми, так остроумно вчера вечером защищал Эпикура — отчего ж не воспользуется им сам? Там, кажется, есть неглупые мысли.

Заодно думая, что надо просмотреть записные книжки, нет ли в них чего уничтожить, и вспоминая, что в старую книжку, кажется, выписывал когда-то из Эпикура, он стал листать её, отодвинув отчёт экспертов. И нашёл: «Внутренние чувства удовольствия и не-удовольствия суть высшие критерии добра и зла».

Рассеянному уму Иннокентия эта мысль не поддавалась. Он прочёл дальше:

«Следует знать, что бессмертия нет. Бессмертия нет — и поэтому смерть для нас — не зло, она просто нас не касается: пока существуем мы — смерти нет, а когда смерть наступит — нет нас».

А это здорово,— откинулся Иннокентий.— И кто это, кто это совсем недавно говорил то же самое? Ах, это парень-фронтовик вчера на вечере.

Иннокентий представил себе Сад в Афинах, семидесятилетнего смуглого Эпикура в тунике, поучающего с мраморных ступеней — а себя перед ним в современном костюме, как-нибудь по-американски развязно сидящим на тумбе.

«Вера в бессмертие родилась из жажды ненасытных людей, безрассудно пользующихся временем, которое природа отпустила нам. Но мудрый найдёт это время достаточным, чтобы обойти весь круг достижимых наслаждений, а когда наступит пора смерти — насыщенному отойти от стола жизни, освобождая место другим гостям. Для мудрого достаточно одной человеческой жизни, а глупый не будет знать, что ему делать и с вечностью».

Блестяще сказано! Но вот беда: если не природа отгаскивает тебя в семьдесят лет от стола, а МГБ, и — тридцатилетнего?..

«Не должно бояться телесных страданий. Кто знает предел страдания, тот предохранён от страха. Продолжительное страдание — всегда незначительно, сильное — непродолжительно. Мудрый не утратит душевного покоя даже во время пытки. Память вернёт ему его прежние чувственные и духовные удовольствия и, вопреки сегодняшнему телесному страданию, восстановит равновесие души».

Иннокентий стал угрюмо ходить по кабинету.

Да, вот чего он боялся — не смерти совсем. Но что, если арестуют, будут мучить тело.

Эпикур же говорит, что можно победить пытку? О, если бы такая твёрдость!

Но не находил он её в себе.

А умереть? Не жалко бы и умереть, если бы люди узнали, что был такой гражданин мира и спасал их от атомной войны.

Атомная бомба у коммунистов — и планета погибла.

В подземельи застрелят, как собаку, а «дело» запрут за тысячью замков.

Иннокентий запрокинул голову, как птица запрокидывает, что вода через напряжённое горло прошла в грудь.

Да нет, если б о нём объявили — ему не легче было бы, а жутче: мы уже в той темноте, что не отличаем изменников от друзей. Кто князь Курбский? — изменник. Кто Грозный? — родной отец.

Только тот Курбский ушёл от своего Грозного, а Иннокентий не успел.

Если бы объявили — соотечественники с наслаждением побили бы его камнями! Кто бы понял его? — хорошо, если тысяча человек на двести миллионов. Кто там помнит, что отвергли разумный план Баруха: отказаться от атомной бомбы — и американские будут отданы под интернациональный замок? Главное: как посмел он решать за отечество, если это право — только верхнего кресла, и больше ничьё?

Ты не дал украсть бомбы Преобразователю Мира, Кузнецу Счастья? — значит, ты не дал её Родине!

А зачем она — Родине? Зачем она — деревне Рождество? Той

подслеповой карлице? той старухе с задушенным цыплёнком? тому залатанному одноногому мужику?

И кто во всей деревне осудит его за этот телефонный звонок? Никто даже не поймёт, порознь. А сгонят на общее собрание — осудят единогласно...

Им нужны дороги, ткани, доски, стёкла, им верните молоко, хлеб, ещё может быть колокольный звон — но зачем им атомная бомба?

А самое обидное, что своим телефонным звонком Иннокентий, может быть, и не помешал воровству.

Кружевные стрелки бронзовых часов показывали без пяти четыре.

Смеркалось.

86

В сумерках чёрный долгий «ЗИМ», проехав распахнутые для него ворота вахты, ещё надал на асфальтовых извивах марфинского двора, очищенных широкой лопатой Спиридона и оттаявших дочерна, обогнул стоящую у дома яконовскую «победу» и с разлёту, как вкопанный, остановился у парадных каменных входов.

Адъютант генерал-майор выпрыгнул из передней дверцы и живо отворил заднюю. Тучный Фома Осколупов в сизой, тугой для него шинели и каракулевой генеральской папахе вышел, распрямился и — адъютант распахнул перед ним одну и вторую дверь в здание — озабоченно направился вверх. На первой же площадке за старинными светильниками была отгорожена гардеробная. Служительница выбежала оттуда, готовая принять от генерала шинель (и зная, что он её не сдаст). Он шинели не сдал, папахи не снял, а продолжал подниматься по одному из маршей раздвоенной лестницы. Несколько эзков и мелких вольняшек, проходивших в это время по разным местам лестницы, поспешили исчезнуть. Генерал в каракулевой папахе величественно, но с усилием идти быстрее, как того требовали обстоятельства, поднимался. Адъютант, раздевшийся в гардеробной, нагнал его.

— Пойди найди Ройтмана, — сказал ему через плечо Осколупов, — предупреди: через полчаса приду в новую группу за результатами.

С площадки третьего этажа он не свернул к кабинету Яконова, а пошёл в противоположную сторону — к Семёрке. Увидевший его в спину дежурный по объекту «сел» на телефон — искать и предупредить Яконова.

В Семёрке стоял развал. Не надо было быть специалистом (Осколупов им и не был), чтоб понять, что на ходу нет ничего, все системы, после долгих месяцев наладки, теперь распаяны, разорваны и разломаны. Венчание клиппера с вокодером началось с того, что обоих новобратных разнимали по панелям, по блокам, чуть не по конденсаторам. Там и сям возносился дым от канифоли, от папирос, слышалось гудение ручной дрели, деловое переругивание и надрывный крик Мамурина по телефону.

Но и в этом дыму и гуле двое сразу заметили входившего генерал-майора: Любимичев и Сиромаха (входная дверь всегда оставалась в уголке их настороженного зрения). Они были не два отдельных человека, а одна неутомимая жертвенная упряжка, постоянная преданность, быстрота, готовность работать двадцать четыре часа в сутки и выслушивать все соображения начальства. Когда совещались инженеры Семёрки — Любимичев и Сиромаха участвовали в совещаниях как равные. Правда, в суете Семёрки они многого не хваталась.

Заметив Осколупова, оба бросили паяльники на подставки, Сиромаха метнулся предупредить Мамурина, стоя кричавшего в теле-

фон, а Любимичев с простодушием подхватил его полумягкое кресло и на цырлах понёс его навстречу генералу, ловя указания, куда поставить. У другого человека это могло бы выглядеть подхалимством, но у Любимичева — рослого, широкоплечего, с привлекательным открытым лицом, это было благородной услугой молодости пожилому уважаемому человеку. Ставя кресло и закрывая его собою ото всех, кроме Осколупова, Любимичев, незаметно для всех, но заметно для генерал-майора, ещё приказчиным движением руки смахнул с сиденья невидимую пыль, отскочил в сторону, и — вместе с Сиромахой — они замерли в радостном ожидании вопросов и указаний.

Фома Гурьянович сел, не снимая папачи, лишь чуть расстегнув шинель.

В лаборатории всё смолкло, не сверлила больше дрель, папиросы погасли, голоса стихли, и только Бобынин, не выходя из своего закутка, басом давал указания электромонтажникам, да Прянчиков продолжал невяжимо бродить с горячим паяльником вокруг разорённой стойки своего вокодера. Остальные смотрели и слушали, что скажет начальство.

Отирая пот после трудного разговора по телефону (он спорил с начальником механических мастерских, запоровших каркасные панели), подошёл Мамурин и изнеможённо приветствовал своего прежнего друга по работе, а теперь недосягаемо-высокого начальника (Фома протянул ему три пальца). Мамурин дошёл уже до той степени бледности и умирания, когда кажется преступлением, что этого человека выпустили из постели. Много больней, чем его чиновные коллеги, перенёс он удары минувших суток — гнев министра и разломку клиппера. Если ещё могли утончиться мускульные связки под его кожным покровом — они утончились. Если кости человеческие способны терять в весе — они потеряли вес. Больше года Мамурин жил клиппером и верил, что клиппер, как Конёк-Горбунок, вынесет его из беды. Никакое позолочение — приход Прянчикова с вокодером под кров Семёрки, не могло скрыть от него катастрофы.

Фома Гурьянович умел руководить, не овладевая познаниями по руководимому им делу. Он давно усвоил, что для этого надо лишь сталкивать мнения знающих подчинённых — и через то руководить. Так и теперь. Он посмотрел насупленно и спросил:

— Ну, так что? Как дела? —

И тем самым вынудил подчинённых высказываться.

Началась никому не нужная, нудная беседа, только отрывавшая от работы. Говорили нехотя, вздыхая, а если заговаривали сразу двое — оба уступали.

Два тона было в этом разговоре: «надо» и «трудно». «Надо» проводил неистовый Маркушев, поддержанный Любимичевым — Сиромахой. Маленький прыщеватый деятельный Маркушев горячо днём и ночью изобретал, как ему прославиться и освободиться по досрочке. Он предложил слияние клиппера и вокодера не потому, что был инженерно уверен в успехе, а потому что при таком слиянии наверняка падало отдельное значение Бобынина и Прянчикова, значение же Маркушева возрастало. И хотя сам он очень не любил работать *на глядю*, когда не ожидал воспользоваться плодами работ, — сейчас он негодовал, почему его товарищи по Семёрке так упали духом. В присутствии Осколупова он косвенным образом жаловался ему на нерадение инженеров.

Он был — человек, то есть из той распространённой породы существ, из которой делают угнетателей себе подобных.

На лицах Любимичева и Сиромахи были написаны страдание и вера.

Поникший прозрачно-лимонным лицом в невесомые ладони Мамурин впервые за всё время командования Семёркой — молчал.

Хоробров едва прятал в глазах злорадный блеск. Ему доставляло крупную радость быть свидетелем похорон двухлетних усилий министерства Госбезопасности. Он больше всех возражал Маркушеву и выпирал трудности.

Осколупов же почему-то особенно упрекал Дырзина, вина его в отсутствии энтузиазма. У Дырзина, когда он волновался или страдал от несправедливости, почти отнимался голос. Из-за этой невыгодной черты он всегда оказывался виноват.

К середине разговора пришёл Яконов и из вежливости стал поддерживать беседу, бессмысленную в присутствии Осколупова. Затем он подозвал Маркушева, и с ним вдвоём на клочке бумаги, на коленях, они стали набрасывать вариант схемы.

Фома Гурьянович охотнее бы всего пустился на хорошо ему известную, за годы начальствования разработанную до интонационных подробностей дорожку разноса и разгрома. Это у него получалось лучше всего. Но он видел, что сейчас разносить — не поможет.

Почувствовал ли Фома Гурьянович, что его беседа не идёт на пользу дела, или захотел дохнуть иным воздухом, пока не кончился льготный роковой месячный срок, — но посреди разговора, не дослушав Булатова, встал и мрачно пошёл к выходу, оставив полный состав Семёрки терзаться, до чего их нерадивость довела Начальника Отдела Спецтехники.

Верный порядку, Яконов вынужден был тоже встать и понести своё огрузлое большое тело вослед папахе, доходившей ему до плеча.

Молча, но уже рядом, они прошли по коридору. За то и не любил Начальник Отдела, чтоб его главный инженер шёл рядом с ним: Яконов был выше на голову, причём на свою продолговатую крупную голову.

Сейчас Яконову было не только должно, но и выгодно рассказать генерал-майору об удивительном, непредвиденном успехе с шифратором. Он сразу рассеял бы этим ту бычью недоброжелательность, с которой Фома смотрел на него после абакумовского ночного приёма.

Но — чертежа не было в его руках. Изрядное же умение Сологодина владеть собой, продемонстрированная им готовность ехать умирать, но не отдать чертежа зря — убедили Яконова выполнить данное слово и доложить сегодня ночью Селивановскому, минуя Фому. Конечно, Фому это разъярит, но ему придётся быстро смягчиться.

Да и не только это. Яконов видел, как Фома насуплен, перепуган за свою судьбу, и с удовольствием оставлял его помучиться ещё несколько суток. Антон Николаевич испытывал даже инженерную оскорблённость за проект, будто сам его составил. Как верно предвидел Сологдин, Фома непременно навязался бы в соавторы. А теперь, когда узнает, то даже не взглянув на чертёж главного узла, тотчас распорядится посадить Сологодина в отдельную комнату и затруднить к нему доступ тем, кто должен ему помогать; и вызовет Сологодина и начнёт его припугивать и давать жестокие сроки; и потом каждые два часа будет звонить из министерства и подгонять Яконова; и в конце концов будет заноситься, что только благодаря его контролю дали шифратору верный ход.

И так всё это было известно и тошно, что Яконов пока с удовольствием молчал.

Однако, придя в кабинет, он, чего никогда не стал бы при посторонних, помог Осколупову стянуть с себя шинель.

— У тебя Герасимович — что делает? — спросил Фома Гурьянович и сел в кресло Антона, так и не сняв папахи.

Яконов опустил плечо в стороне на стул.

— Герасимович?.. Да собственно, он со Спиридоновки когда? В октябре, наверно. Ну, и с тех пор телевизор для товарища Сталина делал.

Тот самый, с бронзовой накладкой «Великому Сталину — от чекистов».

— Вызови-ка его.

Яконов позвонил.

«Спиридоновка» была тоже одна из московских шарашек. В последнее время под руководством инженера Бобра на Спиридоновке было изготовлено весьма остроумное и полезное приспособление — приставка к обычному городскому телефону. Главное остроумие его состояло в том, что приспособление действовало именно тогда, когда телефон бездействовал, когда трубка покойно лежала на рычагах: всё, что говорилось в комнате, в это время прослушивалось с контрольного пункта госбезопасности. Приспособление понравилось, было запущено в производство. Когда намечался нужный абонент, его линию нарушали, жертва сама просила прислать монтера, монтер приходил и под видом починки вставлял в телефон подслушивающее устройство.

Опережающая мысль начальства (мысль начальства всегда должна опережать) была теперь о других приспособлениях.

В дверь заглянул дежурный:

— Заключённый Герасимович.

— Пусть войдёт, — кивнул Яконов. Он сидел особняком от своего стола, на маленьком стуле, расслабив и почти вываливаясь вправо и влево.

Герасимович вошёл, поправляя на носу пенсне, и споткнулся о ковровую дорожку. По сравнению с этими двумя толстыми чинами он казался очень уж узок в плечах и мал.

— По вашему вызову, — сухо сказал он, приблизившись и глядя в стенку между Осколуповым и Яконовым.

— У-гм, — ответил Осколупов. — Садитесь.

Герасимович сел. Он занимал половину сиденья.

— Вы... это... — вспоминал Фома Гурьянович. — Вы... — оптик, Герасимович? В общем, не по уху, а по глазу, так, что ли?

— Да.

— И вас это... — Фома поворочал языком, как бы протирая зубы. — Вас хвалят. Да.

Он помолчал. Сожмурив один глаз, он стал смотреть на Герасимовича другим:

— Вы последнюю работу Бобра знаете?

— Слышал.

— У-гм. А что мы Бобра представили к досрочному?

— Не знал.

— Вот знаете. Вам сколько сидеть осталось?

— Три года.

— До-олго! — удивился Осколупов, будто у него все сидели с месячными сроками. — Ой, до-олго! — (Подбодряя недавно одного новичка, он говорил: «Десять лет? Ерунда! Люди по двадцать пять сидят!») — Вам тоже б досрочку неплохо заработать, а?

Как это странно совпадало со вчерашней мольбой Наташи!..

Пересилив себя (ибо никакой улыбки и снисхождения он не разрешал себе в разговорах с начальством), Герасимович криво усмехнулся:

— Где ж её возьмёшь? В коридоре не валяется.

Фома Гурьянович колыхнулся:

— Хм! На телевизорах, конечно, досрочки не получите! А вот я вас на Спиридоновку на днях переведу и назначу руководителем проекта. Месяцев за шесть сделаете — и к осени будете дома.

— Какая ж работа, разрешите узнать?

— Да там много работ намечено, только хватать. Есть, например, такая идея: микрофоны вделывать в садовые скамейки, в парках —

там болтают откровенно, чего не слушаешься. Но это — не по вашей специальности?

— Нет, это не по моей.

— Но и для вас есть, пожалуйста. Две работы, и та важная, и та печёт. И обе прямо по вашей специальности,— ведь так, Антон Николаич? — (Яконов поддакнул головой.) — Одно — это ночной фотоаппарат на этих... как их... ультракрасных лучах. Чтоб значит ночью вот на улице сфотографировать человека, с кем он идёт, а он бы и до смерти не знал. За границей уже намётки есть, тут надо только... творчески перенять. Ну, и чтоб в обращении аппарат был попроще. Наши агенты не такие умные, как вы. А второе вот что. Второе вам, наверно, раз плюнуть, а нам — позарез нужно. Простой фотоаппаратик, только такой манёхонький, чтоб его в дверные косяки вдевать. И он бы автоматически, как только дверь открывается, фотографировал бы, кто через дверь проходит. Хотя бы днём, ну, и при электричестве. В темноте уж не надо, ладно. Такой бы аппаратик нам тоже в серийное производство запустить. Ну, как? Возьмётся?

Суженым худощавым лицом Герасимович был обёрнут к окнам и не смотрел на генерал-майора.

В словаре Фомы Гурьяновича не было слова «скорбный». Поэтому он не мог бы назвать, что за выражение установилось на лице Герасимовича.

Да он и не собирался называть. Он ждал ответа.

Это было исполнение молитвы Наташи!..

Её иссушенное лицо со стеклянно-застылыми слезами стояло перед Илларионом.

Впервые за много лет возврат домой своей доступностью, близостью, теплотой обнял сердце.

А сделать надо было только то, что Бобёр: вместо себя посадить за решётку сотню-две доверчивых лопухих вольняшек.

Затруднённо, с препинанием Герасимович спросил:

— А на телевидении... нельзя бы остаться?

— Вы отказываетесь?! — изумился и нахмурился Осколупов. Его лицо особенно легко переходило к выражению сердитости.— По какой же причине?

Все законы жестокой страны эзков говорили Герасимовичу, что преуспевающих, близоруких, не тёртых, не битых вольняшек жалеть было бы так же странно, как не резать на сало свиней. У вольняшек не было бессмертной души, добываемой эзками в их бесконечных сроках, вольняшки жадно и неумело пользовались отпущенной им свободой, они погрязли в маленьких замыслах, суетных поступках.

А Наташа была подруга всей жизни. Наташа ждала его второй срок. Беспомощный комочек, она была на пороге угасания, а с ней угаснет и жизнь Иллариона.

— Зачем — причины? Не могу. Не справлюсь,— очень тихо, очень слабо ответил Герасимович.

Яконов, до этого рассеянный, с любопытством и вниманием взглянул на Герасимовича. Это кажется был ещё один случай, претендующий на иррациональность. Но всемирный закон «своя рубашка ближе к телу» не мог не сработать и здесь.

— Вы просто отвыкли от серьёзных заданий, оттого и робеете,— убеждал Осколупов.— Кто ж, как не вы? Хорошо, я вам дам подумать. Герасимович небольшою рукой подпёр лоб и молчал.

Конечно, это не была атомная бомба. Это была по мировой жизни — крохотность незамечаемая.

— Но о чём вам думать? Это прямо по вашей специальности!

Ах, можно было смолчать! Можно было темнить. Как заведено у эзков, можно было принять задание, а потом тянуть резину, не делать. Но Герасимович встал и презрительно посмотрел на брюхастого

вислощёкого тупорылого выродка в генеральской папаше, какие на беду не ушли по среднерусскому большаку.

— Нет! Это не по моей специальности! — звеняще пискнул он. — Сажать людей в тюрьму — не по моей специальности! Я — не ловец человек! Довольно, что нас посадили...

87

Рубин с утра был ещё в тягостной власти вчерашнего спора. Приходили новые и новые аргументы, не досказанные ночью. Но с разворотом дня ему посчастливилось рассчитаться за ту схватку.

Это было в совсекретной тихой комнатке на третьем этаже с тяжёлыми занавесями по бокам окна и двери, с ненёвым диваном и плохоньким ковриком. Мягкое глушило звуки, но звуков почти и не было, потому что магнитные ленты Рубин слушал на наушники, а Смолосидов весь день молчал, грубо прорытым лицом насупясь на Рубина как на врага, а не товарища по работе. В свою очередь и Рубин не замечал Смолосидова иначе, как автомат для перестановки катушек с лентами.

Надевая наушники, Рубин слушал и слушал роковой разговор с посольством, а потом — представленные ему ещё пять лент с пяти разговоров подозреваемых лиц. То он верил ушам, то отчаивался им верить и переходил к фиолетовым извивам звуковидов, напечатанных по всем разговорам. Длинные многометровые бумажные ленты, не помещаясь даже на большом столе, ниспадали белыми скрутками на пол слева и справа. Порывисто брался Рубин за свой альбом с образцами звуковидов, классифицированных то по звукам-«фонемам», то по «основному тону» различных мужских голосов. Цветным красно-синим карандашом, уже исписанным до закруглённо-тупых оконечностей (очинить карандаш был для Рубина труд долгосборный), он размечал особо поразившие его места на лентах.

Рубин был захвачен. Его тёмно-карие глаза казались огненными. Большая нечёсаная чёрная борода была свалена клочьями, и седой пепел непрерывно куримых трубок и папирос пересыпал бороду, рукава засаленного комбинезона с оторванной пуговицей на обшлаге, стол, ленты, кресло, альбом с образцами.

Рубин переживал сейчас тот загадочный душевный подъём, которого ещё не объяснили физиологи: забыв о печени, о гипертонических болях, освежённым взлетев из изнурительной ночи, не испытывая голода, хотя последнее, что он ел, было печенье за именинным столом вчера, Рубин находился в состоянии того духовного реянья, когда острое зрение выхватывает гравинки из песка, когда память готовно отдаёт всё, что отлагалось в ней годами.

Он ни разу не спросил, который час. Он один только раз, по приходе, хотел открыть форточку, чтобы возместить себе недостаток свежего воздуха, но Смолосидов хмуро сказал: «Нельзя! У меня насморк», и Рубин подчинился. Ни разу потом во весь день он не встал, не подошёл к окну посмотреть, как рыхлеет и серел снег под влажным западным ветром. Он не слышал, как стучался Шикин и как Смолосидов не пустил его. Будто в тумане видел он приходившего и уходившего Ройтмана, не оборачиваясь, что-то цедил ему сквозь зубы. В его сознание не вступило, что звонили на обеденный перерыв, потом снова на работу. Инстинкт ээка, свято чтущего ритуал еды, был едва пробуждён в нём встряхиванием за плечи всё тем же Ройтманом, показавшим ему на отдельном столике яичницу, вареники со сметаной и компот. Ноздри Рубина вздрогнули. Удивление вытянуло его лицо, но сознание и тут не отразилось на нём. Недоуменно оглядя эту пищу богов, точно пытаясь понять её назначение, он пересел и стал торопливо есть, не ощущая вкуса, стремясь скорей вернуться к работе.

Рубин не оценил еды, но Ройтману она обошлась гораздо дороже, чем если бы он сервировал её на свои деньги: он два часа «просидел на телефоне», созванивая и согласовывая этот паёк сперва с Отделом Спецтехники, потом с генералом Бульбанюком, потом с Тюремным Управлением, потом с отделом снабжения и, наконец, с подполковником Климентьевым. Те, кому он звонил, в свою очередь согласовывали вопрос с бухгалтериями и другими лицами. Трудность состояла в том, что Рубин питался по арестантской «третьей» категории, а Ройтман для него на несколько дней, ввиду особо важного государственного задания, добивался «первой», да ещё диетической. После всех согласований тюрьма стала выдвигать организационные возражения: отсутствие запрашиваемых продуктов на складе тюрьмы, отсутствие оплаченного наряда на приготовление индивидуального меню.

Теперь Ройтман сидел напротив и смотрел на Рубина, но не как работодатель, ждущий плодов работы раба, а с ласковой усмешкой, как на большого ребёнка, восхищаясь, завидуя порыву, ловя момент, как бы вникнуть в смысл его полудневной работы и включиться в неё тоже.

А Рубин всё съел, и на его помягчешшее лицо вернулась осмысленность. В первый раз с утра он улыбнулся.

— Зря вы меня накормили, Адам Вениаминович. *Satur venter non studet libenter.* * Главную часть пути путник проходит до обеденного привала.

— Да вы на часы посмотрите, Лев Григорыч! Ведь четверть четвертого!

— Что-о? Я думал — двенадцати нет.

— Лев Григорыч! Я стораю от любопытства — что вы выяснили?

Это не только не было начальническим требованием, но сказано просительно, как если б Ройтман боялся, что Рубин откажется поделиться. В минуты, когда душа Ройтмана открывалась, он был очень мил, несмотря на нескладную наружность, на толстые губы, всегда незакрытые из-за полипов в носу.

— Только начало! Только первые выводы, Адам Вениаминович!

— И — какие же?

— О некоторых можно спорить, но один несомненен: в науке фоноскопии, родившейся сегодня, есть-таки рациональное зерно!

— А вы — не увлекаетесь, Лев Григорыч? — предостерёг Ройтман. Ему не меньше хотелось, чтобы слова Рубина были верны, но, воспитанник точных наук, он знал, что у гуманиста Рубина энтузиазм может перевесить научную добросовестность.

— А когда вы видели, чтоб я увлекался? — чуть не обиделся Рубин и разгладил склоченную бороду. — Наша почти двухлетняя собирательная работа, все эти звуковые и слоговые анализы русской речи, изучение звуковидов, классификация голосов, учение о национальном, групповом и индивидуальном речевом ладе — всё, что Антон Николаич считал пустым времяпровождением, да греха ли таить? Иногда и в вас закрадывалось сомнение! — всё это даёт теперь свои концентрированные результаты. Надо будет нам сюда Нержина забирать, как вы думаете?

— Если фирма развернётся — отчего же? Но пока мы должны доказать свою жизнеспособность и выполнить первое задание.

— Первое задание! Первое задание — это половина всей науки! Не так-то скоро.

— Но... то есть... Лев Григорыч? Неужели вы не понимаете, насколько срочно всё это надо?

О, ещё бы он не понимал! «Надо» и «срочно» — на этих словах вырос комсомолец Лёвка Рубин. Это были высшие лозунги тридцатых годов. Не было стали, не было тока, не было хлеба, не было тканей,—

* лат.— Сытое брюхо к учению глухо.

но было надо и надо срочно — и воздвигались домны, и запускались блюминги. Потом, перед войной, в благодушных учёных изысканиях, окунаясь в неторопливый Восемнадцатый век, Рубин избаловался. Но клич «срочно надо!» конечно же оставался вмятен его душе и попирал привычку доделывать работу до конца.

Действительно, как же не срочно, если величайший государственный предатель может ускользнуть?..

Из окна уже падало мало дневного света. Они зажгли верхний, присели к рабочему столу, рассматривали выделенные на лентах звуковидов синим и красным карандашом образцы, характерные звуки, стыки согласных, интонационные линии. Всё это делали они вдвоём, не обращая внимания на Смолосидова, — он же, за весь день не уйдя из комнаты ни на минуту, сидел у магнитной ленты, сторожа её как хмурый чёрный пёс, и смотрел им в затылки, и этот его неотступный тяжёлый взгляд давил им на череп и на мозг. Смолосидов лишал их самого маленького, но главного элемента — непринуждённости: он был свидетелем их колебаний и он же будет свидетелем их бодрого доклада начальству...

А они попеременно впадали — один в сомненья, другой в уверенность, и наоборот. Ройтмана обуздывала его математичность, но травило вперёд его служебное положение. Рубина умеряло незаинтересованное желание породить настоящую новую науку, но рвала вперёд выучка пятилеток и сознание партийного долга.

И сложилось так, что оба они признали достаточным список пяти подозреваемых. Они не высказывали избыточных предположений, что надо бы записать на магнитофон тех четырёх, которые задержаны у метро «Сокольники» (да и слишком поздно их задержали), и ещё тех нескольких из МГБ, кого на крайний случай обещал Бульбанюк. И они психологически отводили предположение, что звонил, может быть, не сам осведомлённый в деле человек, а кто-нибудь по его поручению.

Нелегко было охватить и пятерых! Сравнили с преступником пять голосов на слух. Сравнили с преступником пять звуковидных лент.

— А посмотрите, как много даёт нам звуковидный анализ! — с горячностью показывал Рубин. — Вы слышите, что в начале преступник говорит не тем голосом, он пытается его менять. Но что изменилось на звуковиде? Только сдвинулась интенсивность по частотам — индивидуальный же речевой лад ничуть не изменился! Вот наше главное открытие — речевой лад! Даже если преступник до конца говорил изменённым голосом — он бы не скрыл своей характерности!

— Но мы ещё плохо знаем с вами пределы изменяемости голосов, — упирался Ройтман. — Может быть в микроинтонациях эти пределы широки.

Если на слух легко было усумниться, где схож голос, где разен, то на звуковиде изменением амплитудно-частотного рисунка разнота выявлялась как будто отчётливей. (Правда, беда была в грубости их аппарата видимой речи: он выделял мало частотных каналов и величину амплитуды передавал неразборчивыми мазками. Но извинением служило то, что его не предназначали для такой ответственной работы.)

Из пяти подозреваемых Заварзина и Сяговитого можно было отвести совершенно уверенно (если вообще будущая наука разрешала делать выводы по единичному разговору). С колебаниями можно было отвести и Петрова (разгорячившийся Рубин отводил и Петрова уверенно). Напротив, голоса Володина и Щевронка подходили к голосу преступника по частоте основного тона, имели с ним одинаковые фонемы: о, р, л, ш — и были сходны по индивидуальному речевому ладу.

Вот на этих-то сходных голосах и следовало бы теперь развить науку фоноскопию и отработать её приёмы. Только на тонких этих различиях и мог выработаться её будущий чуткий аппарат. С торжеством создателей откинулись к спинкам стульев Рубин и Ройтман. Их мысленный взгляд прозревал ту, подобную дактилоскопической, орга-

низацию, которая когда-нибудь будет принята: единая общесоюзная фонотека, где записаны звуковиды с голосов всех, однажды заподозренных. Любой преступный разговор записывается, сличается, и злоумышленник без колебаний изловлен, как вор, оставивший отпечатки пальцев на дверце сейфа.

Но в это время адъютант Осколупова через щёлку предупредил о скором приходе *хозяина*.

И оба очнулись. Наука наукой, но пока что надо было выработать общий вывод и дружно защищать его перед начальником Отдела.

Собственно, Ройтман считал, что достигнутого — уже много. Зная, что начальство не любит гипотез, а любит определённости, Ройтман уступил Рубину, согласился считать голос Петрова вне подозрений, и твёрдо доложить генерал-майору, что на подозрении остались только Щевронок и Володин, на которых в ближайшую пару дней надо провести дополнительное исследование.

Напротив, запутывающим обстоятельством здесь было то, что по присланным данным именно из трёх отклонённых двое — Сяговитый и Петров, ни бум-бум не знали иностранных языков, Щевронок же знал английский и голландский, Володин — французский как родной, английский бегло и итальянский слегка. Мало вероятно, чтобы в такую важную минуту, когда разговор сводился к нулю из-за непонимания, у человека не вырвалось бы ни восклицания на знакомом ему языке.

— Вообще, Лев Григорьич, — мечтательно говорил Ройтман, — мы не должны с вами пренебрегать и психологией. Надо всё-таки представить себе — что должен быть за человек, решившийся на такой телефонный звонок? что могло им двигать? А затем сравнить с конкретными образами подозреваемых. Надо будет поставить вопрос, чтобы впредь нам, фоноскопистам, давали бы не только голос подозреваемого и его фамилию, но и краткие сведения о его положении, занятии, образе жизни, может быть — даже биографии. Мне кажется, я мог бы сейчас построить некий психологический этюд о нашем преступнике...

Но Рубин, вчера вечером возражавший художнику, что объективное познание свободно от эмоциональной предокраски, сейчас уже излюбил одного из двух подозреваемых и возражал так:

— Я, Адам Вениаминович, психологические соображения, конечно, уже перебирал, и они бы склонили чашу весов в сторону Володина: в разговоре с женой, — (этот разговор с женой, помимо сознания, отвлекал и сбивал Рубина: голос володинской жены был так напевен в телефон, что тревожил, и уж если что прилагать к ленте, то попросил бы Лев фотографию жены Володина), — в разговоре с женой он как-то особенно вял, подавлен, даже в апатии, это очень свойственно преступнику, опасаящемуся преследования, и ничего подобного нет в весёлом воскресном щелбете Щевронка, я согласен. Но хороши мы будем, если с первых же шагов станем опираться не на объективные данные нашей науки, а на посторонние соображения. У меня уже немалый опыт работы со звуковидами, и вы должны мне поверить: по многим неуловимым признакам я абсолютно уверен, что преступник — Щевронок. Просто за недостатком времени я не смог все эти признаки промерить по ленте измерителем и перевести на язык цифр. — (На это-то никогда не хватало времени у филолога!) — Но если бы меня сейчас взяли за горло и сказали: назови только одно имя и поручись, что именно он — преступник, — я почти без колебаний назвал бы Щевронка!

— Но мы так не станем делать, Лев Григорьич, — мягко возразил Ройтман. — Давайте поработаем измерителем, давайте переведём на язык цифр — тогда и будем говорить.

— Но ведь это сколько уйдёт времени?! Ведь надо же срочно!

— Но если истина требует?

— Да вы посмотрите сами, посмотрите!.. — и перебирая снова лен-

ты звуковидов и трясая на них новый и новый пепел, Рубин стал запальчиво доказывать виновность Щевронка.

За этим занятием и застал их генерал-майор Осколупов, вошедший медленными властными шагами коротких ног. Все они хорошо его знали и уже по надвинутой папахе и по искривлённой верхней губе видели, что он пришёл резко недовольным.

Они вскочили, а он сел в угол дивана, руки засунул в карманы и приказно буркнул:

— Ну!

Рубин корректно молчал, предоставляя докладывать Ройтману.

При докладе Ройтмана вислощёкое лицо Осколупова осенило глубокомыслие, веки сонно приспустились, и он даже не встал посмотреть предложенные ему образцы лент.

Рубин изнывал при докладе Ройтмана — даже в чётких словах этого умного человека он видел утерянным то содержание, то наитие, которое вело его в исследовании. Ройтман закончил выводом, что подозреваются Щевронка и Володин, однако для окончательного суждения нужны ещё новые записи их разговоров. После этого он посмотрел на Рубина и сказал:

— Но, кажется, Лев Григорьевич хочет что-то добавить или поправить?

Фома Осколупов для Рубина был пень, давно решённый пень. Но сейчас он был также и — государственное око, представитель советской власти и невольный представитель всех тех прогрессивных сил, которым Рубин отдавал себя. И поэтому Рубин заговорил волнуясь, потрясая лентами и альбомами звуковидов. Он просил генерала понять, что хотя вывод дан пока и двойственный, но самой науке фonoскопии такая двойственность отнюдь не присуща, что просто слишком краток был срок для вынесения окончательного суждения, что нужны ещё магнитные записи, но что если говорить о личной догадке Рубина, то...

Хозяин слушал уже не сонно, а сморщась брезгливо. И, не дождавсь конца объяснений, перебил:

— Ворожи-ила бабка на бобах! На что мне ваша «наука»? Мне — преступника надо поймать. Докладайте ответственно: преступник здесь, на столе, у вас лежит, это точно? На свободе он не гуляет? Кроме этих пяти?

И смотрел исподлобья. А они стояли перед ним, ни обо что не опершись. Бумажные ленты из опущенных рук Рубина волочились по полу. Чёрным драконом Смолосидов припал у магнитофона за их спинами.

Рубин смялся. Он ожидал бы говорить вообще не в этом аспекте.

Ройтман, более привыкший к манере начальства, сказал по возможности отважно:

— Да, Фома Гурьянович. Я, собственно... Мы, собственно... Мы уверены, что — среди этих пяти.

(А что он мог ещё сказать?..)

Фома теснее прищурил глаз.

— Вы — отвечаете за свои слова?

— Да, мы... Да... отвечаем...

Осколупов тяжело поднялся с дивана:

— Смотрите, я за язык не тянул. Сейчас поеду министру доложу. Обоих сукиных сынов арестуем!

(Он так сказал это, враждебно глядя, что можно было понять — именно их-то двоих и арестуют.)

— Подождите, — возразил Рубин. — Ну, ещё хоть сутки! Дайте нам возможность обосновать полное доказательство!

— А вот, следствие начнётся — пожалуйста, на стол к следователю микрофон — и записывайте их хоть по три часа.

— Но один из них будет невиновен! — воскликнул Рубин.

— Как это — невиновен? — удивился Осколупов и полностью раскрыл зелёные глаза.— Совсем уж ни в чём и не виновен?.. Органы най-дут, разберутся.

И вышел, слова доброго не сказав адептам новой науки.

У Осколупова был такой стиль руководства: никого из подчинённых никогда не хвалить — чтобы больше старались. Это был даже не лично его стиль, этот стиль нисходил от Самого.

А всё-таки было обидно.

Они сели на те самые стулья, на которых незадолго мечтали о великом будущем зарождающейся науки. И смолкли.

Как будто растоптали всё, что они так ажурно и хрупко построили. Как будто фоноскопия была вовсе и не нужна.

Если вместо одного можно арестовать двух,— то почему и не всех пятерых для верности?

Ройтман внятно почувствовал, как шатка новая группа, вспомнил, что Акустическая наполовину разогнана,— и сегодняшнее ночное ощущение неуютности мира и одиночества в нём опять посетило его.

А в Рубине угасла вся непрерывная многочасовая самозабвенная вспышка. Он вспомнил, что печень у него болит, и болит голова, и выпадают волосы, и стареет его жена, и сидеть ему ещё больше пяти лет, и с каждым годом всё гнут и гнут революцию в болото аппаратчики проклятые — и вот ошельмовали Югославию.

Но они не высказали всего подуманного, а просто сидели и молчали.

И Смолосидов молчал за их затылками.

На стене уже была приколотая Рубиним карта Китая с коммунистической территорией, закрашенной красным карандашом.

Эта карта только и согревала его. Несмотря ни на что, несмотря ни на что — а мы побеждаем...

Постучали и вызвали Ройтмана. Начиналась объединённая партийно-комсомольская политучёба и надо было, чтоб он шёл загонять своих подчинённых и присутствовать сам.

88

Понедельник был не на одной шарашке Марфино, но и по всему Советскому Союзу установленный Центральным Комитетом партии день политучёбы. В этот день и школьники старших классов, и домохозяйки по своим жактам, и ветераны революции, и седовласые академики с шести вечера до восьми садились за парты и разворачивали свои конспекты, подготовленные в воскресенье (по неотменному желанию Вождя с граждан требовались не только ответы наизусть, но и обязательно собственноручные конспекты).

Историю Партии Нового Типа прорабатывали очень углублённо. Каждый год, начиная с 1 октября, изучали ошибки народников, ошибки Плеханова и борьбу Ленина — Сталина с экономизмом, легальным марксизмом, оппортунизмом, хвостизмом, ревизионизмом, анархизмом, отзовизмом, ликвидаторством, богоискательством и интеллигентской бесхребетностью. Не жалея времени, растолковывали параграфы партийного устава, принятые полста лет назад (и с тех пор давно изменённые), и разницу между старой «Искрой» и новой «Искрой», и шаг вперёд, два шага назад, и кровавое воскресенье,— но тут доходило до знаменитой Четвёртой Главы «Краткого Курса», излагавшей философские основы коммунистической идеологии — и почему-то все кружки бесславно увязали в этой главе. Так как это не могло же объясняться пороками или путаницей в диалектическом материализме или неясностями авторского изложения (глава написана была самим Лучшим Учеником и Другом Ленина), то единственные причины были: трудности диалектического мышления для отсталых тёмных масс и неотклон-

ное наступление весны. В мае, в разгар изучения Четвёртой Главы, трудящиеся откупались тем, что подписывались на заём, — и политучёбы прекращались.

Когда же в октябре кружки собирались вновь, то, несмотря на явно выраженное бесстрашное желание Великого Кормчего переходить поскорее к жгучей современности, к её недостаткам и движущим противоречиям, — приходилось учитывать, что за лето материал начисто забыт трудящимися, что Четвёртая Глава не закончена, — и пропагандистам указывалось начинать опять-таки с ошибок народников, ошибок Плеханова, борьбы с экономизмом и легальным марксизмом.

Так шло повсюду каждый год и за годом год. И сегодняшняя лекция в Марфине на тему «Диалектический материализм — передовое мировоззрение» тем и была особенно важна и интересна, что должна была до конца исчерпать Четвёртую Главу, коснуться ослепительно-гениального произведения Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» и, разорвав заколдованный круг, выпустить, наконец, марфинский партийный и комсомольский кружки на столбовую дорогу современности: работа и борьба нашей партии в период первой империалистической войны и подготовки Февральской революции.

И ещё то привлекало марфинских вольняшек, что при лекции не нужны были конспекты (кто написал — оставалось на следующий понедельник, кому перекачивать, — можно было перекачать и позже). И ещё то манило к этой лекции, что читал её не рядовой пропагандист, а лектор обкома партии Рахманкул Шамсетдинов. Обходя перед обедом лаборатории, Степанов так прямо и предупреждал, что лектор, говорят, читает зажигательно. (Ещё одно обстоятельство о лекторе Степанов не знал и сам: Шамсетдинов был хорошим другом Мамулова — не того Мамулова из секретариата Берии, а второго Мамулова, его родного брата, начальника Ховринского лагеря при военном заводе. Этот Мамулов держал лично для себя крепостной театр из бывших московских, а теперь арестованных артистов, которые развлекали его и застольных друзей вместе с девушками, особо отобранными на краснопресненской пересылке. Близость к двум Мамуловым и была причиной того уважения, которое испытывал к Шамсетдинову московский обком партии, отчего этот лектор и разрешал себе смелость не читать слово в слово по заготовленным текстам, а предаваться вдохновению красноречия.)

Но несмотря на тщательное оповещение о лекции, несмотря на всю притягательность её, марфинские вольняшки тянулись на неё как-то лениво и под разными предлогами старались задержаться в лабораториях. Так как по одному вольному везде должно было остаться — не покинуть же эзков без присмотра! — то начальник Вакуумной, никогда ничего не делавший, вдруг заявил, что срочные дела требуют его присутствия в лаборатории, а девочек своих, Тамару и Клару отправил на лекцию. Так же поступил и заместитель Ройтмана по Акустической — остался сам, а дежурной Симочке велел идти слушать. Майор Шикин тоже не пришёл, но деятельность его, окутанную тайной, не могла проверять даже партия.

Кто же, наконец, приходил — приходили не вовремя и из ложного чувства самосохранения старались занимать задние ряды.

Была в институте специальная комната, отведенная для собраний и лекций. Сюда раз навсегда было внесено много стульев, а здесь их нанизали на жерди по восемь штук и сколотили навечно. (Такую меру комендант вынужден был применить, чтобы стулья не растаскивали по всему объекту.) Стульные ряды были стеснены малыми размерами комнаты, так что колени сидевших сзади больно упирались в жердь переднего ряда. Поэтому приходившие раньше старались отодвинуть свой ряд назад — так, чтобы ногам было привольнее. Между молодёжью, севшей в разных рядах, это вызывало сопротивление, шутки,

смех. Стараниями Степанова и разосланных им гонцов к четверти седьмого все ряды от заднего к переднему, наконец, заполнились, и только в третьем и втором рядах, стиснутых вплотную с первым, никто сесть уже не мог.

— Товарищи! товарищи! Это — позорный факт! — свинцово поблескивал очками Степанов, понукая отставших.— Вы заставляете ждать лектора обкома партии! (Лектор, чтобы не уронить себя, ожидал в кабинете Степанова.)

Предпоследним вошёл в залек Ройтман. Не найдя другого места — всё сплошь было занято зелёными кителями и кое-где женские платья пестрели меж них — он прошёл в первый ряд и сел у левого края, коленями почти касаясь стола президиума. Затем Степанов сходил за Яконовым — хотя тот и не был членом партии, но на столь ответственной лекции ему надлежало, да и интересно было присутствовать. Яконов протрусил у стены, как-то согбенно неся своё слишком дородное тело мимо людей, которые в этот миг не являлись его подчинёнными, а — партийно-комсомольским коллективом. Не найдя свободного места позади, Яконов прошёл в первый ряд и сел там с правого края, как бы и тут против Ройтмана.

После этого Степанов ввёл лектора. Лектор был крупный человек с широкими плечами, большой головой и буйным раскинутым кустом тёмных волос, тронутых пепельной проседью. Держался он крайне непринуждённо, как будто зашёл в эту комнату просто выпить кружку пива со Степановым. На нём был светлый бостоновый костюм, кое-где примятый, носимый с чрезвычайной простотой, и пёстрый галстук, завязанный узлом в кулак. Никаких тетрадок или шпаргалок в руках у него не было, и к делу он приступил прямо:

— Товарищи! Каждого из нас интересует, что представляет собой окружающий нас мир.

Массивно переключаясь к слушателям через стол президиума, накрытый красной плакатной бязью, он смолк — и все прислушались. Было такое ощущение, что он сейчас в двух словах объяснит, что такое окружающий нас мир. Но лектор резко откинулся, будто ему дали понюхать нашатырного спирту, и негодуя воскликнул:

— Многие философы пытались ответить на этот вопрос! Но никто до Маркса не мог сделать этого! Потому что метафизика не признаёт качественных изменений! Конечно, нелегко,— он двумя пальцами выковырнул из кармана золотые часы,— осветить нам всё за полтора часа, но,— он спрятав часы,— я постараюсь.

Степанов, определивший себе место у торца лекторского стола, лицом к публике, перебил:

— Можно и больше. Мы очень рады.

У нескольких девушек упало сердце (они спешили в этот день в кино).

Но лектор широким благородным разведением рук показал, что есть начальство и над ним.

— Регламент! — осадил он Степанова.— Что же помогло Марксу и Энгельсу дать правильную картину природы и общества? Гениально разработанная ими и продолженная Лениным и Сталиным философская система, получившая название диалектического материализма. Первым большим разделом диалектического материализма — это материалистическая диалектика. Я вкратце охарактеризую на её основные положения. Обычно ссылаются на прусского философа Гегеля, будто это он сформулировал основные черты диалектики. Но это в корне и в корне неправильно, товарищи! У Гегеля диалектика стояла на голове, это бесспорно! Маркс и Энгельс поставили её на ноги, взяли из неё рациональное зерно, а идеалистическую шерлуху отбросили! Марксистский диалектический метод — это есть враг! Враг всякого застоя, метафизики и поповщины! А всего насчитываем мы в диалектике четыре черты. Первая черта, это то, что... взаимосвязь!

Взаимосвязь, а не скопление изолированных предметов. Природа и общество это — как бы вам сказать пояснее? — это не мебельный магазин, где вот наставлено, наставлено, а связи никакой нет. В природе всё связано, всё связано, — и это вы запоминайте, это вам крепко поможет в ваших научных исследованиях!

Особенно в выгодном положении находились те, кто не посчитался с десятью минутами, пришёл раньше и теперь сидел сзади. Степанов, строго блестящий очками, не достигал туда, в задние ряды. Там гвардейски-статный лейтенант написал записку и передал её Тоне, татарочке из Акустической, тоже лейтенантке, но в импортной вязаной кофточке алого цвета поверх тёмного платья. Разворачивая на коленях записку, Тоня спряталась за сидящего впереди. Чёрный чубчик её упал и свесился, делая её особенно привлекательной. Прочтя записку, она чуть покраснела и стала спрашивать у соседей карандаш или авто-ручку.

— ...Ну, и число примеров можно увеличивать... Вторая черта диалектики это то, что всё движется. Всё движется, покоя нет и никогда не было, это факт! И наука должна изучать всё в движении, в развитии — но при этом крепко себе зарубить, что движение не есть в замкнутом кругу, иначе бы не проявилась современная высокая жизнь. А движение идёт по винтовой лестнице, это нет необходимости доказывать, и всё вверх, и вверх, вот так...

Вольным помахиванием руки он показал — как. Лектор не затруднялся ни в выборе слов, ни в телодвижениях. Разбросав лишние стулья президиума, он освободил себе около стола метра три квадратных и похаживал по ним, потапывался, раскачивался на спинке стула, хрупкого под его дюжим туловищем. Слова «бесспорно» и «нет необходимости доказывать» он произносил особенно зычно, категорично, как бы давя мятеж с капитанского мостика — и произносил их не в случайных местах, а там, где особенно нужно было подкрепить и без того стройные доказательства.

— Третья черта диалектики — это переход количества в качество. Эта очень важная черта помогает нам понять, что такое развитие. Не думайте, что развитие — это просто себе увеличение. Здесь прежде всего следует указать на Дарвина. Энгельс разъясняет нам эту черту на примерах из науки. Возьмите вы воду, вот хотя бы воду в этом графине, — ей восемнадцать градусов, и она простая вода. Пожалуйста, можете её нагревать. Нагрейте её до тридцать градусов — и она всё равно будет вода. И нагрейте её до восьмьдесят градусов — и всё равно будет вода. А ну-ка догреть до сто? Что тогда будет? Па р!

Этот крик торжествующе вырвался у лектора, иные даже вздрогнули.

— Па р! А можно сделать и лёд! Что? Это и есть переход количества в качество! Читайте «Диалектику природы» Энгельса, она полна и другими поучительными примерами, которые осветят вам ваши повседневные трудности. А вот теперь, говорят, наша советская наука добилась, что и воздух можно сжиживать. Почему-то сто лет назад до этого не додумались! Потому что не знали закона перехода количества в качество! И так во всём, товарищи! Приведу примеры из развития общества...

До всякого лектора и без всякого лектора Адам Ройтман прекрасно знал, что диамат нужен учёному как воздух, что без диамата нельзя разобраться в явлениях жизни. Но, сидя на собраниях, семинарах и лекциях, подобно сегодняшней, Ройтман почти физически чувствовал, как мозги его, медленно поворачиваясь, косо ввинчиваются. При всей своей мыслительной сопротивляемости он поддавался этому затягивающему кружению, как изнемогший человек — сну. Он хотел бы встряхнуться. Он мог бы привести изумительные примеры из строения атома, из волновой механики. Но и он не посмел бы

взять на себя перебивать или поучать товарища из обкома. Он только укоризненно смотрел миндалевидными глазами сквозь очки-анастигматы на лектора, размахивающего руками неподалёку от его головы.

Голос лектора рокотал:

— Итак, переход количества в качество может произойти взрывом, а может э-во-лю-ционно, это факт! Взрыв при развитии обязателен не везде. Без всяких взрывов развивается и будет развиваться наше социалистическое общество, это бесспорно! Но социал-регенаты, социал-предатели, правые социалисты всех мастей бесстыдно обманывают народ, говоря, что от капитализма к социализму тоже можно перейти без взрыва. Как это без взрыва?! Значит, без революции? Без ломки государственной машины? Парламентским путём? Пусть они рассказывают эти сказки маленьким детям, но не взрослым марксистам! Ленин учил нас и учит нас гениальный теоретик товарищ Сталин, что буржуазия никогда без вооружённой борьбы от власти не откажется!!

Кудлы лектора сотряхались, когда он вскидывал голову. Лектор высморкался в большой платок с голубой окаёмкой и посмотрел на часы, но не умоляющим взглядом неукладывающегося докладчика, а искоса, с недоумением, после чего приложил их к уху.

— Четвёртой чертой диалектики,— вскрикнул он так, что опять некоторые вздрогнули,— это то, что... противоречия! Противоположности! Отживающее и новое, отрицательное и положительное! Это — везде, товарищи, это — не секрет! Можно дать научные примеры, пожалуйте — электричество! Если потереть стекло о шёлк — это будет плюс, а если смолу о мех — это будет минус! Но только их единство, их синтез даёт энергию нашей промышленности. И за примерами не надо далеко ходить, товарищи, это всюду и везде: тепло — это плюс, а холод — это минус, и в общественной жизни мы видим тот же непримиримый комплект между положительным и отрицательным. Как видите, диамат впитал в себя всё лучшее, достигнутое отраслью науки. Вскрытые основоположниками марксизма внутренние противоречия развития являлись не только в мёртвой природе, но и основной движущей силой всех формаций от первобытно-общинного строя и до империализма, загнивающего на наших глазах! И только в нашем бесклассовом обществе движущей силой бесспорно являются не внутренние противоречия, а критика и самокритика, не взирая на лицо.

Лектор зевнул и не успел вовремя закрыть рот. Он вдруг помрачнел, на лице его появились какие-то вертикальные складки, нижняя челюсть дрогнула в подавляемой конвульсии. Совсем новым тоном большой усталости он ещё пытался говорить стоя:

— Оппозиционеры и капитулянты бухаринского толка нагло клеветали, что у нас есть классовые противоречия, но...

Усталость свалила его, он поморгал, опустил на стул и закончил фразу совсем вяло, тихо:

— ...но наш ЦК дал отпор сокрушительный.

И всю середину лекции он прочёл так. Было похоже, что или внутренний недуг внезапно обессилил его, или он потерял всякую надежду, что проклятые полтора лекционных часа когда-нибудь кончатся.

Он говорил похоронным голосом, спускаясь и до шёпота, как будто всё складывалось против него и против слушателей. Он как бы пробирался в дебрях и не предвидел выхода:

— Только материя абсолютна, а все законы науки относительны... Только материя абсолютна, а каждый частный вид материи — относителен... Нет нич-чего абсолютного кроме материи, и движение — вечный атрибут его... Движение абсолютно — покой относителен... Абсолютных истин нет, всякая истина — относительна... По-

нятие красоты — относительно... Понятия добра и зла — относительно...

Слушал ли Степанов лекцию, нет ли, — но весь вид его, вытянувшегося в стуле, поблескивающего на аудиторию, выражал сознание важности проводимого политического мероприятия и сдержанное торжество, что такое большое культурное событие имеет место в марфинских стенах.

Вынужденно слушали лектора Яконов и Ройтман, потому что сидели так близко. Ещё одна девушка из четвёртого ряда в эпонжевом платье вся подалась вперёд и слушала с лёгким румянцем. У неё появилось тщеславное желание задать лектору какой-нибудь вопрос, но она не могла придумать — какой.

Внимательно смотрел на лектора ещё Клыкачёв, чья узкая длинная голова высывалась из мундирной густоты сидящих. Но он тоже не слушал: он сам вёл политучёбы, и мог прочесть лекцию даже лучше, и знал хорошо, по каким инструктивным материалам сегодняшнее выступление приготовлено. Клыкачёв просто от скуки изучал лектора — сперва прикидывал, сколько тот может получать в месяц, потом пытался определить его возраст и образ жизни. Ему могло быть около сорока, но пепельность, изрезанность лица, налитой багровый нос уводили за пятьдесят или говорили, что он много берёт от жизни, и жизнь ему мстит.

Остальные все откровенно не слушали. Тоня и высокий лейтенант исписывали записками уже четвёртый листок из блокнота, ещё один лейтенант и Тамара играли в увлекательную игру: он брал её сперва за один палец, потом ещё за один, и так за всю кисть, она хлопала его другой рукой и вырывала кисть. И опять всё шло сначала. Игра захватила их, и только на лицах, видных Степанову, они с хитростью школьников пытались сохранять строгость. Начальник 4-й группы рисовал начальнику 1-й группы (тоже на коленях, пряча от Степанова), какую пристройку он думает сделать к своей уже работающей схеме.

Но до всех них хоть обрывками долетал ещё голос лектора, — Клара же Макарыгина в однотонном ярко-синем платье открыто облокотилась о спинку стула перед собой и спрятала лицо в скрещенные руки. Она сидела глухая и слепая ко всему, что происходило в этой комнате, она бродила в том чёрно-розоватом тумане, который бывает от сжатых придавленных век. Перемесь радости, смутения и тоски не оставляла её со вчерашнего руськиного поцелуя. Всё запуталось неразрешимо. Зачем был в её жизни Эрик? И разве можно было им пренебречь? Как можно было теперь Руську *не ждать!* И как можно было его *ждать?* И как можно было оставаться с ним в одной группе, встречать его взгляд, и снова и дальше разговаривать? Перевестись в другую группу? Но не самого ли Ростислава инженер-полковник решил перевести? Он вызвал его два часа назад, и тот до сих пор не вернулся. Кларе было легче, что он не вернулся до политучёбы, и она убежала охотно на лекцию, чтоб отдалить свою встречу с ним. Однако, сегодня вечером их объяснение неизбежно. Уходя, он обернулся в дверях и обдал её невыносимым упрёком. Действительно, как это должно казаться подло — вчера обещать ему, а сегодня...

(Она не знала, что никогда уже в жизни им не предстоит встретиться: Руська арестован и отведен в маленький тесный бокс в штабе тюрьмы. А в Вакуумной, в самый этот момент, майор Шикин в присутствии начальника Вакуумной взламывал и обыскивал руськин стол.)

Силы снова прилипли к лектору. Он оживился, поднялся на ноги и, размахивая большим кулаком, шутя громил убогую формальную логику, порождение Аристотеля и средневековой схоластики, павшую под напором марксистской диалектики.

Именно Марфина достигали самые свежие американские журналы, и недавно для всей Акустической Рубин перевёл, и кроме Ройтмана уже несколько офицеров читало о новой науке кибернетике. Она вся покоится как раз на битой-перебитой формальной логике: «да» — да, а «нет» — нет, и третьего не дано. И «Двузначная логическая алгебра» Джона Буля вышла в один год с «Коммунистическим манифестом», только никто её не заметил.

— Вторым большим разделом диалектического материализма — это философский материализм, — погромыхивал лектор. — Материализм вырос в борьбе с реакционной философией идеализма, основателем которой является Платон, а в дальнейшем наиболее типичными представителями — епископ Беркли, Мах, Авенариус, Юшкевич и Валентинов.

Яконов охнул, так что в его сторону повернулись. Тогда он выразил гримасу и взялся за бок. Поделиться тут он мог бы разве с Ройтманом — однако, именно с ним-то и не мог. И он сидел с покорно-внимательным лицом. Вот на это он должен был тратить свой последний выпрошенный месяц!..

— Нет необходимости доказывать, что материя есть субстанция всего существующего! — гремел лектор. — Материя неуничтожима, это бесспорно! и это тоже можно научно доказать. Например, сажаем в землю зерно — разве оно исчезло? — нет! оно превратилось в растение, в десяток таких же зёрен. Была вода — от солнца вода испарилась. Так что, вода исчезла? Конечно, нет!! Вода превратилась в облако, в пар! Вот как! Только подлый слуга буржуазии, дипломированный лакей поповщины, физик Оствальд имел наглость заявить, что «материя исчезла». Но это же смешно, кому ни скажи! Гениальный Ленин в своём бессмертном труде «Материализм и эмпириокритицизм», руководствуясь передовым мировоззрением, опроверг Оствальда и загнал его в тупик, что ему деваться некуда!

Яконов подумал: вот таких бы лекторов человек сто загнать бы на эти тесные стулья, да читать им лекцию о формуле Эйнштейна, да держать без обеда до тех пор, пока их тупые ленивые головы воспримут хоть — куда девается в секунду четыре миллиона тонн солнечного вещества!

Но его самого держали без обеда. Ему уже тянуло все жилы. Он крепился простой надеждой — скоро ли отпустят?

Все крепились этой надеждой, потому что выехали из дому трамваями, автобусами и электричкой кто в восемь, а кто и в семь часов утра — и не чаяли теперь добраться домой раньше половины десятого.

Но напряжённее их ожидала конца лекции Симочка, хотя она оставалась дежурить и ей не надо было спешить домой. Боязнь и ожидание поднимались и падали в ней горячими волнами, и ноги отнялись, как от шампанского. Ведь сегодня был тот самый вечер понедельника, который она назначила Глебу. Она не могла допустить, чтоб этот торжественный высокий момент жизни произошёл врасплох, мимоходом — оттого-то позавчера она ещё не чувствовала себя готовой. Но весь день вчера и полдня сегодня она провела как перед великим праздником. Она сидела у портнихи, торопя её окончить новое платье, очень шедшее Симочке. Она сосредоточенно мылась дома, поставив жестяную ванну в московской комнатной тесноте. На ночь она долго завивала волосы и утром долго развивала их и всё рассматривала себя в зеркало, ища убедиться, что при иных поворотах головы вполне может нравиться.

Она должна была увидеть Нержина в три часа дня, сразу после перерыва, но Глеб, открыто пренебрегая правилами для заключённых (выговорить ему сегодня за это! надо же беречь себя!), с обеда опоздал. Тем временем Симочку надолго послали в другую группу проинформировать переписку и приёмку приборов и деталей, она вернулась в

Акустическую уже перед шестью — и опять не застала Глеба, хотя стол его был завален журналами и папками и горела лампа. Так она и ушла на лекцию, не повидав его и не подозревая о страшной новости — о том, что вчера, неожиданно, после годичного перерыва он ездил на свидание с женой.

Теперь с горящими щеками, в новом платье, она сидела на лекции и со страхом следила за стрелками больших электрических часов. В начале девятого они должны были остаться с Глебом одни... Маленькая, легко уместившаяся между стеснёнными рядами, она не была видна из-за соседей, так что стул её издали казался незанятым.

Темп речи лектора заметно ускорился, как в оркестре ускоряется вальс или полька на последних тактах. Все почувствовали это и ожились. Сменяя друг друга и впоыхах чуть смешанные с пенистыми брызгами изо рта, над головами слушателей проносились крылатые мысли:

— Теория становится материальной силой... Три черты материализма... Две особенности производства... Пять типов производственных отношений... Переход к социализму невозможен без диктатуры пролетариата... Скачок в царство свободы... Буржуазные социологи всё это прекрасно понимают... Сила и жизненность марксизма-ленинизма... Товарищ Сталин поднял диалектический материализм на новую, ещё высшую ступень!.. Чего в вопросах теории не успел сделать Ленин — сделал товарищ Сталин!.. Победа в Великой Отечественной войне... Вдохновляющие итоги... Необъятные перспективы... Наш гениально-мудрый... наш великий... наш любимый...

И уже под аплодисменты посмотрел на карманные часы. Было без четверти восемь. От регламента ещё даже остался хвостик.

— Может быть, будут вопросы? — как-то полуугрожающе спросил лектор.

— Да, если можно...— зарделась девушка в эпонжевом платье из четвёртого ряда.

Она поднялась и, волнуясь, что все смотрят на неё и слушают её, спросила:

— Вот вы говорите.— буржуазные социологи всё это понимают. И действительно, это всё так ясно, так убедительно... Почему же они пишут в своих книгах наоборот? Значит, они нарочно обманывают людей?

— Потому что им невыгодно говорить иначе! Им за это платят большие деньги! Их подкупают на сверхприбыли, выжатые из колоний! Их учение называется прагматизм, в переводе на русский: что выгодно, то и закономерно. Все они — обманщики, политические потаскухи!

— Все-все? — утончившимся голосом ужаснулась девушка.

— Все до одного!! — уверенно закончил лектор, тряхнув патлатой пепельной головой.

Новое коричневое платье Симочки было шито с пониманием достоинств и недостатков фигуры: верхняя часть его, как бы жакетик, плотно облегал осиную талию, но на груди не был натянут, а собран в неопределённые складки. При переходе же в юбку, чтоб искусственно расширить фигуру, он заканчивался двумя круговыми, вскидными на ходу, воланчиками, одним матовым, а другим блестящим. Невесомо тонкие руки Симочки были в рукавах, от плеча волнисто-свободных. И в воротнике была наивно-милая выдумка: он ткроен был отдельно долгим дорожком той же ткани, и свисающие концы его завязывались на груди бантом, походя на два крыла себристи-коричневой бабочки.

Эти и другие подробности осматривались и обсуждались подружками Симочки на лестнице, у гардеробной, куда она вышла их про-

водить после лекции. Стоял гам, толкотня, мужчины наспех влезали в шинели и пальто, закуривали на дорогу, девушки балансировали у стен, надевая ботинки.

В этом мире подозрительности могло показаться странным, что на служебное вечернее дежурство Симочка обновляла платье, сшитое к Новому году. Но Симочка объясняла девушкам, что после дежурства едет на именины к дяде, где будут молодые люди.

Подруги очень одобряли платье, говорили, что она «просто хорошенькая» в нём, и спрашивали, где куплен этот креп-сатен.

Решимость покинула Симочку, и она медлила идти в лабораторию.

Только без двух минут восемь с колотящимся сердцем, хотя и взбодренная похвалами, она вошла в Акустическую. Заключённые уже сдавали в стальной шкаф секретные материалы. Через середину комнаты, обнажённую после отоски вокодера в Семёрку, она увидела стол Нержина.

Его уже не было. (Не мог он подождать?..) Его настольная лампа была погашена, ребристые шторы стола — защёлкнуты, секретные материалы — сданы. Но была одна необычность: центр стола не весь был очищен, как Глеб делал на перерыв, а лежал большой раскрытый американский журнал и раскрытый же словарь. Это могло быть тайным сигналом ей: «скоро приду!»

Заместитель Ройтмана вручил Симочке ключи от секретного шкафа, от комнаты и печатку (лаборатории опечатывались каждую ночь). Симочка опасалась, не пойдёт ли Ройтман опять к Рубину, и тогда каждую минуту придётся ждать его захода в Акустическую, но нет, и Ройтман был тут же, уже в шинели, шапке, и, натянув кожаные перчатки, торопил заместителя одеваться. Он был невесел.

— Ну, что ж, Серафима Витальевна, командуйте. Всего хорошего, — пожелал он напоследок.

По коридорам и комнатам института разнёсся долгий электрический звонок. Заключённые дружно уходили на ужин. Не улыбаясь, наблюдая за последними уходящими, Симочка прошла по лаборатории. Когда она не улыбалась, лицо её выглядело очень строгим, особенно из-за долгонького носа с острым хребетком, лишавшего её привлекательности.

Она осталась одна.

Теперь он мог прийти!

Она ходила по лаборатории и ломала пальцы.

Надо же было случиться такой неудаче! — шёлковые занавески, всегда висевшие на окнах, сегодня сняли в стирку. Три окна остались теперь незащитно-оголённые, и из черноты двора можно подглядывать, притаясь. Правда, комнату вглубь не увидят — Акустическая в бельэтаже. Но недалеко — забор и прямо против их с Глебом окна — вышка с часовым. Оттуда видно — напролёт.

Или *тогда* потушить весь свет? Дверь будет заперта, всякий подумает — дежурная вышла.

Но если начнут взламывать дверь, подбирать ключи?..

Симочка прошла в акустическую будку. Она сделала это безотчётно, не связывая с часовым, взгляд которого туда не проникал. На пороге этой тесной каморки она прислонилась к толстой полой двери и закрыла глаза. Ей не хотелось сюда даже войти без него. Ей хотелось, чтоб он её сюда втянул, внёс.

Она слышала от подруг, как всё происходит, но представляла смутно, и волнение её ещё увеличивалось, и щёки горели сильнее.

То, что в юности надо было пуще всего хранить, уже превратилось в бремя!..

Да! Она бы очень хотела ребёнка, и воспитывать его, пока Глеб освободится! Всего только пять годиков!

Она подошла сзади к его вертящемуся гнучкому жёлтому стулу и обняла спинку как живого человека.

Покосилась в окно. В близкой черноте угадывалась вышка, а на ней — чёрный сгусток всего враждебного любви — часовой с винтовкой.

В коридоре послышались шаги Глеба, он ступал тише обычного. Симочка порхнула к своему столу, села, придвинула трёхкаскадный усилитель, положенный на стол боком, с обнажёнными лампами, и стала его рассматривать, держа маленькую отвёрточку в руке. Удары сердца отдавались в голову.

Нержин прикрыл дверь негромко — чтобы звук не очень разнёсся в безмолвном коридоре. Через опустевший без вокодерских стоек простор он увидел Симочку ещё издали, притаившуюся за своим столом как перепёлочка за большой кочкой.

Он её так прозвал.

Симочка вскинула навстречу Глебу светящийся взгляд — и обмерла: лицо его было смущено, даже сумрачно.

До его входа она уверена была: первое, что он сделает — подойдёт поцеловать, а она его остановит — ведь окна открыты, часовой смотрит.

Но он не кинулся вокруг столов. Он около своего остановился и первый же объяснил:

— Окна открыты, я не подойду, Симочка. Здравствуй! — Опущенными руками он опёрся о стол и, стоя, сверху вниз, смотрел на неё. — Если нам не помешают, нам надо сейчас... переговорить.

Переговорить?

Пе-ре-го-во-рить...

Он отпер свой стол. Одна за другой, звонко стукнув, шторы упали. Не глядя на Симочку, деловыми движениями Нержин доставал и развёртывал разные книги, журналы, папки — так хорошо известную ей маскировку.

Симочка замерла с отвёрткой в руке и неотрывно смотрела на его безглазое лицо. Её мысль была, что субботний вызов Глеба к Яковому давал теперь злые плоды, его теснят или должны услать скоро. Но почему ж он прежде не подойдёт? не поцелует?..

— Случилось? Что случилось? — с переломом голоса спросила она и трудно глотнула.

Он сел. Попирая локтями раскрытые журналы, обхватил растягом пальцев справа и слева голову и прямым взглядом посмотрел на девушку. Но прямоты не было в том взгляде.

Стояла глухая тишина. Ни звука не доносилось. Их разделяло два стола — два стола, озарённые четырьмя верхними, двумя настольными лампами и простреливаемые взглядом часового с вышки.

И этот взгляд часового был как завеса колючей проволоки, медленно опускавшаяся между ними.

Глеб сказал:

— Симочка! Я считал бы себя негодяем, если бы сегодня... если бы... не исповедался тебе...

— ?

— Я как-то... легко с тобой поступал, не задумывался...

— ??

— А вчера... я виделся с женой... Свидание у нас было.

Симочка осела, стала ещё меньше. Крыльца её воротничкового банта бессильно опали на алюминиевую панель прибора. И звякнула отвёртка о стол.

— Отчего ж вы... в субботу... не сказали? — подсеченным голосом едва протащила она.

— Да что ты, Симочка! — ужаснулся Глеб. — Неужели б я скрыл от тебя?

(А почему бы и нет?..)

— Я узнал вчера утром. Это неожиданно получилось... Мы целый год не виделись, ты знаешь... И вот увиделись, и...

Его голос изнывал. Он понимал, какво ей слушать, но и говорить было тоже... Тут столько оттенков, которые ей не нужны, и не передашь. Да они самому себе непонятны. Как мечталось об этом вечере, об этом часе! Он в субботу сгорал, вертясь в постели! И вот пришёл тот час, и препятствий нет! — занавески ничто, комната — их, оба — здесь, всё есть! — всё, кроме...

Душа вынута. Осталась на свидании. Душа — как воздушный змей: вырвалась, полощется где-то, а ниточка — у жены.

Но, кажется — душа тут совсем не нужна?!

Странно: нужна.

Всё это не надо было говорить Симочке, но что-то же надо? И по обязанности что-то говорить Глеб говорил, подыскивал околичные приличные объяснения:

— Ты знаешь... она ведь меня ждёт в разлуке — пять лет тюрьмы да сколько? — войну. Другие не ждут. И потом она в лагере меня поддерживала... подкармливала... Ты хотела ждать меня, но это не... не... Я не вынес бы... причинить ей...

Той! — а этой? Глеб мог бы остановиться!.. Тихий выстрел хрипловатым голосом сразу же попал в цель. Перепёлочка уже была убита. Она вся обмякла и ткнулась головой в густой строй радиоламп и конденсаторов трёхкаскадного усилителя.

Всхлипывания были тихие как дыхание.

— Симочка, не плачь! Не плачь, не надо! — спохватился Глеб.

Но — через два стола, не переходя к ней ближе.

А она — почти беззвучно плакала, открыв ему прямой пробор разделённых волос.

Именно от её беззащитности простёгивало Глеба раскаяние.

— Перепёлочка! — бормотал он, переклоняясь вперёд. — Ну, не плачь. Ну, я прошу тебя... Я виноват...

Больно, когда плачет эта, — а та? Совсем непереносимо!

— Ну, я сам не понимаю, что это за чувство...

Ничего бы, кажется, не стоило хоть подойти к ней, привлечь, поцеловать — но даже это было невозможно, так чисты были и губы и руки после вчерашнего свидания.

Спасительно, что сняли с окон занавески.

И так, не вскакивая и не обегая столов, он со своего места вторял жалкие просьбы — не плакать.

А она плакала.

— Перепёлочка, перестань!.. Ну ещё может быть как-нибудь... Ну, дай времени немножко пройти...

Она подняла голову и в перерыве слёз странно окинула его.

Он не понял её выражения, потупился в словарь.

Её голова устала держаться и опять опустилась на усилитель.

Да было бы дико, при чём тут свидание?.. При чём все женщины, ходящие по воле, если здесь — тюрьма? Сегодня — нельзя, но пройдёт сколько-то дней, душа опустится на своё место, и наверно всё станет — можно.

Да как же иначе? Да просто на смех поднимут, если кому рассказать. Надо же очнуться, ощутить лагерную шкуру! Кто заставляет потом на ней жениться? Девушка ждёт, иди!

Да больше того, только об этом не вслух: разве ты выбрал эту? Ты выбрал это место, через два стола, а там кто бы ни оказалась — иди!

Но сегодня — невозможно...

Глеб отвернулся, перегнулся на подоконник. Лбом и носом приплюснулся к стеклу, посмотрел в сторону часового. Глазам, ослеплённым от близких ламп, не было видно глубины вышки, но вдали там и сям отдельные огни расплывались в неясные звёзды, а за ними

и выше — обнимало треть неба отражённое белесоватое свечение близкой столицы.

Под окном же видно было, что на дворе ведёт, тает.

Симочка опять подняла лицо.

Глеб с готовностью повернулся к ней.

От глаз её шли по щекам блестящие мокрые дорожки, которых она не вытирала. Лучением глаз, и освещением, и изменчивостью женских лиц она именно сейчас стала почти привлекательной.

Может быть всё-таки... ?

Симочка упорно смотрела на Глеба.

Но не говорила ни слова.

Неловко. Что-то надо же говорить. Он сказал:

— Она и сейчас, по сути, мне жизнь отдаёт. Кто б это мог? Ты уверена, что ты бы сумела?

Слёзы так и стояли невысохшими на её нечувствующих щеках.

— Она с вами не разводилась? — тихо раздельно спросила Симочка.

Ишь, как почувствовала главное! В самую точку. Но признаваться ей во вчерашней новости не хотелось. Ведь это сложнее гораздо.

— Нет.

Слишком точный вопрос. Если бы не такой точный, если бы не такой требовательный, если бы края размыты, если бы дальше ничто не называть, если бы смотреть, смотреть, смотреть — может быть приподымешься, может быть пойдёшь к выключателю... Но слишком точные вопросы вызывают к логическим ответам.

— Она — красивая?

— Да. Для меня — да, — ощитился Глеб.

Симочка шумно вздохнула. Кивнула сама себе, зеркальным точкам на зеркальных поверхностях радиоламп.

— Так не будет она вас ждать.

Никаких преимуществ законной жены Симочка не могла признать за этой незримой женщиной. Когда-то жила она немного с Глебом, но это было восемь лет назад. С тех пор Глеб воевал, сидел в тюрьме, а она, если правда красива, и молода, и без ребёнка — неужели монашествовала? И ведь ни на этом свидании, ни через год, ни через два он не мог принадлежать ей, а Симочке — мог. Симочка уже сегодня могла стать его женой!.. Эта женщина, оказавшаяся не призрак, не имя пустое, — зачем она добивалась тюремного свидания? Из какой ненасытной жадности она протягивала руку к человеку, который никогда не будет ей принадлежать?!

— Не будет она вас ждать! — как заводная повторяла Симочка.

Но чем упорней и чем точнее она попадала, тем обидней.

— Она уже прождала восемь! — возразил Глеб. Анализирующий ум тут же, впрочем, исправил: — Конечно, к концу будет трудней.

— Не будет она вас ждать! — ещё повторила Симочка, шёпотом. И кистью руки сняла высыхающие слёзы.

Нержин пожал плечами. Честно говоря — конечно. За это время разойдутся характеры, разойдётся жизненный опыт. Он сам всё время внушал жене: разводиться. Но зачем так упорно, с таким правом давила в эту точку Симочка?

— Что ж, пусть — не дождётся. Пусть только не она меня упрекнёт. — Тут открывалась возможность порассуждать. — Симочка, я не считаю, что я хороший человек. Даже — я очень плохой, если вспомнить, что я делал на фронте в Германии, как и все мы делали. И теперь вот с тобой... Но поверь, что этого всего я набрался в вольном мире — поверхностью, благополучно. Поддался внушению, когда плохое изображается дозволенным. Но чем ниже я опускался туда, тем... странно... Не будет меня ждать? — пусть не ждёт. Лишь бы меня не грызло...

Он напал на одну из своих любимых мыслей. Он мог бы ещё долго об этом — особенно потому, что нечего было другого.

А Симочка почти и не слышала этой проповеди. Он говорил, кажется, всё о себе. Но как быть ей? Она с ужасом представляла, как придёт домой, сквозь зубы что-то процедит надоедливой матери, кинется в постель. В постель, в которую месяцы ложилась с мыслями о нём. Какой унижительный стыд! — как она приготавлилась к этому вечеру! Как натиралась, душилась!..

Но если один час стеснённого тюремного свидания перевесил их многомесячное соседство здесь — что можно было поделывать?

Разговор, конечно, кончился. Всё сказано было без подготовки, без смягчения. Надо было уйти в будку и там ещё поплакать и привести себя в порядок.

Но у неё не было сил ни прогнать его, ни уйти самой. Ведь это последний раз между ними тянулась ещё какая-то паутина!

А Глеб смолк, увидев, что она его не слушает, что его высокие выводы ей совсем не нужны.

Закурил! — вот находка. И опять глядел в окно на разрозненные желтоватые огни.

Сидели молча.

Уже не было её так жалко. Что для неё это? — вся жизнь? Эпизод, поверхностное. Пройдёт.

Найдёт...

Жена — не то.

Они сидели и молчали, и молчали — и это уже становилось в тягость. Глеб много лет жил среди мужчин, где объяснения происходили коротко. Если всё сказано, всё исчерпано — зачем же сидеть и молчать? Бесмысленная женская вязкость.

Не шевеля головой, чтоб Симочка не догадалась, он одними глазами, исподлобья, посмотрел на стенные электрические часы. Было ещё двадцать минут до поверки, двадцать минут вечерней прогулки! Но оскорбительно было бы встать и уйти. Приходилось досиживать.

Кто сегодня заступит вечером? Кажется, Шустерман. А завтра утром — младшина.

Симочка, сгорбленная, сидела над усилителем, для чего-то вынимая пошатыванием лампы из панельных гнезд и вставляя их опять.

Она и прежде ничего в этом усилителе не понимала. И окончательно не понимала теперь.

Однако, деятельный рассудок Нержина требовал какого-то занятия, движения вперёд. На узкой полоске бумаги, поджатой под чернильницу, где он с утра ежедневно записывал программы радиопередач, он прочёл:

20.30—Рс. п и рм (Обх)

Это значило: «Русские песни и романсы в исполнении Обуховой».

Такая редкость! И в тихий час перерыва. Концерт уже идёт. Но удобно ли включить?

На подоконнике, лишь руку протянуть, стоял приёмничек с фиксированной настройкой на три московских программы, подарок Валентули. Нержин покосился на неподвижную Симочку и воровским движением включил на самую малую громкость.

И только-только разгорелись лампы, как проступил аккомпанемент струнных и вслед за ним на всю тихую комнату — низкий, глуховато-страстный, ни на чей не похожий голос Обуховой.

Симочка вздрогнула. Посмотрела на приёмник. Потом на Глеба.

Обухова пела очень близкое к ним, даже слишком больно близкое:

Нет, не тебя так пылко я люблю...

Надо же, как неудачно! Глеб шарил сбок себя, чтоб незаметно выключить.

Симочка опустила на усилитель, руки ободком, и снова заплакала, заплакала.

Что даже горьких слов своих у него не хватило на их короткие общие минуты.

— Прости меня! — забрало Глеба. — Прости меня! Прости меня!!

Он так и не нащупал выключить. Тёплым толчком его кинуло — он обошёл столы и, уже пренебрегая часовым, взял её за голову, поцеловал волосы у лба.

Симочка плакала без всхлипываний, без вздрагиваний, обильно, освобождённо.

90

С мыслями расстроенными, поражённый ещё известием об аресте Руськи (*параша* об этом возникла два часа назад, после взлома его стола Шишкиным, подтвердилась же на вечерней поверке отсутствием Руськи, как бы не замечаемым дежурными), Нержин едва не забыл об условленной встрече с Герасимовичем.

Режим неуклонимо привёл его через пятнадцать минут снова к тем же двум столам, к тем развёрнутым журналам и опрокинутому усилителю, ещё закапанному симочкиными слезами. И теперь казнены были Глеб и Симочка два часа сидеть друг против друга (и завтра, и послезавтра, и каждый день, и целые дни) и прятать глаза в бумаги, избегая встретиться.

Но на больших электрических часах перепрыгнула минутная стрелка, подходя уже к четверти десятого — и Нержин вспомнил. Не очень было сейчас настроение толковать о разумном обществе — а может и хорошо как раз. Он запер левую стойку стола, где хранились его главные записи, и, ничего не свёртывая и не гася настольной лампы, с папиросой в зубах вышел в коридор. Неторопливой развалкой прошёл до остеклённой двери, ведущей на заднюю лестницу, толкнул её. Как ожидалось, она была не заперта.

Нержин лениво оглянулся. По всей длине коридора не было ни человека. Тогда резким движением он перешагнул порог, с деревянного пола на цементный, тем уйдя со стрелы коридора, и, придерживая, прикрыл за собою дверь без шума. И стал подниматься по лестнице в густеющую темноту, чуть попыхивая и посвечивая себе папиросой.

Окно Железной Маски не светило. Сквозь одно из наружных на верхнюю площадку втекала полоса слабого мреющего света.

Дважды зацепясь о хлам, сложенный на лестнице, Нержин на верхних ступеньках приглушенно окликнул:

— Тут есть кто?

— Кто это? — отозвался из темноты голос тоже приглушенный, то ли Герасимовича, то ли нет.

— Да это — я, — растянул Нержин, чтобы можно было угадать его, и посылнее пыхнул папироской, освещая себя.

Герасимович зажёл острый лучик маленького карманного фонарика, указал им на тот же самый чурбак, на котором Нержин вчера днём отсиживался после свидания, и погасил. Сам он примостился на таком же втором.

На всех стенах таились, густились невидимые картины крепостного художника.

— Вот видите, какие мы ещё телята в конспирации, даже просидев так долго в тюрьме, — сказал Герасимович. — Мы не предусмотрели простого: входящий ничем не компрометирован, а тот, кто ждал в темноте, не может окликать. Надо было придумать условную фразу при подъёме на лестницу.

— Да-а, — усаживался Нержин. — Каждый из нас должен быть и жнец, и швец, и в дуду игрец. Успевать работать для хлеба, и стро-

ить душу, и ещё уметь бороться с сытым аппаратом ГБ — а сколько их? миллиона два? Надо прожить сколько жизней в одной! — мудро ли, что мы не справляемся?.. Как вы думаете, а Мамурин не может лежать на кровати в темноте? А то мы с равным успехом можем беседовать в кабинете Шикина.

— Перед тем, как идти сюда, я удостоверился: он в Семёрке. Если вернётся — мы его обнаружим первые. Итак, перехожу к сути.

Он это говорил делово, но была в его голосе усталость и отвлечённость.

— Собственно, я собирался просить вас отложить наш разговор... Но дело в том, что я на днях отсюда уеду.

— Так точно знаете?

— Да.

— Вообще, я тоже уеду, ну не так быстро. Не угодил...

— Так если бы знать, что мы с вами окажемся на одной пересылке — поговорили бы там, уж там-то время будет. Но тюремная история учит нас ни одного разговора не откладывать.

— Да. Я тоже так вывел.

— Итак, вы сомневаетесь в том, что можно разумно построить общество?

— Очень сомневаюсь. До полного неверия.

— А между тем, это совсем несложно. Только строить его — дело элиты, а не ослиного скопа. Интеллектуальной, технической элиты. И общество надо строить не «демократическое», не «социалистическое», это всё признаки не из того ряда. Общество надо строить интеллектуальное. Оно обязательно и будет разумным.

— Ну во-от,— разочарованно потянул Нержин.— Вот вы и накидали. Три фразы накидали — за три вечера не разобраться. Во-первых, интеллектуальное — чем отличается от рационального? А его мы уже знаем, нам французские рационалисты уже одну великую революцию сделали, избавьте.

— То были — болтуны, а не рационалисты. Интеллектуалы — ещё своей революции не делали.

— И не сделают. Они — головастики... Интеллектуальное общество — это у вас какое? Это, очевидно, внеэтическое и внерелигиозное?

— Не обязательно. Это можно предусмотреть.

— Предусмотреть! Но вот вы же не предусматриваете. Интеллектуальное общество — как можно себе представить? Инженеры без священников. Всё очень хорошо функционирует, разумнейшее хозяйство, каждый у правильного дела — и быстрое накопление благ. Но этого мало, поймите! Цели общества не должны быть материальны!

— Это — уже поздняя поправка. А пока что для большинства стран мира...

— О пока что я и разговаривать не хочу! А потом поздно будет! Вы же мне говорите о разумном устройстве!.. Дальше. «Не социалистическое» — это мне наплевать, форма собственности имеет значение десятое, и неизвестно, какая лучше. Но вот «не демократическое» — это меня пугает. Это — что такое? Почему?

Из густой тьмы Герасимович отвечал точными нужными словами, не вставляя сорных, как пишутся хорошие книги, как бывает, когда обдуманно прежде, чем сказано.

— Мы изголодались по свободе, и нам кажется: нужна безграничная свобода. А свобода нужна ограниченная, иначе не будет слаженного общества. Только не в тех отношениях ограниченная, как зажимают нас. И — честно предупредить заранее, не обманывать. Нам демократия кажется солнцем незаходящим. А что такое демократия? — угождение грубому большинству. Угождение большинству означает: равнение на посредственность, равнение по низшему уров-

ню, отсечение самых тонких высоких стеблей. Сто или тысяча осто-лопов своим голосованием указывают путь светлой голове.

— Хм-м,— недоуменно мычал Нержин.— Это для меня ново... Это я — не понимаю... не знаю... Думать надо... Я привык — демократия... А что же вместо демократии?

— *Справедливое неравенство!* Неравенство, основанное на истинных дарованиях, природных и развитых. Хотите — авторитарное государство, хотите — власть духовной элиты. Власть самоотверженных, совершенно бескорыстных и светоносных людей.

— Батюшки! Да это в идеале бы — пожалуйста. Но как эта элита отберётся? И, главное, как остальных убедить, что это — та самая элита? Ведь ум на лбу не написан, честность огнём не светится... Это нам и про социализм обещали, что только в английских одеяниях будут руководить, а — какие хари вылезли?.. Тут мно-ого вопросов... А — с партиями как? Вернее: как бы совсем без партий — и старого типа и, упаси Господь, Нового Типа? Человечество ждёт пророка, кто б научил, как вообще без партий жить! Всякая партийность — тоже ведь строжка под большинство, под дисциплину, говори, что не думаешь. Всякая партия корёжит и личность и справедливость. Лидер оппозиции критикует правительство не потому что оно действительно ошиблось, а потому что — зачем тогда оппозиция?

— Ну вот, вы сами идёте от демократии к моей системе.

— Ещё не иду! Это — немножко... Насчёт авторитарности? Конечно, нужен авторитет в государстве, но какой? Этический! Не власть на штыках, а чтоб — любили и уважали. Чтоб сказал: соотечественники, не надо, это дурно! — и все бы сразу прониклись: верно ведь, плохо! отвергнем! не будем! Где вы такое возьмёте?.. А то говорится «авторитарность», а вылупляется — тоталитарность. По мне бы, так что-нибудь швейцарское, помните у Герцена? Тем сильнее власть, чем ниже: самая большая — сельский сход, самый бесправный человек в государстве — президент... Ну, да это смеюсь... Вообще не рано ли мы с вами занялись? Разумное устройство! Разумней бы толковать — как из безразумного выбраться? Мы и этого не умеем, хоть и ближе.

— Это и есть главный предмет нашей беседы, — раздался спокойный голос из темноты. И так просто, будто говорилось о замене перегоревшей радиолампы в схеме: — Я думаю, что нам, русским техническим интеллигентам, пришло время сменить в России образ правления.

Нержин вздрогнул. Впрочем, не от недоверия: он ещё по наружности чувствовал к Герасимовичу родственность, хотя разговориться им не приходилось до сих пор.

Тихий ровный голос из темноты говорил сдержанно и чуть торжественно, от чего Нержин ощутил перебеги озноба вдоль хребта.

— Увы, самопроизвольная революция в нашей стране невозможна. Даже в прежней России, где была почти невозбранная свобода разлагать народ, понадобилось три года раскачивать войной — да какой! А у нас анекдот за чайным столом стоит головы, какая ж революция?

— Только не «увы»! — откликнулся Нержин.— Ну ее к чёрту, революцию: элиту же вашу первую и перережут. Всё образованное и прекрасное выбьют, всё доброе разорят.

— Хорошо, не «увы». Но от этого многие из нас стали полагать надежды на помощь извне. Мне кажется это глубокой и вредной ошибкой. В «Интернационале» не так глупо сказано: «Никто не даст нам избавленья! Добьёмся мы освобожденья своею собственной рукой!» Надо понять, что чем состоятельней и привольней живётся на Западе, тем меньше западному человеку хочется воевать за тех дураков, которые дали сесть себе на шею. И они правы, они не откры-

вали своих ворот бандитам. Мы заслужили свой режим и своих вождей, нам и расхлёбывать.

— Дождутся и они.

— Конечно, дождутся. В благополучии есть губящая сила. Чтобы продлить его на год, на день — человек жертвует не только всем чужим, но всем святым, но даже простым благоразумием. Так они вскормили Гитлера, так они вскормили Сталина, отдавали им по пол-Европы, теперь — Китай. Охотно отдадут Турцию, если этим хоть на неделю отсрочат всеобщую мобилизацию у себя. Они — конечно погибнут. Но мы — раньше.

— Раньше.

— В том беда, что надежда на американцев освобождает нашу совесть и расслабляет нашу волю: мы получаем право не бороться, подчиняться, жить по течению и постепенно вырождаться. Я не согласен, будто наш народ с годами в чём-то там прозревает, что-то в нём созревает... Говорят: целый народ нельзя подавлять без конца. Ложь! Можно! Мы же видим, как наш народ опустошился, одичал, и снизошло на него равнодушные уже не только к судьбам страны, уже не только к судьбе соседа, но даже к собственной судьбе и судьбе детей. Равнодушные, последняя спасительная реакция организма, стала нашей определяющей чертой. Оттого и популярность водки — невиданная даже по русским масштабам. Это — страшное равнодушие, когда человек видит свою жизнь не надколотой, не с отломанным уголком, а так безнадежно раздробленной, так вдоль и поперёк изгаженной, что только ради алкогольного забвения ещё стоит оставаться жить. Вот если бы водку запретили — тотчас бы у нас вспыхнула революция. Но беря сорок четыре рубля за литр, обходящийся десятью копейками, коммунистический Шейлок не соблазнится сухим законом.

Нержин не отзывался и не шевелился. Герасимовичу было чуть видно его лицо в слабом неясном отсвете от фонарей зоны и потом, наверно, от потолка. Совсем не зная этого человека, решился Илларион выговорить ему такое, чего и друзья закадычные шепотом на ухо не осмеливались в этой стране.

— Испортить народ — довольно было тридцати лет. Исправить его — удастся ли за триста? Поэтому надо спешить. Ввиду несбыточности всенародной революции и вредности надежд на помощь извне, выход остаётся один: обыкновеннейший дворцовый переворот. Как говорил Ленин: дайте нам организацию революционеров — и мы перевернём Россию! Они сбили организацию — и перевернули Россию!

— О, не дай Бог!

— Я думаю, нет затруднений создать подобную организацию при нашем арестантском знании людей и умении со взгляда отметить предателей — вот как мы сейчас друг другу доверяем, с первого разговора. Нужно всего от трёх до пяти тысяч отважных, инициативных и умеющих владеть оружием людей, плюс — кому-нибудь из технических интеллигентов...

— Которые атомную бомбу делают?

— ...установить связь с военными верхами...

— То есть, со шкурами барабанными!

— ...чтоб обеспечить их благожелательный нейтралитет. Да и убрать-то надо только: Сталина, Молотова, Берия, ещё нескольких человек. И тут же по радио объявить, что вся высшая, средняя и низшая прослойка остаётся на местах.

— Остаётся?! И это — ваша элита?..

— Пока! Пока. В этом особенность тоталитарных стран: трудно в них переворот совершить, но управлять после переворота ничего не стоит. Макиавелли говорил, что, согнав султана, можно завтра во всех мечетях славить Христа.

— Ой, не прошибитесь! Ещё неизвестно, кто кого ведёт: султан ли — их, или они — его, только сами не сознают. И потом: этот нейтралитет генерал-кабанов, которые целые дивизии толпами гнали на минные поля, чтоб только самих себя сберечь от штрафняка? Да они в клочья разорвут всякого за свой свинарник!.. И потом же — Сталин от вас уйдёт подземным ходом!.. И потом ваших инициативных пять тысяч, если не возьмут сексотами, так — пулемётами, из секретов... И потом, — волновался Нержин, — пяти тысяч таких, как вы — в России нет! И потом — только в тюрьме, а не на семейной воле, мужчина так свободен в мыслях, не связан в поступках и готов к жертвам! — а из тюрьмы-то как раз ничего и не сделаешь!.. Вы хотели, чтоб я искал недочётов в вашем проекте? Да он из одних недочётов и состоит!! Это — урок нашему физико-математическому надменю: что общественная деятельность — тоже специальность, да какая! Бесселевой функцией её не опишешь! Но даже не в этом! даже не в этом! — он уже слишком громко говорил для чёрной тихой лестницы. — Вы имели несчастье искать советчика во мне! — а я вообще не верю, что на Земле можно устроить что-нибудь доброе и прочное. Как же я возьмусь советовать, если я сам не выдеру ног из сомнений?

С ледяною ровностью Герасимович напомнил:

— Перед самым тем, как был изобретен спектральный анализ, Огюст Конт утверждал, что человечество никогда не узнает химического состава звёзд. И тут же — узнали! Когда вы на прогулке шагаете, развевая фронтальной шинелью — вы кажетесь другим.

Нержин загнулся. Он вспомнил вчерашнее спиридоново «волкодав прав, а людоед нет» и как Спиридон просил у самолёта атомной бомбы на себя. Эта простота могла захватно овладеть сердцем, но Нержин отбивался, сколько мог:

— Да, я иногда увлекаюсь. Но ваш проект слишком серьёзен, чтобы разрешить высказаться сердцу. А вы не помните той франсовской старухи в Сиракузах? — она молилась, чтобы боги послали жизни ненавистному тирану острова, ибо долгий опыт научил её, что всякий последующий тиран бывает жесточе предыдущего? Да, мерзок наш режим, но откуда вы уверены, что у вас получится лучше? А вдруг — хуже? Оттого, что вы хорошо хотите? А может и до вас хотели хорошо? Сеяли рожь, а выросла лебеда!.. Да чего там наша революция! Вы оглядитесь на... двадцать семь веков! На все эти виражи бессмысленной дороги — от того холма, где волчица кормила близнецов, от той долины олив, где чудесный мечтатель проезжал на ослике — и до наших захватывающих высот, до наших угрюмых ущелий, где только гусеницы самоходных пушек скрежещут, до наших перевалов обледенелых, где через лагерные бушлаты проскваживает семидесятиградусный ветер Оймякона! — я не вижу, зачем мы карабкались? зачем мы сталкивали друг друга в пропасти? Сотни лет поэты и пророки напевали нам о сияющих вершинах Будущего! — фанатики! они забыли, что на вершинах ревет ураганы, скудна растительность, нет воды, что с вершин так легко сломать себе голову? Вот здесь, посветите, есть такой Замок святого Грааля...

— Я видел.

— Там ещё будто всадник доскакал и узрел — ерунда! Никто не доскачет, никто не узрит! И меня тоже отпустите в скромную маленькую долинку — с травой, с водой.

— На-зад? — раздельно, без выражения отчеканил Герасимович.

— Да если б я верил, что у человеческой истории существует перёд и зад! Но у этого спрута нет ни зада, ни переди. Для меня нет слова, более опустошённого от смысла, чем «прогресс». Илларион Палыч, какой прогресс? От чего? И к чему? За двадцать семь столетий стали люди лучше? добрей? или хотя бы счастливей? Нет, хуже, злей и несчастней! И всё это достигнуто только прекрасными идеями!

— Нет прогресса? нет прогресса? — тоже переступая осторожность, заспорил Герасимович омоложенным голосом. — Этого нельзя простить человеку, соприкасавшемуся с физикой. Вы не видите разницы между скоростями механическими и электромагнитными?

— Зачем мне авиация? Нет здоровей, как пешком и на лошадаках! Зачем мне ваше радио? Чтоб засмывать великих пианистов? Или чтоб скорей передать в Сибирь приказ о моём аресте? Нехай себе везут на почтовых.

— Как не понять, что мы — накануне почти бесплатной энергии, значит — избытка материальных благ. Мы растопим Арктику, согреем Сибирь, озеленим пустыни. Мы через двадцать — тридцать лет сможем ходить по продуктам, они станут бесплатны, как воздух. Это — прогресс?

— Избыток — это не прогресс! Прогрессом я признал бы не материальный избыток, а всеобщую готовность делиться недостающим! Но — ничего вы не успеете! Не согреете вы Сибири! Не озелените пустынь! Всё, простите, к ...ям размечут атомными бомбами! Всё к ...ям перепашут реактивной авиацией!

— Но беспристрастно — окиньте эти виражи! Мы не только делали, что ошибались — мы и всползали наверх. Мы искровавили наши нежные мордочки об обломки скал — но всё-таки мы уже на перевале...

— На Оймяконе!..

— Всё-таки на кострах мы уже друг друга не жжём...

— Зачем возиться с дровами, есть душегубки!

— Всё-таки веча, где аргументировали палками, заменились парламентами, где побеждают доводы! Всё-таки у первобытных народов отвоёван habeas corpus act! И никто не велит вам в первую брачную ночь отсылать жену сюзерену. Надо быть слепым, чтобы не увидеть, что нравы всё-таки смягчаются, что разум всё-таки одолевает безумие...

— Не вижу!

— Что всё-таки созревает понятие человеческая личность!

По всему зданию разнёсся продолжительный электрический звонок. Он значил: без четверти одиннадцать, сдавать всё секретное в сейфы и опечатывать лаборатории.

Оба поднялись головами в слабый фонарный свет от зоны.

Пенсне Герасимовича переливало как два алмаза.

— Так что же? Вывод? Отдать всю планету на разврат? Не жалко?

— Жалко, — уже ненужным шёпотом, упавшим шёпотом согласился Нержин. — Планету — жалко. Лучше умереть, чем до этого дожить.

— Лучше — не допустить, чем умереть! — с достоинством возразил Герасимович. — Но в эти крайние годы всеобщей гибели или всеобщего исправления ошибок — какой же другой выход предлагаете вы? фронтовой офицер! старый арестант!

— Не знаю... не знаю... — видно было в четверть-свете, как мучился Нержин. — Пока не было атомной бомбы, советская система, худостройная, неповоротливая, съедаемая паразитами, обречена была погибнуть в испытании временем. А теперь если у наших бомба-появится — беда. Теперь вот разве только...

— Что?! — припирает Герасимович.

— Может быть... новый век... с его сквозной информацией...

— Вам же радио не нужно!

— Да его глушат... Я говорю, может быть в новый век откроется такой способ: слово разрушит бетон?

— Чересчур противоречит сопромату.

— Так и диамату! А всё-таки?.. Ведь помните: в Начале было

Слово. Значит, Слово — исконней бетона? Значит, Слово — не пустяк? А военный переворот... невозможно...

— Но как вы это себе конкретно представляете?

— Не знаю. Повторяю: не знаю. Здесь — тайна. Как грибы по некой тайне не с первого и не со второго, а с какого-то дождя — вдруг трогаются всюду. Вчера и поверить было нельзя, что такие уроды могут вообще расти — а сегодня они повсюду! Так тронутся в рост и благородные люди, и слово их — разрушит бетон.

— Прежде того понесут ваших благородных кузовами и корзинами — вырванных, срезанных, усечённых...

91

Вопреки предчувствиям и страхам понедельник проходил благополучно. Тревога не покинула Иннокентия, но и равновесное состояние, завоёванное им после полудня, тоже сохранялось в нём. Теперь надо было на вечер обязательно скрыться в театр, чтобы перестать бояться каждого звонка у дверей.

Но зазвонил телефон. Это было незадолго до театра, когда Дотти выходила из ванной.

Иннокентий стоял и смотрел на телефон, как собака на ежа.

— Дотти, возьми трубку! Меня нет, и не знаешь, когда буду. Ну их к чёрту, вечер испортят.

Дотти ещё похорошела со вчерашнего дня. Когда нравилась — она всегда хорошела, а оттого больше нравилась — и ещё хорошела.

Придерживая полы халата, она мягкой походкой подошла к телефону и властно-ласково сняла трубку.

— Да... Его нет дома... Кто, кто?.. — и вдруг преобразилась приветливо и повела плечами, был у неё такой жест угоды. — Здравствуйте, товарищ генерал!.. Да, теперь узнаю... — Быстро прикрыла микрофон рукой и прошептала: — Шеф! Очень любезен.

Иннокентий заколебался. Любезный шеф, звонящий вечером сам... Жена заметила его колебание:

— Одну минуточку, я слышу дверь открылась, как бы не он. Так и есть! Ини! Не раздевайся, быстро сюда, генерал у телефона!

Какой бы ни сидел по ту сторону телефона закоснелый в подозрениях человек, он по тону Дотти почти мог видеть, как Иннокентий торопливо вытирал ноги в дверях, как пересек ковёр и взял трубку.

Шеф был благодушен. Он сообщал: только что окончательно утверждено назначение Иннокентия. В среду он вылетит самолётом с пересадкой в Париже, завтра надо сдать последние дела, а сейчас явиться на полчаса для согласования кое-каких деталей. Машина за Иннокентием уже выслана.

Иннокентий разогнулся от телефона другим человеком. Он вдохнул с такой счастливой глубиной, что воздух как будто имел время распространиться по всему его телу. Он выдохнул с медленностью — и вместе с воздухом вытолкнул сомнения и страхи.

Невозможно было поверить, что вот так по канату при косом ветре можно идти, идти — и не сваливаться.

— Представь, Доттик, в среду лечу! А сейчас...

Но Доттик, прислонявшая ухо к трубке, уже слышала всё и сама. Только она разогнулась совсем не радостная: отдельный отъезд Иннокентия, ещё объяснимый и допустимый позавчера, сегодня был оскорблением и раной.

— Как ты думаешь, — она поднадула губы, — «кое-какие детали», это может быть всё-таки и я?

— Да... м-м-может быть...

— А что ты там вообще говорил обо мне?

Да что-то говорил. Что-то говорил, чего не мог бы ей сейчас повторить, что и переигрывать уже было поздно.

Но уверенность, вчера приобретенная, позволяла Дотти говорить со свободой:

— Ини, мы всё открывали вместе! Всё новое мы видели вместе! А к Жёлтому Дьяволу ты хочешь ехать без меня? Нет, я решительно не согласна, ты должен думать об обоих!

И это — ещё лучшее изо всего, что она произнесёт потом. Она ещё будет потом при иностранцах повторять глупейшие казённые суждения, от которых сторгят уши Иннокентия. Она будет поносить Америку — и как можно больше в ней покупать. Да нет, забыл, будет иначе: ведь он там откроется, и что вообще уместится в её голове?

— Всё и устроится, Дотти, только не сразу. Пока я поеду представляюсь, оформлюсь, познакомлюсь...

— А я хочу сразу! Мне именно сейчас хочется! Как же я останусь?

Она не знала, на что просилась... Она не знала, что такое крученный круглый канат под скользкими подошвами. И теперь ещё надо оттолкнуться и сколько-то пролететь, а предохранительной сетки может быть нет. И второе тело — полное, мягкое, нежертвенное, не может лететь рядом.

Иннокентий приятно улыбнулся и потрепал жену за плечи:

— Ну, попробую. Раньше разговор был иначе, теперь как удастся. Но во всяком случае ты не беспокойся, я же очень скоро тебя...

Поцеловал её в чужую щеку. Дотти нисколько не была убеждена. Вчерашнего согласия между ними как не бывало.

— А пока одевайся, не торопись. На первый акт мы не попадём, но цельность «Акулины» от этого... А на второй... Да я тебе ещё из министерства звякну...

Он едва успел надеть мундир, как в квартиру позвонил шофёр. Это не был Виктор, обычно возивший его, ни Костя. Шофёр был худощавый, подвижный, с приятным интеллигентным лицом. Он весело спускался по лестнице, почти рядом с Иннокентием, вертя на шнурочке ключ зажигания.

— Что-то я вас не помню,— сказал Иннокентий, застёгивая на ходу пальто.

— А я даже лестницу вашу помню, два раза за вами приезжал.— У шофёра была улыбка открытая и вместе плутоватая. Такого разбитнягу хорошо иметь на собственной машине.

Поехали. Иннокентий сел сзади. Он не слушал, но шофёр через плечо раза два пытался пошутить по дороге. Потом вдруг резко вывернул к тротуару и впритирку к нему остановился. Какой-то молодой человек в мягкой шляпе и в пальто, подогнанном по талии, стоял у края тротуара, поднимая палец.

— Механик наш, из гаража,— пояснил симпатичный шофёр и стал открывать ему правую переднюю дверцу. Но дверца никак не поддавалась, замок заел.

Шофёр выругался в границах городского приличия и попросил:

— Товарищ советник! Нельзя ли ему рядом с вами доехать? Начальник он мой, неудобно.

— Да пожалуйста,— охотно согласился Иннокентий, подвигаясь. Он был в опьянении, в азарте, мысленно захватывая назначение и визу, воображая, как послезавтра утром сядет на самолёт во Внукове, но не успокоится до Варшавы, потому что и там его может догнать задерживающая телеграмма.

Механик, закусив сбоку рта длинную дымящую папиросу, пригнулся, вступив в машину, сдержанно-развязно спросил:

— Вы... не возражаете? — и плюхнулся рядом с Иннокентием.

Автомобиль рванул дальше.

Иннокентий на миг скривился от презрения («хам!»), но ушёл опята в свои мысли, мало замечая дорогу.

Пыхтя папиросой, механик задымил уже половину машины.

— Вы бы стекло открыли! — поставил его на место Иннокентий, поднимая одну лишь правую бровь.

Но механик не понял иронии и не открыл стекла, а, развалясь на сиденьи, из внутреннего кармана вынул листок, развернул его и протянул Иннокентию:

— Товарищ начальник! Вы не прочтёте мне, а? Я вам посвечу.

Автомобиль свернул в какую-то темноватую кругую улицу, вроде как будто Пушечную. Механик зажёл карманный фонарик и лучиком его осветил малиновый листок. Пожав плечами, Иннокентий брезгливо взял листок и начал читать небрежно, почти про себя:

«Санкционирую. Зам. Генерального Прокурора СССР...»

Он по-прежнему был в кругу своих мыслей и не мог спуститься, понять, что механик? — неграмотный, что ли, или не разбирается в смысле бумаги, или пьян и хочет пооткровенничать.

«Ордер на арест...»

читал он, всё ещё не вникая в читаемое,

...Володина Иннокентия Артемьевича, 1919-го...»

— и только тут как одной большой иглой прокололо всё его тело по длине и разлился вар внезапный по телу — Иннокентий раскрыл рот — но ещё не издал ни звука, и ещё не упала на колени его рука с малиновым листком, как «механик» впился в его плечо и угрожающе загудел:

— Ну, спокойно, спокойно, не шевелись, придушу здесь!

Фонариком он слепил Володина и бил в его лицо дымом папиросы.

А листок отобрал.

И хотя Иннокентий прочёл, что он арестован, и это означало провал и конец его жизни, — в короткое мгновение ему были невыносимы только эта наглость, впившиеся пальцы, дым и свет в лицо.

— Пустите, — вскрикнул он, пытаясь своими слабыми пальцами освободиться. До его сознания теперь уже дошло, что это действительно ордер, действительно на его арест, но представлялось несчастным стечением обстоятельств, что он попал в эту машину и пустил «механика» подъехать, — представлялось так, что надо вырваться к шефу в министерство и арест отменят.

Он стал судорожно дёргать ручку левой дверцы, но и та не поддавалась, заело и её.

— Шофёр! Вы ответите! Что за провокация?! — гневно вскрикнул Иннокентий.

— Служу Советскому Союзу, советник! — с озорью отчеканил шофёр через плечо.

Повинуясь правилам уличного движения, автомобиль обогнул всю сверкающую Лубяnsкую площадь, словно делая прощальный круг и давая Иннокентию возможность увидеть в последний раз этот мир и пятиэтажную высоту слившихся зданий Старой и Новой Лубянок, где предстояло ему окончить жизнь.

Скоплялись и прорывались под светофорами кучки автомобилей, мягко переваливались троллейбусы, гудели автобусы, густыми толпами шли люди — и никто не знал и не видел жертву, у них на глазах влекомую на расправу.

Красный флажок, освещённый из глубины крыши прожектором, трепетал в прорезе колончатой башенки над зданием Старой Большой Лубянки. Он был — как гаршиновский красный цветок, вобравший в себя зло мира. Две бесчувственные каменные наяды, полулёжа, с презрением смотрели вниз на маленьких семяющих граждан.

Автомобиль прошёл вдоль фасада всемирно-знаменитого здания, собиравшего дань душ со всех континентов, и свернул на Большую Лубяnsкую улицу.

— Да пустите же! — всё стряхивал с себя Иннокентий пальцы «механика», впившиеся в его плечо у шеи.

Чёрные железные ворота тотчас растворились, едва автомобиль обернул к ним свой радиатор, и тотчас затворились, едва он проехал их.

Чёрной подворотней автомобиль прошмыгнул во двор.

Рука «механика» ослабла в подворотне. Он вовсе снял её с шеи Иннокентия во дворе. Вылезая через свою дверцу, он деловито сказал: — Выходим!

И уже ясно стало, что был совершенно трезв.

Через свою незаколоженную дверцу вылез и шофёр.

— Выходите! Руки назад! — скомандовал он. В этой ледяной команде кто мог бы угадать недавнего шутника?

Иннокентий вылез из автомобиля-западни, выпрямился и — хотя непонятно было, почему он должен подчиняться — подчинился: взял руки назад.

Арест произошёл грубовато, но совсем не так страшно, как рисуется, когда его ждёшь. Даже наступило успокоение: уже не надо бояться, уже не надо бороться, уже не придумывать ничего. Немотное, приятное успокоение, овладевающее всем телом раненого.

Иннокентий оглянулся на неровно освещённый одним-двумя фонарями и разрозненными окнами этажей дворик. Дворик был — дно колодца, четырьмя стенами зданий уходящего вверх.

— Не оглядываться! — прикрикнул «шофёр». — Марш!

Так в затылок друг другу втроём, Иннокентий в середине, минуя равнодушных в форме МГБ, они прошли под низкую арку, по ступенькам спустились в другой дворик — нижний, крытый, тёмный, из него взяли влево и открыли чистенькую парадную дверь, похожую на дверь в приёмную известного доктора.

За дверью следовал маленький очень опрятный коридор, залитый электрическим светом. Его новокрашенные полы были вымыты чуть не только что и застелены ковровой дорожкой.

«Шофёр» стал странно щёлкать языком, будто призывая собаку. Но никакой собаки не было.

Дальше коридор был перегорожен остеклённой дверью с полинялыми занавесками изнутри. Дверь была укреплена обрешёткой из косях прутьев, какая бывает на оградах станционных сквериков. На двери вместо докторской таблички висела надпись:

«Приёмная арестованных».

Но очереди — не было.

Позвонили — старинным звонком с поворотной ручкой. Немного спустя из-за занавески подглядел, а потом отворил дверь бесстрастный долголицый надзиратель с небесно-голубыми погонами и белыми сержантскими лычками поперёк их. «Шофёр» взял у «механика» малиновый бланк и показал надзирателю. Тот пробежал его сучающе, как разбуженный сонный аптекарь читает рецепт — и они вдвоём ушли внутрь.

Иннокентий и «механик» стояли в глубокой тишине перед захлопнутой дверью.

«Приёмная арестованных» — напоминала надпись, и смысл её был такой же, как: «Мертвецкая». Иннокентию даже не до того было, чтобы рассмотреть этого хлюста в узком пальто, который разыгрывал с ним комедию. Может быть Иннокентий должен был протестовать, кричать, требовать справедливости? — но он забыл даже, что руки держал сложенными назад, и продолжал их так держать. Все мысли затормозились в нём, он загнипнотизированно смотрел на надпись: «Приёмная арестованных».

В двери послышался мягкий поворот английского замка. Долголицый надзиратель кивнул им входить и пошёл вперёд первый, выделяя языком то же призывное собачье щёлканье.

Но собаки и тут не было.

Коридор был так же ярко освещён и так же по-больничному чист.

В стене было две двери, выкрашенные в оливковый цвет. Сержант отпахнул одну из них и сказал:

— Зайдите.

Иннокентий вошёл. Он почти не успел рассмотреть, что это была пустая комната с большим грубым столом, парой табуреток и без окна, как «шофёр» откуда-то сбоку, а «механик» сзади накинулись на него, в четыре руки обхватили и проворно обшарили все карманы.

— Да что за бандитизм? — слабо закричал Иннокентий. — Кто дал вам право? — Он отбивался немного, но внутреннее сознание, что это совсем не бандитизм и что люди просто выполняют служебную работу, лишаю движения его — энергии, а голос — уверенности.

Они сняли с него ручные часы, вытащили две записные книжки, авторучку и носовой платок. Он увидел в их руках ещё узкие серебряные погоны и поразился совпадению, что они тоже дипломатические и что число звёздочек на них — такое же, как и у него. Грубые объятия разомкнулись. «Механик» протянул ему носовой платок:

— Возьмите.

— После ваших грязных рук? — визгливо вскрикнул и передёрнулся Иннокентий.

Платок упал на пол.

— На ценности получите квитанцию, — сказал «шофёр», и оба ушли поспешно.

Долголицы́й сержант, напротив, не торопился. Покосясь на пол, он посоветовал:

— Платок — возьмите.

Но Иннокентий не наклонился.

— Да они что? погоны с меня сорвали? — только тут догадался и вскипел он, нащупав, что на плечах мундира под пальто не осталось погонов.

— Руки назад! — равнодушно сказал тогда сержант. — Пройдите! И защёлкал языком.

Но собаки не было.

После излома коридора они оказались ещё в одном коридоре, где по обеим сторонам шли тесно друг ко другу небольшие оливковые двери с оваликами зеркальных номеров на них. Между дверьми ходила пожилая истёртая женщина в военной юбке и гимнастёрке с такими же небесно-голубыми погонами и такими же белыми сержантскими лычками. Женщина эта, когда они показались из-за поворота, подглядывала в отверстие одной из дверей. При подходе их она спокойно опустила висячий щиток, закрывающий отверстие, и посмотрела на Иннокентия так, будто он уже сотни раз сегодня тут проходил, и ничего удивительного нет, что идёт ещё раз. Черты её были мрачные. Она вставила длинный ключ в стальную навесную коробку замка на двери с номером «8», с грохотом отперла дверь и кивнула ему:

— Зайдите.

Иннокентий переступил порог и прежде, чем успел обернуться, спросить объяснения — дверь позади него затворилась, громкий замок заперся.

Так вот где ему теперь предстояло жить! — день? или месяц? или годы? Нельзя было назвать это помещение комнатой, ни даже камерой — потому что, как приучила нас литература, в камере должно быть хоть маленькое, да окошко и пространство для хождения. А здесь не только ходить, не только лечь, но даже нельзя было сесть свободно. Стояла здесь тумбочка и табуретка, занимая собой почти всю площадь пола. Севши на табуретку, уже нельзя было вольно вытянуть ноги.

Больше не было в каморке ничего. До уровня груди шла масляная оливковая панель, а выше её — стены и потолок были ярко побелены

и ослепительно освещались из-под потолка большой лампочкой ватт на двести, заключённой в проволочную сетку.

Иннокентий сел. Двадцать минут назад он ещё обдумывал, как приедет в Америку, как, очевидно, напомним о своём звонке в посольство. Двадцать минут назад вся его прошлая жизнь казалась ему одним стройным целым, каждое событие её освещалось ровным светом продуманности и спаивалось с другими событиями белыми вспышками удачи. Но прошли эти двадцать минут — и здесь, в тесной маленькой ловушке, вся его прошлая жизнь с той же убедительностью представилась ему нагромождением ошибок, грудой чёрных обломков.

Из коридора не доносилось звуков, только раза два где-то близко отпиралась дверь. Каждую минуту отклонялся маленький щиток и через остеклённый глазок за Иннокентием наблюдал одинокий пытливым глаз. Дверь была пальца четыре в толщину — и сквозь всю толщину её от глазка расширялся конус смотрового отверстия. Иннокентий догадался: оно было сделано так, чтобы нигде в этом застенке арестант не мог бы укрыться от взора надзирателя.

Стало тесно и жарко. Он снял тёплое зимнее пальто, грустно покосился на «мясо» от сорванных с мундира погонов. Не найдя на стенах ни гвоздика, ни малейшего выступа, он положил пальто и шапку на тумбочку.

Странно, но сейчас, когда молния ареста уже ударила в его жизнь, Иннокентий не испытывал страха. Наоборот, заторможенная мысль его опять разрабатывалась и соображала сделанные промахи.

Почему он не прочёл ордера до конца? Правильно ли ордер оформлен? Есть ли печать? Санкция прокурора? Да, с санкции прокурора начиналось. Каким числом ордер подписан? Какое обвинение предъявлено? Знал ли об этом шеф, когда вызывал? Конечно, знал. Значит, вызов был обман? Но зачем такой странный приём, этот спектакль с «шофёром» и «механиком»?

В одном кармане он нащупал что-то твёрдое маленькое. Вынул. Это был тоненький изящный карандашик, выпавший из петли записной книжки. Иннокентия очень обрадовал этот карандашик: он мог весьма пригодиться! Халтурщики! И здесь, на Лубянке, — халтурщики! — обыскивать и то не умеют! Придумывая, куда было лучше карандашик спрятать, Иннокентий сломал его надвое, просунул обломки по одному в каждый ботинок и пропустил там под ступни.

Ах, какое упущение! — не прочесть, в чём его обвиняют! Может, арест совсем не связан с этим телефонным разговором? Может быть, это ошибка, совпадение? Как же теперь правильно держаться?

Или там вообще не было, в чём его обвиняют? Пожалуй и не было. Арестовать — и всё.

Времени ещё прошло немного — но уже много раз он слышал равномерное гудение какой-то машины за стеной, противоположной коридору. Гудение то возникало, то стихало. Иннокентию вдруг стало не по себе от простой мысли: какая машина могла быть здесь? Здесь — тюрьма, не фабрика — зачем же машина? Уму сороковых годов, наслышанному о механических способах уничтожения людей, приходило сразу что-то недоброе. Иннокентию мелькнула мысль несуразная и вместе какая-то вполне вероятная: что это — машина для перемалывания костей уже убитых арестантов. Стало страшно.

Да, — тем временем глубоко жалила его мысль, — какая ошибка! — даже не прочесть до конца ордер, не начать тут же протестовать, что невиновен. Он так послушно покорился аресту, что убедились в его виновности! Как он мог не протестовать! Почему не протестовал? Получилось явно, что он ждал ареста, был приготовлен к нему!

Он был прострелен этой роковой ошибкой! Первая мысль была — вскочить, бить руками, ногами, кричать во всё горло, что неви-

новен, что пусть откроют, — но над этой мыслью тут же выросла другая, более зрелая: что, наверно, этим их не удивишь, что тут часто так стучат и кричат, что его молчание в первые минуты всё равно уже всё запутало.

Ах, как он мог даваться так просто в руки! — из своей квартиры, с московских улиц, высокопоставленный дипломат — безо всякого сопротивления и без звука отдался отвести себя и запереть в этом застенке.

Отсюда не вырвешься! О, отсюда не вырвешься!..

А, может быть, шеф его всё-таки ждёт? Хоть под конвоем, но как прорваться к нему? Как выяснить?

Нет, не ясней, а сложней и запутанней становилось в голове.

Машина за стеной то снова гудела, то замолкала.

Глаза Иннокентия, ослеплённые светом, чрезмерно ярким для выскокого, но узкого помещения в три кубометра, давно уже искали отдыха на единственном чёрном квадратике, оживлявшем потолок. Квадратик этот, перекрещенный металлическими прутками, был по всему — отдушина, хотя и неизвестно, куда или откуда ведущая.

И вдруг с отчётливостью представилось ему, что эта отдушина — вовсе не отдушина, что через неё медленно впускается отравленный газ, может быть вырабатываемый вот этой самой гудящей машиной, что газ впускают с той самой минуты, как он заперт здесь, и что ни для чего другого не может быть предназначена такая глухая каморка, с дверью, плотно пригнанной к порогу!

Для того и подсматривают за ним в глазок, чтобы следить, в сознании он ещё или уже отравлен.

Так вот почему путаются мысли: он теряет сознание! Вот почему он уже давно задыхается! Вот почему так бьёт в голове!

Втекает газ! бесцветный! без запаха!!

Ужас! извечный животный ужас! — тот самый, что хищников и едомых роднит в одной толпе, бегущей от лесного пожара — ужас объял Иннокентия и, растеряв все расчёты и мысли другие, он стал бить кулаками и ногами в дверь, зовя живого человека:

— Откройте! Откройте! Я задыхаюсь! Воздуха!!

Вот зачем ещё глазок был сделан конусом — никак кулак не доставал разбить стекло!

Исступлённый немигающий глаз с другой стороны прильнул к стеклу и злорадно смотрел на гибель Иннокентия.

О, это зрелище! — вырванный глаз, глаз без лица, глаз, всё выражение стянувший в себе одним! — и когда он смотрит на твою смерть!..

Не было выхода!..

Иннокентий упал на табуретку.

Газ душил его...

92

Вдруг совершенно бесшумно (хотя запиралась с грохотом) дверь растворилась.

Долголицый надзиратель вступил в неширокий раствор двери и уже здесь, в камерке, а не из коридора, угрожающе негромко спросил:

— Вы почему стучите?

У Иннокентия отлегло. Если надзиратель не побоялся сюда войти, значит отравления ещё нет.

— Мне дурно! — уже менее уверенно сказал он. — Дайте воды!

— Так запомните! — строго внушил надзиратель. — Стучать ни в коем случае нельзя, иначе вас накажут.

— Но если мне плохо? если надо позвать?

— И не разговаривать громко! Если вам нужно позвать, — с тем же равномерным хмурым бесстрашием разъясняя надзиратель, — ждите, когда откроется глазок — и молча поднимите палец.

Он отступил и запер дверь.

Машина за стеной опять заработала и умолкла.

Дверь отворилась, на этот раз с обычным громыханием. Иннокентий начинал понимать: они натренированы были открывать дверь и с шумом, и бесшумно, как им было нужно.

Надзиратель подал Иннокентию кружку с водой.

— Слушайте, — принял Иннокентий кружку. — Мне плохо, мне лечь нужно!

— В боксе не положено.

— Где? Где не положено? — (Ему хотелось поговорить хоть с этим чурбаном!)

Но надзиратель уже отступил за дверь и притворял её.

— Слушайте, позовите начальника! За что меня арестовали? — опомнился Иннокентий.

Дверь заперлась.

Он сказал — в боксе? «Вох» — значит по-английски ящик. Они цинично называют такую каморку ящиком? Что ж, это, пожалуй, точно.

Иннокентий отпил немного. Пить сразу перехотелось. Кружечка была граммов на триста, эмалированная, зелёнькая, со странным рисунком: кошечка в очках делала вид, что читала книжку, на самом же деле косилась на птичку, дерзко прыгавшую рядом.

Не могло быть, чтоб этот рисунок нарочно подбирали для Лубянки. Но как он подходил! Кошка была советская власть, книжка — сталинская конституция, а воробушек — мыслящая личность.

Иннокентий даже улыбнулся и от этой кривой улыбки вдруг ощутил всю бездну произошедшего с ним. И от этой же улыбки странная радость — радость крохи бытия, пришла к нему.

Он не поверил бы раньше, что в застенках Лубянки улыбнётся в первые же полчаса.

(Хуже было Щевронку в соседнем боксе: того бы сейчас не рассмешила и кошечка.)

Потеснив на тумбочке пальто, Иннокентий поставил туда и кружку.

Загремел замок. Отворилась дверь. В дверь вступил лейтенант с бумагой в руке. За плечом его виднелось постное лицо сержанта.

В своём дипломатическом серо-сизом мундире, вышитом золотыми пальмами, Иннокентий развязно поднялся ему навстречу:

— Послушайте, лейтенант, в чём дело? что за недоразумение? Дайте мне ордер, я его не прочёл.

— Фамилия? — невыразительно спросил лейтенант, стеклянно глядя на Иннокентия.

— Володин, — уступая, ответил Иннокентий с готовностью выяснить положение.

— Имя, отчество?

— Иннокентий Артемьевич.

— Год рождения? — лейтенант сверялся всё время с бумагой.

— Тысяча девятьсот девятнадцатый.

— Место рождения?

— Ленинград.

И тут-то, когда впору было разобраться, и советник второго ранга ждал объяснений, лейтенант отступил, и дверь заперлась, едва не прищемив советника.

Иннокентий сел и закрыл глаза. Он начинал чувствовать силу этих механических клещей.

Загудела машина.

Потом замолкла.

Стали приходиться в голову разные мелкие и крупные дела, настолько неотложные час назад, что была потягота в ногах — встать и бежать делать их.

Но не только бежать, а сделать в боксе один полный шаг было негде.

Отодвинулся щиток глазка. Иннокентий поднял палец. Дверь открыла та женщина в небесных погонах с тупым и тяжёлым лицом.

— Мне нужно... это... — выразительно сказал он.

— Руки назад! Пройдите! — повелительно бросила женщина, и, повинуясь кивку её головы, Иннокентий вышел в коридор, где ему показалось теперь, после духоты бокса, приятно-прохладно.

Проведя Иннокентия несколько, женщина кивнула на дверь:

— Сюда!

Иннокентий вошёл. Дверь за ним заперли.

Кроме отверстия в полу и двух железных буторчатых выступов для ног, остальная ничтожная площадь пола и площадь стен маленькой каморки были выложены красноватой метлахской плиткой. В углублении освежительно переплескивалась вода.

Довольный, что хоть здесь отдохнёт от непрерывного наблюдения, Иннокентий присел на корточках.

Но что-то шаркнуло по двери с той стороны. Он поднял голову и увидел, что и здесь такой же глазок с коническим раструбом и что неотступный внимательный глаз следит за ним уже не с перерывами, а непрерывно.

Неприятно смущённый, Иннокентий выпрямился. Он ещё не успел поднять пальца о готовности, как дверь растворилась.

— Руки назад. Пройдите! — невозмутимо сказала женщина.

В боксе Иннокентия потянуло узнать, который час. Он бездумно отодвинул обшлаг рукава, но времени больше не было.

Он вздохнул и стал рассматривать кошечку на кружке. Ему не дали углубиться в мысли. Дверь отперлась. Ещё какой-то новый крупнолицый широкоплечий человек в сером халате поверх гимнастёрки спросил:

— Фамилия?

— Я уже отвечал! — возмутился Иннокентий.

— Фамилия? — без выражения, как радист, вызывающий станцию, повторил пришедший.

— Ну, Володин.

— Возьмите вещи. Пройдите, — бесстрастно сказал серый халат.

Иннокентий взял пальто и шапку с тумбочки и пошёл. Ему показано было в ту самую первую комнату, где с него сорвали погоны, отняли часы и записные книжки.

Носового платка на полу уже не было.

— Слушайте, у меня вещи отняли! — пожаловался Иннокентий.

— Разденьтесь! — ответил надзиратель в сером халате.

— Зачем? — поразился Иннокентий.

Надзиратель посмотрел в его глаза простым твёрдым взглядом.

— Вы — русский? — строго спросил он.

— Да. — Всегда такой находчивый, Иннокентий не нашёлся сказать ничего другого.

— Разденьтесь!

— А что?.. не русским — не надо? — уныло сострил он.

Надзиратель каменно молчал, ожидая.

Изобразив презрительную усмешку и пожав плечами, Иннокентий сел на табуретку, разулся, снял мундир и протянул его надзирателю. Даже не придавая мундиру никакого ритуального значения, Иннокентий всё-таки уважал свою шитую золотом одежду.

— Бросьте! — сказал серый халат, показывая на пол.

Иннокентий не решался. Надзиратель вырвал у него мышинный мундир из рук, швырнул на пол и отрывисто добавил:

— Догола!

— То есть, как догола?

— Догола!

— Но это совершенно невозможно, товарищ! Ведь здесь же холодно, поймите!

— Вас разденут силой,— предупредил надзиратель.

Иннокентий подумал. Уже на него кидались — и похоже было, что кинутся ещё. Поёживаясь от холода и от омерзения, он снял с себя шёлковое бельё и сам послушно бросил в ту же кучу.

— Носки снимите!

Сняв носки, Иннокентий стоял теперь на деревянном полу босыми безволосыми ногами, нежно-белыми, как всё его податливое тело.

— Откройте рот. Шире. Скажите «а». Ещё раз, длиннее: «а-а-а!» Теперь язык поднимите.

Как покупаемой лошади, оттянув Иннокентию нечистыми руками одну щеку, потом другую, одно подглазье, потом другое и убедившись, что нигде под языком, за щеками и в глазах ничего не спрятано, надзиратель твёрдым движением запрокинул Иннокентию голову так, что в ноздри ему попадал свет, затем проверил оба уха, оттягивая за раковины, велел распялить пальцы и убедился, что нет ничего между пальцами, ещё — помахать руками, и убедился, что под мышками также нет ничего. Тогда тем же машинно-неопровержимым голосом он скомандовал:

— Возьмите в руки член. Заверните кожуцу. Ещё. Так, достаточно. Отведите член вправо вверх. Влево вверх. Хорошо, опустите. Станьте ко мне спиной. Расставьте ноги. Шире. Наклонитесь вперёд до пола. Ноги — шире. Ягодицы — разведите руками. Так. Хорошо. Теперь присядьте на корточки. Быстро! Ещё раз!

Думая прежде об аресте, Иннокентий рисовал себе неистовое духовное единоборство с государственным Левиафаном. Он был внутренне напряжён, готов к высокому отстаиванию своей судьбы и своих убеждений. Но он никак не представлял, что это будет так просто и тупо, так неотклонимо. Люди, которые встретили его на Лубянке, низко поставленные, ограниченные, были равнодушны к его индивидуальности и к поступку, приведшему его сюда,— зато зорко внимательны к мелочам, к которым Иннокентий не был подготовлен и в которых не мог сопротивляться. Да и что могло бы значить и какой выигрыш принесло бы его сопротивление? Каждый раз по отдельному поводу от него требовали как будто ничтожного пустяка по сравнению с предстоящим ему великим боем — и не стоило даже упираться по такому пустяку — но вся в совокупности методическая околичность процедуры начисто сламливала волю взятого арестанта.

И вот, снося все унижения, Иннокентий подавленно молчал.

Обыскивающий указал голому Иннокентию перейти ближе к двери и сесть там на табуретке. Казалось невыносимым коснуться обнажённой частью тела ещё этого нового холодного предмета. Но Иннокентий сел и очень скоро с приятностью обнаружил, что деревянная табуретка стала как бы греть его.

Много острых удовольствий испытал за свою жизнь Иннокентий, но это было новое, никогда не изведенное. Прижав локти к груди и подтянув колени повыше, он почувствовал себя ещё теплей.

Так он сидел, а обыскивающий стал у груди его одежды и начал перетряхивать, перещупывать и смотреть на свет. Проявив человечность, он недолго задержал кальсоны и носки. В кальсонах он только тщательно промял, ущип за ущипом, все швы и рубчики и бросил их под ноги Иннокентию. Носки он отстегнул от резиновых держалок, вывернул наизнанку и бросил Иннокентию. Прощупав рубчики и складки нижней сорочки, он бросил к двери и её, так что Иннокентий мог одеться, всё более возвращая телу блаженную теплоту.

Затем обыскивающий достал большой складной нож с грубой деревянной ручкой, раскрыл его и принялся за ботинки. С презрени-

ем вышвырнув из ботинок обломки маленького карандаша, он стал с сосредоточенным лицом многократно перегибать подошвы, ища внутри чего-то твёрдого. Врезав ножом стельку, он, действительно, извлёк оттуда какой-го кусок стальной полосы и отложил на стол. Затем достал шило и проколол им наискось один каблук.

Иннокентий неподвижным взглядом следил за его работой и имел силу подумать, как должно ему надоесть год за годом перещупывать чужое бельё, прорезать обувь и заглядывать в задние проходы. Оттого и лицо обыскивающего имело чёрствое неприязненное выражение.

Но эти проблескивающие иронические мысли угасли в Иннокентии от тоскливого ожидания и наблюдения. Обыскивающий стал спарывать с мундира всё золотое шитьё, форменные пуговицы, петлицы. Затем он вспарывал подкладку и шарил под ней. Не меньше времени он возился со складками и швами брюк. Ещё больше доставило ему хлопот зимнее пальто — там, в глубине ваты, надзирателю слышался, наверно, какой-то неватный шелест (зашитая записка? адреса? ампула с ядом?) — и, вскрыв подкладку, он долго искал в вате, сохраняя выражение столь сосредоточенное и озабоченное, как если бы делал операцию на человеческом сердце.

Очень долго, может быть более часа, продолжался обыск. Наконец, обыскивающий стал собирать трофеи: подтяжки, резиновые держалки для носков (он ещё раньше объявил Иннокентию, что те и другие не разрешаются иметь в тюрьме), галстук, брошь от галстука, запонки, кусок стальной полосы, два обломка карандаша, золотое шитьё, все форменные отличия и множество пуговиц. Только тут Иннокентий допоял и оценил разрушительную работу. Не прорезы в подошве, не отпоротая подкладка, не высывающаяся в подмышечных проймах пальто вата — но отсутствие почти всех пуговиц именно в то время, когда его лишали и подтяжек, из всех издевательств этого вечера почему-то особенно поразило Иннокентия.

— Зачем вы срезали пуговицы? — воскликнул он.

— Не положены, — буркнул надзиратель.

— То есть, как? А в чём же я буду ходить?

— Верёвочками завяжете, — хмуро ответил тот, уже в двери.

— Что за чушь? Какие верёвочки? Откуда я их возьму?..

Но дверь захлопнулась и заперлась.

Иннокентий не стал стучать и настаивать: он сообразил, что на пальто и ещё кое-где пуговицы оставили, и уже этому надо радоваться.

Он быстро воспитывался здесь.

Не успел он, поддерживая падающую одежду, походить по своему новому помещению, наслаждаясь его простором и разминая ноги, как опять загремел ключ в двери, и вошёл новый надзиратель в халате белом, хоть и не первой чистоты. Он посмотрел на Иннокентия как на давно знакомую вещь, всегда находившуюся в этой комнате, и отрывисто приказал:

— Разденьтесь догола!

Иннокентий хотел ответить возмущением, хотел быть грозным, на самом же деле из его перехваченного обидой горла вырвался неуверительный протест каким-то цыплячьим голосом:

— Но ведь я только что раздевался! Неужели не могли предупредить?

Очевидно — не могли, потому что нововошедший невыразительным скачающим взглядом следил, скоро ли будет выполнено приказание.

Во всех здешних больше всего поражала Иннокентия их способность молчать, когда нормальные люди отвечают.

Входя уже в ритм беспрекословного безвольного подчинения, Иннокентий разделся и разулся.

— Сядьте! — показал надзиратель на ту самую табуретку, на которой Иннокентий уже так долго сидел.

Голой арестант сел покорно, не задумываясь — зачем. (Привычка вольного человека — обдумывать свои поступки прежде, чем их делать, быстро отмирала в нём, так как другие успешно думали за него.) Надзиратель жёстко обхватил его голову пальцами за затылок. Холодная режущая плоскость машинки с силой придавилась к его темени.

— Что вы делаете? — вздрогнул Иннокентий, со слабым усилием пытаясь высвободить голову из захвативших пальцев. — Кто вам дал право? Я ещё не арестован! — (Он хотел сказать — обвинение ещё не доказано.)

Но парикмахер, всё так же крепко держа его голову, молча продолжал стричь. И вспышка сопротивления, возникшая было в Иннокентии, погасла. Этот гордый молодой дипломат, с таким независимо-небрежным видом сходявший по трапам трансконтинентальных самолётов, с таким рассеянным сощуром смотревший на дневное сияние сновавших вокруг него европейских столиц, — был сейчас голый квёлый костистый мужчина с головой, остриженной наполовину.

Мягкие светло-каштановые волосы Иннокентия падали грустными беззвучными хлопьями, как падает снег. Он поймал рукой один клоч и нежно перетёр его в пальцах. Он ощутил, что любил себя и свою отходящую жизнь.

Он ещё помнил свой вывод: покорность будет истолкована как виновность. Он помнил своё решение сопротивляться, возражать, спорить, требовать прокурора, — но вопреки разуму его волю сковывало сладкое безразличие замерзающего на снегу.

Кончив стричь голову, парикмахер велел встать, по очереди поднять руки и выстриг под мышками. Потом сам присел на корточки и тою же машинкой стал стричь Иннокентию лобок. Это было необычно, очень щекотно. Иннокентий невольно поёжился, парикмахер цыкнул.

— Одеваться можно? — спросил Иннокентий, когда процедура окончилась.

Но парикмахер не сказал ни слова и запер дверь.

Хитрость подсказывала Иннокентию не спешить одеваться на этот раз. В остриженных нежных местах он испытывал неприятное покалывание. Проводя по непривычной голове (с детства не помнил себя наголо остриженным), он нащупывал странную короткую щетинку и неровности черепа, о которых не знал.

Всё же он надел бельё, а когда стал влезать в брюки — загремел замок, вошёл ещё новый надзиратель с мясистым фиолетовым носом. В руках он держал большую картонную карточку.

— Фамилия?

— Володин, — уже не сопротивляясь, ответил арестант, хотя ему становилось дурно от этих бессмысленных повторений.

— Имя-отчество?

— Иннокентий Артемьич.

— Год рождения?

— Тысяча девятьсот девятнадцатый.

— Место рождения?

— Ленинград.

— Разденьтесь догола.

Плохо соображая, что происходит, он доразделся. При этом нижняя сорочка его, положенная на край стола, упала на пол — но это не вызвало в нём безразличия, и он не наклонился за нею.

Надзиратель с фиолетовым носом стал придирчиво осматривать Иннокентия с разных сторон и всё время записывал свои наблюдения в карточке. По большому вниманию к родинкам, к подробностям лица, Иннокентий понял, что записывают его приметы.

Ушёл и этот.

Иннокентий безучастно сидел на табуретке, не одеваясь.

Опять загремела дверь. Вошла полная черноволосая дама в снежно-белом халате. У неё было надменное грубое лицо и интеллигентные манеры.

Иннокентий очнулся, бросился за кальсонами, чтобы прикрыть наготу. Но женщина окинула его презрительным, совсем не женским взглядом и, выпячивая и без того оттопыренную нижнюю губу, спросила:

— Скажите, у вас — вшей нет?

— Я — дипломат, — обиделся Иннокентий, твёрдо глядя в её чёрные глаза и по-прежнему держа перед собой кальсоны.

— Ну, так что из этого? Какие у вас жалобы?

— За что меня арестовали? Дайте прочесть ордер! Дайте прокурора! — оживясь, зачастил Иннокентий.

— Вас не об этом спрашивают, — устало нахмурилась женщина. — Вензаболевания отрицаете?

— Что?

— Гонореей, сифилисом, мягким шанкром не болели? Проказой? Туберкулёзом? Других жалоб нет?

И ушла, не дожидаясь ответа.

Вошёл самый первый надзиратель с долгим лицом. Иннокентий даже с симпатией его встретил, потому что он не издевался над ним и не причинял зла.

— Почему не одеваетесь? — сурово спросил надзиратель. — Оденьтесь быстро.

Не так это было легко! Оставшись запертым, Иннокентий бился, как заставить брюки держаться без помочей и без многих пуговиц. Не имея возможности использовать опыт десятков предыдущих арестантских поколений, Иннокентий принахмурился и решил задачу сам, — как и миллионы его предшественников тоже решили сами. Он догадался, откуда ему достать «верёвочки»: брюки в поясе и в ширинке надо было связать шнурками от ботинок. (Только теперь Иннокентий досмотрелся: со шнурков его были сорваны металлические наконечники. Он не знал, зачем ещё это. Лубянские инструкции предполагали, что таким наконечником арестант может покончить с собой.)

Полы мундира он уже не связывал.

Сержант, убедясь в глазок, что арестованный одет, отпер дверь, велел взять руки назад и отвёл ещё в одну комнату. Там был уже знакомый Иннокентию надзиратель с фиолетовым носом.

— Снимите ботинки! — встретил он Иннокентия.

Это не представляло теперь трудности, так как ботинки без шнурков и сами легко спадали (заодно, лишённые резинок, сбивались к ступням и носки).

У стены стоял медицинский измеритель роста с вертикальной белой шкалой. Фиолетовый нос подогнал Иннокентия спиной, опустил ему на макушку передвижную планку и записал рост.

— Можно обуться, — сказал он.

А долголицый в дверях предупредил:

— Руки назад!

Руки назад! — хотя до бокса № 8 было два шага наискосок по коридору.

И снова Иннокентий был заперт в своём боксе.

За стеной всё так же взгуживала и смолкала таинственная машина.

Иннокентий, держа пальто на руках, обессиленно опустился на табуретку. С тех пор, как он попал на Лубянку, он видел только ослепительный электрический свет, близкие тесные стены и равнодушно-молчаливых тюремщиков. Процедуры, одна другой нелепее,

казались ему издевательскими. Он не видел, что они составляли логическую осмысленную цепь: предварительный обыск оперативниками, арестовавшими его; установление личности арестованного; приём арестованного (заочно, в канцелярии) под расписку тюремной администрацией; основной приёмный тюремный обыск; первая санобработка; запись примет; медицинский осмотр. Процедуры укачали его, они лишили его здравого разума и воли к сопротивлению. Его единственным мучительным желанием было сейчас — спать. Решив, что его пока оставили в покое, не видя, как устроиться иначе, и приобретя за три первых лубяньских часа новые понятия о жизни, он поставил табуретку поверх тумбочки, на пол бросил своё пальто из тонкого драпа с каракулевым воротником и лёг на него по диагонали бокса. При этом спина его лежала на полу, голова круто поднималась одним углом бокса, а ноги, согнутые в коленях, корчились в другом углу. Но первое мгновение члены ещё не затекли — и он ощущал наслаждение.

Однако, он не успел отойти в обволакивающий сон, как дверь распахнулась с особенным нарочитым грохотом.

— Встаньте! — прошипела женщина.

Иннокентий едва пошевелил веками.

— Встаньте! Встаньте!! — раздавались над ним заклинания.

— Но если я хочу спать?

— Встаньте!!! — властно и уже громко окрикнула наклонившаяся над ним, как Медуза в сновидении, женщина.

Из своего переломленного положения Иннокентий с трудом поднялся на ноги.

— Так отведите меня, где можно лечь поспать, — вяло сказал он.

— Не положено! — отрубила Медуза в небесных погонах и хлопнула дверью.

Иннокентий прислонился к стене, выждал, пока она долго изучала его в глазок, и ещё, и ещё раз.

И опять опустился на пальто, воспользовавшись отлучкой Медузы.

И уже сознание его прерывалось, как вновь загрохотала дверь.

Новый высокий сильный мужчина, который был бы удалым молотобойцем или камнеломом, в белом халате стоял на пороге.

— Фамилия?— спросил он.

— Володин.

— С вещами!

Иннокентий сгрёб пальто и шапку и с тусклыми глазами, пошатываясь, пошёл за надзирателем. Он был до крайней степени измучен и плохо чувствовал ногами, ровный ли под ним пол. Он не находил в себе сил к движению и готов был бы тут же лечь посреди коридора.

Через какой-то узкий ход, пробитый в толстой стене, его перевели в другой коридор, погрязней, откуда открыли дверь в предбанник и, выдав кусок бельёвого мыла величиной меньше спичечной коробки, велели мыться.

Иннокентий долго не решался. Он привык к назеркаленной чистоте ванных комнат, обложенных кафелем, в этом же деревянном предбаннике, который рядовому человеку показался бы вполне чистым, ему пришлось отвратительно грязно. Он едва выбрал достаточно сухое место на скамье, разделся там, с брезгливостью перешёл по мокрым решёткам, по которым было наслежено и босиком и в ботинках. Он с удовольствием бы не раздевался и не мылся вовсе, но дверь предбанника отперлась, и молотобоец в белом халате скомандовал ему идти под душ.

За простой нетюремной тонкой дверью с двумя пустыми неостеклёнными прорезами была душевая. Над четырьмя решётками, которые Иннокентий тоже определил как грязные, нависали четыре душа, дававшие прекрасную горячую и холодную воду, также не оцененную

Иннокентием. Четыре душа были предоставлены для одного человека! — но Иннокентий не ощутил никакой радости (если б он знал, что в мире эзков чаще моются четыре человека под одним душем, он бы больше оценил своё шестнадцатикратное преимущество). Выданное ему отвратительное вонючее мыло (за тридцать лет жизни он не держал в руках такого и даже не знал, что такое существует) он гадливо выбросил ещё в предбаннике. Теперь за пару минут он кое-как отплескался, главным образом смывая волосы после стрижки, в нежных местах коловшие его, — и с ощущением, что он не помылся здесь, а набрался грязи, вернулся одеваться.

Но зря. Лавки предбанника были пусты, вся его великолепная, хотя и обкарнанная одежда унесена, и только ботинки уткнулись носами под лавки. Наружная дверь была заперта, глазок закрыт щитком. Иннокентию не оставалось ничего другого, как сесть на лавку обнажённо скульптурным, подобно родэновскому «Мыслителю», и размышлять, обсыхая.

Затем ему выдали грубое застиранное тюремное бельё с чёрными штампами «Внутренняя тюрьма» на спине и на животе и с такими же штампами вафельную вчетверо сложенную квадратную тряпочку, о которой Иннокентий не сразу догадался, что она считалась полотенцем. Пуговицы на белье были картонно-матерчатые, но и их не хватало; были тесёмки, но и те местами оборваны. Кургузые кальсоны оказались Иннокентию коротки, тесны и жали в промежности. Рубаха, наоборот, попалась очень просторна, рукава спускались на пальцы. Обменять бельё отказались, так как Иннокентий испортил пару тем, что надел её.

В полученном нескладном белье Иннокентий ещё долго сидел в предбаннике. Ему сказали, что верхняя одежда его в «прожарке». Слово это было новое для Иннокентия. Даже за всю войну, когда страна была испещрена прожарками, — они нигде не стали на его пути. Но бессмысленным издевательством сегодняшней ночи была вполне под стать и прожарка одежды (представлялась какая-то большая адская сковорода).

Иннокентий пытался трезво обдумать своё положение и что ему делать, но мысли путались и мельчилились: то об узких кальсонах, то о сковороде, на которой лежал сейчас его китель, то о пристальном глазе, уступая место которому часто отодвигался щиток глазка.

Баня разогнала сон, но исполгающая слабость владела Иннокентием. Хотелось лечь на что-нибудь сухое и нехолодное — и так лежать без движения, возвращая себе истекающие силы. Однако, голыми рёбрами на влажные угловатые рейки скамьи (и рейки были вразгонку, не сплошь) он лечь не решался.

Открылась дверь, но принесли не одежду из прожарки. Рядом с баннным надзирателем стояла румяная широколицая девушка в гражданском. Стыдливо прикрывая недостатки своего белья, Иннокентий подошёл к порогу. Велев Иннокентию расписаться на копии, девушка передала ему розовую квитанцию о том, что сего 26-го декабря Внутренней Тюрьмой МГБ СССР приняты от Володина И. А. на хранение: часы жёлтого металла, № часов... № механизма...; автоматическая ручка с отделкой из жёлтого металла и таким же пером; закладка-брошь для галстука с красным камнем в оправе; запонки синего камня — одна пара.

И опять Иннокентий ждал, поникнув. Наконец принесли одежду. Пальто вернулось холодное и в сохранности, китель же с брюками и верхняя сорочка — измятые, поблекшие и ещё горячие.

— Неужели и мундир не могли сберечь, как пальто? — возмутился Иннокентий.

— Шуба мех имеет. Понимать надо! — наставительно ответил молотобоец.

Даже собственная одежда стала после прожарки противна и

чужа. Во всём чужом и неудобном Иннокентий опять отведен был в свой бокс № 8.

Он попросил и жадно выпил две кружки воды всё с тем же изображением кошечки.

Тут к нему пришла ещё одна девица и под расписку выдала голубую квитанцию о том, что сего 27-го декабря Внутренней Тюремной МГБ СССР приняты от Володина И. А. сорочка нижняя шёлковая одна, кальсоны шёлковые одни, подтяжки брючные и галстук.

Всё так же погуживала таинственная машина.

Оставшись опять запертым, Иннокентий сложил руки на тумбочке, положил на них голову и сделал попытку сидя заснуть.

— Нельзя! — сказал, отперев дверь, новый сменившийся надзиратель.

— Что нельзя?

— Голову класть нельзя!

В путающихся мыслях Иннокентий ждал ещё.

Опять принесли квитанцию, уже на белой бумаге, о том, что Внутренней Тюремной МГБ СССР принято от Володина И. А. 123 (сто двадцать три) рубля.

И снова пришли — лицо опять новое — мужчина в синем халате поверх дорогого коричневого костюма.

Каждый раз, принося квитанцию, спрашивали его фамилию. И теперь спросили всё снова: Фамилия? Имя, отчество? Год рождения? Место рождения? — после чего пришедший приказал:

— Слегка!

— Что слегка? — оторопел Иннокентий.

— Ну, слегка, без вещей! Руки назад! — в коридоре все команды подавались вполголоса, чтоб не слышали другие боксы.

Щёлкая языком всё для той же невидимой собаки, мужчина в коричневом костюме провёл Иннокентия через главную выходную дверь ещё каким-то коридором в большую комнату уже не тюремного типа — со шторами, задернутыми на окнах, с мягкой мебелью, письменными столами. Посреди комнаты Иннокентия посадили на стул. Он понял, что его сейчас будут допрашивать.

Отрицать! Всё начисто отрицать! Изо всех сил отрицать!

Но вместо этого из-за портьеры выкатили полированный коричневый ящик фотокамеры, с двух сторон включили на Иннокентия яркий свет, сфотографировали его один раз в лоб, другой раз в профиль.

Приведший Иннокентия начальник, беря поочерёдно каждый палец его правой руки, вываливал его мякотью о липкий чёрный валик, как бы обмазанный штемпельною краской, отчего все пять пальцев стали чёрными на концах. Затем, равномерно раздвинув пальцы Иннокентия, мужчина в синем халате с силой прижал их к бланку и оторвал резко. Пять чёрных отпечатков с белыми извилинами остались на бланке.

Ещё так же измазали и отпечатали пальцы левой руки.

Выше отпечатков на бланке было написано:

Володин Иннокентий Артемьевич, 1919, г. Ленинград,

а ещё выше — жирными чёрными типографскими знаками:

ХРАНИТЬ ВЕЧНО!

Прочтя эту формулу, Иннокентий содрогнулся. Что-то мистическое было в ней, что-то выше человечества и Земли.

Мылом, щёткой и холодной водой ему дали оттирать пальцы над раковиной. Липкая краска плохо поддавалась этим средствам, холодная вода скатывалась с неё. Иннокентий сосредоточенно тёр

намыленной щёткой кончики пальцев и не спрашивал себя, насколько логично, что баня была до снятия отпечатков.

Его неустоявшийся измученный мозг охватила эта подавляющая космическая формула:

ХРАНИТЬ ВЕЧНО!

93

Никогда в жизни у Иннокентия не было такой протяжной бесконечной ночи. Он всю напролёт её не спал, и так много самых разных мыслей протолилось сквозь его голову за эту ночь, как в обыденной спокойной жизни не бывает за месяц. Был простор поразмыслить и во время долгого спарывания золотого шитья с дипломатического мундира, и во время полуголового сидения в бане и во многих боксах, смененных за ночь.

Его поразила верность эпитафии: «Хранить вечно».

В самом деле, докажут или не докажут, что по телефону говорил именно он, — но, раз арестовав, его отсюда уже не выпустят. Лапу Сталина он знал — она никого не возвращала к жизни. Впереди был или расстрел или пожизненное одиночное заключение. Что-нибудь остужающее кровь, вроде Сухановского монастыря, о котором ходят легенды. Это будет не шлиссельбургский приют для престарелых — запретят днём сидеть, запретят годами говорить — и никто никогда не узнает о нём, и сам он не будет знать ни о чём в мире, хотя бы целые континенты меняли флаги или высадились бы люди на луне. А в последний день, когда сталинскую банду заарканят для второго Нюрнберга — Иннокентия и его безгласных соседей по монастырскому коридору перестреляют в одиночках, как уже расстреливали, отступая, коммунисты — в 41-м, нацисты — в 45-м.

Но разве он боится смерти?

С вечера Иннокентий был рад всякому мелкому событию, всякому открыванию двери, нарушающему его одиночество, его непривычное сидение в западне. Сейчас наоборот — хотелось додумать некую важную, ещё не уловленную им мысль — и он рад был, что его отвели в прежний бокс и долго не беспокоили, хотя непрерывно подсматривали в глазок.

Вдруг будто снялась тонкая пелена с мозга, — и отчётливо само проступило, что он думал и читал днём:

«Вера в бессмертие родилась из жажды ненасытных людей. Мудрый найдёт срок нашей жизни достаточным, чтоб обойти весь круг достижимых наслаждений...»

Ах, разве о наслаждениях речь! Вот у него были деньги, костюмы, почёт, женщины, вино, путешествия — но все эти наслаждения он бы швырнул сейчас в преисподнюю за одну только справедливость! Дожить до конца этой шайки и послушать её жалкий лепет на суде!

Да, у него было столько благ! — но никогда не было самого бесценного блага: свободы говорить, что думаешь, свободы явного общения с равными по уму людьми. Не известных ни в лицо, ни по имени — сколько их было здесь, за кирпичными перегородами этого здания! И как обидно умереть, не обменявшись с ними умом и душой!

Хорошо сочинять философию под развесистыми ветками в недвижимые, застойно-благополучные эпохи!

Сейчас, когда не было карандаша и записной книжки, тем дороже ему казалось всё, что выплывало из тьмы памяти. Явственно вспомнилось:

«Не должно бояться телесных страданий. Продолжительное страдание всегда незначительно, значительное — непродолжительно».

Вот, например, без сна, без воздуха сидеть сутки в таком боксе, где нельзя распрямить, вытянуть ног, это какое страдание — продол-

жительное или непродолжительное? незначительное или значительное? Или — десять лет в одиночке и ни слова вслух?..

Там, в комнате фотографии и дактилоскопии, Иннокентий заметил, что шёл второй час ночи. Сейчас может быть уже и третий. Вздорная мысль теперь вклинилась в голову, вытесняя серьёзные: его часы положили в камеру хранения, до конца завода они ещё будут идти, потом остановятся — и никто больше не будет их заводить, и с этим положением стрелок они дождутся или смерти хозяина, или конфискации себя в числе всего имущества. Так вот интересно, сколько ж они будут тогда показывать?

А Дотти ждёт его в оперетту? Ждала... Звонила в министерство? Скорей всего, что нет: сразу же явились к ней с обыском. Огромная квартира! Там пятерым человекам не перевероршить за ночь. А что найдут, дураки?..

Дотти не посадят — последний год врозь спасёт её.

Возьмёт развод, выйдет замуж.

А может и посадят. У нас всё возможно.

Тестя остановят по службе — пятно! То-то будет блеваться, отмежёвываться!

Все, кто знал советника Володина, верноподданно вычеркнул его из памяти.

Глухая громада задавит его — и никто на Земле никогда не узнает, как щуплый белотелый Иннокентий пытался спасти цивилизацию!

А хотелось бы дожить и узнать: чем всё это кончится?

Побеждает в истории всегда одна сторона, но никогда — идеи одной стороны. Идеи сливаются, у них своя жизнь. Победитель всегда мало, или много, или даже всё занимает у побеждённого.

Всё сольётся... «Пройдёт вражда племён». Исчезнут государственные границы, армии. Созовут мировой парламент. Изберут президента планеты. Он обнажит голову перед человечеством и скажет...

— С вещами!

— А?..

— С вещами!

— С какими вещами?

— Ну, с барахлом.

Иннокентий поднялся, держа в руках пальто и шапку, особо милые ему теперь за то, что не попорчены были в прожарке. В раствор двери, отклоняя коридорного, проник смуглый лихой (где набирали этих гвардейцев? для каких тягот?) старшина с голубыми погонами и, сверяясь с бумажкой, спросил:

— Фамилия?

— Володин.

— Имя-отчество?

— Сколько раз можно?

— Имя-отчество?

— Иннокентий Артемьич.

— Год рождения?

— Девятьсот девятнадцатый.

— Место рождения?

— Ленинград.

— С вещами. Пройдите!

И пошёл вперёд, условно щёлкая.

На этот раз они вышли во двор, в черноте крытого двора опустились ещё на несколько ступенек. Не ведут ли расстреливать? — вступила мысль. Говорят, расстреливают всегда в подвалах и всегда ночью.

В эту трудную минуту пришло такое спасительное возражение: а зачем бы тогда выдавали три квитанции? Нет, не расстрел ещё!

(Иннокентий ещё верил в мудрую согласованность всех щупалец МГБ друг с другом.)

Всё так же щёлкая языком, лихой старшина завёл его в здание и через тёмный тамбур вывел к лифту. Какая-то женщина с кипой выглаженного серовато-желтоватого белья стояла сбоку и смотрела, как Иннокентия вводили в лифт. И хотя эта молодая прачка была некрасива, низка по общественному положению и смотрела на Иннокентия тем же непроницаемым, равнодушно-каменным взглядом, как и все механические кукло-люди Лубянки, но Иннокентию при ней, как и при девушках из камер хранения, приносивших розовую, голубую и белую квитанцию, стало больно, что она видит его в таком растерзанном и жалком состоянии и может подумать о нём с нелестным сожалением.

Впрочем, и эта мысль исчезла так же быстро, как и пришла. Всё равно ведь — «хранить вечно!»...

Старшина закрыл лифт и нажал кнопку этажа — но номеров этажей не было обозначено.

Едва загудели моторы лифта — Иннокентий сразу узнал в этом гудении ту таинственную машину, которая перемальвала кости за стеной его бокса.

И улыбнулся безрадостно.

Хотя эта приятная ошибка теперь ободрила его.

Лифт остановился. Старшина вывел Иннокентия на лестничную площадку и сразу же — в широкий коридор, где мелькало много надзирателей с небесными погонами и белыми лычками. Один из них запер Иннокентия в бокс без номера, на этот раз просторный, с десяток квадратных метров, неярко освещённый, со стенами, сплошь выкрашенными оливковой масляной краской. Бокс этот или камера вся была пуста, казалась не очень чистой, в ней был истёртый цементный пол, к тому же и прохладно, это усиливало общую неприютность. Был и здесь глазок.

Снаружи сдержанно доносилось многое шарканье сапог по полу. Видимо надзиратели непрерывно приходили и уходили. Внутренняя тюрьма жила большой ночной жизнью.

Раньше Иннокентий думал, что будет постоянно помещён в тесном ослепительном жарком боксе № 8 — и терзался оттого, что там негде протянуть ног, свет режет глаза и дышать тяжело. Теперь он понял свою ошибку, понял, что будет жить в этом просторном неприютном безномерном боксе — и страдал, что ноги будут зябнуть от цементного пола, постоянное снование и шарканье за дверью будет раздражать, а недостаток света — угнетать. Как здесь необходимо окно! — хоть самое бы маленькое, хоть такое, какое устраивают в оперных декорациях тюремных подвалов — но и его не было.

Из эмигрантских мемуаров нельзя было себе этого представить: коридоры, лестницы, множество дверей, ходят офицеры, сержанты, обслуга, снуёт в разгаре ночи Большая Лубянка, но нигде больше нет ни одного арестанта, нельзя встретить себе подобного, нельзя услышать неслужебного слова, да и служебных почти не говорят. И кажется, что всё огромное министерство не спит в эту ночь из-за одного тебя, одним тобою и твоим преступлением занято.

Уничтожающая идея первых часов тюрьмы состоит в том, чтобы отобщить новичка от других арестантов, чтоб никто не подбодрил его, чтоб на него одного давило тупеё, поддерживающее весь разветвлённый многотысячный аппарат.

Мысли Иннокентия приняли страдательное направление. Его телефонный звонок казался ему уже не великим поступком, который будет вписан во все истории XX века, а необдуманым и, главное, бесцельным самоубийством. Он так и слышал надменно-небрежный голос американского атташе, его нечистое произношение: «А кто

такой *ви?*» Дурак, дурак!! Он, наверно, и послу не доложил. И всё — впустую. О, каких дураков выращивает сытость!

Теперь было где походить по боксу, но у истомлённого, изведенного процедурами Иннокентия не было на это сил. Он прошёлся раза два, сел на лавку и плетью опустил руки мимо ног.

Сколько великих безвестных потомству намерений погребали в себе эти стены, запирали в себе эти боксы!

Проклятая, проклятая страна! Всё горькое, что глотает она, оказывается лекарством лишь для других. Ничего для себя!..

Счастливая какая-нибудь Австралия! — забралась к чёрту на кулижки и живёт себе без бомбёжек, без пятилеток, без дисциплины.

И зачем он погнался за атомными ворами? — уехал бы в Австралию и остался бы там частным лицом!..

Это сегодня бы или завтра Иннокентий вылетал бы в Париж, а там в Нью-Йорк!..

И когда он представил себе не поездку за границу вообще, а именно в эти наступающие сутки — у него перехватило дух от недостижимости свободы. Впору было стены камеры царапать ногтями, чтоб дать выход досаде!..

Но от этого нарушения тюремных правил его предохранило открытие двери. Снова проверили его «установочные данные», на что Иннокентий отвечал как во сне, и велели выйти «с вещами». Так как Иннокентий несколько озяб в боксе, то шапка была у него на голове, а пальто наброшено на плечи. Он так и хотел выйти, не ведая, что это давало ему возможность нести под пальто два заряженных пистолета или два кинжала. Ему скомандовали надеть пальто в рукава и лишь таким образом обнажившиеся кисти рук взять за спину.

Опять защёлкали языком, повели на ту лестницу, где ходил лифт, и по лестнице вниз. Самое интересное в положении Иннокентия было — запоминать, сколько поворотов он сделал, сколько шагов, чтобы потом на досуге понять расположение тюрьмы. Но в ощущении мира в нём свершился такой передвиг, что шёл он в бесчувствии и не заметил, на много ли они спустились — как вдруг из какого-то ещё коридора навстречу им показался другой рослый надзиратель, так же напряжённо щёлкающий, как и тот, кто шёл перед Иннокентием. Надзиратель, ведший Иннокентия, порывисто отворил дверь зелёной фанерной будки, загромождавшей и без того тесную площадку, затолкнул туда Иннокентия и притворил за собою дверцу. Внутри было только-только где стать, и шёл рассеянный свет с потолка: будка, оказалось, не имела крыши, и туда попадал свет лестничной клетки.

Естественным человеческим порывом было бы — громко протестовать, но Иннокентий, уже привыкая к непонятным передрыгам и втягиваясь в лубяную молчанку, был безмолвно покорен, то есть, делал то самое, что и требовалось тюрьме.

Ах, вот отчего, наверно, все на Лубянке щёлкали: этим предупреждали, что ведут арестованного. Нельзя было арестанту встретиться с арестантом! Нельзя было в его глазах черпнуть себе поддержки!..

Того, другого, провели — Иннокентия выпустили из будки и повели дальше.

И здесь-то, на ступенях последнего пройденного им марша, Иннокентий заметил: как были стёрты ступени! — ничего похожего нигде за всю жизнь он не видел. От краёв к середине они были вытерты овальными ямами на половину толщины.

Он содрогнулся: за тридцать лет сколько ног! сколько раз! должны были здесь прошаркать, чтобы так истереть камень! И из каждых двух шедших один был надзиратель, а другой — арестант.

На площадке этажа была запёртая дверь с обрешеченной форточкой, плотно закрытой. Здесь Иннокентия постигла ещё новая

участь — быть поставленным лицом к стене. Всё же краем глаза он видел, как сопровождающий позвонил в электрический звонок, как сперва недоверчиво открылась, потом закрылась форточка. Затем громкими поворотами ключа отперлась дверь, и некто вышедший, не видимый Иннокентию, стал его спрашивать:

— Фамилия?

Иннокентий естественно оглянулся, как привыкли люди смотреть друг на друга при разговоре, — и успел разглядеть какое-то не мужское и не женское лицо, пухлое, мягкомысое, с большим красным пятном от обвара, а пониже лица — золотые погоны лейтенанта. Но тот одновременно крикнул на Иннокентия:

— Не оборачиваться! —

и продолжал всё те же надоевшие вопросы, на которые Иннокентий отвечал куску белой штукатурки перед собой.

Убедясь, что арестант продолжает выдавать себя за того, кто обозначен в карточке, и продолжает помнить свой год и место рождения, мягкомысый лейтенант сам позвонил в дверь, из осторожности тем временем запертую за ним. Снова недоверчиво оттянули форточный задвиг, в отверстие посмотрели, форточку задвинули и громкими поворотами отперли дверь.

— Пройдите! — резко сказал мягкомысый краснообваренный лейтенант.

Они вступили внутрь — и дверь за ними громкими поворотами заперлась.

Иннокентий едва успел увидеть расходящийся натрое — вперёд, вправо и влево — сумрачный коридор со многими дверьми и слева у входа — стол, шкафчик с гнездами и ещё новых надзирателей, — как лейтенант негромко, но явственно скомандовал ему в тишине:

— Лицом к стене! Не двигаться!

Глупейшее состояние — близко смотреть на границу оливковой панели и белой штукатурки, чувствуя на своём затылке несколько пар враждебных глаз.

Очевидно, разбирались с его карточкой, потом лейтенант скомандовал почти шёпотом, ясным в глубокой тишине:

— В третий бокс!

От стола отделился надзиратель и, ничуть не звеня ключами, пошёл по полстяной дорожке правого коридора.

— Руки назад. Пройдите! — очень тихо обронил он.

По одну сторону их хода тянулась та же равнодушная оливковая стена в три поворота, с другой минуло несколько дверей, на которых висели зеркальные овалы номеров:

«47»

«48»

«49»,

а под ними — навесы, закрывающие глазки. С теплотой от того, что так близко — друзья, Иннокентий ощутил желание отодвинуть навесик, прильнуть на миг к глазку, посмотреть на замкнутую жизнь камеры, — но надзиратель быстро увлекал вперёд, а главное — Иннокентий уже успел проникнуться тюремным повиновением, хотя чего ещё можно было бояться человеку, вступившему в борьбу вокруг атомной бомбы?

Несчастливым образом для людей и счастливым образом для правительств человек устроен так, что пока он жив, у него всегда есть ещё что отнять. Даже пожизненно-заклѳченного, лишѳнного движения, неба, семьи и имущества, можно, например, перевести в мокрый карцер, лишить горячей пищи, бить палками — и эти мелкие последние наказания так же чувствительны человеку, как прежнее низвержение с высоты свободы и преуспѳяния. И чтобы избежать этих досадных последних наказаний, арестант равномерно выполняет ненавидимый ему унизительный тюремный режим, медленно убивающий в нём человека.

Двери за поворотом пошли тесно одна к другой, и зеркальные оваики на них были:

«1»

«2»

«3».

Надзиратель отпер дверь третьего бокса и движением, несколько комичным здесь,— широким радушным взмахом, отпахнул её перед Иннокентием. Иннокентий заметил эту комичность и внимательно посмотрел на надзирателя. Это был приземистый парень с чёрными гладкими волосами и неровными, как будто косым ударом сабли прорезанными глазами. Вид его был недобр, не улыбались ни губы, ни глаза — но из десятков лубянских равнодушных лиц, виденных в эту ночь, злое лицо последнего надзирателя чем-то нравилось.

Запертый в боксе, Иннокентий огляделся. За ночь он мог себя считать уже специалистом по боксам, посравнив несколько. Этот бокс был божеский: три с половиной ступни в ширину, семь с половиной в длину, с паркетным полом, почти весь занят длинной и неузкой деревянной скамьёй, вделанной в стену, а у самой двери стоял неведанный деревянный шестигранный столик. Бокс был, конечно, глухой, без окон, только чёрная решёточка отдушины высоко вверху. Ещё бокс был очень высок — метра три с половиной, все эти метры были — белёные стены, сверкающие от двухсотваттной лампочки в проволочном колпаке над дверью. От лампочки в боксе было тепло, но больно глазам.

Арестантская наука — из тех, которые усваиваются быстро и прочно. На этот раз Иннокентий не обманывался: он не надеялся долго остаться в этом удобном боксе, но тем более, увидев длинную голую скамью, бывший неженка, час от часу перестающий быть неженкой, понял, что его первая и главная сейчас задача — поспать. И как зверёныш, не напутствуемый матерью, под нашёптывание собственной природы узнаёт все нужные для себя повадки, так и Иннокентий быстро изловчился простелить на лавке пальто, собрать каракулевый воротник и подвёрнутые рукава комом — так, что образовалась подушка. И тотчас лёг. Ему показалось очень удобно. Он закрыл глаза и приготовился спать.

Но уснуть не мог! Ему так хотелось спать, когда не было для этого никакой возможности! Но он прошёл насквозь все стадии усталости и дважды уже прерывал сознание одномиговой дремотой — и вот наступила возможность сна — а сна не было! Непрерывно обновляемое в нём возбуждение расколыхалось и не укладывалось никак. Отбиваясь от предположений, сожалений и соображений, Иннокентий пытался дышать равномерно и считать. Очень уж обидно не заснуть, когда всему телу тепло, рёбрам гладко, ноги вытянуты сполна и надзиратель почему-то не будит!

Так пролежал он с полчаса. Уже начинала, наконец, утрачиваться связность мыслей, и из ног поднималась по телу сковывающая вязкая теплота.

Но тут Иннокентий почувствовал, что заснуть с этим сумасшедше-ярким светом нельзя. Свет не только проникал оранжевым озарением сквозь закрытые веки — он ощутимо, с невыносимой силой давил на глазное яблоко. Это давление света, никогда прежде Иннокентием не замеченное, сейчас выводило его из себя. Тщетно переворачиваясь с боку на бок и ища положения, когда бы свет не давил,— Иннокентий отчаялся, приподнялся и спустил ноги.

Щиток его глазка часто отодвигался, он слышал шуршание,— и при очередном отодвиге быстро поднял палец.

Дверь отперлась совсем бесшумно. Косенький надзиратель молча смотрел на Иннокентия.

— Я вас прошу, выключите лампу! — умоляюще сказал Иннокентий.

— Нельзя,— невозможно ответил косенький.

— Ну, тогда замените! Вверните лампочку поменьше! Зачем же такая большая лампа на такой маленький... бокс?

— Разговаривайте тише! — возразил косенький очень тихо. И, действительно, за его спиной могильно молчал большой коридор и вся тюрьма. — Горит, какая положено.

И всё-таки было что-то живое в этом мёртвом лице! Исчерпав разговор и угадывая, что дверь сейчас закроется, Иннокентий попросил:

— Дайте воды напиться!

Косенький кивнул и бесшумно запер дверь. Не слышно было, как по дерюжной дорожке он отошёл от бокса, как вернулся — чуть звякнул вставляемый ключ, — и косенький стоял в двери с кружкой воды. Кружка, как и на первом этаже тюрьмы, была с изображением кошечки, но не в очках, без книжки и без птички.

Иннокентий с удовольствием отпил и в передышке посмотрел на не уходившего надзирателя. Тот переступил одной ногой через порог, прикрыл дверь, насколько позволяли его плечи, и, совершенно неуставно подморгнув, спросил тихо:

— Ты кем был?

Как необычно это звучало! — человеческое обращение, первое за ночь! Потрясённый живым тоном вопроса, тихостью утаенного от начальства, и затягиваемый этим непреднамеренным безжалостным словечком «был», вступая с надзирателем как бы в заговор, Иннокентий шёпотом сообщил:

— Дипломатом. Государственным советником.

Косенький сочувственно покивал и сказал:

— А я был — матрос Балтийского флота! — Помедлил. — За что ж тебя?

— Сам не знаю, — насторожился Иннокентий. — Ни с того, ни с сего.

Косенький сочувственно кивал.

— Так все сначала говорят, — подтвердил он. И неприлично добавил: — А сходить по... не хочешь?

— Нет ещё, — отклонил Иннокентий, по слепоте новичка не зная, что сделанное ему предложение было наибольшей льготой, доступной власти надзирателя, и одним из величайших благ на земле, вне расписания не доступных арестанту.

После этого содержательного разговора дверь затворилась, и Иннокентий снова вытянулся на скамье, тщетно борясь с давлением света сквозь беззащитные веки. Он пытался прикрыть веки рукой — но затекала рука. Он догадался, что очень удобно было бы свернуть жгутиком носовой платок и прикрыть им глаза — но где же был его носовой платок?.. Остался не поднятым с пола... Какой он был глухой щенок вчера вечером!

Мелкие вещи — носовой ли платок, пустая ли спичечная коробка, суровая нитка или пластмассовая пуговица — это теснейшие друзья арестанта! Всегда наступит момент, когда кто-то из них станет незаменим — и выручит!

Вдруг дверь открылась. Косенький из охапки в охапку передал Иннокентию полосато-красный ватный матрас. О, чудо! Лубянка не только не мешала спать — она заботилась о сне арестанта!.. В перегнутой матрас была вложена маленькая перьяная подушка, наволочка, простыня — обе со штампом: «Внутренняя тюрьма», и даже серое одеяльце.

Блаженство! Вот когда он поспит! Его первые впечатления от тюрьмы были слишком унылы! С предвкушением наслаждения (и впервые в жизни делая это собственными руками) он натянул наволочку на подушку, расстелил простыню (матрас несколько свешивался со скамьи из-за узости её), разделся, лёг, накрыл глаза рука-

вом кителя — ничто больше не мешало! — и уже начал отходить в сон, именно в тот сладкий сон, который называли объятиями Морфея.

Но с грохотом отперлась дверь, и косенький сказал:

— Выньте руки из-под одеяла!

— Как вынуть?! — чуть не плача воскликнул Иннокентий. — За чем вы меня разбудили? Мне так трудно было уснуть!

— Выньте руки! — хладнокровно повторил надзиратель. — Руки должны лежать открыто.

Иннокентий подчинился. Но не так оказалось просто заснуть, держа руки сверх одеяла. Это был дьявольский расчёт! Естественная укоренившаяся не замечаемая человеком привычка состоит в том, чтобы спрятать руки во сне, прижать их к телу.

Долго Иннокентий ворочался, прилаживаясь к ещё одному издевательству. Но, наконец, сон стал брать верх. Сладко-ядовитая мусть уже заливала сознание.

Вдруг какой-то шум в коридоре донёлся до него. Начав издали и всё приближаясь, хлопали соседние двери. Какое-то слово пронеслось всякий раз. Вот — рядом. Вот открылась и дверь Иннокентия:

— Подъём! — непреклонно объявил матрос балтийского флота.

— Как? Почему? — взревел Иннокентий. — Я всю ночь не спал!

— Шесть часов. Подъём, как закон! — повторил матрос и пошёл объявлять дальше.

И тут с особой густой силой Иннокентию захотелось спать. Он повалился в постель и сразу одеревянял.

Но тотчас же — разве минутки две он успел поспать — косенький с грохотом отпахнул дверь и повторил:

— Подъём! Подъём! Матрас — закатать в трубку!

Иннокентий приподнялся на локте и мутно посмотрел на своего мучителя, час назад казавшегося таким симпатичным.

— Но я не спал, поймите!

— Ничего не знаю.

— Ну, вот закачу матрас, встану — а что я буду делать?

— Ничего. Сидеть.

— Но — почему?

— Потому что шесть часов утра, вам говорят.

— Так я сидя усну!

— Не дам. Разбужу.

Иннокентий взялся за голову и закачался. Как будто сожаление мелькнуло по лицу косенького надзирателя.

— Умыться хотите?

— Ну, пожалуй, — раздумался Иннокентий и потянулся за одеждой.

— Руки назад! Пройдите!

Уборная была за поворотом. Отчаявшись уже заснуть в эту ночь, Иннокентий рискнул снять рубаху и обмыться холодной водой до пояса. Он вольно плескал на цементный пол просторной холодной уборной, дверь была заперта, и косенький не беспокоил его.

Может быть, он и человек, но почему он так коварно не предупредил заранее, что в шесть часов будет подъём?

Холодная вода выхлестнула из Иннокентия отвратную слабость прерванного сна. В коридоре он попробовал заговорить о завтраке, но надзиратель оборвал. В боксе он ответил:

— Завтрака не будет.

— Как не будет? А что же будет?

— В восемь утра будет пайка, сахар и чай.

— Что такое пайка?

— Хлеб значит.

— А когда же завтрак?

- Не положено. Обед сразу.
- И я всё время буду сидеть?
- Ну, хватит болтать!

Он уже закрыл дверь до щели, как Иннокентий успел поднять руку.

— Ну, что ещё? — распахнулся матрос балтийского флота.

— У меня пуговицы обрезали, подкладку вспороли — кому отдать пришить?

— Сколько пуговиц?

Пересчитали.

Дверь заперлась, вскоре отперлась опять. Косенький протянул иглу, с десяток отдельных кусков ниток и несколько пуговиц разного размера и материала — костяные, пластмассовые, деревянные.

— Куда ж они годятся? У меня разве такие срезали?

— Берите! И этих нет! — прикрикнул косенький.

И Иннокентий первый раз в жизни начал шить. Он не сразу догадался, как крепить нитку на конце, как вести стежки, как кончать пришивание пуговицы. Не пользуясь тысячелетним опытом человечества, Иннокентий сам изобрёл, как надо шить. Он много раз укололся, от чего нежные оконечности его пальцев стали болеть. Он долго пришивал подкладку мундира, вправлял выпотрошенную вату пальто. Иные пуговицы он пришил не на тех местах, так что полы его мундира взморщились.

Но неторопливый требующий внимания труд не только скрал время, а ещё и совершенно успокоил Иннокентия. Внутренние движения его упорядочились, улеглись, не было больше ни страха, ни угнетённости. Ясно представилось, что даже это гнездо легендарных ужасов — тюрьма Большая Лубянка — не страшна, что и здесь люди живут (как хотелось бы с ними встретиться!). В человеке, не спавшем ночь, не евшем, с жизнью, переломленной в десяток часов, открывалось высшее проникновение, открывалось то второе дыхание, которое возвращает каменеющему телу атлета неутомимость и свежесть.

Надзиратель, уже другой, отобрал иголку.

Затем принесли полукилограммовый кусок чёрного сырого хлеба с треугольным довеском и двумя кусочками пиленого сахара.

Вскоре из чайника в кружку с кофейкой налили окрашенной горячей жидкости и пообещали добавки.

Всё это значило: восемь часов утра двадцать седьмого декабря.

Иннокентий бросил весь дневной сахар в кружку, хотел, опротивившись, размешать пальцем, но палец не терпел кипятка. Тогда, помешивая вращением кружки, он с наслаждением выпил (есть не хотелось нисколько), поднятием руки попросил ещё.

И вторую кружку, уже без сахара, но обострённо ощущая плохонький чайный аромат, Иннокентий с дрожью счастья втянул в себя.

Мысли его просветлились до ясности, давно не бывалой.

В тесном проходе между скамьёй и противоположной стеной, цепляя за скатанный в трубку матрас, он стал ходить в ожидании боя — три крохотных шага вперёд, три крохотных шага назад.

Ему вообразилось столкновение, сшибка американской статуи Свободы и нашей мухинской, вертящейся, столько раз повторенной в фильмах. И туда, на расплющивание, в самое страшное место, сунулся он позавчера.

И — не мог иначе. Безучастным остаться он не мог.

Выпало это ему...

Как это говорил дядя Авенир? как это Герцен говорил: «Где границы патриотизма? Почему любовь к родине...?»

Дядю Авенира ему сейчас было всего важней и теплей вспомнить. Сколько мужчин и женщин он почасту встречал...

дами, дружил, делил удовольствия — а тверской дядюшка из смешного домика, два дня виденный, — был ему тут, на Лубянке, самый нужный. Изю всей жизни — главный человек.

Чуть похаживая в тупичке на семь ступней, Иннокентий старался больше вспомнить, что говорил ему тогда дядя. Вспоминалось. Но лезло почему-то:

«Внутренние чувства удовольствия и неудовольствия суть высшие критерии добра и зла».

Это — не дядя. Это — глупое что-то. Ах, это Эпикур, вчера понять не мог. А сейчас ясно: значит, то, что мне нравится — то добро, а что не нравится мне — то зло. Например, Сталину приятно убивать — значит, для него это добро? А нам сесть в тюрьму за справедливость не приносит же удовольствия, значит — это зло?

И как мудро кажется, когда этих философов читаешь на воле! Но сейчас добро и зло для Иннокентия вещно обособились и зримо разделались этой светло-серой дверью, этими оливковыми стенами, этой первой тюремной ночью.

С высоты борьбы и страдания, куда он вознёсся, мудрость великого материалиста оказалась лепетом ребёнка, если не компасом дикаря.

Загремела дверь.

— Фамилия? — круто бросил ещё новый надзиратель восточного типа.

— Володин.

— На допрос! Руки назад!

Иннокентий взял руки назад и с запрокинутой головой, как птица пьёт воду, вышел из бокса.

Почему любовь к родине надо распротра...?

94

А на шарашке тоже было время завтрака и утреннего чая.

День этот, не предвещавший с утра ничего особенного, отмечен был сперва только придирчивостью старшего лейтенанта Шустермана: он готовился к сдаче смены и старался помешать арестантам спать после подъёма. И прогулка была неладная: после вчерашнего таяния взял ночью морозец — и прогулочные торёные дорожки обняла гололедица. Многие эски выходили, делали один круг, оскользаясь, и возвращались в тюрьму. В камерах же эски, сидевшие на кроватях кто внизу, а кто, свесив или поджав ноги, вверху, не спешили вставать, а тёрли грудь, зевали, начинали «с утра пораньше» невесело шутить друг над другом, над своей злополучной судьбой, да рассказывали сны — любимое арестантское занятие.

Но хотя среди этих снов были и переход мутного потока по мостику, и натягивание на себя длинных сапог — не было, однако, сна, который бы ясно предсказывал гуртовой этап.

Сологдин с утра, как обычно, ходил на дрова. Он и ночью держал окно приотворенным, а уходя на дрова, отворил его ещё шире.

Рубин, головой лежавший к тому же окну, не говорил с Сологдиным ни слова. Он и сегодня ночью страдал бессонницей, лёг поздно, ощутил теперь холодную тягу из окна, — но не стал вмешиваться в действия обидчика, а надел меховую шапку со спущенными ушами, телогрейку, в таком виде укрылся с головой одеялом и лежал подобранным кулём, не вставая на завтрак, пренебрегая увещаниями Шустермана и общим шумом в комнате, — стараясь дотянуть часы сна.

Потапов из первых встал, гулял, из первых позавтракал, уже попил и чаю, уже заправил койку в жёсткий параллелепипед, сидел читал газету — но душой рвался на работу (ему предстояло сегодня градуировать интересный прибор, им самим сделанный).

Каша на завтрак была пшённая, поэтому многие завтракать не шли.

Герасимович, напротив, долго сидел в столовой, аккуратно и неторопливо вкладывая в рот маленькие кванты каши. Невозможно было со стороны предположить в нём теоретика дворцового переворота.

Из другого угла полупустой столовой Нержин глядел на него и размышлял, верно ли отвечал ему вчера. Сомнение есть добросовестность познания, но до какого же рубежа отступать в сомнении? Действительно, если нигде в мире не останется свободного слова, «Таймс» будет послушно перепечатывать «Правду», негры с Замбези — подписываться на заём, луарские колхозники — гнущься за трудодни, партийные хряки — отдыхать за десятью заборами в калифорнийских садах — для чего тогда останется жить?

До каких же пор уклоняться за «не знаю»?

Вяло отзавтракав, Нержин взобрался на последние пятнадцать свободных минут к себе на верхнюю койку, лёг и смотрел в купол потолка.

В комнате продолжалось обсуждение события с Руськой. Ночевать он не приходил и уже точно, что был арестован. В тюремном штабе содержалась маленькая тёмная клетушка, там его заперли.

Говорили не вполне открыто, не называли его вслух двойником, но подразумевали. Говорили в том смысле, что *пять* ему срока уже некуда — но не переквалифицировали б ему, гады, двадцать пять ИТЛ на двадцать пять одиночного (в тот год уже строились новые тюрьмы из камер-одиночек и всё больше входило в моду одиночное заключение). Конечно, Шикин не станет оформлять дело на двойничество. Но не обязательно же обвинять человека именно в том, в чём он виноват: если он белобрысый, можно обвинить, что он чернявый — а дать приговор такой же, какой дают за белобрысого.

Глеб не знал, далеко ли зашло у Руськи с Кларой, и надо ли, осмелиться ли успокоить её? И как?

Рубин сбросил одеяло и предстал под общий хохот в меховой шапке и в телогрейке. Смех лично над собой он, впрочем, сносил всегда безобидно, он не терпел смеха над социализмом. Сняв шапку, но оставаясь в телогрейке и не спуская ног на пол для одевания, так как это не имело теперь большого смысла (сроки прогулки, умывания и завтрака всё равно были упущены), — Рубин попросил налить ему стакан чая — и, сидя в постели, со включенной бородой, бесчувственно вкладывал в рот белый хлеб с маслом и вливал горячую жидкость, — сам же, не продравши глаз, ушёл в чтение романа Эптона Синклера, который держал одной рукой рядом со стаканом. В настоящем он был самом мрачном.

По шарашке уже шёл утренний обход. Заступал младшина. Он считал головы, а объявления делал Шустерман. Войдя в полукруглую комнату, Шустерман, как и в предыдущих, объявил:

— Внимание! Заключённым объявляется, что после ужина никто не будет допускаться на кухню за кипятком, — и по этому вопросу не стучать и не вызывать дежурного!

— Это чьё распоряжение? — бешено взвопил Прянчиков, выкакивая из пещеры составленных двухэтажных коек.

— Начальника тюрьмы, — веско ответил Шустерман.

— Когда оно сделано??

— Вчера.

Прянчиков потряс над головой кулаками на тонких худых руках, словно призывая в свидетели небо и землю.

— Это не может быть! — протестовал он. — В субботу вечером мне сам министр Абакумов обещал, что по ночам кипятком будет! Это по логике вещей! Ведь мы работаем до двенадцати ночи!

Раскат арестантского хохота был ему ответом.

— А ты не работай до двенадцати, му...к, — пробасил Двоетёсов.
 — Мы не можем держать ночного повара, — рассудительно объяснял Шустерман.

И затем, взяв из рук младшины список, Шустерман гнетущим голосом, от которого сразу всё стихло, объявил:

— Внимание! Сейчас на работу не выходят и собираются на этап... Из вашей комнаты: Хоробров! Михайлов! Нержин! Семушкин!.. Готовьте казённые вещи к сдаче!

И проверяющие вышли.

Но четыре выкрикнутых фамилии как вихрем закружили всё в комнате.

Люди покинули чай, оставили недоеденные бутерброды и бросились друг ко другу и к отъезжающим. Четыре человека из двадцати пяти — это была необычная, обильная жатва жертв. Заговорили все разом, оживлённые голоса смешивались с упавшими и презрительно-бодрыми. Иные встали во весь рост на верхних койках, размахивали руками, другие взялись за голову, третьи что-то горячо доказывали, бия себя в грудь, четвёртые уже вытряхивали подушки из наволочек, а в общем вся комната представляла собой такой разноречивый разворох горя, покорности, озлобления, решимости, жалоб и расчётов, и всё это сгромождено в тесноте и в несколько этажей, что Рубин встал с кровати, как был, в телогрейке, но в кальсонах, и зычно крикнул:

— Исторический день шарашки! Утро стрелецкой казни!

И развёл руками перед общей картиной.

Оживлённый вид его вовсе не значил, что он рад этапу. Он равно бы смеялся и над собственным отъездом. Перед красным словом у него не устаивала ни одна святыня.

Этап — это такая же роковая грань в жизни арестанта, как в жизни солдата — ранение. И как ранение может быть лёгким или тяжёлым, излечимым или смертельным, так и этап может быть близким или далёким, развлечением или смертью.

Когда читаешь описание мнимых ужасов каторжной жизни у Достоевского, — поражаешься: как покойно им было отбывать срок! Ведь за десять лет у них не бывало ни одного этапа!

Зэк живёт на одном и том же постоянном месте, привыкает к своим товарищам, к своей работе, к своему начальству. Как бы ни был он чужд стяжанию, неизбежно он обрастает: у него появляется или присланный с воли фибровый или сработанный в лагере фанерный чемодан. У него появляются: рамочка, куда он вставляет фотографию жены или дочери; тряпичные тапочки, в которых он ходит после работы по бараку, а на день прячет от обыска; возможно даже, что он закосил лишние хлопчатобумажные брючки или не сдал старые ботинки — и всё это перепрыгивает от инвентаризации к инвентаризации. У него есть даже своя иголка, его пуговицы надёжно пришиты, и ещё у него хранится пара запасных. В кисете у него водятся табачок.

А если он *фраер* — он держит ещё зубной порошок и иногда чистит зубы. У него накапливается пачка писем от родных, заводится собственная книга, обмениваясь которой, он прочитывает все книги лагера.

Но как гром ударяет над его маленькой жизнью этап — всегда без предупреждения, всегда подстроенный так, чтобы застать зэка врасплох и в последнюю возможную минуту. И вот торопливо рвутся в очко уборной письма родных. И вот конвой — если этап предстоит телячьими красными вагонами — отрезает у зэка все пуговицы, а табак и зубной порошок высыпает на ветер, ибо ими в пути может быть ослеплён конвоир. И вот конвой — если этап будет пассажирскими вагон-заками — ожесточённо топчет чемоданы, не влезające

в узкую вагонную камеру, а заодно ломает и рамочку от фотографии. В обоих случаях отбирают книги, которых нельзя иметь в дороге, иголку, которой можно перепилить решётку и заколоть конвоира, отметают как хлам тряпичные тапочки и отбирают в пользу лагеря лишнюю пару брюк.

И очищенный от греха собственности, от склонности к оседлой жизни, от тяготения к мещанского уюту (справедливо заклеимённому ещё Чеховым), от друзей и от прошлого, зэк берёт руки за спину и в колонне по четыре («шаг вправо, шаг влево — конвой открывает огонь без предупреждения!»), окружённый псами и конвойными, идёт к вагону.

Вы все видели его в этот момент на наших железнодорожных станциях, — но спешили трусливо потупиться, верноподобно отвернуться, чтобы конвойный лейтенант не заподозрил вас в чём плохом и не задержал бы.

Зэк вступает в вагон — и вагон прицепляют рядом с почтовым. Глухо обрешеченный с обеих сторон, не просматриваемый с платформ, он идёт по мирному расписанию и везёт в своей замкнутой душевной тесноте сотни воспоминаний, надежд и опасений.

Куда везут? Этого не объявляют. Что ждёт зэка на новом месте? Медные рудники? Лесоповал? Или заветная сельхоз-подкомандировка, где порой удаётся испечь картошечку и можно есть от пуза скотий турнепс? Скрутит ли зэка цынга и дистрофия от первого же месяца общих работ? Или ему повезётся *дать лапу*, встретить знакомого — и он зацепится дневальным, санитаром или даже помощником каптёра? И разрешат ли на новом месте переписку? Или на много лет пресекутся от него письма, и родные причтут его к мертвецам?..

Может быть, он и не доедет до места назначения? В телячьем вагоне умрёт от дизентерии? оттого, что шесть суток эшелон будут гнать без хлеба? Или конвой забьёт его молотками за чей-то побег? Или в конце пути из нетопленной теплушки будут выбрасывать, как дрова, окоченевшие трупы зэков?

Красные эшелоны идут до СовГавани месяц..

Помяни, Господи, тех, кто не доехал!

И хотя с шарашки отпускали мягко, оставляли зэкам до первой тюрьмы даже бритвы — все эти вопросы с их вечной силой щемили сердца тех двадцати арестантов, которые при утреннем обходе комнат во вторник были выкликнуты на этап.

Беззаботная полу-вольная жизнь шарашечных зэков для них кончилась.

95

Как ни был Нержин охвачен заботами этапа, — в нём вспыхнуло и обострилось настроение *оттянуть* на прощанье майора Шикина. И по звонку на работу, несмотря на приказ этим двадцати оставаться в общезитии и ждать надзирателя, он, как и все остальные девятнадцать, ринулся сквозь проходные двери. Взлетев на третий этаж, он постучал к Шикину. Ему велели войти.

Шикин сидел за столом угрюмый, тёмный. Что-то дрогнуло в нём со вчерашнего дня. Одной ногой он провёл над пропастью и знал теперь ощущение, когда не на что стать.

Но прямого и скорого выхода не имела его ненависть к этому мальчишке! Самое большее (и самое безопасное для себя), что мог сделать Шикин — это помотать Доронина по карцерам, сердечно нагадить ему в характеристику и отправить назад на Воркуту, где с такой характеристикой он попадёт в режимную бригаду — и вскоре подохнет. И результат будет тот же самый, что судить бы его и расстрелять.

Сейчас, с утра, он не вызвал Доронина на допрос потому, что ожидал разных протестов и помех со стороны отправляемых.

Он не ошибся. Вошёл Нержин.

Майор Шикин всегда не терпел этого худощавого неприязненного зэка с его неуклонно-твёрдой манерой держаться, с его дотошным знанием законов. Шикин давно уже уговаривал Яконова отправить Нержина на этап и сейчас со злорадным удовольствием посмотрел на враждебное выражение входящего.

У Нержина был природный дар не задумываясь сложить жалобу в немногочисленные разящие слова и произнести их единым духом в ту короткую секунду, когда открывается кормушка в двери камеры, или уместить на клочке промокательно-туалетной бумаги, выдаваемой в тюрьмах для письменных заявлений. За пять лет сидения он выработал в себе и особую решительную манеру разговаривать с начальством — то, что на языке зэков называется культурно *оттягивать*. Слова он употреблял только корректные, но высокомерно-иронический тон, к которому, однако, нельзя было придаться, был тоном разговора старшего с младшим.

— Гражданин майор! — заговорил он с порога. — Я пришёл получить незаконно отнятую у меня книгу. Я имею основания полагать, что шесть недель — достаточный при транспортных условиях города Москвы срок, чтобы убедиться, что она допущена цензурой.

— Книгу? — поразился Шикин (потому что так быстро не нашёлся ничего умней). — Какую книгу?

— В равной мере, — сыпал Нержин, — я полагаю, что вы знаете, о какой книге речь. Об избранных стихах Сергея Есенина.

— Е-се-ни-на?! — будто только сейчас вспоминая и потрясённый этим крамольным именем, откинулся майор Шикин к спинке кресла. Седеющий ёжик его головы выражал негодование и отвращение. — Да как у вас язык поворачивается — спрашивать Е-се-ни-на?

— А почему бы и нет? Он издан у нас, в Советском Союзе.

— Этого мало!

— Кроме того, он издан в тысяча девятьсот сороковом году, то есть, не попадает в запретный период тысяча девятьсот семнадцатый тире тысяча девятьсот тридцать восьмой.

Шикин нахмурился.

— Откуда вы взяли такой период?

Нержин отвечал так уплотнённо, будто заранее выучил все ответы наизусть:

— Мне очень любезно дал разъяснения один лагерный цензор. Во время предпраздничного обыска у меня был отобран «Толковый словарь» Даля на том основании, что он издан в 1935 году и подлежит поэтому серьёзнейшей проверке. Когда же я показал цензору, что словарь есть фотомеханическая копия с издания 1881 года, цензор мне охотно книгу вернул и разъяснил, что против дореволюционных изданий возражений не имеет, ибо «враги народа ещё тогда не орудовали». И вот такая неприятность: Есенин издан в 1940-м.

Шикин солидно помолчал.

— Пусть так. Но вы, — внушительно спросил он, — вы — читали эту книгу? Вы — всю её читали? Вы можете письменно это подтвердить?

— Отбирать от меня подписку по статье девяносто пятой УК РСФСР у вас сейчас нет юридических оснований. Устно же подтверждаю: я имею дурную привычку читать те книги, которые являются моей собственностью, и, обратно, держать лишь те книги, которые я читаю.

Шикин развёл руками.

— Тем хуже для вас!

Он хотел выдержать многозначительную паузу, но Нержин за-метал её словами:

— Итак, суммарно повторяю свою просьбу. Согласно седьмому пункту раздела Б тюремного распорядка верните мне незаконно отобранную книгу.

Подёргиваясь под этим потоком слов, Шикин встал. Когда он сидел за столом, большая голова его, казалось, принадлежала не мелкому человеку, — вставая же, он становился меньше, очень короткими выдавались и ноги его и руки. Темнолицый, он приблизился к шкафу, отпер и вынул малоформатный томик Есенина, осыпанный кленовыми листьями по супербложке.

Несколько мест у него было заложено. По-прежнему не предлагая Нержину сесть, он удобно расположился в своём кресле и стал не торопясь просматривать по закладкам. Нержин тоже спокойно сел, опёрся руками о колени и неотступно-тяжёлым взглядом следил за Шикиным.

— Ну вот, пожалуйста, — вздохнул майор и прочёл бесчувственно, мяся как тесто стихотворную ткань:

Неживые чужие ладони!
Этим песням при вас не жить.
Только будут колосья-кони
О хозяине старом тужить.

Это — о каком хозяине? Это — чьи ладони?

Арестант смотрел на пухлые белые ладони оперуполномоченного.

— Есенин был классово-ограничен и многого не допонимал, — поджатыми губами выразил он соболезнование. — Как Пушкин, как Гоголь...

Что-то послышалось в голосе Нержина, от чего Шикин опасливо на него взглянул. Ведь просто возьмёт и кинется на майора, ему сейчас нечего терять. На всякий случай Шикин встал и приоткрыл дверь.

— А это как понять? — прочёл Шикин, вернувшись в кресло:

Розу белую с чёрной жабой
Я хотел на земле повенчать...

И дальше тут... На что это намекается?

Вытянутое горло арестанта вздрогнуло.

— Очень просто, — отвечал он. — Не пытаться примирять белую розу истины с чёрной жабой злодейства!

Чёрной жабой сидел перед ним короткорукий большеголовый чернолицый кум.

— Однако, гражданин майор, — Нержин говорил быстрыми, налезавшими друг на друга словами, — я не имею времени входить с вами в литературные разбирательства. Меня ждёт конвой. Шесть недель назад вы заявили, что пошлёте запрос в Главлит. Посылали вы?

Шикин передёрнул плечами и захлопнул жёлтую книжечку.

— Я не обязан перед вами отчитываться. Книги я вам не верну. И всё равно вам её не дадут вывезти.

Нержин гневно встал, не отводя глаз от Есенина. Он представил себе, как эту книжечку когда-то держали милосердные руки жены и писали в ней:

«Так и всё утерянное к тебе вернётся!»

Слова безо всякого усилия выстреливали из его губ:

— Гражданин майор! Я надеюсь, вы не забыли, как я два года требовал с министерства госбезопасности безнадёжно отобранные у меня польские золотые, и хоть двадцать раз усчитанные в копейки — всё-таки через Верховный Совет их получил! Я надеюсь, вы не забыли, как я требовал пяти граммов подболточной муки? Надо мной смеялись — но я их добился! И ещё множество примеров! Я предупреждаю вас, что эту книгу я вам не отдам! Я умирать буду на Колыме — и от-

туда вырву её у вас! Я заполню жалобами на вас все ящики ЦК и Совета министров. Отдайте по-хорошему!

И перед этим обречённым, бесправным, посылаемым на медленную смерть зэкком майор госбезопасности не устоял. Он, действительно, запрашивал Главлит, и оттуда, к удивлению его, ответили, что книга формально не запрещена. Формально!! Верный нюх подсказывал Шикину, что это — оплошность, что книгу непременно надо запретить. Но следовало и побережь своё имя от нареканий этого неутомимого склочника.

— Хорошо, — уступил майор. — Я вам её возвращаю. Но увезти её мы вам не дадим.

С торжеством вышел Нержин на лестницу, прижимая к себе милый жёлтый глянец суперобложки. Это был символ удачи в минуту, когда всё рушилось.

На площадке он миновал группу арестантов, обсуждавших последние события. Среди них (но так, чтоб не донеслось до начальства) ораторствовал Сиромеха:

— Что делают?! Та-ких ребят на этап посылают! За что? А Русь-ку Доронина? Какой же гад его заложил, а?

Нержин спешил в Акустическую и думал, как побыстрей, пока к нему не приставят надзирателя, уничтожить свои записки. Полагалось этапируемых уже не пускать вольно ходить по шарашке. Лишь многочисленности этапа да, может быть, мягкости младшины с его вечными упущениями по службе обязан был Нержин своей последней короткой свободой.

Он распахнул дверь Акустической и увидел перед собой растворенные дверцы железного шкафа, а между ними — Симочку, снова в некрасивом полосатом платице и с серым козым платком на плечах.

Она не увидела, но почувствовала Нержина и смешалась, замерла, как бы раздумывая, что именно ей взять из шкафа.

Он не думал, не взвешивал — он вступил в закоулок между железными дверцами и шёпотом сказал:

— Серафима Витальевна! После вчерашнего — безжалостно обращаться к вам. Но труд многих лет моих гибнет. Мне его — сжечь? Вы не возьмёте?

Она уже знала об его отъезде. Она подняла печальные, не спавшие глаза и сказала:

— Дайте.

Кто-то входил, Нержин метнулся дальше, прошёл к своему столу и встретил майора Ройтмана.

Лицо Ройтмана было растеряно. С неловкой улыбкой он сказал:

— Глеб Викентьич! Как это досадно! Ведь меня не предупредили... Я понятия не имел... А сегодня уже ничего поправить нельзя.

Нержин поднял холодно-сожалеющий взгляд к человеку, которого до сегодняшнего дня считал искренним.

— Адам Вениаминович, ведь я здесь не первый день. Такие вещи без начальников лаборатории не делаются.

И стал разгружать ящики стола.

На лице Ройтмана выразилась боль:

— Но, поверьте, Глеб Викентьич, а я не знал, меня не спросили, не предупредили...

Он говорил это вслух при всей лаборатории. Капли пота выступили на его лбу. Он неосмысленно следил за сборами Нержина.

С ним и в самом деле не посоветовались.

— Материалы по артикуляции я сдам Серафиме Витальевне? — беззаботно спрашивал Нержин.

Ройтман, не ответив, медленно вышел из комнаты.

— Принимайте, Серафима Витальевна, — объявил Нержин и стал носить к её столу папки, подшивки, таблицы.

И в одну папку уже вложил своё сокровище — свои три блокнота. Но какой-то внутренний дух-советчик подтолкнул Нержина не делать этого.

Если даже теплы её протянутые руки — надолго ли хватит девицей верности?

Он переложил блокноты в карман, а папки носил Симочке.

Горела Александрийская библиотека. Горели, но не сдавались, летописи в монастырях. И сажа лубяных труб — сажа от сжигаемых бумаг, бумаг, бумаг — падала на эзков, выводимых гулять в корбочку на тюремной крыше.

Может быть, великих мыслей сожжено больше, чем обнародовано... Если будет цела голова — неужели он не повторит?

Нержин тряхнул спичками, выбежал.

И через десять минут вернулся бледный, безразличный.

Тем временем в лабораторию пришёл Пряничков.

— Да как это можно? — разорвался он. — Мы одеревятели! Мы даже не возмущаемся! *Отправлять* на этап! Отправлять можно багаж, но кто дал право отправлять людей?!

Горячая проповедь Валентули встречала отклик в зэческих сердцах. Взбудораженные этапом, все зэки лаборатории не работали. Этап всегда — миг напоминания, миг — «все там будем». Этап заставляет каждого, даже не тронутого им, зэка подумать о бренности своей судьбы, о закланности своего бытия топору ГУЛага. Даже ни в чём не провинившегося зэка годика за два до конца срока непременно отсылали с шарашки, чтоб он всё забыл и ото всего отстал. Только у двадцатипятилетников не бывало конца срока, за что оперчасть и любила брать их на шарашки.

Зэки в вольных телоположениях окружили Нержина, иные сели вместо стульев на столы, как бы подчёркивая приподнятость момента. Они были настроены меланхолически и философически.

Как на похоронах вспоминают всё хорошее, что сделал покойник, так сейчас они в похвалу Нержину вспоминали, каким любителем качать права он был и сколько раз защищал общеарестантские интересы. Тут была и знаменитая история с подболточной мукой, когда он завалил тюремное управление и министерство внутренних дел жалобами по поводу ежедневной недодачи пяти граммов муки ему лично. (По тюремным правилам не могло быть жалобы коллективной или жалобы на недодачу чего-либо — другим, всем. Хотя арестант по идее и должен исправляться в сторону социализма, но ему запрещается болеть за общее дело.) Зэки шарашки в то время ещё не наелись, и борьба за пять граммов муки воспринималась острее, чем международные события. Захватывающая эпопея кончилась победой Нержина: был снят с работы «кальсонный капитан», помощник начальника спецтюрьмы по хозяйству, и из подболточной муки на всё население шарашки стали варить дважды в неделю дополнительную лапшу. Вспомнили тут и борьбу Нержина за увеличение воскресных прогулок, которая кончилась, однако, поражением.

Напротив, сам Нержин плохо слушал эти эпитафии. Для него наступил миг действия. Теперь уже худшее свершилось, а лучшее зависело только от него. Передав Симочке артикуляционные материалы, сдав помощнику Ройтмана всё секретное, уничтожив огнём и разрывом всё личное, сложив в несколько стоп всё библиотечное, он теперь догребал последнее из ящиков и раздаривал ребятам. Уже было решено, кому достанется его крутящийся жёлтый стул, кому — немецкий стол с падающими шторками, кому — чернильница, кому рулон цветной и мраморной бумаги от фирмы «Лоренц». Умерший с весёлой улыбкой сам раздавал своё наследство, а наследники несли ему кто по две, кто по три пачки папирос (такое было шарашечное установление: на этом свете папирос было изобилие, на том папиросы были дороже хлеба).

Из совсекретной группы пришёл Рубин. Его глаза были грустны, нижние веки обвисли.

Соображая над книгами, Нержин сказал ему:

— Если б ты любил Есенина,— я б тебе его сейчас подарил.

— Неужели отбил?

— Но он недостаточно близок к пролетариату.

— У тебя помазка нет,— достал Рубин из кармана роскошный по арестантским понятиям помазок с полированной пластмассовой ручкой,— а я всё равно дал обет не бриться до дня оправдания — так возьми его!

Рубин никогда не говорил — «день освобождения», ибо таковой мог означать естественный конец срока,— всегда говорил «день оправдания», которого он должен же был добиться!

— Спасибо, мужик, но ты так *ошарашился*, что забыл лагерные порядки. Кто же в лагере даст мне бриться самому?.. Ты мне книги сдать не поможешь?

И они стали сгребать и складывать книги и журналы. Окружающие разошлись.

— Ну, как твой подопечный? — тихо спросил Глеб.

— Говорят, ночью арестовали. Главных двух.

— А почему — двух?

— Подозреваемых. История требует жертв.

— Может быть *тот* не попался?

— Думаю, что схватили. К обеду обещают магнитные ленты с допросов. Сравним.

Нержин выпрямился от собранной стопки.

— Слушай, а зачем всё-таки Советскому Союзу атомная бомба? Этот парень рассудил не так глупо.

— Московский пижон, мелкий субчик, поверь.

Нагрузившись множеством томов, они вышли из лаборатории, поднялись по главной лестнице. У ниши верхнего коридора остановились поправить рассыпающиеся стопки и передохнуть.

Глаза Нержина, все сборы блиставшие огнём нездорового возбуждения, теперь потускнели и стали малоподвижны.

— И вот, друже,— протянул он,— и трёх лет мы не прожили вместе, жили всё время в спорах, издеваясь над убеждениями друг друга,— а сейчас, когда я теряю тебя, должно быть навсегда, я так ясно ощущаю, что ты — один из самых мне...

Его голос переломился.

Большие карие глаза Рубина, которые многим запоминались в искрах гнева, теплились добротой и застенчивостью.

— Так всё сошлось,— кивал он.— Давай поцелуемся, зверь.

И принял Нержина в свою пиратскую чёрную бороду.

Тотчас за этим, едва вошли они в библиотеку, их нагнал Сологдин. У него было очень озабоченное лицо. Не рассчитав, он слишком хлопнул остеклённой дверью, отчего она задребезжала, а библиотекарша оглянулась недовольно.

— Так, Глебчик! Так! — сказал Сологдин.— Свершилось. Ты уезжаешь.

Нисколько не замечая рядом «библейского фанатика», Сологдин смотрел только на Нержина.

Равно и Рубин не нашёл в себе примиряющего чувства к «докучному гидальго» и отвёл глаза.

— Да, ты уезжаешь. Жаль. Очень жаль.

Сколько они говаривали друг с другом на дровах, сколько спорили на прогулках! А сейчас не у места и не у времени были правила мышления и жизни, которые Сологдин хотел передать Глебу и не успел.

Библиотекарша ушла за полки. Сологдин малозвучно сказал:

— Всё-таки ты свой скептицизм бросай. Это просто удобный приём, чтобы не бороться.

Так же тихо ответил и Нержин:

— Но твоё вчерашнее... о стране потерянной и косопузой... это ещё удобнее. Я ничего не понимаю.

Сологдин сверкнул голубизною и зубами:

— Мы слишком мало с тобой говорили, ты отстаёшь в развитии. Но слушай, время — деньги. Ещё не поздно. Дай согласие остаться расчётчиком — и я, может быть, успею тебя оставить. Тут в одну группу. — (Рубин удивлённо метнул взглядом по Сологдину.) — Но придётся вкалывать, предупреждаю честно.

Нержин вздохнул.

— Спасибо, Митяй. Такая возможность у меня была. Но если вкалывать — то когда же развиваться? Что-то я и сам уже настроился на эксперимент. Говорит пословица: не море топит, а лужа. Хочу попробовать пуститься в море.

— Да? Ну, смотри, ну, смотри. Очень жаль, очень жаль, Глебчик.

Лицо Сологодина было озабочено, он торопился, только заставляя себя не торопиться.

Так они стояли трое и ждали, пока библиотekarша с перекрашенными волосами, сильно накрашенными губами и сильно напудренная, тоже лейтенант МГБ, лениво сверялась в библиотечном формуляре Нержина.

И Глеб, переживавший разлад друзей, в полной тишине библиотеки тихо сказал:

— Друзья! Надо помириться!

Ни Сологдин, ни Рубин не повели головами.

— Митя! — настаивал Глеб.

Сологдин поднял холодное голубое пламя взгляда.

— Почему ты обращаешься ко мне? — удивился он.

— Лёва! — повторил Глеб.

Рубин посмотрел на него скучающе.

— Ты знаешь, почему лошади долго живут? — И после паузы объяснил: — Потому что они никогда не выясняют отношений.

Исчерпав своё служебное имущество и дела по службе, понукаемый надзирателем идти в тюрьму собираться, — Нержин с ворохом папиросных пачек в руках встретил в коридоре спешащего Потапова с ящичком под мышкой. На работе Потапов и ходил совсем не так, как на прогулке: несмотря на хромоту, он шёл быстро, шею держал напряжённо выгнутой сперва вперёд, а потом назад, глаза щурил и смотрел не под ноги, а куда-то вдаль, как бы спеша головой и взглядом опередить свои немолодые ноги. Потапову обязательно надо было проститься и с Нержиным и с другими отъезжающими, но едва только он утром вошёл в лабораторию, как внутренняя логика работы захватила его, подавив в нём все остальные чувства и мысли. Эта способность целиком захватываться работой, забывая о жизни, была основой его инженерных успехов на воле, делала его незаменимым роботом пятилеток, а в тюрьме помогала сносить невзгоды.

— Вот и всё, Андреич, — остановил его Нержин. — Покойник был весел и улыбался.

Потапов сделал усилие. Человеческий смысл включился в его глаза. Свободной от ящичка рукой он дотянулся до затылка, как если б хотел почесать его.

— Ку-ку-у...

— Подарил бы вам, Андреич, Есенина, да вы всё равно кроме Пушкина...

— И мы там будем, — сокрушённо сказал Потапов.

Нержин вздохнул.

— Где теперь встретимся? на котласской пересылке? На индигир-

ских приисках? Не верится, чтобы, самостоятельно передвигая ногами, мы могли бы сойтись на городском тротуаре. А?..

С прищуром у углов глаз, Потапов проскандировал:

Для при-зра-ков закрыл я вежды.
Лишь отдалённые надежды
Тревожат сердце и-но-гда.

Из двери Семёрки высунулась голова упоённого Маркушева.

— Ну, Андреич! Где же фильтры? Работа стоит! — крикнул он раздражённым голосом.

Соавторы «Улыбки Будды» обнялись неловко. Пачки «Беломора» посыпались на пол.

— Вы ж понимаете, — сказал Потапов, — икру мечем, всё некогда.

Икрометанием Потапов называл тот суетливый, крикливый, безалаберно-поспешный стиль работы, который царил в институте Марфино, и во всём хозяйстве державы, тот стиль, который газеты невольно тоже признавали и называли «штурмовщиной» и «текучкой».

— Пишите! — добавил Потапов, и оба засмеялись. Ничего не было естественней сказать так при прощании, но в тюрьме это пожелание звучало издевательством. Между островами ГУЛага переписки не было.

И снова, держа ящичек фильтров под мышкой, запрокинув голову вверх и назад, Потапов помчался по коридору, почти вроде и не хромя.

Поспешил и Нержин — в полукруглую камеру, где стал собирать свои вещи, изощрённо предугадывая враждебные неожиданности шмонов, ожидающих его сперва в Марфине, а потом в Бутырках.

Уже дважды заходил торопить его надзиратель. Уже другие вызванные ушли или были угнаны в штаб тюрьмы. Под самый конец сборов Нержина, дыша дворовой свежестью, в комнату вошёл Спиридон в своём чёрном перепоясанном бушлате. Сняв большеухую рыжую шапку и осторожно загнув с угла чью-то неподалёку от Нержина постель, обёрнутую белым пододеяльником, он присел нечистыми ватными брюками на стальную сетку.

— Спиридон Данилыч! Глянь-ка! — сказал Нержин и перетянулся к нему с книгой. — Есенин уж здесь!

— Отдал, змей? — По мрачному, особенно изморщенному сегодня лицу Спиридона пробежал лучик.

— Не так мне книга, Данилыч, — распространялся Нержин, — как главное, чтобы по морде нас не били.

— Именно, — кивнул Спиридон.

— Бери, бери её! Это я на память тебе.

— Не увезть? — рассеянно спросил Спиридон.

— Подожди, — Нержин отобрал книгу, распахнул её и стал искать страницу. — Сейчас я тебе найду, вот тут прочтёшь...

— Ну, кати, Глеб, — невесело напутствовал Спиридон. — Как в лагере жить — знаешь: душа болит за производство, а ноги тянут в санчасть.

— Теперь уж я не новичок, не боюсь, Данилыч. Хочу попробовать работнуть. Знаешь, говорят: не море топит, а лужа.

И тут только, всмотревшись в Спиридона, Нержин увидел, что тому сильно не по себе, больше не по себе, чем только от расставания с приятелем. И тогда он вспомнил, что вчера за новыми стеснениями тюремного начальства, разоблачениями стукачей, арестом Руськи, объяснением с Симочкой, с Герасимовичем — он совсем забыл, что Спиридон должен был получить письмо из дому.

— Письмо-то?! Письмо получил, Данилыч?

Спиридон и держал руку в кармане на этом письме. Теперь он достал его — конверт, сложенный вдвое, уже истёртый на перегибе.

— Вот... Да недосуг тебе...— дрогнули губы Спиридона.

Много раз со вчерашнего дня отгибался и снова загибался этот конверт! Адрес был написан крупным круглым доверчивым почерком дочери Спиридона, сохранённым от пятого класса школы, дальше которого Вере учиться не пришлось.

По их со Спиридоном обычаю, Нержин стал читать письмо вслух:

«Дорогой мой батюшка!

Не то, что писать вам, а и жить я больше не смею. Какие же люди есть на свете дурные, что говорят — и обманывают...»

Голос Нержина упал. Он вскинулся на Спиридона, встретил его открытые, почти слепые, неподвижные глаза под мохнатыми рыжими бровями. Но и секунды не успел подумать, не успел приискать неложного слова утешения,— как дверь распахнулась, и ворвался рассерженный Наделашин:

— Нержин! — закричал он.— С вами по-хорошему, так вы на голову садитесь? Все собраны — вы последний!

Надзиратели спешили убрать этапируемых в штаб до начала обеденного перерыва, чтоб они не встречались ни с кем больше.

Нержин обнял Спиридона одной рукой за густо-заросшую неподстриженную шею.

— Давайте! Давайте! Больше ни минуты! — понукал младшина.

— Данилыч-Данилыч,— говорил Нержин, обнимая рыжего дворника.

Спиридон прохрипел в груди и махнул рукой.

— Прощай, Глеба.

— Прощай навсегда, Спиридон Данилыч!

Они поцеловались. Нержин взял вещи и порывисто ушёл, сопровождаемый дежурным.

А Спиридон неотмывными, со вьевшейся многолетней грязью, руками снял с кровати развёрнутую книжку, на обложке обсыпанную кленовыми листьями, заложил дочерним письмом и ушёл к себе в комнату.

Он не заметил, как коленом свалил свою мохнатую шапку, и она осталась так лежать на полу.

По мере того, как этапируемых арестантов сгоняли в штаб тюрьмы,— их шмонали, а по мере того, как их прощманывали,— их перегоняли в запасную пустую комнату штаба, где стояло два голых стола и одна грубая скамья. При шмоне неотлучно присутствовал сам майор Мышин и временами заходил подполковник Климентьев. Туго налитому лиловому майору несручно было наклоняться к мешкам и чемоданам (да и не подобало это его чину), но его присутствие не могло не воодушевить вертухаев. Они рьяно развязывали все арестантские тряпки, узелки, лохмотья и особенно придирались ко всему писаному. Была инструкция, что уезжающие из спецтюрьмы не имеют права везти с собой ни клочка писаного, рисованного или печатного. Поэтому большинство эков загодя сожгли все письма, уничтожили тетради заметок по своим специальностям и раздали книги.

Один заключённый, инженер Ромашов, которому оставалось до конца срока шесть месяцев (он уже отбухал девятнадцать с половиной лет), открыто вёз большую папку многолетних вырезок, записей и расчётов по монтажу гидростанций (он ждал, что едет в Красноярский край, и очень рассчитывал работать там по специальности). Хотя эту папку уже просматривал лично инженер-полковник Яконов и поставил свою визу на выпуск её, хотя майор Шикин уже отправлял её в Отдел, и там тоже поставили визу,— вся многомесечная исступ-

лённая предусмотрительность и настойчивость Ромашова оказалась зряшной: теперь майор Мышин заявил, что ему ничего об этой папке не известно, и велел отобрать её. Её отобрали и унесли, и инженер Ромашов остывшими, ко всему привыкшими глазами посмотрел ей вслед. Он пережил когда-то и смертный приговор, и этап телячьими вагонами от Москвы до СовГавани, и на Колыме в колодеце подставлял ногу под бадью, чтоб ему перешибло бадьюю голень, и в больнице отлежался от неизбежной смерти заполярных общих работ. Теперь над гибелью десятилетнего труда и вовсе не стоило рыдать.

Другой заключённый, маленький лысый конструктор Сёмушкин, в воскресенье так много стараний приложивший к штопке носков, был, напротив, новичок, сидел всего около двух лет и то всё время в тюрьмах да на шарашке и теперь крайне был перепуган лагерем. Но несмотря на перепуг и отчаяние от этапа, он пытался сохранить маленький томик Лермонтова, который был у них с женой семейной святыней. Он умолял майора Мышина вернуть томик, не по-взрослому ломал руки, оскорбляя чувства сидельных эзков, пытался прорваться в кабинет к подполковнику (его не пустили), — и вдруг выхватил Лермонтова из рук кума (тот в страхе отскочил к двери), с силой, которой в нём не предполагали, оторвал зелёные тиснёные обложки, отшвырнул их в сторону, а листы книги стал изрывать полосами, судорожно плача и крича:

— Нател! Жрите! Лопайте! —

и разбрасывать их по комнате.

Шмон продолжался.

Выходившие со шмона арестанты с трудом узнавали друг друга: по команде сбросив в одну кучу синие комбинезоны, в другую — казённое клеймёное бельё, в третью — пальто, если оно было ещё не истрёпано, они одевались теперь во всё своё, либо же в сменку. За годы службы на шарашке они не выслужили себе одежды. И это не было злобой или скупостью начальства. Начальство было подведомственно государственному оку бухгалтерии.

Поэтому одни, несмотря на разгар зимы, остались теперь без белья и натянули трусы и майки, много лет затхло пролежавшие в их мешках в каптёрке такими же нестиранными, какими были в день приезда из лагеря; другие обулись в неуклюжие лагерные ботинки (у кого такие лагерные ботинки обнаружены были в мешках, у того теперь полуботинки «вольного» образца с галошами отбирались), иные — в кирзовые сапоги с подковками, а счастливцы — и в валенки.

Валенки!.. Самое бесправное изо всех земных существ и меньше предупреждённое о своём будущем, чем лягушка, крот или полевая мышь, — ээк беззащитен перед превратностями судьбы. В самой тёплой глубокой норке ээк никогда не может быть спокоен, что в наступившую ночь он обережён от ужасов зимы, что его не выхватит рука с голубым обшлагным окаёмом и не потащит на северный полюс. Горе тогда конечностям, не обутым в валенки! Двумя обмороженными ледьшками он составит их на Колыме из кузова грузовика. Ээк без собственных валенок всю зиму живёт притаясь, лжёт, лицемерит, сносит оскорбления ничтожных людей, или сам угнетает других, — лишь бы не попасть на зимний этап. Но бестрепетен ээк, обутый в собственные валенки! Он дерзко смотрит в глаза начальству и с улыбкой Марка Аврелия получает обходную.

Несмотря на оттепель снаружи, все, у кого были собственные валенки, в том числе Хоробров и Нержин, отчасти чтобы меньше ипачить на себе, а главное, чтобы почувствовать их успокаивающую бодрящую теплоту всеми ногами — засунули ноги в валенки и гордо ходили по пустой комнате. Хотя ехали они сегодня лишь в Бутырскую тюрьму, а там ничуть не было холодней, чем на шарашке. Только бестрашный Герасимович не имел ничего своего, и каптёр дал ему «на сменку» широкий на него, никак не запахивающийся длиннорукий

бушлат, «бывший в употреблении», и бывшие же в употреблении тупоносые кирзовые ботинки.

Такая одежда особенно казалась смешна на нём из-за его пенсне.

Пройдя шмон, Нержин был доволен. Ещё вчера днём в предвидении скорого этапа, он заготовил себе два листика, густо исписанных карандашом, непонятно для других: то опусканием гласных букв, то с использованием греческих, то перемесью русских, английских, немецких, латинских слов, да ещё сокращённых. Чтобы пронести листки через шмон, Нержин каждый из них надорвал, искомкал, измял, как мнут бумагу для её непрямого назначения, и положил в карман лагерных брюк. При обыске надзиратель видел листки, но, ложко поняв, оставил. Теперь если в Бутырках не брать их в камеру, а оставить в вещах, они могут уцелеть и дальше.

На этих листках были тезисно изложены кое-какие факты и мысли из сожжённых сегодня.

Шмон был закончен, все двадцать эков загнаны в пустую ожидальню со своими разрешёнными к увозу вещами, дверь за ними затворилась и, в ожидании воронка, к двери был приставлен часовой. Ещё другой надзиратель был наряжен ходить под окнами, скользя по обледенце, и отгонять провожающих, если они появятся в обеденный перерыв.

Так все связи двадцати отъезжающих с двумястами шестьюдесятью одним остающимся были разорваны.

Этапируемые ещё были здесь, но уже их и не было здесь.

Сперва, заняв как попало места на своих вещах и на скамьях, они все молчали.

Они додумывали каждый о шмоне: что было отнято у них и что удалось пронести.

И о шарашке: что за блага терялись на ней, и какая часть срока была прожита на ней, и какая часть срока осталась.

Заключённые — любители пересчитывать время: уже потерянное и впредь обречённое к утрате.

Ещё они думали о родных, с которыми не сразу установится связь. И что опять придётся просить у них помощи, ибо ГУЛаг — такая страна, где взрослый мужчина, работая в день по двенадцать часов, неспособен прокормить сам себя.

Думали о промахах или о своих сознательных решениях, приведших к этому этапу.

О том, куда же зашлют? Что ждёт на новом месте? И как устроиться там?

У каждого по-своему текли мысли, но все они были невеселы.

Каждому хотелось утешения и надежды.

Поэтому когда возобновился разговор, что, может быть, их вовсе не в лагерь шлют, а на другую шарашку, — даже те, кто совсем в это не верил, — прислушались.

Ибо и Христос в Гефсиманском саду, твёрдо зная свой горький выбор, всё ещё молился и надеялся.

Чиня ручку своего чемодана, всё время срывающуюся с крепления, Хоробров громко ругался:

— Ну, собаки! Ну, гады! Простого чемодана — и того у нас сделать не могут! Полгода предмайская вахта, полгода предоктябрьская, когда же поработать без лихорадки? Ведь вот какая-то сволочь рационализацию внесла: дужку двумя концами загнут и всунут в ручку. Пока чемодан пустой — держит, а — нагрузи? Развили тяжёлую индустрию, драть её лети, так что последний николаевский кустарь от стыда бы сгорел.

И кусками кирпича, отваленного от печки, выложенной тем же скоростным методом, Хоробров зло сбивал концы дужки в ушко.

Нержин хорошо понимал Хороброва. Всякий раз сталкиваясь с унижением, пренебрежением, издевательством, наплевательством, Хо-

робров разъярялся — но как об этом было рассуждать спокойно? Разве вежливыми словами выразишь вой ущемлённого? Именно сейчас, облачась в лагерное и едучи в лагерь, Нержин и сам ощущал, что возвращается к важному элементу мужской свободы: каждое пятое слово ставить матерное.

Ромашов негромко рассказывал новичкам, какими дорогами обычно возят арестантов в Сибирь, и, сравнивая куйбышевскую пересылку с горьковской и кировской, очень хвалил первую.

Хоробров перестал стучать и в сердцах швырнул кирпичом об пол, раздробляя в красную крошку.

— Слышать не могу! — закричал он Ромашову, и худощавое жёсткое лицо его выразило боль. — Горький не сидел на той пересылке и Куйбышев не сидел, иначе б их на двадцать лет раньше похоронили. Говори как человек: самарская пересылка, нижегородская, вятская! Уже двадцатку отбухал, чего к ним подлизываешься!

Задор Хороброва передался Нержину. Он встал, через часового вызвал Наделашина и полнозвучно заявил:

— Младший лейтенант! Мы видим в окно, что уже полчаса, как идёт обед. Почему не несут нам?

Младшина неловко отоптался и сочувственно ответил:

— Вы сегодня... со снабжения сняты...

— То есть, как это сняты? — И слыша за спиной гул поддерживающего недовольства, Нержин стал рубить: — Доложите начальнику тюрьмы, что без обеда мы никуда не поедим! И силой посадить себя — не дадимся!

— Хорошо, я доложу! — сейчас же уступил младшина. И виновато поспешил к начальнику.

Никто в комнате не усомнился, стоит ли связываться. Брежневое чаевое благородство зажиточных вольняшек — дико эзкам.

— Правильно!

— Тяни их!

— Зажимают, гады!

— Крохоборы! За три года службы один обед пожалели!

— Не уедем! Очень просто! Что они с нами сделают?

Даже те, кто был повседневно тих и смирен с начальством, теперь расхрабрился. Вольный ветер пересыльных тюрем бил в их лица. В этом последнем мясном обеде было не только последнее насыщение перед месяцами и годами баланды — в этом последнем мясном обеде было их человеческое достоинство. И даже те, у кого от волнения пересохло горло, кому сейчас неважно было есть, — даже те, забыв о своей кручине, ждали и требовали этого обеда.

Из окна видна была дорожка, соединяющая штаб с кухней. Видно было, как к дровопилке задом подошёл грузовик, в кузове которого просторно лежала большая ёлка, перекинувшись через борта лапами и вершинкой. Из кабины вышел завхоз тюрьмы, из кузова прыгнул надзиратель.

Да, подполковник держал слово. Завтра-послезавтра ёлку поставят в полукруглой комнате, арестанты-отцы, без детей сами превратившиеся в детей, обвесят её игрушками (не пожалеют казённого времени на их изготовление), клариной корзиночкой, ясным месяцем в стеклянной клетке, возьмутся в круг, усатые, бородатые, и, перепевая волчий вой своей судьбы, с горьким смехом закружатся:

В лесу родилась ёлочка,
В лесу она росла...

Видно было, как патрулирующий под окнами надзиратель оттонял Прянчикова, пытавшегося прорваться к осаждённым окнам и кричавшего что-то, воздевая руки к небесам.

Видно было, как младшина озабоченно просеменил на кухню, потом в штаб, опять на кухню, опять в штаб.

Ещё было видно, как, не дав Спиридону дообедать, его пригнали разгружать ёлку с грузовика. Он на ходу вытирал усы и перепосясывался.

Младшина, наконец, не пошёл, а почти пробежал на кухню и вскоре вывел оттуда двух поварих, несших вдвоём бидон и поварёшку. Третья женщина несла за ними стопу глубоких тарелок. Боясь поскользнуться и перебить их, она остановилась. Младшина вернулся и забрал у неё часть.

В комнате возникло оживление победы.

Обед появился в дверях. Тут же, на краю стола, стали разливать суп, эски брали тарелки и несли в свои углы, на подоконники и на чемоданы. Иные приспособлялись есть стоя, грудью приваясь к столу, не обставленному скамейками.

Младшина с раздатчицами ушли. В комнате наступило то настоящее молчание, которое и всегда должно сопутствовать еде. Мысли были: вот наварный суп, несколько жидковатый, но с ощутимым мясным духом; вот эту ложку, и ещё эту, и ещё эту с жировыми звёздочками и белыми разваренными волокнами я отправляю в себя; тёплой влагой она проходит по пищеводу, опускается в желудок — а кровь и мускулы мои заранее ликуют, предвидя новую силу и новое пополнение.

«Для мяса люди замуж идут, для шей женятся» — вспомнил Нержин пословицу. Он понимал эту пословицу так, что муж, значит, будет добывать мясо, а жена — варить на нём щи. Народ в пословицах не лукавил и не выкочивал из себя обязательно высоких стремлений. Во всём коробе своих пословиц народ был более откровенен о себе, чем даже Толстой и Достоевский в своих исповедях.

Когда суп подходил к концу и алюминиевые ложки уже стали заскребать по тарелкам, кто-то неопределённо протянул:

— Да-а-а...

И из угла отозвались:

— Заговляйся, братцы!

Некий критикан вставил:

— Со дна черпали, а не густ. Небось, мясо-то себе выловили.

Ещё кто-то уныло воскликнул:

— Когда теперь доживём и такого покушать!

Тогда Хоробров стукнул ложкой по своей выеденной тарелке и внятно сказал с уже нарастающим протестом в горле:

— Нет, друзья! Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой!

Ему не ответили.

Нержин стал стучать и требовать второго.

Тотчас же явился младшина.

— Покушали? — с приветливой улыбкой оглядел он этапируемых. И убедясь, что на лицах появилось добродушное, вызываемое насыщением, объявил то, чего тюремная опытность подсказала ему не открывать раньше: — А второго не осталось. Уж и котёл моют. Извините.

Нержин оглянулся на эзков, соображаясь, буянить ли. Но по русской отходчивости все уже остыли.

— А что на второе было? — пробасил кто-то.

— Рагу, — застенчиво улыбнулся младшина.

Вздохнули.

О третьем как-то и не вспомнили.

За стеной послышалось фырканье автомобильного мотора. Младшину кликнули — и вызволили этим. В коридоре раздался строгий голос подполковника Климентьева.

Стали выводить по одному.

Переключки по личным делам не было, потому что свой шарашечный конвой должен был сопроводить эзков до Бутырок и сдавать лишь там. Но — считали. Отсчитывали каждого совершающего столь знакомый и всегда роковой шаг с земли на высокую подножку ворон-

ка, низко пригнув голову, чтобы не удариться о железную притолоку, скрючившись под тяжестью своих вещей и неловко стучаясь ими о боковые стенки лаза.

Провожающих не было: обеденный перерыв уже кончился, эков загнали с прогулочного двора в помещение.

Задок воронка подогнали к самому порогу штаба. При посадке, хотя и не было надрывного лая овчарок, царила та теснота, сплоченность и напряжённая торопливость конвоя, которая выгодна только конвою, но невольно заражает и эков, мешая им оглядеться и сообразить своё положение.

Так село их восемнадцать, и ни один не поднял голову попрощаться с высокими стройными липами, осенявшими их долгие годы в тяжёлые и радостные минуты.

А двое, кто изловчился посмотреть — Хоробров и Нержин, взглянули не на липы, а на саму машину сбоку, взглянули со специальной целью выяснить, в какой цвет она окрашена.

И ожидания их оправдались.

Отходили в прошлое времена, когда по улицам городов шныряли свинцово-серые и чёрные воронки, наводя ужас на граждан. Было время — так и требовалось. Но давно наступили годы расцвета — и воронки тоже должны были проявить эту приятную черту эпохи. В чьей-то гениальной голове возникла догадка: конструировать воронки одинаково с продуктовыми машинами, расписывать их снаружи теми же оранжево-голубыми полосами и писать на четырёх языках:

	Хлеб			
		Pain		
			Brot	
				Bread
или				
	Мясо			
		Viande		
			Fleisch	
				Meat

И сейчас, садясь в воронку, Нержин улучил сбиться вбок и оттуда протреть:

Meat

Потом он в свой черёд втиснулся в узкую первую и ещё более узкую вторую дверцы, прошёлся по чьим-то ногам, проволочил чемодан и мешок по чьим-то коленям и сел.

Внутри этот трёхтонный воронок был не *боксирован*, то есть, не разделён на десять железных ящиков, в каждый из которых втискивалось только по одному арестанту. Нет, этот воронок был «общего» типа, то есть, предназначен для перевозки не подсудимых, а осуждённых, что резко увеличивало его живую грузопместимость. В задней своей части — между двумя железными дверьми с маленькими решётками-отдушниками — воронок имел тесный тамбур для конвоя, где, заперев внутренние двери снаружи, а внешние изнутри и сносаясь с шофёром и с начальником конвоя через особую слуховую трубу, проложенную в корпусе кузова, — едва помещалось два конвоира, и то поджав ноги. За счёт заднего тамбура был выделен лишь один маленький запасной бокс для возможного бунтаря. Всё остальное пространство кузова, заключённое в металлическую низкую коробку, было — одна общая мышеловка, куда по норме как раз и полагалось втискивать двадцать человек. (Если защёлкивать железную дверцу, упираясь в неё четырьмя сапогами, — удавалось впихивать и больше.)

Вдоль трёх стен этой братской мышеловки тянулась скамья, оставляя мало места посередине. Кому удавалось — садились, но они не бы-

ли самыми счастливыми: когда воронок забили, им на заклиненные колени, на подвёрнутые затекающие ноги достались чужие вещи и люди, и в месиве этом не имело смысла обижаться, извиняться — а подвинуться или изменить положение нельзя было ещё час. Надзиратели поднапёрли на дверь и, втолкнув последнего, щёлкнули замком.

Но внешней двери тамбура не захлопывали. Вот ещё кто-то ступил на заднюю ступеньку, новая тень заслонила из тамбура отдушину-решётку.

— Братцы! — прозвучал Руськин голос. — Еду в Бутырки на следствие! Кто тут? Кого увозят?

Раздался сразу взрыв голосов — закричали все двадцать эзков, отвечая, и оба надзирателя, чтоб Руська замолчал, и с порога штаба Климентьев, чтоб надзиратели не зевали и не давали заключённым переговариваться.

— Тише, вы, ...! — послал кто-то в воронке матом.

Стало тихо и слышно, как в тамбуре надзиратели возились, убирая свои ноги, чтобы скорей запихнуть Руську в бокс.

— Кто тебя продал, Руська? — крикнул Нержин.

— Сиромаха!

— Га-а-ад! — сразу загудели голоса.

— А сколько вас? — крикнул Руська.

— Двадцать.

— Кто да кто?..

Но его уже затолкали в бокс и заперли.

— Не робей, Руська! — кричали ему. — Встретимся в лагере!

Ещё падало внутрь воронка несколько света, пока открыта была внешняя дверь — но вот захлопнулась и она, головы конвоиров преградили последний неверный поток света через решётки двух дверей, затарахтел мотор, машина дрогнула, тронулась — и теперь, при раскачке, только мерцающие отсветы иногда перебежали по лицам эзков.

Этот короткий перекрик из камеры в камеру, эта жаркая искра, проскакивающая порой между камнями и железами, всегда чрезвычайно будоражит арестантов.

— А что должна делать элита в лагере? — протрубил Нержин прямо в ухо Герасимовичу, только он и мог расслышать.

— То же самое, но с двойным усилием! — протрубил Герасимович ответно.

Немного проехали — и воронок остановился. Ясно, что это была вахта.

— Руська! — крикнул один ээк. — А бьют?

Не сразу и глухо донеслось в ответ:

— Бьют...

— Да драть их в лоб, Шишкина-Мышкина! — закричал Нержин. — Не сдавайся, Руська!

И снова закричало несколько голосов — и всё смешалось.

Опять тронулись, проезжая вахту, потом всех резко качнуло вправо — это означало поворот налево, на шоссе.

При повороте очень тесно оплотило плечи Герасимовича и Нержина. Они посмотрели друг на друга, пытаясь различить в полутьме. Их спланивало уже нечто большее, чем теснота воронка.

Илья Хоробров, чуть приокивая, говорил в темноте и скученности:

— Ничего я, ребята, не жалею, что уехал. Разве это жизнь — на шарашке? По коридору идёшь — на Сиромаху наступишь. Каждый пятый — стукач, не успеешь в уборной звук издать — сейчас куму известно. Воскресений уже два года нет, сволочи. Двенадцать часов рабочий день! За двадцать грамм масла все мозги отдай. Переписку с домом запретили, драть их вперегрёб. И — работай? Да это ад какой-то!

Хоробров смолк, переполненный негодованием.

В наступившей тишине, при моторе, ровно работающем по асфальту, раздался ответ Нержина:

— Нет, Илья Терентьич, это не ад. Это — не ад! В ад мы едем. В ад мы возвращаемся. А шарашка — высший, лучший, первый круг ада. Это — почти рай.

Он не стал далее говорить, почувствовав, что — не нужно. Все ведь знали, что ожидало их несравненно худшее, чем шарашка. Все знали, что из лагеря шарашка припомнится золотым сном. Но сейчас для бодрости и сознания правоты надо было ругать шарашку, чтоб ни у кого не оставалось сожаления, чтоб никто не упрекал себя в опрометчивом шаге.

Герасимович нашёл аргумент, не досказанный Хоробровым:

— Когда начнётся война, шарашечных эзков, слишком много знающих, перетравят через хлеб, как делали гитлеровцы.

— Я ж и говорю, — откликнулся Хоробров, — лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой!

Прислушиваясь к ходу машины, ээки смолкли.

Да, их ожидала тайга и тундра, полюс холода Ой-Мякон и медные копи Джезказгана. Их ожидала опять кирка и тачка, голодная папка сырого хлеба, больница, смерть. Их ожидало только худшее.

Но в душах их был мир с самими собой.

Ими владело бесстрашие людей, утеревших в сё до конца, — бесстрашие, достигающееся трудно, но прочно.

Швыряясь внутри сгруженными стиснутыми телами, весёлая оранжево-голубая машина шла уже городскими улицами, миновала один из вокзалов и остановилась на перекрестке. На этом скрещении был задержан светофором тёмно-бордовый автомобиль корреспондента газеты «Либерасьон», ехавшего на стадион «Динамо» на хоккейный матч. Корреспондент прочёл на машине-фургоне:

Мясо

Viande

Fleisch

Meat

Его память отметила сегодня в разных частях Москвы уже не одну такую машину. Он достал блокнот и записал тёмно-бордовой ручкой:

«На улицах Москвы то и дело встречаются автофургоны с продуктами, очень опрятные, санитарно-безупречные. Нельзя не признать снабжение столицы превосходным».



ЛЕВ СМИРНОВ

*

ВОДА ИЗ КОЛОДЦА

Шествие со свечами в Егорьев день

В славный день Егорьев, все забыв печали,
Трепет жизни поровну деля,
Женщины и дети с робкими свечами
Обходили вешние поля.

Они пели тихо между сонных взгорий,
Совершая плавные круги:
— Ты скотинку нашу, батюшка Егорий,
От напастей всех побереги!

Волку и медведю пень поставь с колодой,
Ворона дресвою накорми,
Зайцу, и кунице, и лисе голодной
До земли осину накрени.

Матушке скотинке, нашей животинке,
Тёлонькам, бычкам-годовикам
Зелены подушки, зелены перинки
Расстели по ярам и лугам...

Колыхались свечи в сумраке зловещем,
Шли стеной сосновые боры.
Просьбы малых деток и молитвы женщин
Уносились в звездные миры.

Так они небесно над землей простерлись
Пред самим Егорием в ночи,
Что медведи-волки о тот пень истерлись,
Превратились в пыльные смерчи.

На свою погибель вороны объелись,
Каменными стали их глаза,
И куда незнамо среди осин поделись
Заяц, и куница, и лиса.

Лишь один Егорий смотрит бестолково,
И картина видится ему,
Как болотом ходит чахлая корова,
Кажет ребра Богу своему.

А над ней летают розовые телки
И еще бычки-годовички.
На трубе играет дяденька в ермолке,
Клацают на счетах дурачки.

А мужик-кормилец порастратил силу,
Погудел, помаялся зело.
И теперь, блаженный, в пашню, как в могилу,
Сыплет запоздалое зерно.

Плут его заржавел, сеялка сломалась,
Трактор догнивает за бугром...
Из бутылки тайной отхлебнул он малость,
Спит себе на поле, дуrolом.

Спит себе и видит: между сонных взгорий
 Свечи совершают тайный круг...
 А над ними в небе он парит, Егорий,
 Позабыв про трактор и про плуг.

Первый учитель

Где горланят вороны над крышею церкви,
 Где толпящийся люд говорлив и столик,
 Ни в Москве не бывавший вовек, ни в райцентре,
 О былом призадумался древний старик.

Довоенный кумир мой, всей Ладве известный,
 Научивший меня, как коня запрягать...
 Покружил, полетал над нездешнею бездной
 И, как сыч, на пороге очнулся опять.

Он пронзает меня своей бровью колючей.
 Толкнет локтем в спину: «А вот в старину...»
 Он нигде не бывал, но по-знахарски учит
 Слушать птиц, видеть травы, беречь тишину.

Он подолгу молчит, но не в купол небесный,
 А, насупившись, в землю родную глядит.
 Покружит, летает над страшною бездной
 И опять меня взглядом своим холодит.

Весть

Мрак на землю падет, и над краем моим
 Будут ели о звезды колотьясь,
 И прикинется бездна с огнем потайным
 Мирным срубом простого колодца.

Смерть заглянет в лицо, и, как старца клюка,
 Заскрипит журавлиная выя,
 И от Чар-городка и от Чур-городка
 Приплывут облака грозовые.

Будут ночи скрипеть и в том скрипе скрывать
 Все земные концы и начала...
 Старец выйдет во двор и увидит опять
 На колу одиноком мочало.

После стольких веков, и мытарств, и трудов,
 И ночей, когда тяжело не спится,
 Он захочет из всех самых высших даров
 Лишь воды из колодца напиться.

В черном мраке над срубом пошарит рука,
 Опахнет его шею прохлада...
 Но от Чар-городка и от Чур-городка
 Приплывет вещий голос: «Не надо!»

Перед старцем-дитем жизнь в мгновенье промчит —
 Русских тайнств и тайн вереница, —
 И за крайней избой на лугу прокричит
 То ль верблюдица, то ль кобылица.

ИВАН ЕВСЕЕНКО

*

ПЕТУШИНЫЕ ДВОРИКИ

Повесть

Посади ты эту птицу,—
Молвил он парю,— на спицу;
Петушок мой золотой
Будет верный сторож твой.

А. С. Пушкин, «Сказка
о золотом петушке».

Если вы никогда не бывали в Петушиных Двориках, то давайте отложим на время все свои самые заветные дела и поедем туда. Прелюбопытнейшее село эти Петушиные Дворики. Домов в нем не так уж чтоб и много, десятка, наверное, четыре или пять, но зато какие в каждом доме петухи! Порода их до сих пор неизвестна: не то черниговские, не то курские, все с золотинкою на правом крыле, с настоящими гусарскими шпорами, а иные так даже как будто и с саблей на боку. Но дело, конечно, не в саблях и не в шпорах (бывают петухи и с более грозным оружием), а в голосе.

Днем их, правда, почти не слышно: прокричит один-другой для порядка и предупреждения, и опять тишина и покой над Петушиными Двориками такие, что кажется, не село тут стоит, а степная пустыня до самого горизонта.

Но зато ночью... Если уж вы действительно приехали в Петушиные Дворики, так не поспите хоть один раз и все услышите.

Первыми, как и полагается, начинают молодые петухи.

— Ку-ка-ре-ку! — раздается ровно в полночь на самом краю села.

И что за голос, что за звучание! Ни одна певчая птица в мире не сможет взять подобную ноту! А ведь всего-навсего петух, к тому же молодой, только начинающий пробовать себя в сторожевом искусстве.

Потом вступают петухи чуть постарше, двухлетки. Ну это уж совсем что-то невозможное, не поддающееся описанию. По крайней мере я описывать не берусь. Когда они запевают, то, говорят, во всех домах останавливаются часы, а в речке Излучине, которая протекает мимо Петушиных Двориков, начинается прилив и вода выходит из берегов.

Но и это еще не предел. Наберитесь терпения, смирите свою растерзанную душу — хотя я и понимаю, что в ней сейчас творится, — и вы, возможно, услышите голос петуха Григория Ивановича Козика.

С виду этот петух ничем не отличается от всех остальных петухов. Может, даже и похуже: золотинок у него на правом крыле явно недостает; шпоры хоть и гусарские, но без перезвонов; гребень мелковат и, кажется, прихвачен морозом.

Но вот голос... Впрочем, поет этот петух крайне редко: не каждую ночь, не каждый месяц и даже не каждый год. Так что испытания вас ждут нелегкие. А ведь услышать-то хочется, не правда ли?

Но и увидеть петуха Григория Ивановича уже много значит. Есть у него одна совершенно странная привычка, причуда. В курятнике, на жердочке, как все остальные куры в Петушиных Двориках, он не

сидит. Чуть наступит ночь, взлетает он на самый конек дома, а еще чаще на телевизионную антенну и сидит там, словно на спице.

Говорят, достался этот петух Григорию Ивановичу в наследство от отца Ивана Григорьевича, а тому вроде бы от деда Григория Ивановича, и так далее до самых далеких, невидимых времен. Лично я этому не верю. Где это видано, чтоб петух мог жить столько времени. Но в Петушиных Двориках верят. Точно такой петух, рассказывают, сидел на крыше у Козиков еще до войны и даже раньше, когда нынешние старожилы были совершенно маленькими детьми. А не верить старожилам у нас не принято...

Нет, все-таки не зря ходят всякие слухи о Петушиных Двориках! Редкостное село! Хотя если оглядеть тут всю округу, то и округа получается редкостная, небывалая, такую во всем государстве, может, нигде больше и не встретишь. Вслед за Петушиными Двориками идут Утиные Дворики, потом Гусиные, потом Лебяжьи, Сорочьи, Крысиные и даже Кошачьи. О Кошачьих Двориках говорят, будто кот, который ходит у Лукоморья вокруг дуба на золотой цепи, рожден и воспитан именно здесь и лишь после отправлен на государственную службу. Впрочем, Кошачьи Дворики — это уже, кажется, Другая область. А Другая область — статья особая: там все коты худые, тощие, непременно темной масти и все доносчики.

Но рассказ наш, конечно, не о петухах и не о котах, а в первую очередь о Петушиных Двориках.

Рано утром, едва только взошло солнце и едва Григорий Иванович Козик покормил своего петуха просом, как возле его дома остановился «газик» председателя колхоза Серафима Николаевича Шестикрылова.

Григорий Иванович ничуть не удивился такому посещению, поскольку и раньше Серафим Николаевич частенько заезжал к нему по разным делам. Григорий Иванович провел его в горницу, указал на стул и, присаживаясь рядом, спросил:

— Чем могу служить?

Серафим Николаевич признался в своем деле не сразу. Несколько минут он сиротливо, совсем не по-председательски сидел на краешке стула, вздыхал, поглядывал в окно на петуха, который как раз собрался взлетать на спицу, и даже хотел было подняться, так и не сказав Григорию Ивановичу ни слова; но забота у него, судя по всему, была важная, безотлагательная, и Серафим Николаевич, пересилив себя, решительно ударил шляпой о столешницу, как любил это делать всегда в самые трудные моменты своей председательской жизни.

— Люди мне нужны! Понимаешь?!

— Как не понимать,— чуть усмехнулся Григорий Иванович.— Люди всем нужны.

— Да это ясно,— метнулся по горнице из угла в угол Серафим Николаевич,— но мне особые нужны, сам знаешь, на переселение.

— Мертвые души, что ли? — не преминул еще раз усмехнуться Григорий Иванович, большой любитель читать и перечитывать книжки, хотя заботу Серафима Николаевича действительно знал давненько и по этой причине не первое утро ждал его к себе в гости.

— Зачем это мертвые? — застыл посреди комнаты и даже малость обиделся Серафим Николаевич.— Живые!

Григорий Иванович перестал усмехаться, посмотрел на Серафима Николаевича уже повнимательней и даже с тревогой и задумался. Ничего особенного, сколько-нибудь сказочного в заботе Серафима Николаевича не было, и читателю нечего тут насмешничать: вот, мол, опять мертвые души, разоблачение действительности и прочее... Все обыкновенно и, может быть, даже скучно. В любом колхозе, в любой деревне сейчас об этом только и разговоры: есть земля, недра, а людей, чтоб жить на этой земле да кормить государство хлебом,— кот заплакал.

Серафим Николаевич тут не исключение. Земля у него в колхозе... Господи, какая земля! Не чета воронежским эталонным черноземам! Это именно про его колхозные земли сказано: «Посеешь бубочку одну — и та твоя». А какая речка, какие леса, какие заливные луга вокруг этих лесов и этой речки! Но вот беда: с каждым годом народу в Петушиных Двориках все меньше и меньше. В лес за ягодами и ландышем ходить, почитай, некому, стога метать некому, да что там стога — удочку в реку Излучину уж лет пять никто не закидывал.

На месте Серафима Николаевича другой давно бы отчаялся, плюнул на все да и уехал куда-нибудь за тридевять земель в белокаменный город, где дочь у него, или сын к генеральскому званию уже подбирается. Но Серафим Николаевич не уезжает, потому как сидит в нем мужицкое упрямство: все одолею, все перетерплю, а землю каждую весну засеять буду, потому как зачем же тогда и земля, если на ней ничего родиться не станет...

Мужик Серафим Николаевич редкостный, упрямый и разворотливый. Еще лет пять назад начал он строить вдоль речки Излучины дома. Да какие! На четыре комнаты, с центральным отоплением, с газом, с сараями, с поветями и погребями. Да что там с погребями и узорчатыми заборами — со специальными глинобитными токами и высокими насестами для знаменитых деревенских петухов. Теперь выросла целая улица на пятнадцать, а может, уже и на двадцать домов, само собой разумеется, названная Петушиной.

Расчет у Серафима Николаевича был простой, но дальновидный: землей у него в колхозе вдоволь, лес, луга и речка, петухи, каких ни в одном государстве не сыщешь. Но разве этим нынче заманишь в село молодых людей, будущих крестьян?! Ни за что не заманишь! Им в первую очередь жилищные условия подавай, газ, паровое отопление и все прочее самое необходимое. Когда были построены первые дома, Серафим Николаевич дал в областной газете объявление, мол, так и так — в Петушинные Дворики приглашаются на постоянное место жительства крестьяне, желательны семейные, с детьми и хозяйством...

Но не тут-то было! Никто в Петушинные Дворики, в глушь и лихомань, ехать не захотел. И вот сидит теперь Серафим Николаевич перед Григорием Ивановичем, постукивает своей знаменитой председательской шляпой о столешницу и просит:

— Мне бы на первый случай хоть семей пять-шесть.

— Да это понятно,— вздохнул и почесал затылок Григорий Иванович.— И что ж за люди, каких специальностей?

— Известно каких! Механизаторы нужны, доярки, плотников парочку неплохо бы. Крестьян, одним словом!

— Агрономов, зоотехников брать?

— Упаси бог,— замахал руками Серафим Николаевич.— Этих вдоволь. Учителя бы одного можно, а то школу вот-вот закроют.

Григорий Иванович опять задумался, стал прикидывать кое-что в уме, но с ответом не торопился. Серафим Николаевич выжидательно, как все просители, смотрел ему в лицо, мям в руках шляпу и даже чертил ногтем на столешнице какие-то слова.

— Не знаю, отпустят ли в сельпо? — наконец снова вздохнул Григорий Иванович.

— Отпустят! — прямо-таки восторженно, предчувствуя удачу, Серафим Николаевич.— Я уже договорился. Командировочные за счет колхоза.

— Не-ет,— замахал руками Григорий Иванович,— командировочных я не возьму. Поеду в счет отпуска.

— Ну как знаешь! — уже совсем иным, председательским тоном ответил Серафим Николаевич, мгновенно поняв, что Григорий Иванович загорелся. А когда он загорается, из него веревки вить можно.

Словом, договор у Серафима Николаевича с Григорием Ивановичем состоялся. Они сели рядком возле стола и принялись без особых споров и недоразумений обсуждать детали предстоящей поездки. Какого брать пола народ, женского или мужского, сколько семейных, сколько холостых, какие платить подъемные и так далее и тому подобное... Ну а пока они сидят да расписывают все на бумагах, у нас как раз есть время, чтоб рассказать, что за человек Григорий Иванович Козик.

А человек он, надо сказать, редкостный! Во-первых, рост! Всего на один палец недотянул Григорий Иванович до двух метров. Вес у него тоже внушительный. Не так уж, конечно, чтоб слишком, но на весах, которые стояли в сельпо, когда Григорий Иванович поднимался на них, не хватало двух-трех гирек. Насчет силы точно не скажу, работа у Григория Ивановича такая, что силы особой не требуется — умом приходится брать да расчетом. Но однажды возле магазина — сам видел — Григорий Иванович, понаблюдав за четырьмя мужиками, пытавшимися погрузить на телегу ящик стекла, рассердился, оттолкнул мужиков в сторону и, обхватив ящик, будто кожаный свой выдавший виды портфель, уложил его на передок. Так что сила у него была...

По причине громадного роста и значительного веса Григорий Иванович никогда не мог найти себе в магазине подходящую одежку. Поэтому ходил он в вельветовой паре, брюках и рубашке, которые раз в пять лет заказывал в районном ателье у знакомого закройщика Савелия Холодняка. Брюки заправлял в хромовые сапоги с разрезами на голенищах, а рубаху носил навывпуск, подпоясав ее старинным ремешком с коваными бляшками и двумя галунами. Был у Григория Ивановича еще замечательный кожаный портфель, который, говорят, достался ему вместе с петушком тоже от деда, а тому от прадеда, а прадеду от своего прадеда, ну а уж тому, само собой разумеется, от Екатерины II. А чего вы улыбаетесь? У нас в любую деревню зайдешь, так непременно найдешь какой-либо подарок от Петра I или от Екатерины II.

В замечательном том портфеле всегда хранилась у Григория Ивановича рядом со всякими торговыми бумагами одна старинная книга, которую он, надо сказать, знал почти наизусть. Звалась та книга «Слово о полку Игореве». Любил ее Григорий Иванович, крепко любил. Бывало, вернется домой из какой-либо командировки или просто после трудового напряженного дня, выпьет литра два молока с ржаным хлебом, заберется на печку, откроет книгу, и вот оно:

Не льпо ли ны бяшть, братие...

Или отправляется Григорий Иванович куда-нибудь в дальнюю дорогу, так обязательно, как только перейдет через мосток на реке Излучине, оглянется на Петушинные Дворики и скажет:

О Русская землѣ! уже за шеломянемъ еси!

Или подходит он, скажем, к городу Путивлю, так опять есть у него в запасе нужное слово:

Ярославна рано плачет
в Путивле на забрале...

Или идет Григорий Иванович, перевесив через плечо хромовые сапоги, к Курску, то и здесь найдется у него заветная, желанная каждому жителю старого города строчка:

А мой-то куряне — опытные воины:
под трубами повиты,
под шлемами взлелеяны,
с конца копья вскормлены...

Или направляется он к Чернигову, или к Киеву... или подходит он к Дону Великому где-то между Воронежем и Ростовом, так непременно снимет свою шляпу, чем-то похожую на шелом, и с благоговением зачерпнет ею студеной донской водицы...

Но все это, конечно, не главное. Главное, что работает Григорий Иванович в сельпо товароведом. Нигде он этому искусству толком не учился. Ходил, говорят, вскоре после войны на шестимесячные бухгалтерские курсы, но так и не закончил их — скучно ему там стало. Устроился товароведом в сельпо и через какие-нибудь полгода такие дела стал проворачивать, такие доставать товары, что в других сельпо просто ахнули.

Широко, от моря и до моря раскинулась слава о Петушиных Двориках, о знаменитых петухах с золотинками и саблями на боку! Но слава о Григории Ивановиче и того шире! В каких только странах, в каких только землях не знают его, откуда только не идут товары в Петушиные Дворики. Бывало, ни свет ни заря, а почтальон несет уже ему телеграмму из Парижа: «Мисье,— пишется в той телеграмме,— срочно встречайте партию французских духов „Клима" и „Диорелла"». Или, например, из Италии: «Синьор! Уточните поставки итальянского мрамора и женских сапожек!» Да что там из Франции или из Италии! Бывало, из самой Польши приходит ему телеграмма: «Пан Козик!» И так далее и тому подобное...

Вот, кажется, и все пока о Григории Ивановиче. Хотя — нет! Любой читатель вправе поинтересоваться, был ли он когда-нибудь женат? Кажется, был. Но какая же женщина станет жить с таким человеком, да еще в деревне?! Двор у него лебедью зарос, в сараях пустым-пусто, да и в доме тоже: один петух сидит на спице — вот и все хозяйство. К тому же и дома Григорий Иванович бывает редко, все больше в дороге и в дороге. Нет, ни одна женщина в Петушиных Двориках не в силах вынести подобного испытания. Поэтому живет Григорий Иванович один и во всех анкетах и учетных листках, где есть графа «Семейное положение», пишет: «Одинокий». Можно бы еще было порассуждать о фамилии Григория Ивановича, но это такой предмет, что на него просто жалко тратить и бумагу и время. Фамилию, как говорится, не выбирают. Какая досталась от дедов-прадедов, с той и живи...

Собрался Григорий Иванович в одночасье. Бросил в кожаный портфель мыло, бритву, покормил напоследок петуха и, перекинув через плечо хромовые сапоги, зашагал к железнодорожной станции. На той стороне реки Излучины Григорий Иванович по своему обыкновению оглянулся, вздохнул и произнес свое безутешное, вечное:

О Русская земля! уже ты за холмом!

В ответ из Петушиных Двориков донесся прощальный ветерок и даже как будто какой-то говор, но потом все затихло, затуманилось, исчезло за поворотом дороги.

Расставшись таким образом с земляками и родной станцией, Григорий Иванович, как и полагается при разлуке, со вздохами и томлением в груди сел в поезд, который шел от одного края земли до другого.

В вагоне, чтоб не теснить пассажиров своим грузным телом, он немедленно забрался на верхнюю полку, положил под голову портфель и в ту же минуту уснул. И уж так оно всегда почему-то получалось, что не успевал он прислонить голову к подушке, портфелю или просто к какому-либо пригорку в чистом поле, как ему обязательно начинал сниться сон...

То вдруг причудится Григорию Ивановичу река, широкая и раздольная в весеннем разливе, то вдруг увидит он во сне небо, то придятся ему леса дремучие и темные... Но чаще всего снится Григо-

рию Ивановичу дорога. Как будто идет он по ней, перекинув сапоги через плечо, идет, помахивает хворостинкой и подбадривает себя, успокаивает. Вот, мол, дойду до того поворота, а там уж отдохну, огляжусь вокруг, там благодать, забвение и отрада. Но дойдет Григорий Иванович до поворота, а благодати нет, под ногами камень да песчаный пепел, а новый поворот где-то далеко за горизонтом. Вздыхнет Григорий Иванович, поправит на плече сапоги и идет дальше, потому как опять словно кто-то шепчет ему на ухо: уж за тем дальним поворотом благодать будет обязательно. И так без конца, от поворота до поворота! Идет Григорий Иванович, не падает духом, надеется.

Русский человек так устроен, что без надежды ему жить никак нельзя. Скажи ему, например, пей и гуляй беспорядочно лет пятнадцать, обогащай государство, так он и будет пить и гулять и до того добогачает это щедрое государство, что сам в одних портках останется. Но не заропщет и не возмутится, потому как надежда крепко сидит у него в голове: пройдут, мол, эти пятнадцать лет, и он протрезвеет, оглядится вокруг и все переиначит на добрый лад.

И вот они прошли, эти пятнадцать лет. Новая встала перед русским человеком задача: не пей пятнадцать лет, не гуляй, читай газеты, обогащай государство. И он не пьет, не гуляет, ходит по струнке, читает по утрам газеты. Но надежда его не покидает: минет пятнадцать лет, и уж он выпьет, уж он опохмелится как следует, уж он пройдет по родной земле такой походочкой, что любо-дорого будет поглядеть. Тем, кажется, и живет...

Спал Григорий Иванович всю ночь и все утро, боролся как мог со снами и искушениями, а потом вдруг пробудился, схватил портфель и вышел на какой-то крохотной станции, хотя билет у него был до самого конца движения поезда.

Станция была действительно крохотной, но город за ней раскинулся редкостный. Бог знает с каких времен назывался он Городом Городов. Как и все подобные города, стоял Город Городов на семи холмах, и на каждом холме возвышалось по семи церквей и по семи административных зданий. Вернее, не на всех семи, а только на шести, потому что на самом дальнем, седьмом холме одного административного здания вечно не доставало. Строить его, говорят, начали раньше всего, да вот никак не закончат. Только доведут до крыши, только наметят окна и двери, тут же соберутся всем городом, поглядят и начнут перестраивать заново. И ладно бы был в доме какой-либо изъян, перекос, например, или трещина, или дерево неподходящее, гнилое, а то все вроде бы по делу, по уму, уж прежние строители были не глупее нынешних, все, кажется, продумали, все взвесили и передали в руки потомкам почти готовое здание. А те, вишь какие умники, собрались всем городом, поглядели на здание, почесали затылки и дружно, как всегда у нас водится, вздохнули: «Нет, не нравится!» Именно так — не нравится, и точка, раскатывай, ребята, бревна, разбирай фундамент!

Но это только одно такое в Городе Городов здание, а все остальные стоят прочно и крепко, и не первый уже, говорят, век.

Рано поутру, когда горожане только еще просыпаются, на церквях в Городе Городов начинают звонить колокола, а в административных зданиях телефоны. И такой поднимается благовест, что по сравнению с ним петушиный крик в Петушиных Двориках кажется просто каким-то комариным писком... Перезвонами этими и благовестом Город Городов и славен на всю округу!

Поселился Григорий Иванович в гостинице в обыкновенном шестиместном номере, хотя, конечно, мог бы потребовать себе и кое-что получше, потому как и здесь, в Городе Городов, нужные люди его хорошо знали. Но ничего требовать Григорий Иванович не стал. Во-первых, не любил он всех этих люксов и полулюксов с коврами, телевизорами и гудящими холодильниками, где сидишь в одиночестве,

словно в конуре, и где за три дня можно так одичать, что после на людях двух дельных слов не свяжешь. А во-вторых, еще пуще не любил Григорий Иванович класть в паспорт заветную пятирублевку, а то и красненькую, без которых, само собой разумеется, ни один люкс в гостинице не откроется.

Народ Григорию Ивановичу в сотоварищи попался дельный, в основном командированный, тоскующий по прежним временам, когда командировка была не просто командировкой, а всенародным праздником, отдохновением души и тела.

Дабы не мешать сотоварищам, предававшимся мечтам и воспоминаниям о былом, Григорий Иванович прилег на указанную койку, достал заветную свою книжицу и, отвернувшись к стенке, начал читать много раз читанное и знакомое наизусть:

Тогда вступил Игорь в златое стремя
И поехал по чистому полю.
Солнце дорогу ему тьмой заступило;
Ночь, грозою шума на него, птиц пробудила;
Рев в стадах звериных!
Див кличет на верху дерева;
Велит прислушать земле неизвестной,
Волге, Поморию и Посулию,
И Сурожу, и Корсуню,
И тебе, истукан тьмутараканский...

— Нет! — кричал между тем один из командированных, невысокий плотный мужчина с разметавшимися волосами. — Правду надо говорить, одну только правду — и все само пойдет...

— Правда — хорошо, а счастье — лучше! — отвечал ему другой, тоже человек крепкого сложения, но не в пример первому с головой лысой, как колено. — Если бы моя воля...

— Все рушится, все гибнет! — не обращая внимания на спор, плакал в дальнем углу худенький человечек в очочках, похожий чем-то на комара или ночную бабочку.

— Что рушится?! — подступил к нему Плотный и крепко взял за грудки.

— Отечество рушится! Спасать надо, объединяться надо!

— С кем это — объединяться?! — уже приподнял его на воздух Плотный.

— Ну зяблики, ну щеглы! — неожиданно отозвался еще один мужчина, казалось, крепко и непробудно спавший на койке, возле которой стояли громадные, похоже, военного образца сапоги. — Счас вы у меня запоете!

Григорий Иванович надеялся, что после этого в номере наступит тишина, потому как обладатель сапог стал приподниматься на койке, показывая, что слова у него не расходятся с делом, но не тут-то было: прежние спорщики вмиг объединились и втроем пошли на него, далеко в сторону отшвырнув яловые сапоги.

— Порядка нету, дисциплины! — кричал Плотный. — Разворовали государство, пропили!

— Кто разворовал?! Мы?! — сверкал идеальной лысиной Лысый. — Я человек откровенный...

— А я — глубоко скорбящий, — хватался за голову Худой. — Объединяться надо, спасать...

— Ну канарейки! Ну рябчики! — тянулся за сапогами Сердитый. — Счас я вас успокою!

Спор начал приобретать совсем уж серьезный оборот, и, кажется, пора было вмешаться в него Григорию Ивановичу. Но тут Лысый определенно нашел выход.

— Ладно, — заключил он, — бросаем монетку: если орел, будем объединяться, а если решка, создадим комиссию и посмотрим, чья возьмет.

— Лучше объединяться,— поднялся с койки Сердитый.— По пятерке, я думаю, для начала хватит.

Но его мнение в расчет принято не было. Стали бросать монетку. И что ж вы думаете, никто не поверит, но все три раза здоровенный, на совесть и века отлитый пятак становился на ребро. Сердитый хохотал до упаду, кружился вокруг него, дул и даже пробовал щелкнуть ногтем, но потом успокоился и первым торжественно положил на стол новенькую, не бывшую еще в употреблении пятерку:

— Эта всегда орлом!

В дорогу проворно, без лишних слов собрался Худой. Судя по всему, жильцам подобный спор был не в новинку.

Григорий Иванович вздохнул и с тоской посмотрел на шестую койку. Она была пуста и нетронута, словно вовсе и не предназначалась для жильцов, словно во всем Городе Городов не оказалось для нее достойного человека. А ведь сколько людей ютятся на вокзалах, ночует у случайных знакомых, а то и вовсе торчит где-нибудь на улице под дождем и снегом. Но вот зачем-то же она хранится, эта молчаливая коечка, зачем-то раз в неделю меняют на ней белье, взбивают подушку и никому из жильцов не велят на нее ложиться... Зачем, интересно? Вот спросить бы у знающих людей. Да где ж вы в Городе Городов встретите знающего все его тайны человека?!

Григорий Иванович решительно захлопнул книгу, взял под мышку портфель и вышел на улицу. А ведь что там скрывать, была у него мыслишка, что здесь вот в гостинице, в многоместном номере, он кое-что и разузнает о нужных ему для переселения в Петушинные Дворики людях. Ведь народ по гостиницам обитает бывалый, много видевший и много слышавший, и уж он-то обязательно должен был подсказать Григорию Ивановичу, мол, там-то и там-то за Городом Городов живет-поживает крестьянин, который хоть сегодня готов ехать в Петушинные Дворики. Ан нет, все гибнет, все рушится — вот и весь разговор нынче по гостиницам и частным квартирам.

Шел Григорий Иванович по улицам Города Городов совершенно опечаленный, шел, думал о Петушинных Двориках, о золотом своем петушке: как он там, накормлен ли, напоен ли, не высоко ли, не страшно ли ему сидеть по ночам на спице? Выходило, что и высоко, и страшно, и голодно, и холодно.

Григорий Иванович еще больше пал духом. Раз уж в гостинице, где съезжаются самые лучшие, самые бывалые люди, ничего нельзя узнать о переселенцах, так где же их тогда еще и искать в Городе Городов? Ведь нынче ни балов, ни дворянских собраний нет, нет даже сходок и гульбищ, праздники и те какие-то непонятные. Выйдет народ на массовое гулянье и ходит из конца в конец какого-либо проспекта, ест мороженое да глядит, как на дощатых помостах играют марши духовые оркестры из отставных пожарников.

Хотя чего уж так мрачно смотреть на все, чего так печалиться?! Есть еще и в Городе Городов два местечка, где можно встретить достойного человека. Места, может, и не Бог весть какие примечательные, но людные и не терпящие рутины и застоя. Базар это и баня!

За третьим холмом, где стояло главное административное здание и где телефонный перезвон всегда брал верх над колокольным, Григорий Иванович свернул налево, и вот раскинулся перед ним городской базар: смешение языков и нравов, Вавилонское столпотворение и прочее. Нигде в мире вы не найдете такого базара, как в Городе Городов. Какая-нибудь Сорочинская ярмарка по сравнению с ним — это просто жалкая толкучка. Кого вы встретите на той хваленной ярмарке?! Ну Солоху, ну волов круторогих, ну двух-трех бухгалтеров из колхоза «Маяк» или «Вперед», торгующих ворованными арбузами, ну еще какого-либо знакомого, сбжавшего сюда от рассерженной жены. Вот и все. А в Городе Городов не просто базар, это Базар Базаров!

Давайте покрепче застегнем в кармане кошелек и двинемся вдоль рядов. Вот где есть на что посмотреть, вот где есть к чему прицепиться! В самом уголке, с краешку, мужчина вида интеллигентного, с образованием и даже, кажется, с талантом, чем бы вы думали торгует?! Да ни за что не догадаетесь! Стихи продает, которые тут же, не отходя от прилавка, и сочиняет.

Григорий Иванович не выдержал, поинтересовался:

— Свое или краденое?

— Обижает, хозяин, — ответил мужчина и с такой тоской посмотрел на Григория Ивановича, с какой только и может смотреть не опохмелившийся с утра человек на трезвого и здорового.

А покупатель вот он, уже крутится рядом со стихиками и романами. Росточка небольшого, в кожухе, а под мышкой портфель, в котором позвякивает не только денежка, а и баночка икорки, одна-другая бутылочка «Столичной» экспортного исполнения, кое-какая мануфактура, выдаваемая лишь по особым удостоверениям. Сторговались на стихиках. Григорий Иванович заглянул через плечо покупателя, прочитал один. Но прочитал не просто как всякий-любой читатель, а со знанием дела, с опытом. Вначале, как обычно, строфа за строфой, а потом в обратном порядке, потом только первые буквы сверху вниз и снизу вверх, потом только средние, потом по диагонали. Много всякого товара покупал Григорий Иванович для Петушиных Двориков, много насмотрелся всяких веселых людей, на мякине его не проведешь. Вот и сейчас, только кинул взгляд на первые букочки, и сразу вычитал все что нужно: «Покупатель, ты дерьмо». А ведь с виду стихок самый благообразный, про природу да про любовное взаимопонимание.

Григорий Иванович лишь махнул рукой и отошел к следующему продавцу. Этот и еще был похлестче! Вроде бы и не из поэтов, не из художников, а торгует что ни на есть самой чепухой по теперешним временам — совесть продает. Вот она лежит перед ним, как на ладони, — бери не хочу. Народу возле него толпится немного: то ли цену заломил непомерную, то ли товар неходовой. Григорий Иванович даже останавливаться не стал. За годы своей службы в сельпо не раз и не два встречался он с подобными торговцами. Не успеешь замедлить возле них шаг, а он уже хватает тебя за воротник, требует из кармана денежки, хотя товарец его, давным-давно уцененный, не мытый и не стиранный, тебе и даром не нужен...

Пройдя мимо старушек, торгующих вышитыми полотенцами, дефицитными иглками для швейных машинок и прочей мелочью, Григорий Иванович хотел уже было выбраться из толкучки, но вдруг заметил редкостного даже для Города Городов продавца — в красной косоворотке, подпоясанной кушаком, в зеленых шароварах и таких же зеленых сафьяновых сапожках. Товар у него был совсем уж невероятный, хотя, с другой стороны, и до того обыкновенный, что никому бы и в голову не пришло продавать. А вот надо же, додумался человек: ходит между рядами, сапожками сафьяновыми поскрипывает, гостей заморских, как какой-нибудь афоня, зазывает — землей родной приторговывает. И столько ее вокруг него, что даже глазам смотреть больно. В черепушках стоит, в корытах, в глиняных вазонах, в дубовых бочках и просто так, на любой вкус: черноземная, песчаная, суглинок, из самых разных краев — черниговская и курская, псковская и новгородская, сибирская и дальневосточная, украинская и тьмутараканская. Оптом продает и в розницу! Славно торгует мужичишка! Да и как не торговать?! Был бы спрос, а предложение найдется. Спрос же есть, и немалый. Подходят к нему покупатели в основном иностранного происхождения, тычут в землю тростями и зонтами, прицениваются. Но мужичок наш ладно что в рубашке-косоворотке, а торговец опытный, стоит насмерть за каждую горсть родной земли, расхваливает на все лады, мол, такого товара больше нигде не сыщешь. Оно

и правда: и товара такого нигде не сыщешь, и продавца такого, обойди весь белый свет, нигде больше не встретишь...

Разговоры на толкучке велись самые разные: кто сколько продал, да сколько выручил, да какой нынче покупатель прижимистый пошел, за копейку готов удавиться, а нет бы развязать мошну да спустить все, как бывало в прежние времена, на какие-нибудь ваньки-встаньки или куклы матрешки.

Григорий Иванович постоял и возле одного прилавка, и возле другого, не теряя надежды, что, может быть, зайдет где-нибудь разговор о людях серьезных, промышляющих не ваньками-встаньками и не поддельной совестью, а занятых делом крестьянским, землепашеским, сеющих хлеб, которым, между прочим, кормятся и все эти перекупщики и торговцы родимой землицей. Но подобного разговора что-то не предвиделось. Опять затеялся спор о каких-то христопродавцах, в ход пошли выражения возвышенные, дерзкие, которые только и могут быть в русском языке.

И тут Григорий Иванович прямо-таки всплеснул руками, выронил на землю портфель и обозвал себя такими словами, что ни один торговец в сафьяновых сапожках придумать не мог. Где он ходит, где надеется услышать доброе слово о достойном человеке, готовом ехать в Петушинные Дворики?! Да на толкучке этой никто о родном отце не вспомнит, не то чтоб о другом каком-либо достойном человеке! Они и слыхом не слыживали о таких людях! А если бы и слыживали, так замахали бы на них руками, затюкали, сгиньте, мол, и не мешайте нам жить! В табачные ряды надо идти — вот куда. Вот где еще можно встретить настоящего крестьянина!

Нигде больше, ни на одном базаре не найдете вы табачных рядов, вымерли они, сгнули под напором фабрики «Дукат» и всяких иноземных папирос-сигарет, от которых одна медовая тошнота и никакой крепости. А вот в Городе Городов настоящие табачные ряды еще есть. В льняных, густотканых мешочках, в затейливо вышитых торбочках, в старинных дедовских кисетах высится горкой самосад рубленый, резаный, толченый. Подходи, отрывай особым манером сложенную газетку, которая лежит тут же на прилавке, сворачивай хочешь — козлиную ножку, а хочешь — обыкновенную папиросу и затягивайся до хрипоты, до изнеможения, вспоминай, как во время пахоты, уборки или молотбы затягивался точно таким же табачком, выбрав одну-две минуты для короткого перекура. А рядом пробует, приценивается к другому сорту рубленого табака давний знакомец из соседнего села. И вот вы уже, подымливая папиросками, обсуждая силу и крепость табака, заводите разговор об извечных своих крестьянских делах. Мол, табак табаком, пустяки все это и забава, а вот жара нынче стоит несносная, рожь-пшеница на корню гибнет, скотину нечем кормить, государство внакладе. И уже дымок вьется не так дружно, уже тает в раскаленном воздухе, уже кисеты завязаны и спрятаны в карманы, а кепки-восьмиклинки в задумчивости сбиты на затылки, и впору мужикам окончательно расстроиться и пасть духом. Но тут от соседнего ряда подходит к ним еще один старый знакомец и начинает утешать-уговаривать. Не падайте, мол, ребята духом, жара жарой, а вон в селе Курганном живет такой же, как вы, мужик Задорожный, так ему хоть каждый день сорок градусов, хоть ни одного дождя за все лето, а пшеница у него стоит в рост человеческий. И мужики уже потихоньку отходят душой, загораются надеждой и желанием: а не проехать ли в будущее воскресенье в Курганное, не поглядеть ли, что там за мужик выискался Задорожный, не перенять ли его земледелие?

— Может, и меня возьмете в Курганное? — спрашивает Григорий Иванович.

— Отчего же не взять, — отвечают мужики и угощают его табаком. Григорий Иванович берет себе щепотку, сворачивает папироску,

затягивается крепко и основательно, хотя к табаку относится без всякого интереса. А мужики между тем ведут беседу дальше:

— Да оно, может, и ехать не надо, оно, может, и повременить стоит. День сегодня базарный, торговый, и Задорожный непременно должен приехать за табаком.

И действительно, не успевает вся честная компания испробовать табак еще из одного мешка, как вот он, сам Задорожный появляется возле табачных рядов. На полысевшей голове, как и у других мужиков, кепка-восьмиклинка с пуговицей, похожей на церковную маковку, а в руках кнутик из сыромятного ремешка. Все интересно и примечательно в Задорожном, но больше всего поразил Григория Ивановича этот кнутик, обыкновенный сырицовый кнутик с рябиновым черенком. Редкостный теперь в селах инструмент! Впору ярмарку всю собирать к Задорожному, да показывать кнутик его рябиновый, да вести к подводе, которая таится в тенечке, чтобы напомнить внукам-правнукам, что русский крестьянин, имея в помощниках обыкновенную каурюю лошадку, растил хлеба в человеческий рост и удивлял теми хлебами заграничные страны и государства.

Базар весь к Задорожному Григорий Иванович, конечно, собирать не стал, дело это опасное и затяжное: соберутся вокруг знатоки, достанут из портфелей справочники и словари да и начнут судить-рядить до маковых заговен, конь перед ними или кобыла. У Григория Ивановича разговор к Задорожному серьезный, решительный, поэтому он тихонько распрощался с мужиками и пошел к Задорожному один. Само собой, начал он беседу не о Петушиных Двориках, не о переезде, а о табаке и кнутике, потом незаметно перешел на погоду, на засуху, на дела тележные и лошадиные. И лишь когда Задорожный откликнулся, как бы между прочим поинтересовался:

— Василь Матвеевич, а не поедешь ли в Петушиные Дворики?

— Зачем? — не то чтобы удивился, но повременил закуривать очередную папироску Задорожный.

— Жить, конечно, — пошел на приступ Григорий Иванович. — Крестьянствовать. Земля там не в пример вашей и дожди каждую неделю.

— Да это я знаю...

— Ну так что, по рукам? — загорелся Григорий Иванович и уже начал расстегивать портфель.

— Нет, погоди, — остановил его Задорожный. — Река там есть?

— Есть и река, и лес, и поля необозримые, и дом новенький на выбор, и председатель у нас серьезный — Шестикрылов.

— А петухи на спицах — это у вас сидят?

— У нас! — воодушевлялся Григорий Иванович, предчувствуя удачу. — Редкостные, между прочим, петухи, певчие. Мы тебе подберем по вкусу.

Задорожный на минуту задумался, почесал под кепкой лысеющую голову и заупрямился:

— Нет, не поеду!

— Ну почему?! — с досады бросил на землю портфель Григорий Иванович. — Детей у тебя сколько?

— Восьмеро!

— И все небось по интернатам да по чужим людям?

— По интернатам и по чужим людям, — не стал отпираться Задорожный.

— А в Петушиных Двориках школа-десятилетка, ясли и институт в районе строятся!

— Да бог с ним, с этим институтом. Ехать мне нельзя. Ненадежный я...

— Как это — ненадежный?! Пьешь, что ли?

— Зачем это — пьешь? Мне пить не с руки при такой семье, при такой работе. Насчет петухов я ненадежный...

Григорий Иванович просто-таки развел руками и едва не втоптал свой портфель в песок и табачную пыль. Ну что за человек такой, что за душа такая неприкаянная?! Пахать, сеять, леса рубить, недра осваивать — он надежный, а петуха какого-нибудь, сидящего на спице, боится!

— Да мы этих петухов... — заикнулся было Григорий Иванович, но Задорожный и слушать не стал.

— Это тебе к погорельцу надо ехать, — посоветовал он. — Тот надежнее.

— Что еще за погорелец? — едва не плакал Григорий Иванович от обиды.

— Живет тут один на подороге между Городом Городов и колхозом «Вперед».

Григорий Иванович черкнул на всякий случай адресок, а сам все думал-прикидывал, с какого бы еще иного бока подступиться к Задорожному, но тот уже от разговора отрешился окончательно, купил полный кисет табака с татарником, тмином и, кажется, еще с конопляным зерном и пошел с базара, постукивая по голенищу кнутиком, к своей лошади, которая призывно ржала за оградой.

И так в этот момент стало грустно Григорию Ивановичу, так захотелось ему в родные свои Петушины Дворики, к золотому петушку на спице, которого незаслуженно и горько обидел в разговоре с Задорожным, так захотелось ему сесть на телегу, бросить в передок вожжи и вспомнить старые печальные слова:

И застонал, братья, Киев от горя,
а Чернигов от напастей.
Тоска разлилась по Русской земле;
печаль обильная потекла посреди земли Русской.

Но не время пока ехать, не время печалиться, дорога лежит совсем в иную сторону, за Город Городов, к погорельцу, человеку, должно быть, страждущему и сговорчивому.

Забежал Григорий Иванович на минуту в гостиницу, чтоб испить водицы да побриться, а там дым уже коромыслом, сражение в самом разгаре. Владелец яловых сапог и Худой лежали в обнимку на койке и пробовали петть про вольную волю и еще, кажется, про Волгу, про Днепр и Дунай... Плотный сидел чуть в стороне, закусывал рыбой холодного копчения и время от времени вставлял в песню свое слово, но каждый раз невпопад, впромашку, отчего песня забирала круто вбок и разговор в ней шел уже не про вольную волю, а про какую-то наименьшую сестру, обманщицу и предательницу, которая расстроила все любовное дело. Лысый песню не слушал и не участвовал в ней, он словно заведенный ходил из угла в угол, хватал себя за голову и в иступлении повторял:

— Все рушится, все гибнет!

Григорий Иванович хотел было незаметно пройти к своей койке, но обладатель яловых сапог тут же оборвал песню и подступил к нему с бутылкой и стаканом:

— пей!

— Некогда, — ответил Григорий Иванович и стал собирать бритву.

— Слыхали?! — бросил клич компании обладатель сапог. — Нам есть когда, а ему — некогда!

Компания сгрудилась тесным кольцом, заволновалась. Вперед, обтирая о штаны замасленные руки, вышел Плотный:

— Ты с народом не шути!

— Отчего ж не пошутить, — усмехнулся Григорий Иванович, — коль время есть!

— Слыхали?! — изумился обладатель сапог. — У него время есть, а у нас — нет!

— С народом так нельзя! — поучал между тем Плотный.

— Не смей так с народом! — подал голос Худой.

Лысый несколько мгновений поколебался, а потом отошел в сторону и вытер кулаками глаза:

— Все продали, все перестроили!

— А вот сейчас он у меня выпьет и перестроится, — не унимался обладатель сапог. Он передал бутылку Худому и пошел на Григория Ивановича. Григорий Иванович еще раз усмехнулся, подпустил к себе обладателя сапог поближе, а потом положил ему на плечо руку. Осторожно так, по-дружески положил, но обладатель сапог вдруг ойкнул и стал оседать на пол, словно ветхое, подрубленное под корень дерево.

— Убивают, мучают! — закричал Худой, но на полуслове затих и с удивлением посмотрел на Лысого, который уже рыдал, уткнувшись лицом в подушку. Худой выдержать этих рыданий не смог, загорелся ярким, оскорбленным румянцем, проговорил что-то насчет долготерпения и скитальчества и рухнул в объятия Плотному.

Чем все закончилось, Григорий Иванович уже не видел. Кое-как добравшись и глотнув из графина воды, он вышел на улицу, намереваясь тут же, не откладывая на завтра, отправиться к погорельцу.

Дорога ему выпала хорошая, наезженная и накатанная, поросшая по обочине подорожником и иван-чаем. Григорий Иванович снял сапоги, перекинул их через плечо и пошел, как не раз хаживал во сне, от одного поворота до другого. Но ни с каким сном нельзя было сравнить живую его дорогу. Твердый, чуть влажный после недавнего дождя песок остужал ему ноги, иван-чай и подорожник успокаивали дыхание, полеты ласточек, стрижей и жаворонков придавали бодрости его уставшему, немолодому уже сердцу, а за каждым поворотом ждала Григория Ивановича благодать: дорога там была еще накатанней, еще прямее, жаворонки и стрижи летали еще выше, иван-чай был еще душистее, а подорожник в один миг залечивал все самые тяжкие воспоминания.

Шел так себе Григорий Иванович, шел и вдруг видит — раскинулось перед ним село, колхоз «Вперед». Село вроде бы как село, колхоз как колхоз: дома все под шифером и железом, фермы огорожены бетонным забором, посередине на бугре церковь с порушенной маковкой, от этого чем-то похожая издалека на костел. А рядом с церковью необъятный пустырь и на том пустыре стоит еловый шалащ, возле которого сидит прямо на земле мужик в сандалиях на босу ногу.

Григорий Иванович присел рядом, с удивлением оглядел пустырь и спросил мужика:

— А чего же пожарища не видать?

— Какого еще пожарища? — обиделся и даже отвернул голову погорелец.

— Но ведь дом ваш сгорел?

— Кто тебе сказал? — сплюнул в сердцах мужик. — Если бы сгорел, так хоть бы печь осталась. А то во, гляди, пусто кругом!

Действительно, сколько ни присматривался Григорий Иванович, а нигде не заметил ни головешки, ни какого-либо обугленного бревнышка или хотя бы жердочки, которые после любого пожара валялись бы на подворье.

— Как корова языком слизала, — печалился мужик.

— Смерч, что ли?

— А черт его знает! Может, и смерч! Комиссия приезжала, не было, говорит, дома, а раз не было, то и страховка не полагается.

Много всяких происшествий видел на своем веку Григорий Иванович, но такого еще не встречалось: ведь до последнего кольышка, до последней щепки все подмело! И мало того, что подмело, так

еще, кажется, и травой засеяло, лебедой и полынью, и вот она теперь колышется на ветру, словно дубовая роща, хоть дом из нее руби.

— А все бабы! — разохотился наконец на разговор мужик. — Дочери у меня две. Вон там в курене сидят, можешь поглядеть. Старшая замужем в городе за инженером, а меньшая тут пока, при мне. Сошлись, дурехи, на Троицу и устроили тарарам. И было бы из-за чего, а то из-за поваренной книги! Откуда она у нас в доме объявилась, ума не приложу. Жена, слава Богу, без всяких поваренных книг обходится, борщ и кашу варит не хуже людей. А этим, вишь, книгу подавай, клецки разные да баранину на вертеле! Старшая как увидела ее, так сразу и загорелась: «Моя, говорит, книга! Мне ее крестная мать еще при рождении подарила!» А меньшая у меня тоже палец в рот не клади. «Нет, кричит, моя книга! Она мне в наследство от покойной бабки досталась!» Ну и пошло-поехало! За волосы стали друг дружку хватать. «А пропади все пропадом!» — не выдержал я. И что ж ты думаешь?! В ту же минуту откуда-то налетело, закружило, закуролесило — и вот нету ни дома, ни сараев, ни повети. Уборную и ту унесло, до ветру сходить некуда.

— Может, еще вернется? — невпопад вставил Григорий Иванович.

— Как бы не так, — тяжело, по-крестьянски вздохнул погорелец. — Бедному жениться, так и ночь мала. Мне всегда везет! А ведь людям что смерч, что град — все равно прибыль. Вот взять, к примеру, нашего завхоза бывшего, Петра Евдокимовича, так на него года два тому назад тоже смерч налетел. Все подчистую подмел, как и у меня! Но что, окаянный, сделал? Покружил, повьюжил над селом да и поставил подворье, говорят, в самой Москве, неподалеку от Красной площади. Так удачно поставил: с гаражом, с паровым отоплением и с пропиской на всю семью. А мой где-то летает! Выйду иной раз ночью из шалаша, погляжу на звезды, и все мне кажется, что никакие это не звезды, а окошки в моем доме залетном светятся. Во, брат, до чего может довести человека жизнь!

— Ну а на новое место поехать не хочешь? — решил больше не мучить мужика Григорий Иванович.

— Куда это? — заинтересовался тот.

— Так известно куда — в Петушинные Дворики.

— Оно бы неплохо, — встал даже на ноги мужик. — Только ведь снова небось унесет...

— Ну, в Петушинных Двориках не унесет, — усмехнулся Григорий Иванович. — Там председатель не чета вашему — удержит.

Мужик обошел вокруг шалаша, поднял с земли какую-то соринку, оглядел ее со всех сторон и положил на всякий случай в карман. Сразу было видно, что мужик дельный, рачительный, что даром есть хлеб в Петушинных Двориках не будет.

— Ладно, поеду, — махнул он с отчаяния рукой. — Я ведь не просто так мужик. Я ведь мастер по теперешним временам редкостный — телеги и сани делаю. Саннный полоз или колесо никто сейчас толком не выгнет, а я выгну, хочешь — березовое, хочешь — кленовое. Дуги еще могу делать, коромысла...

— Ну тогда тебе прямая дорога в Петушинные Дворики, — окончательно воодушевил его Григорий Иванович. — Председатель наш, Шестикрылов, большой любитель до саней и бричек. А насчет коромыслов, так его вообще хлебом не корми, дай пару ведерок от колдада принести. Вы с ним сладите...

— Куда это ты собрался ехать? — неожиданно вышла из шалаша жена погорельца, толстенная аккуратная женщина, тоже в сандалиях на босу ногу.

— Да вот, — чуть заробел погорелец, — люди в Петушинные Дворики приглашают...

— Ты вначале страховку получи, а потом будешь ехать,— не на шутку, кажется, рассердилась жена.

— Да зачем эта страховка? Там и дом обещают, и землю, и работу на выбор.

— А вы обо мне подумали? — вдруг выскочила вслед за матерью из шалаша старшая дочь погорельца и, уперев руки в бока, встала напротив отца с матерью.— Вы, значит, в Петушинные Дворики, петухов растить, а я в городе хоть с голоду помирай! Не к кому за картошкой будет приехать, за морковью, чесночину какую-нибудь несчастную и ту придется с базара тащить. А мясо, а сало, а сметана?! Ну родители теперь пошли, ну кормильцы, нарожали детей, а после хоть по миру идите!

— Я тоже никуда не поеду! — показала из шалаша и младшая дочь, худая, длинноногая, совсем еще подросток.

— А ты-то чего? — попробовал прикрикнуть на нее отец.

— Я — чего?! — не поддалась младшая.— А то вы не знаете — чего! У меня тут жених Сергей Игнатьевич! А в Петушинных Двориках небось одни петухи. Сами за них идите замуж!

В общем, слово за слово, и такое началось возле шалаша, что Григорий Иванович не рад уже был, что затеял разговор. Того и гляди опять поднимется смерч и унесет последний этот шалаш в такие дали и в такие выси, что не только светящегося окошечка не увидишь в звездную ночь, а и самой ночи не отличишь от белого дня...

— Ты тут подумай,— шепнул на ухо погорельцу Григорий Иванович,— и если решишься, так прямо к Шестикрылову. Скажешь, мол, от Козика.

— Ладно, попробую,— кивнул мужик, отбиваясь от наседавших дочерей.— А ты еще к Варваре Константиновне загляни. Она должна бы поехать.

— А что за Варвара Константиновна? — насторожился Григорий Иванович.

— Ну, брат, ты даешь! — обиделся погорелец.— Варвару Константиновну не знаешь! Да у нас тут ее любой пеший или конный знает. Сельсоветчица она, героиня! Как выйдешь на шлях, так бери все время вправо, и там за соснячком село будет Высокие Стрижи. В нем живет Варвара Константиновна.

— Спасибо,— вроде бы без всякого интереса поблагодарил Григорий Иванович.— Пройдусь, все равно делать нечего...

Но интерес у него пробудился сразу и, надо сказать, немалый. Ведь мужики мужиками, плотники, бондари, шоферы, но достойную женщину занять для Петушинных Двориков — это удача особая. И не потому, что не хватает в Петушинных Двориках доярок, телятниц и полеводов, а потому, что достойных матерей не хватает, детей некому рожать, род крестьянский умножать и воспитывать.

Как и наказывал погорелец, Григорий Иванович все время брал по дороге вправо и вправо, но Высокие Стрижи никак не показывались. Зато вдруг вынырнул из елового бора хуторок — дворов, наверное, на пятнадцать. Станный, признаться, хуторок. Ни одной тропиночки к нему, ни одной стежки, все елками и соснами заросло, едва-едва видны крыши, да и те порушенные, кое-как покрытые где старым истлевшим шифером, а где так еще и по старинке соломой. Но дымок над каждой крышей, несмотря на вечернее время, вился что ни на есть самый бойкий, к тому же с особым торжественным запахом.

Григорий Иванович решил зайти, дорогу попытать на Высокие Стрижи да полюбопытствовать, что оно такое за тайные дымы расстилаются над хутором, что за торжественные, праздничные запахи? Не успел он постучать в первую калитку, как перед ним

объявился мужичишка, заросший щетиной, но веселый и радостный.

— Ну, наконец-то,— едва ли не в объятия заключил он Григория Ивановича.— Заходи, погрейся, а то заждались! В горле пересохло!

— Зачем заходить-то? — на всякий случай подзадержался у калитки Григорий Иванович, чувствуя, что мужик этот веселится неспроста.— Я и откуда все спрошу.

— Ну нет! — запротивился мужик.— Не положено! Чтоб на Веселом хуторе да не встретили как следует гостя! Эй, Ванька! — закричал он на весь двор.— Беги к Саньке, а тот пусть сбегает к Маньке, а Манька к Таньке, а Танька к Проньке, скажи, гость пришел, пить будем, гулять начнем!

Тут же на дворе появился парень лет шестнадцати, тоже воодушевленный. Он потеснил Григория Ивановича от калитки и со всех ног кинулся выполнять отцовское приказание.

Григорий Иванович хотел было объяснить хозяину, что никакой он не гость, а просто так, прохожий, идет в Высокие Стрижи к сельсоветчице Варваре Константиновне, да вот сбился с пути, к тому же и пить ему не время. Но веселый мужик не дал сказать Григорию Ивановичу не то что слова, но даже и полслова, даже четверти слова.

— Колька! — еще громче закричал он на все подворье, которое, кстати сказать, только называлось подворьем, а на самом деле ни кола ни двора, одна калитка да чертополох до самой крыши.— Беги к Тольке, а Толька пусть бежит к Ольке, а Олька к Ваське, а Васька к Онуфрию Наумовичу! Скажи, мол, гость пришел, пить будем, гулять начнем!

Опять на дворе появился парень, на этот раз лет пятнадцати, еще более веселый и прыткий, не стал даже проходить в калитку, а перемахнул через остатки забора и помчался от двора к двору, оглашая весь хутор задорным голосом:

— Пить будем! Гулять будем! Гость пришел!

Прошла минута-другая, и на подворье у веселого мужичика стали появляться хуторяне, один веселее и задорнее другого. Мигом под елями были раскинуты столы, а на них появились сулеи и гусыни, бутылки и графинчики, штофы и полуштофчики, четвертинки и соточки... Закуска была послабее, но тоже проглядывали и колбаска, и сальце, и килька в томате, и лучок, и, кажется, даже с полдесятка огурчиков.

— Вы газеты какие-нибудь читаете? — растерялся на мгновение Григорий Иванович.

— Какие там газеты! — засмеялись хуторяне.— Раньше читали. Теперь некогда! Вишь, работа какая — опохмеляемся!

— Ну а радио слушаете, телевизор смотрите?

— Какое там радио, какой телевизор! — отбивались хуторяне.— У нас Онуфрий Наумович читает.

Григорий Иванович лишь пожал плечами и, делать нечего, сел на почетном месте под голубой елью, решил поглядеть, чем все это закончится. И тут появился в калитке Онуфрий Наумович, шаткий такой, взволнованный старичок с кожаной папкой под мышкой. Решительно вскинув вверх руку, он поприветствовал гостей и пошел к дощатой трибуне, которая словно сама собой выросла посреди двора.

— Ну сейчас начнет! — с восторгом толкнул Григория Ивановича хозяин двора.— Сейчас только держись!

И Онуфрий Наумович действительно начал: защелкал, засвистал, забарабанил прокуренным ногтем по доброй сотне микрофонов, которые были установлены на трибуне и от которых, как показалось Григорию Ивановичу, не шло ни единого провода; потом, словно

какая-то ночная, темная птица, налег на трибуну, вперил взор в застолье и бросил первую фразу:

— Соотечественники! Хуторяне! Доколе мы будем пить да гулять?! Доколе?..

Но хуторяне не дали ему закончить, дружно захлопали в ладоши, закричали что-то похожее на «Слава!» и «Почет!», а потом пришли в еще более поощрительный восторг и вынесли приговор:

— Налить Онуфрию Наумовичу! Налить ему!

Старику тут же налили, но не в обыкновенную граненую рюмку, а в хрустальный, окованный по краю медью бокал.

— Благодарствую! — растрогался старик, выпил со зримым уважением ко всем собравшимся и продолжил свою речь.— Станичники! Казаки! — призывал он.— Не посрамям славу нашего оружия! Не поддадимся бусурманам!

— Правильно! — закричало застолье.— Не посрамям! Не поддадимся. Налить Онуфрию Наумовичу!

Старичку опять налили. На этот раз он выпил еще с большим благоговением и торжеством, вытер нетвердой ладонью усы и перелистнул в папке страницу.

— Сибиряки! Дальневосточники! — бросал он в толпу клич за кличем.— Отстоим наши реки и святыни!

Потом у Онуфрия Наумовича дело дошло до уральцев, псковичей и новгородцев, до мальх и больших народов Севера, потом до армян, грузин, узбеков и всей необъятной Средней Азии. Потом еще до каких-то небывалых страждущих краев, и в каждом призыве звучало одно и то же, наболевшее и неизбывное: «Доколе?»

Онуфрию Наумовичу исправно наливали. Наконец он заметно притомился, красноречие его иссякло, и он перешел к заключительному кличу.

— Братья и сестры!... — совсем расстроил он и опечалил всех собравшихся.

— Ну, теперь успокойся, — шепнул Григорию Ивановичу на ухо хозяин двора. И он не ошибся. Онуфрий Наумович в последний раз вскинул руку, приветствуя застолье, потом сошел с трибуны и тяжело, с достоинством опустился на травку под молодой сосенкой.

Но лучше бы он не успокаивался, лучше бы не опускался. Потому как хуторяне тут же перекинулись на Григория Ивановича, стали расспрашивать его, кто он, да откуда, да по какому случаю. Григорий Иванович вначале отбивался как мог, а потом вдруг почувствовал, что с этим народцем шутки шутить не приходится. Слово за слово, и пришлось ему сознаться во всем, мол, из Петушиных Двориков он, ищет достойных людей на переселение.

— Ставь магарыч! — тут же загорелись хуторяне.— Едем! Всем хутором едем! Мы из твоих Петушиных Двориков рай земной сделаем!

— Да зачем же сразу рай?! — пробовал выиграть время Григорий Иванович.

— А ты с нами не шути! — словно угадал его мысли хозяин двора.— Приезжал тут к нам один в прошлом году, так вишь, что от него осталось.

Григорий Иванович оглянулся и, признаться, хотя и был человеком не робкого десятка, а все ж таки задумался. На высоком шесте возле сарайчика с провалившейся крышей висела добротная фетровая шляпа. Но ладно бы только одна шляпа и только на одном шесте! А то ведь рядышком на таких же шестах и кольях висело еще десятка два самых разнообразных головных уборов: фетровые и соломенные шляпы, цигейковые бекеши и шапки-ушанки любого меха и достоинства, высокие, довоенного еще покроя картузы и грузинские необъятные кепки, восточные шелковые тубетейки и

немецкие островерхие тирольки. Была даже одна женская шляпка с голубеньким завлекательным перышком.

— И куда же девались владельцы? — не без осторожности спросил Григорий Иванович.

— А кто ж его знает! — пожал плечами хозяин. — Лес кругом, темень. Заблудились, должно быть, а шляпы ветром и прибило к нам.

Григорий Иванович вздохнул:

— Ладно, магарыч за мной. Но где ж я его по нынешним временам возьму?

— Да ты что, в лесу родился, что ли?! — обиделся хозяин. — У нас же и достанешь! Гони две зелененькие с водяными знаками — вмиг раздобудем.

Григорий Иванович задумался крепче прежнего и решил, что с этими ребятами можно лишь по правде да по совести, иначе одна только шляпа и останется. А у него ведь еще и сапоги, и вельветовый костюм, и ремешок с галунами и медными бляшками. Да и портфеля жалко... Он безропотно достал две зелененькие и положил их на стол перед хозяином.

— Э, нет, — сразу зашумело все подворье. — У нас так не бывает! Ты нам еще спляши!

— Да не умею я плясать, — чистосердечно признался Григорий Иванович.

— Тогда спой!

— И петь не умею...

Застолье сгрудилось, заговорило о чем-то вразнобой. Григорий Иванович почувствовал, что дела его плохи.

— Может, стишок рассказать? — пошел он на последнюю хитрость.

Застолье о чем-то посоветовалось с Онуфрием Наумовичем, почесало в затылках, посмотрело на соломенную шляпу Григория Ивановича и со вздохом согласилось:

— Ладно, давай стишок.

Григорий Иванович поднялся из-за стола, крепко сжал в руках шляпу и, не на шутку волнуясь, начал:

Мчатся тучи, выются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик дин-дин-дин...
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!

Хуторяне слушали с интересом. Голос у Григория Ивановича срывался, слова становились на свое место со скрипом, перехватывало дыхание, словно это он сам оказался вдруг в метель и пургу в чистом поле и окаянные бесы водят и крутят его по снежной пустыне и, кажется, закрутят до смерти.

— Складно, — одобрил его чтение хозяин. — Сам придумал?

— Зачем сам? — безысходно вздохнул Григорий Иванович. — Пушкин придумал.

— Все равно складно, — похвалил хозяин.

Григорий Иванович промолчал и стал потихоньку выбираться из-за стола, надеясь, что сейчас под шумок и разноголосицу как-нибудь исчезнет из этого Веселого одичавшего хутора. Но не тут-то было. Хуторяне опять обступили его.

— Песню пой или танцуй! Иначе...

— Давайте лучше силой меряться, — нашелся Григорий Иванович.

Хуторяне потеснились на полшага, пошущукались, погалдели, надавали даже, кажется, кому-то тумачков и наконец вытолкнули вперед парня лет двадцати пяти, крепкого и крутого в плечах, но какого-то полусонного, вялого, похожего на того богатыря, который сиднем сидит до тридцати трех лет, на дорогу не поглядывает, каллик перехожих не ждет, потому как пуще огня боится: придут да окропят живой водой, да разбудят, да велют на коня садиться и ехать в чистое поле на заставу.

Сел парень перед Григорием Ивановичем как-то нехотя, наискосок, и выбросил руку. Рука была как рука, крестьянская, широкая в кости, но от безделья и пьянства какая-то выродившаяся, похожая больше на медвежью лапу. Григорий Иванович даже забоялся к ней прикасаться. Но потом все же скрепился душою и обхватил ее ладонью. Стали они с парнем тягаться, и столько Григорий Иванович вдруг почувствовал в его руке силы, что готов был сдаться без всякого боя и сопротивления. Ведь стоило лишь парню захотеть, так рука бы Григория Ивановича легла на стол, словно былинка. Но тот не захотел, не пожелал. Больше для блезиру подержал ее на весу, а потом, считай что добровольно, опустил на стол и исчез в толпе, затерялся, пошел, должно быть, досыпать недоспанное, допивать недопитое...

— Ну, мне пора, ночь на дворе,— поднялся Григорий Иванович.

— Ладно, иди,— отпустил его хозяин подворья.— Наведайся годика через полтора. Мы пока опохмеляться будем, времени много пройдет.

— Опохмеляйтесь! Дело серьезное,— приободрил хуторян Григорий Иванович.

Он перекинул через плечо сапоги, взял под мышку портфель да и зашагал не спеша к столбовой дороге. Хуторяне проводили его до околицы, но дальше не шагнули ни шагу, словно вокруг хутора была обведена охранная черта, переступать которую им было заказано еще отцами-дедами...

Григорий Иванович дошел до поворота не оглядываясь, весь уже погруженный в мысли о Высоких Стрижах и о сельсоветчице Варваре Константиновне, но когда все же не выдержал и оглянулся, то с изумлением увидел у себя за спиной один только дремучий, непроходимый лес. Казалось, что никакого хутора за ним нет да и не могло быть, что там, на полянах в окружении сосен и елей, одни только чистые травы, лесовые цветы да нехоженые стежки. Григорий Иванович даже подумал, а не приснился ли ему этот хутор, как, бывало, снились небо, река и поле, как бесконечно снилась дорога, за каждым поворотом которой ждет его счастье, отрада и благодать...

Высокие Стрижи издали показались Григорию Ивановичу селом что ни на есть обыкновенным, каких немало он видел во время прежних командировок. Купы деревьев; осокори, клены и липы, а между деревьями дома и подворья, кое-где на огородах сады и старинные, дедовские еще амбары. Но когда он подошел поближе, то немало удивился. Больно уж все показалось ему ладным и обдуманным, как будто жители Высоких Стрижей только тем и были озабочены, чтоб пораньше проснуться, подмести дорожки, обрезать под гребенку деревца да еще, может, прополоскать над сельсоветом флаг, который и без того, кажется, был новеньким, только вчера постиранным и волновался на ветру на редкость бойко. Но, может, это Григорию Ивановичу только показалось. Может, оно так и должно быть всегда и везде: чтоб и флаг постиранный, и деревья обрезанные, и дорожки подметены. А то зарастем, одичаем, как Веселый хутор, за околицу никуда ни на шаг не выйдем и к себе никого не пустим!

Но уж коль флаг волновался над сельсоветом, манил к себе, так Григорий Иванович и решился идти прямо к нему, надеясь застать Варвару Константиновну на службе. И действительно, несмотря на раннее время, сельсовет был открыт. Григорий Иванович оправил под ремешком вельветовую рубашку, вытер о половичок сапоги, которые по своей забывчивости тут только и обул, и постучался в дверь.

В кабинете на стульчике вдалеке от письменного стола сидела какая-то девчонка, конопатенькая и чуть даже как бы испуганная. Поджав ноги под стул, она смотрела в окошко на стадо коров, которое брело по улице к лугу, и нервно теребила на шее батистовый лиловый платочек в горошину.

— Варвара Константиновна скоро будет?

— Не скоро, — ответила девчонка, продолжая смотреть в окошко.

— Тогда я подожду.

— Ждите.

Григорий Иванович, как и полагается посетителю, присел возле самой двери, немного освоился и тоже стал смотреть в окошко. Стадо все еще шло. Чувствовалось, что колхоз в Высоких Стрижах богатый и стадо здесь, мало того, что голов, наверное, за тысячу, так еще и хорошо откормлено на отборных луговых травах. Пастухи все были верховые, на лошадях под седлами и все в одинаковых, колхозом выданных дождевиках, словно в чапаевских бурках. Григорий Иванович даже малость забоялся: тут поди весь день так и просидишь, глядя на стадо да на кавалерию, его охраняющую. И почти не ошибся, потому что вслед за коровьим стадом прошел табун лошадей, потом потянулась отара овец, потом гуси и свиньи, а после даже козы, и все в таких количествах и при такой охране, что Григорию Ивановичу стало просто не по себе, и он по старой, никак не выветривающейся привычке даже подумал, а не ворованное ли все это...

Но вот промелькнул последний конник, пыль рассеялась, улеглась, девчонка отвернулась от окошка и перестала теребить на шее платок.

— А, собственно, зачем вам Варвара Константиновна? — неожиданно построжевшим голосом спросила она.

— Да так, познакомиться, — схитрил на всякий случай Григорий Иванович. — По рекомендации одной.

— И кто же рекомендовал?

— Сосед ваш, погорелец.

— Ну если погорелец, — едва заметно усмехнулась девчонка, — тогда я вас слушаю.

Она поднялась со стула и прошла к заваленному бумагами столу. Батистовый лиловый платочек при первом же шаге воздушно колыхнулся, и изумленный Григорий Иванович увидел на груди девчонки золотую звездочку с серпом и молотом поверх отточенных граней. «Ого, — едва не задохнулся он, — вот это Варвара Константиновна так Варвара Константиновна!» Но отступить было некуда, и Григорий Иванович, растерявшись лишь на несколько секунд, продолжил разговор:

— Дело у меня одно к вам есть, поручение.

— От райкома, что ли? — не по-доброму отозвалась Варвара Константиновна.

— Нет, не от райкома. От Шестикрылова поручение. Ищу достойных людей для Петушиных Двориков.

— Ну и что? — не понимала Варвара Константиновна.

— А то, что хочу предложить вам! — сразу пошел на приступ Григорий Иванович. — Нам такие нужны. Достойней вас человека поди и не найдешь теперь.

Всякого ответа ожидал от нее Григорий Иванович. Думал, поднимется сейчас из-за стола, топнет ногой, колыхнет звездочкой да и выпроводит восвояси, мол, шутки шутками, а надо бы понимать, с кем разговор ведешь, на какие дела человека подбиваешь.

Но она не поднялась и ногой не топнула, а посмотрела на Григория Ивановича с какой-то неизбывной печалью и лаской, отодвинула подальше все бумаги и сказала мягко и тихо, как бы даже укоряя Григория Ивановича:

— Вот вы зовете меня на переселение, а что за человек перед вами, и знать не знаете.

— Посидим сейчас, побеседуем,— постарался не вспугнуть эту ее мягкость Григорий Иванович,— и все узнается.

— Тогда слушайте,— подперла она кулачком щеку.— Лет мне на сегодняшний день двадцать шесть. И три из них хожу в героинях.

— А до этого?

— До этого была я дояркой. С малого самого возраста, лет, считай, с семи. Мать у нас тоже доярка. Ну мы всей семьей, братья и сестры, помогали ей. Я самая меньшая. Колхоз у нас тогда был совершенно в разрухе. Фермы, еще после войны построенные, в основном из плетня да камыша. Вся работа, конечно, ручная: и корма разносить, и навоз убирать, и доить. Братья мои и сестры помыкались, помыкались да и разъехались кто куда. А я осталась. Мне отца с матерью жалко стало. Думаю, уеду и я, а они тут, в Высоких Стрижах, совсем затоскуют. Да и работа у меня ладилась. От матери ни на шаг не отстаю, все перенимаю. Не успеет она подняться в четыре часа на утреннюю дойку, а я уже умытая и причесанная, жду не дождусь. Надо мною подружки и ребята даже посмеиваться начали, ты, говорят, сама скоро мычать станешь. А мне хоть бы что, я этих насмешек не слушаю, я с матерью соревнуюсь, по надоям догнать хочу. Стыдно мне как-то перед матерью. Погляжу на нее, она в годах уже, шестерых детей вынянчила, отца, на фронте раненого, прибаливающего, обихаживает, а доит больше других. Я же молодая, здоровая, ни семьи еще, ни детей — и отстаю. И такая меня обидя, такая зависть взяла, что все-таки добилась я своего, обошла и мать и других доярок. Хотя тут не только одна моя заслуга. Дела в колхозе к тому времени начали понемногу выправляться. Фермы нам новые построили, машинную дойку установили, зоотехник новый приехал, селекцией занялся. Ну вот, кажется, теперь бы мне жить да жить, замуж готовиться. Тем более что и жених у меня уже был. Да вы его видели сейчас. Он со стадом на коне проскакал.

— Ну и что же случилось? — деликатно вставил Григорий Иванович.

— А то,— вздохнула она и начала комкать в руках платочек,— что прошел вдруг слух, будто кому-то из наших доярок должны присвоить звание Героя.

— Хороший слух,— улыбнулся Григорий Иванович.— Чего же расстраиваться?

— Да вы не торопитесь,— вспыхнула на мгновение Варвара Константиновна.— Слух-то хороший. Но и доярок хороших у нас немало. А первая, конечно, мать. Ведь не одни только надои надо учесть, а и то, какой человек! Уж она героиня из героинь, сами слышали. Доярки на ферме так и решили, мол, если уж кому и присваивать Героя, так это моей матери. Но не тут-то было. Подходит ко мне как-то парторг и шепчет по секрету: «Документы будем оформлять на тебя». «Как это на меня?» — едва не расплакалась я. «А так,— говорит он,— разрядка пришла на героиню комсомольского возраста». Я два дня ревом ревели, в клуб бе ходила. Мать как могла успокаивала: «Что ж ты плачешь, глупая. Мне это геройство ни к чему, я уже жизнь прожила, а у тебя все еще впереди». «Пото-

му и плачу»,— отвечаю я ей. И как в воду глядела. То была я для всех Варька да Варька конопатая (так меня дразнили в Высоких Стрижах), а как дали Звезду, так сразу сделалась Варварой Константиновной. Свадьба моя тут же расстроилась. Приходит однажды ко мне мой Петя, вызывает на крылечко и говорит: «Вот что, Варька, расставаться мы с тобой будем». «Почему это расставаться?» — растерялась я. «Да потому,— отвечает он,— что не пара мы теперь. Сама подумай, мне какая жена нужна: чтоб детей нарожать, чтоб обед сварить, чтоб постирать и погладить, чтоб и в клубе рядом на одной лавке посидеть». «Но разве я тебе детей не нарожаю,— плачу и реву,— разве обед не сварю, разве не стираю или в клубе не сяду рядом с тобой?!» «Нет, не сядешь,— не соглашается Петя.— Ты теперь человек подневольный, что скажут, то и будешь делать. Твое место теперь в президиумах да на совещаниях разных». Пожал мне на прощанье руку и говорит: «Я теперь на Маше Кошпыркиной женюсь. Мы из клуба с ней вместе уже дважды шли». И через полгода действительно женился. Ребенок у них сейчас есть. Маша телатнищей работает, а Петя пастухом. Ездит каждое утро мимо меня на коне. Ездит, да не останавливается. Другие деревенские парни подходить ко мне тоже боятся. Думают, загордилась Варька, заважничала. Ну а разные там представители из района да из области известно, что за народ: днем все Варвара Константиновна, Варвара Константиновна, а вечером напьются за мой же счет и скорее к звездочке тянутся. А ездят многие, и свои и иностранные. На меня как на диковинку посмотреть...

— А как же вы в председателиши-то попали?

— Да все так же,— усмехнулась она,— по разнарядке. На всю республику не нашлось ни одного председателя сельсовета, чтоб был комсомольского возраста и чтоб Герой Труда. Вот и избрали, отлучили от фермы. Теперь еще в институте учиться заставили. Дальше, должно быть, двигать решили.

— Знаете что,— поднялся со стула Григорий Иванович,— собирайтесь сейчас по-быстрому, и со мной в Петушинные Дворики. Про Звезду никому ни слова. Мы вам там и жениха найдем, и дояркой устроим.

— Не отпустят,— вздохнула Варвара Константиновна, хотя лицо ее загорелось, просветлело.

— А вы не спрашивайте,— наступал Григорий Иванович.— Тайком. Скажете, мол, приехал тут один жених и сманил...

— Отыщут. Отыщут и назад посадят. А то еще и в область переведут. В облсовпроф. Стерегут там одно местечко для меня.

— Да не бойтесь вы! — сердился уже Григорий Иванович.— У Шестикрылова не отыщут и не отберут. Вы у него как за семью замками будете. Еще одну Звезду заработаете.

— Ну уж нет! С меня хватит.

Конопущки, за минуту до того вспыхнувшие золотыми крапинками, погасли, Варвара Константиновна повернулась к окошку и, казалось, мгновенно забыв о Григории Ивановиче, стала смотреть далеко за речку, где на лугу паслось стадо и где вдоль берега из одного края в другой носился всадник на быстроногом коне. Григорию Ивановичу ничего не оставалось, как подняться и взять в руки портфель.

— Прощайте.

— Прощайте,— почти равнодушно откликнулась Варвара Константиновна, но потом спохватилась: — Я бы вас подбросила до города, да некогда, делегация к нам сегодня приезжает, финны какие-то, а у меня еще хлеб-соль не готов, рушники не глажены.

— Ничего, я пешочком.— Григорий Иванович тоже посмотрел на дальний луг и на всадника и тихо, чтоб не потревожить Варвару Константиновну, прикрыл за собой дверь.

Никогда раньше не ходил Григорий Иванович с посошком. По любой дороге, будь то столбовая, покрытая асфальтом, или проселочная, разбитая грузовиками, или обыкновенная луговая тропинка, шел он легко и споро, отсчитывая километр за километром. А тут вдруг почувствовал: без посошка до Города Городов не дойдет. Поднял он на околице Высоких Стрижей оброненную каким-то дровосеком палочку, обломал на ней сучья да и смастерил себе впервые в жизни посох. Идти стало как будто легче, но вдруг сами собой повторились ему слова:

Не льбо ли ны бяшить, братие...

Он попробовал отмахнуться от них, вызвать в памяти какие-нибудь другие, более спокойные и подходящие к случаю, к легкой дороге, может быть, опять вот эти:

Мчатся тучи, выются тучи...

Но древние те печальные слова повторились опять, сдерживая и утяжелая каждый шаг, заставляя вспоминать все виденное по деревням и селам, все слышанное, все пережитое, о чем и вспоминать уже, казалось, было незачем...

Так и дошел он до Города Городов с этими словами на пересохших, потрескавшихся от солнца и ветра устах.

В гостинице все сотоварищи его были уже новые. На койке возле стенки сидел скучный и, должно быть, неудачливый в командировочных делах мужчина. Опустив между колен руки, он о чем-то кручинился, страдал. Может, тоже о судьбе народной. Теперь среди командированных таких много.

— Да ты не печалься! — успокаивал его сосед, мужчина не в пример первому решительный и, кажется, смелый. — Всех одолеем, всех поборем...

— Я человек глубоко верующий, — волновался в сторонке третий жилец, верткий, с бородкой и какой-то железкой на загоревшей шее.

— А я глубоко неверующий, — отвечал ему страдалец за судьбу народную.

— А я человек глубоко пьющий...

— А я непьющий...

— Вот счас я вас успокою! Вот счас я вам покажу и верующих и неверующих! — зашевелился на средней койке еще один командированный, одетый и обутый, да еще и подпоясанный широченным ремнем с бляхой.

В общем, дело шло к бросанию монетки, объединению и слезам. Шестая койка между тем по-прежнему была не занята. Чувствовалось, что перезаправили ее совсем недавно. Одеядло лежало на койке новенькое, с иголки, наволочка на подушке отливала снежной белизной, полотенце на спинке висело льняное, вышитое по краям пелухами точь-в-точь такими, как в Пегушинных Двориках, а на полу распластался домотканый, без единой морщинки ковричек.

Григорий Иванович постоял минуту-другую возле этой койки, не зная, о чем и думать, о чем и гадать, потом наскоро познакомился со своими новыми товарищами и, делать нечего, начал собираться в баню.

С незапамятных времен в Городе Городов было две бани. Одна городская, прозывавшаяся тоже с незапамятных времен татарской, а другая железнодорожная. В татарскую баню ходили все жители Города Городов, включая даже китайца Шуру, который торговал на базаре глиняными котами для накопления горожанами богатства. В железнодорожную же — одни только железнодорожники, да еще кое-кто из начальства, да кое-кто из приезжих, не знавших порядка и обычая. А все из-за парной! В татарской бане и парная была татар-

ская, с угаром, с дымом, а в железнодорожной — оборудованная по последнему слову техники, румяная какая-то, с камнями, специально привезенными не то с Белого, не то с Черного моря, с паром, настоящим на квасе, черной смородине, холодной мяте и еще, кажется, на каком-то бальзаме. Про веники я уже не говорю! Ну что за веники в татарской бане? Так, недоразумение одно! Метла у дворника Моти, подметающего после ярмарки базарную площадь, и то лучше. А в железнодорожной бане веники фирменные, дубовые, нарезанные исключительно вдоль железнодорожной линии, в полосе, так сказать, отчуждения.

Так почему же тогда все жители Города Городов, за исключением начальства, приезжих и железнодорожников, вынужденных держать марку своего отделения, ходили именно в татарскую баню?! Вот в том-то и весь вопрос, вот в том-то и вся загадка! Ведь ни одного татарина в Городе Городов никогда не проживало! Так, наедут на ярмарку какие-нибудь персы, абиссинцы и прочие восточные люди, поторгуют любейками — и нету их, не приживаются, климат им здешний не подходит.

Ответить на этот вопрос в Городе Городов мог один-единственный человек — Ерусалим Лазаревич Княжеский. Был он раньше учителем истории, а теперь просто так, вольный человек, пенсионер, но истории, как и в молодые годы, привержен, «Повесть временных лет» дописывает. И нечего здесь удивляться, нечего пересмешничать! Надо же кому-то ее дописывать, вот он и дописывает, из-за стола месяцами не поднимается. Оторвется иной раз на часок, чтоб в баню сходить, и опять за перо. Все у него в летописи записано, все помечено. Уж он-то написать умеет! На то и летописец, на то и Княжеский!

Хотя, если хорошенько подумать да поворошить кое-какие бумаги, да расспросить старых людей, так вдруг и окажется, что настоящая фамилия у Ерусалима Лазаревича вовсе не Княжеский, а более простая, обыкновенная и даже чуть-чуть неудобная в обращении — Тонконогий. Все молодые годы прожил он под этой фамилией, обвенчался при ней, жене своей передал и детям — все они у него Тонконогие. Но когда начал дописывать «Повесть временных лет», так сразу и затосковал: ну что это за летописец такой — Тонконогий. Уж лучше безымянным каким-нибудь остаться, чем предстать перед судом истории с подобным именем. Вот раньше были летописцы: Пимен, Нестор, протопоп Аввакум... Словом, стал Ерусалим Лазаревич писать свою фамилию по-новому: Княжеский-Тонконогий. Но потом в целях экономии бумаги сократил, и получилось — Княжеский. У него теперь в паспорте стоит Княжеский, и жена у него Княжеская, и дети... В народе, правда, новая его фамилия не прижилась, но это только в нынешнем поколении, а в веках быть ему Княжеским, это уж он знает доподлинно.

Кроме пристрастия к истории, было у Тонконового еще одно — баня. Само собой понятно, что татарская. Любил он там полежать на полочке, подышать дымом и угаром, похлестать себя метелкой да рассказать при случае не знающим истории, почему это татарская баня называется именно татарской.

И надо же было тому случиться, что Григорий Иванович, хотя и был человеком приезжим, а в железнодорожную баню не пошел. Предчувствие какое-то, наверное, было: не ходи в железнодорожную, и все тут, Ерусалима Лазаревича там не встретишь. А встретиться им было суждено. Словом, Григорий Иванович как только вышел из гостиницы, так сразу свернул налево и мимо базара, мимо кинотеатра, мимо остатков памятника знаменитому в былые годы земляку улочками да переулками прямо-прямохонько направился к татарской бане.

Встретились они с Ерусалимом Лазаревичем в предбаннике. Почти в одночасье разделись, взяли шаечки, подивились: Ерусалим

Лазаревич грузному, могучему телу Григория Ивановича да еще тому, что вот он хоть человек и приезжий, а моется в татарской бане; а Григорий Иванович тонким ногам Тонконового, золотистому его брюшку, похожему на выкрашенное луковой шелухой пасхальное яичко с надтреснутым носиком.

Облились они водичкою порознь, потому как Григорий Иванович любил прохладную, а Тонконогий — кипяток, но в парную опять-таки зашли в одночасье. И только легли на полки, только изошли первым потом, как Тонконогий заговорил:

— Я правду пишу, деталь. Ведь какие нынче историки пошли, все в общем, все в мировых масштабах. А потомкам нужна деталь, и чем мельче, тем лучше. Вот, скажем, приду я сегодня домой и напишу о вас.

— И что же вы напишете?

— А все доподлинно, все как есть. И какой у вас веничек был, и какая шайка, и какая мочалка. Помните, как Иван Иванович писал: «Сия дыня съедена...» Вот так и я. Мол, такого-то и такого-то числа мылся в бане с самим Григорием Ивановичем Козиком. А то не дай Бог сгинете вы где-нибудь на Веселом хуторе и потомкам одна только шляпа от вас останется.

Григорий Иванович замахнулся веником посильнее, с потягом, и так увлекся работой, что и не заметил, как Ерусалим Лазаревич выпытал у него, зачем это он и по какой надобности появился в Городе Городов. А когда выпытал все, когда разузнал, так прямо-таки вскопчил с полка:

— Ну куда вы ездите, Григорий Иванович, кого вы слушаете?! Ордынцев этих, татар! Морочат они вам голову, а вы и развесили уши!

— А куда же мне ехать?— ничуть не обиделся Григорий Иванович.

— Да уж по крайней мере не к погорельцу и не к сельсоветчице, не на Веселый хутор! К Душе Праведной вам надо ехать, вот куда.

— И что же это за Душа такая?— заинтересовался Григорий Иванович.

Тонконогий на этот вопрос лишь снисходительно усмехнулся, вздохнул, как, случается, вздыхают взрослые люди при несмысленных детях, а потом предложил:

— Давайте мы сейчас пойдем в предбанник, нальем в шаечки воды, чтоб ноги не замерзли, да я вам и расскажу все о Душе Праведной. Только предупреждаю, история длинная, страшная, с деталями.

— Ладно, вытерплю,— пообещал Григорий Иванович и первым вышел из парной.

В предбаннике они действительно набрали в шаечки теплой воды, опустили в них ноги, обернулись простынями, и Тонконогий начал, да так складно, будто по писаному.

Печальный рассказ о Душе Праведной

— Ранним июльским утром границу нашего государства перешли два подозрительных путешественника. Один был высоким, сухощавым, носил узенькую, не нашего вида бородку, бакенбарды и золотую серьгу в ухе. По росной пограничной траве шел он дерзко и даже надменно, время от времени укрываясь длиннополым с красной подкладкой плащом и подставляя лицо утомленному восточному ветру. Серьга от порыва этого ветра едва слышно позванивала, курчавые волосы откидывались назад, и тогда на голове путешественника был виден серебряный, загнутый рожками вверх полумесяц.

— Мефистофель, что ли?— подивился столь торжественному началу Григорий Иванович.

— Он самый,— недовольно прервался Ерусалим Лазаревич.— Но вы не перебивайте, а то собьюсь.

— Ладно, не буду,— пообещал Григорий Иванович и поплотнее закутался в простыню.

— Второй путешественник,— продолжил Ерусалим Лазаревич еще более торжественным голосом,— ростом был чуть поменьше, но такой же сухощавый, без бородки, правда, и бакенбардов, но зато со следами былых страданий на лице.

«Люцифер, не иначе»,— отметил про себя Григорий Иванович и на всякий случай прикрыл глаза, чтоб не выдать свою догадку не на шутку уже вдохновившемуся Ерусалиму Лазаревичу.

— Шли путешественники,— все больше повышал голос, собирая вокруг себя мытых и не мытых еще любителей парилки Ерусалим Лазаревич,— как и полагается всяким нарушителям границы, тихо и молча, изредка лишь перекидываясь ничего не значащими словами да дивясь, что в наших деревнях и селах в такую рань уже вовсю кипит жизнь. Конечно, им ничего не стоило прибыть к месту назначения по воздуху или даже по-под землей, но они выбрали путь пеший и долгий. Хотелось им за время пути втереться в нашу жизнь поосновательней, изучить ее и понять, чтоб после, когда придут на место, не путаться и не ошибаться в деталях. Дорога предстояла далекая, в село Богородицкое, к Ивану Егоровичу Пташечникову. Задумали они свое путешествие давненько, еще с зимы, да все откладывали, отвлекались на другие, более важные дела. Но дальше откладывать было уже никак нельзя, потому как прежние не очень уверенные слухи об Иване Егоровиче подтвердились самым положительным и устрашающим образом: на всей Земле от Тихого ее океана до Атлантического остался он одной-единственной Душой Праведной. И вот теперь идут к нему дьяволы, чтоб сбить с пути истинного, свратить если не деньгами и богатством, так прелюбодеянием и вином, если не корыстью и славою, так властью и такими посулами, перед которыми ни один человек еще устоять не мог.

На самом подходе к Богородицкому к дьяволам неожиданно прибил еще один попутчик. Росточка он был самого небольшого, худенький и уставший, в кепке-восьмиклинке и к тому же прихрамывающий на одну ногу. «Кто таков? — стал допрашивать его Мефистофель. — Как зовут?» «Да кто его знает? — прикинулся тот протачком. — По-разному зовут. Кто Нечистой силою, а кто просто Нечистым. Мне все равно». «Ладно, будешь Нечистым,— самую малость посомневался Мефистофель. — Тебе подойдет».

Время как раз клонилось к обеду, и путешественники решили подзакусить. Мефистофель с Люцифером быстро раскинули в тенечке под деревом скатерку, выложили на нее всякую дьявольскую снедь: бальчок, икорку, гамбургскую копченую колбаску, головку сыра, вечинку, ну и разное там прочее, в основном не нашего изготовления. Поставили, конечно, и бутылочку рома (тогда еще можно было). Расщедрился и Нечистый. Порывшись в мешке, достал оттуда с полдюжину запеченных картофелин, пучок зеленого лука и кусок прошлогоднего сала. Мефистофель с Люцифером переглянулись, но в долю Нечистого приняли...

Ерусалим Лазаревич подтянул сползшую с плеча простыню, пошевелил в шаечке ногой и предложил:

— Я поменяю водичку?

— Пожалуй, можно,— согласился на этот раз Григорий Иванович.

Ерусалим Лазаревич обернулся минутою. Набрал полные шайки исходившей паром воды, торжественно поставил их у ног Григория Ивановича и, кажется, пропустив страничку-другую в рассказе, на полном дыхании произнес неотразимую реплику Нечистого:

—...«Ну и чем вы будете брать Ивана Егоровича?» «О господи! — обозлился Мефистофель. — Да чем всех остальных брали: золотом, вином и женщинами. Тут выбор невелик!» «Это Ивана Егоровича вы хотите взять золотом, вином и женщинами?!» — едва не расхохотался Нечистый. «И возьмем! Перед женщиной еще ни один человек не устоял. За нее он не только душу готов отдать, но и тело. Спроси Люцифера, он знаток...» «Да где же вы отыщете здесь такую женщину?! Это у вас там всякие Брунхильды, Кунигунды да леди Макбет, а у нас тут известно какие женщины: коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Вон там за лесочком тяпками картошку окучивают, ищите среди них, а я погляжу, что получится». «Ну не все же такие!» — не сдавался Мефистофель. «Понятно, не все, — неожиданно согласился Нечистый. — Только ничего у вас не получится. Пробовал я все это. Уж такую женщину ему подсылал, что и во сне не приснится. Давненько, правда, дело было, но было...»

Нечистый отхлебнул рома, закусил вареной картошкой и луком и не дал Мефистофелю с Люцифером вставить в рассказ ни слова: «Слушайте и научитесь! Приехала, значит, в село Богородицкое медичка, звали ее Надеждой. Глянул я на нее и ахнул. Ну, думаю, погиб мой Иван Егорович. Перед такой женщиной никто не устоит. Куда там ваша Маргарита! Одни волосы чего стоят! Как начнет она их расчесывать перед зеркалом да как бросит на обнаженную грудь, так уж на что я равнодушный к женскому полу, а и то... засмотрюсь, и все в душе моей перевернется. А уж какие глаза, какой взгляд, какое совершенство в лице! Да что там и говорить! Неземная женщина! Ева!

Выждал я недельку, пока она немного привыкла к новой жизни, и принялся за дело. Подстроил так, что Иван Егорович крепко простыл в поле, когда возил в осеннюю непогоду солому. Ну Марья Тимофеевна, известное дело, сразу за медичкой. Та пришла. И тут уж я своего шанса не упустил. Нашептал ей на ушко, напороочил, в самую душу проник: Глянула она на Ивана Егоровича, и зашло у нее девичье сердце на всю жизнь. Стала она ходить к Ивану Егоровичу ежедневно. Сядет на стуле, руку попросит, будто бы пульс проверить, а сама забудется и держит ту руку иной раз полчаса. И все смотрит на Ивана Егоровича, смотрит и плачет. А я, конечно, тут как тут. Твержу ей на ушко, внушаю: «Твой Иван Егорович, твой и больше ничей, только решишь, только перешагни через себя!»

И она решилась. Однажды, когда Марьи Тимофеевны не оказалось в доме, подседа к Ивану Егоровичу еще поближе и говорит...

Хорошо рассказывает Ерусалим Лазаревич, хорошо и складно, завлекательно, не зря столько лет в школе работал, но придется нам рассказ его прервать. И вовсе не потому, что поднадоело слушать, а потому, что как раз в это время в Петушиных Двориках случилось одно необычное происшествие.

Собственно, случалось подобное в Петушиных Двориках каждые пятнадцать — двадцать лет, и повод всякий раз бывал по видимости пустяковый.

Идет, скажем, по улице среди ночи мельник, кладовщик, а то даже и сам председатель сельсовета, несет на плече мешочек с пшеницей, просом или ячменем, который случайно, чтоб не пустовали в дороге руки, захватил в амбаре, несет, перекладывает с плеча на плечо да вдруг возьми и оброни на дорогу зернышко. И вот тут все и начинается! Каким уж образом, Бог его знает, но все петухи в Петушиных Двориках мгновенно обнаружат пропажу, проснутся на нестах и жердочках, кукарекнут для порядка разок-другой и в драку.

— Наше зернышко! — кричат те, что живут поближе к столбовой дороге. — На наших полях выращено!

— Нет, наше! — отвечают другие, которые с Петушиной улицы. — На наших просторах обронено! Вы еще и не родились, а мы это зернышко уже клевали!

И теперь началось все точно так же, как и в прошлые годы и в прошлые века. Шел темной ночью по Петушиной улице завхоз Матвей Степанович Чистосердечный, нес на плече мешок пшеницы, который еще днем захватил на току да так и носил до самых двенадцати часов, поскольку страдал радикулитом и врачи посоветовали ему для растяжения позвоночника носить тяжести. В первом часу Матвей Степанович решился наконец идти домой. Позвоночник у него к тому времени уже порядком подрастянулся, боль утихла, пора было и отдохнуть. И надо же такому случиться, что как раз на Петушиной улице надумал Матвей Степанович поменять руку, легонько так повел спиной, встряхнул мешочек и пошел дальше, совершенно не заметив и не расслышав, как одна ниточка в самом уголке лопнула и зернышко упало на землю. Там и зернышко-то одно название, худенькое, бледненькое, неурожайное, с боку малость потемневшее. Но петухи сразу учуяли добычу, встрепенулись на насестах, скрипнули воротами, вспомнили, как дрались их деды и прадеды. А уж те драться умели. Кинулись петухи на Петушиную улицу, а про то и забыли, что всего за полчаса до этого был им верный знак, предупреждение: ровно в полночь, когда Матвей Чистосердечный еще только подходил к Петушиной улице, золотой петушок на спице у дома Григория Ивановича Козика вдруг как бы ни с того ни с сего повел головой, потом повернулся на запад к речке Излучине и трижды прокричал, да так громко, да так тоскливо, что, казалось, и без того темная ночь сделалась еще темнее. Мужики в Петушиных Двориках все проснулись, высыпали на улицу к правлению колхоза, стали думать да прикидывать, с чего бы это раскричался петух на спице у Григория Ивановича. То молчал годами, будто немой, звука из него не вытянешь, а то вдруг на тебе — людей пугать, остальных петухов тревожить.

— Это он с тоски, — наконец догадался Серафим Николаевич Шестикрылов. — Григория Ивановича долго нет.

— Точно, с тоски, — согласились мужики. — Пусть кричит — это его личное право. — Постояли они еще самую малость возле правления, посудачили, перекурили да и разошлись досыпать положенное.

Петушок повернулся еще один раз на запад, поглядел в темноту да и затих на спице, будто притворился спящим, будто говорил вслед уходящим мужикам: мое, мол, дело такое: прокричал, а там хоть не рассветай...

А зернышко между тем уже было обронено, уже лежало на Петушиной улице, словно какая-либо песчинка.

Для начала петухи и с той и с другой стороны сошлись в драке без всякого порядка, налетели одна рать на другую, как пришлось, стали рвать перья, клевать в темноте по чему попало, забыли даже вынуть сабли, прозвенеть шпорами, выслать вперед богатырей. Наконец сообразили, что так можно драться до самого утра без всякого толка.

— Ребята! — закричали те, что со столбовой дороги. — Давайте перестраиваться! Кто с саблями, выходи в первый ряд, а кто с золотинками — во второй!

Противники тоже в долгу не остались, закричали по-своему:

— Кто с золотинками, давай вперед, кто с саблями — назад!

И опять завязалась драка! Да какая! Редут сражался с редутом, полк с полком, армия с армией. Шпоры и сабли звенели так, что было слышно даже в Другой области в Кошачьих Двориках. Перья уже не стелилось по земле, а разметалось высоко над рекой Излучиной и к утру образовало в небе те самые перьевые облака, над разгадкой которых бьются ученые и космонавты. Павших и раненых было не

счесть. Их оттаскивали к Излучине, кропили живой водой и, если кто приходил в себя, опять отправляли в сражение. Два рыбака, случайно проплывавшие по реке с остями, после клялись и божились, что самолично видели, как на берегу дрались четыре совершенно оципаных, голых до срамоты петуха. Но это, по-моему, решительная неправда, потому как совершенно голыми не пристало драться не только петухам, но даже и людям. Нашлись, говорят, и другие свидетели, в основном, конечно, из историков и философов, у которых и специальность такая — свидетель времени, но дело сейчас не в этом.

Дело сейчас в том, где же зернышко?!

Пока драка шла-разгоралась, из Крысиных Двориков тайком по норам да бугоркам пробрался к зернышку хомячок. Он с незапамятных времен жил в Крысиных Двориках, кормился от крысиных даров где горошиной, где недоеденной коркой, а где и просто какой-либо лечебной травкой или корешком, заготовленным крысами против ядохимикатов и прочих отрав. Был он на редкость проворным, чутким до всякой дармовой добычи, ну прямо-таки Павел Чичиков. Он и на этот раз свое не упустил. Петушок на спице у Григория Ивановича едва приподнялся на ноги, еще он только повернулся на запад и издал свой первый крик, а хомячок уже был в дороге, уже потирал лапками, уже знал, что зернышко будет его.

Так оно и случилось. Проворно, без всяких повреждений проскользнул он между дерущимися, схватил зернышко, заложил его за щечку — и был таков. Буераками, чагарниками и потайными норами пустился он со всех ног назад в Крысиные Дворики. Рыбаки, правда, будто бы видели его стоящим на задних лапках на берегу Излучины и любующимся сражением, но это опять-таки скорее всего обман зрения. Не такой он дурак, этот Павел Иванович, чтоб с добычей за щечкой, которая еще не разжевана и не проглочена, стоять на задних лапках и любоваться сражением.

Петухи же дрались до самого утра, пока не взошло солнце, пока не обнаружили, что зернышка давно и след простыл. Выпили они из реки Излучины мировую, кое-как перевязали раны и стали разбредаться по своим дворам, оставив на поле сражения несметное количество павших.

Мужики, обнаружив утром такой разбой, почесали, как всегда, затылки, посетовали да и списали все на куницу, которая вроде бы завелась где-то в Кунициных Двориках. Расходясь, правда, позаவிдовали еще Григорию Ивановичу: вот, мол, какой петух у него хитрый да ученый, сидит себе на шесте, и никакая куница, никакой хомяк его не достанет...

Продолжение рассказа о Душе Праведной

А в это время у Григория Ивановича Козика, который сидел в Городе Городов в бане, что-то начало саднить сердце. Он даже попил водички, которую ему услужливо принес Ерусалим Лазаревич, подышал возле открытого окошка свежим воздухом и раза два-три с непонятной тоской и болью посмотрел на редкие перистые облачка, как раз проплывавшие над татарской баней. Но Ерусалим Лазаревич долго болеть и тосковать ему не дал, потому что его рассказ не терпел отлагательства.

— «...Так вот, значит, я и говорю,— продолжил он речь Нечистого,— подседа медичка к Ивану Егоровичу еще поближе и едва не плачет: «Ничего мне от тебя не надо, живи со своей женой, как жил, детей расти, а я только любви твоей хочу. На одно мгновение, на одну минуточку. Согласись, и я тут же исчезну из села, оставлю тебя в покое». Я уже от радости, от неминуемой удачи едва не выдал себя, едва не закричал, не захолопал в ладоши. Но не знаете вы Ивана Егоровича, ох не знает! А тем более не знаете Марьи Тимо-

феевны. Посмотрел Иван Егорович на медичку со вздохом и сожалением, а потом высвободил руку и говорит ей: «А вот давай спросим сейчас Марью Тимофеевну, как она рассудит, так тому и быть!» Марья Тимофеевна вернулась к этому моменту назад в дом, корову доить ходила. Иван Егорович подождал, пока она разольет молоко по кувшинам, и спрашивает ее, мол, так и так, Марья Тимофеевна, вот медичка Надежда Валентиновна любви моей просит, внимания, а что ей ответить, ума не приложу, вылечила она меня, от смерти верной спасла... Марья Тимофеевна присела у окошка, пригрюнилась, конечно, а потом тоже посмотрела на медичку со вздохом и сожалением да и отвечает: «Ну что ж, Иван Егорович, прожила я с тобой в любви и согласии почти двадцать лет, дочь Оксану родила, но, видно, и хватит. Уступаю я тебя Надежде Валентиновне, раз она так страдает и мучается». И что ж вы думаете?» «Что?» — не выдержал Мефистофель. «А то,— опять пригубил капельку рома Нечистый,— что обхватила медичка руками лицо, заплакала, запрitchала да скорее из дома, скорее из Богородицкого. Потому как она тоже русская женщина. Не в пример вашим Кунигундам и Маргаритам...»

Мефистофель с Люцифером после этого замолчали надолго, выпили по рюмке и, кажется, не по одной, потом начали опять о чем-то спорить и переговариваться. Нечистый даже успел малость передремнуть на свежей июльской травке. Наконец Мефистофель собрался с силами и растолкал его: «Ну а золото?» «Что золото?!» — недовольно спросенок переспросил Нечистый. «Золото для людей,— возвысился над ним Мефистофель,— дороже жизни и смерти!» «Это смотря для каких людей,— начал уже всерьез сердиться Нечистый.— Иван Егорович, к примеру, в глаза его не видел. Да и на кой ляд ему это ваше золото. Топор Ивану Егоровичу хороший нужен, чтоб с гвоздодером и плоским обухом. Сарай он собрался к зиме перестраивать, а дельного топора у нас нынче ни за какое золото не купишь, вот Иван Егорович и расстраивается, переживает».

Мефистофель пожал плечами, явно ничего не понимая. «Есть еще один способ»,— подал голос молчавший до того Люцифер. «Какой?» — заинтересовался Нечистый. «Тюрьма и заточение!» Интерес Нечистого сразу пропал, он снял пиджак, расстелил его на травке и хотел было опять прилечь, но в последнюю минуту все же удостоил Люцифера ответом: «Было и это!» «Как — было?!» «Да очень просто,— с досадой ответил Нечистый, чувствуя, что подремать ему больше не дадут. — Три года только, как Иван Егорович вернулся оттуда. История не бог весть какая, но все ж таки история, случай. Вскоре после отъезда медички поселился в Богородицком один отставник. В каких он чинах был на воинской службе, не знаю, но в деревне жизнь повел совершенно мирную: начал выращивать цветы. Крестьяне картошку сажают, свеклу, морковь, а он знай розы да тюльпаны. И все на базар, на ярмарку возит в Город Городов. Подумал я, подумал и решил столкнуть этого отставника с Иваном Егоровичем. Рано по весне, когда у отставника начали уже расцветать на плантациях тюльпаны, подослал я туда соседскую девочку лет шести. Зашла она на самую середину цветника, присела на корточки и давай рвать цветы один за другим да складывать их в букет. И до того увлеклась, до того засмотрелась на эти первые тюльпаны, что не заметила, как отставник подкрался к ней сзади и схватил за ухо. От неожиданности и боли она выронила из рук букетик, заплакала, закричала, не понимая, отчего это и почему нельзя рвать цветы. Одного этого крика и непонимания любому человеку хватило бы, чтоб отпустить девочку, но отставник еще сильнее сжал ей ухо, сжал и, придавив девочку к самой земле, начал выговаривать ей: «А ты помучайся да пострадай, так и не будешь на чужое зариться!» Вот тут и появился Иван Егорович. С вязанкой травы он как раз возвращался

с луга, вмиг бросил свою ношу и освободил девчонку. Не стал отставника ни бить, ни даже кричать на него, а тоже схватил за ухо, прижал к самой земле и потребовал: «Проси прощения у ребенка!» Но у отставника характер оказался крепким. Он кричал от боли, мял тюльпаны, а прощения просить не стал. На помощь к отставнику прибежала жена, тоже какая-то отставница, созвала народ и участкового, который не без моего, конечно, участия оказался в тот день в Богородицком.

Разбирались со всем случившимся не так уж чтоб и долго, месяца полтора, наверное, и дали Ивану Егоровичу ровно три года, потому как отставник этот оказался человеком заслуженным да и ухо у него, надо сказать, кровью изошло — рука у Ивана Егоровича тяжелая...»

«Неправдою надо брать Пташечникова,— прервал Нечистого Люцифер. — Неправдою и сомнением». «Ну что ж, попробуйте,— ответил после недолгого молчания Нечистый.— Попробуйте взять, а мы посмотрим, поучимся...»

— Ну и как? Взяли? — заволновался Григорий Иванович.

— Не знаю,— вздохнул Ерусалим Лазаревич. — Они пока там...

— Как — там?

— Да очень просто. Приезжал на прошлой неделе из Богородицкого один знакомый, говорит, там они все трое живут у Ивана Егоровича во времянке.

— Так что же вы молчите! — вскочил во весь свой громадный рост Григорий Иванович. — Что же мне истории рассказываете! Ехать надо, выручать Пташечникова!

— А и езжайте с Богом,— как будто только этого и ждал Ерусалим Лазаревич,— лучшего переселенца вам не найти.

Григорий Иванович минутою оделся, схватил портфель и скорее на автобусную станцию.

Приехал, вышел на околицу, огляделся: село как село, церковь на бугорке с голубым куполом. Людей только что-то не видать.

Наконец приметил Григорий Иванович мужика, который тащил из ближайшего ольшаника жердь. Григорий Иванович подождал его у края дороги и спрашивает:

— Как бы мне к Пташечникову пройти?

Мужик закусил губу и в свою очередь поинтересовался:

— А вы, случайно, не из лесничества? Топор забирать не будете?

— Нет, не буду,— пообещал Григорий Иванович. — Мне к дому Пташечникова надо.

— Тогда держите вон к тому лесочку,— указал мужик и перекинул лесину с плеча на плечо. — Краденая, будь она неладна, веранду строю, а у нас строго с этим, чуть что — сразу лесник топор забирает.

Григорий Иванович слова мужика пропустил мимо ушей и дальше расспрашивает:

— А там что, в лесочке, дом Ивана Егоровича?

— Дом! — как-то тяжело и подозрительно вздохнул мужик. — Вечный теперь дом. Кладбище там у нас.

— Умер, значит, Иван Егорович?! — с трудом выдавил Григорий Иванович, будто наперед знал, что так оно и должно было случиться.

— Три дня, как похоронили. — Мужик сбросил на землю лесину, присел на бугорок и, приглашая Григория Ивановича перекурить, достал папироску.

Григорий Иванович присел рядом, чувствуя, что после бессонной ночи и страшного известия ему надо хоть чуть-чутьку передохнуть, успокоить сердце и душу.

— Вот вы говорите,— раскурил между тем папироску мужик,— что яблоко от яблони далеко не катится. А зря вообще-то говорите! Иногда оно в такие дали закатится, в таких дебрях запутается, что все просто диву дивятся. К тому же хорошо, если яблочко дозревшее, чистенькое, а если зеленек какой-нибудь да еще с червоточинкой, с гнильцой! Тут уж хоть криком кричи, хоть плачь, а ничего с ним не поделаешь, закатится оно за синие леса, за высокие горы, будет там гнить да еще и яблоню-прародительницу недобрым словом вспоминать.

Григорий Иванович сидел тихо, в изнеможении, никак не в силах примириться, что нет больше в живых Ивана Егоровича Пташечникова, последней, быть может, его надежды и отрады, но мужика слушал внимательно и никак не мог понять, к чему тот клонит. А мужик, радуясь неожиданному слушателю, разговорился:

— Скажете, такого не бывает?! Бывает, да еще как! Вот хоть взять, к примеру, того же покойного Ивана Егоровича. Все из-за дочери, говорят, у него получилось.

— А что за дочь такая? — спросил Григорий Иванович.

— Да дочь вроде бы как дочь. Оксаной зовут. Лет до семнадцати Иван Егорович нарадоваться на нее не мог. И училась хорошо, и работящая была, и насчет ребят строгая, хотя женихи, конечно, подыскивались. И вот на восемнадцатом году будто подменили ее. Всем женихам своим дала от ворот поворот, а родителям объявила: я, говорит, замуж только за будущего генерала выйду. Можете себе такое представить?! «Да где же ты найдешь теперь будущего генерала?» — посмеялся над ней Иван Егорович. «А уж это мое дело,— отвечает она. — Дайте триста рублей и увидите». Иван Егорович, деваться некуда, дал ей триста рублей, все-таки единственная дочь, наследница. Она, значит, деньги в карман — и в город, да не к нам в Город Городов, а в саму Москву. Недели две от нее не было ни слуху ни духу. А потом заявляется и говорит Ивану Егоровичу, мол, так и так, будущий генерал найден, и через месяц у них сватовство назначено, помолвка. Фотографию показала. Я сам видел, ничего вроде бы парень, курсант летного училища. Но Иван Егорович и тут посмеялся над дочерью: «Да откуда же тебе известно, что жених твой будущий генерал?» «А у него,— отвечает она,— и отец генерал, и дед был генералом». «Ну и что?» — не сдается Иван Егорович. «А то,— совсем уже рассердилась на родителей дочь,— что где это вы видели, чтоб у отца генерала да сын не был генералом?!» В общем, опять деваться Ивану Егоровичу некуда, стал готовиться к свадьбе, бычка годовалого продал, кабана. Теперь молодежь, сами знаете, с родителями не больно считается, благословения от них не просит. Недели полторы назад является наконец в Богородицкое жених, а с ним два свата. Представительные такие мужчины, серьезные. Один, правда, словно цыган, с серьгой в ухе. Я поинтересовался, к чему бы это так. А он отвечает, я, мол, испанец по матери. У нас обычай такой. Ну испанец так испанец, мало ли каких людей на свете не бывает. Жених тоже всем понравился, росточка, правда, невысокого и даже на одну ногу вроде бы как прихрамывает (на учениях, говорит, повредил немного, с парашютом прыгал, пройдет вскорости), а так тихий, уважительный, Ивана Егоровича с Марьей Тимофеевной сразу родителями, отцом с матерью стал звать.

Все вроде бы честь по чести, выпили, как полагается, закусили с дороги, познакомились. Но тут сват этот, который с серьгой, и спрашивает Ивана Егоровича: «А какое вы приданое за Оксаной Ивановной дадите?» Ну Иван Егорович туда-сюда, какое, мол, по нашим деньгам особое приданое, одежда она, слава Богу, обута, на дорогу кое-чего дадим, на первое обзаведение. «Э нет,— отвечает сват,— наши условия и наказ от генерала такие: тридцать тысяч деньгами, дом ваш под генеральскую дачу и машину «Ниву» с прицепом». «Да по-

бойтесь Бога,— взмолился Иван Егорович,— откуда же у нас такое богатство?! Ну еще тысячу-другую зайдем где-нибудь, но чтоб тридцать...» Вот тут Оксана, любимая дочь, и показала себя. «Ах, значит, так вы любите единственную дочь! — закричала она на отца с матерью. — Так ей счастья желаете?!» «Но доченька моя...» — попробовала было уговаривать ее Марья Тимофеевна. «Что доченька?! Если приданого не будет, всю свадьбу разрушу, дом подожгу, а сама уйду с цыганами бродяжничать по белому свету, любить каждого встречного-поперечного, а вас позорить и проклинать с паперти».

— Ну и что же Иван Егорович? — с трудом вставил слово в рассказ Григорий Иванович.

— Так известно что,— достал новую папирску мужик.— Пошел по селу с протянутой рукой. Да только кто ж ему такие деньги одолжит! Ну еще двести — триста рублей куда ни шло. Я вот тоже покойнику полсотни дал. А больше где их взять?! Больше у наших мужиков нету. Ну а если у кого и есть в заנачке, так тот не одолжит, потому как понятно, что большие деньги одним трудом да потом не заработаешь. Тут обязательно обман и хитрость примешаются. А об этом, сами знаете, лучше помалкивать, лучше не выдавать себя да еще по нынешним опасным временам.

— Тут и думать нечего,— представил себя на месте Ивана Егоровича Григорий Иванович.— Тут лучше в могилу лечь.

— Вот он и лег,— подхватил его слова мужик.— Недели две сваты эти жили у него во времянке, торговались, бражничали, бычка и каба на проедали да еще и расписку какую-то требовали. Народ нынче ведь все ученый, грамотный. Дал Иван Егорович им эту расписку или нет, врать не буду, не видел. Но ночью вышел на крылечко покурить да и помер. Завидная смерть, легкая...

Григорий Иванович молчал, теребил случайно попавшуюся ему в руки травинку, смотрел вприщур на всходившее над кладбищем солнце и, может быть, в первый раз за всю свою жизнь почувствовал, что ни единой мысли, ни единого слова нет у него в душе, что пусто там и темно, как в глубоком пересохшем колодце.

— А вы кем Ивану Егоровичу будете? — прервал его молчание мужик.

— Да так, давние знакомые,— ответил первое, что пришло на ум, Григорий Иванович.— Вместе в армии служили.

— Так он вроде бы не служил,— стал припоминать мужик.

— Да какая разница... — махнул рукою Григорий Иванович.

— И то верно,— согласился мужик и, приподнимая опять на плечо лесину, указал Григорию Ивановичу на кладбище.— Вы лужком идите, стороною, могила его с самого краю, свежая еще, с крестом.

Григорий Иванович кое-как поднялся, стряхнул пыль и пошел к кладбищу по едва заметной в луговой траве тропинке, а мужик все еще стоял с лесиною на плече, смотрел вслед и, казалось, не знал, что же ему делать: то ли тащить эту жердь-лесину домой к недостроенной веранде, то ли отнести ее назад в ольшаник, бросить в болотину и трясины, чтоб она догнивала там никем не виденная и не узнанная.

Могила Ивана Егоровича действительно оказалась с самого края кладбища под высокой корабельной сосной. Песок на ней был совсем свежий, подернутый кое-где по бугоркам остатками холодной, не высушенной еще солнцем росы. Возле дубового, сделанного на совесть креста лежали чуть привядшие цветы и венок с черной сатиновой ленточкой, на которой была соответствующая надпись: «Дорогому Ивану Егоровичу Пташечникову от правления колхоза „Заря“». Григорий Иванович сорвал на краю кладбища несколько луговых былинков и цветочков, между которых попались даже, кажется, несколько голубых отцветающих колокольчиков, и положил рядом с венком. Потом, сам не зная зачем, погладил широкой ладонью гладко оструганный крест, удивляясь, какой он одинокий и, несмотря на новизну, забро-

шенный среди множества каменных и металлических плит, которые заполонили и это деревенское кладбище. Вот тебе и Душа Праведная, вот тебе и все сказания о ней! А уж было этих сказаний и в века минувшие, и в нынешние, да будет, наверное, еще и в будущие великое множество. О загадках ее, страданиях и тайнах! Когда все рушилось, когда все шло прахом, когда наваливались на нас полчища, когда ни на что уже не оставалось надежды, была последняя надежда на русскую праведную душу. И она поднималась из темноты и покаяния, отводила беду от своей земли, а потом и ложилась в эту землю под песчаный бугор и крест, словно забыв, что можно было бы пожить еще хоть самую малость, поглядеть на белый свет да полюбоваться солнышком. И никто не может этого понять: ни в английских землях, ни во французских, ни в шведских. Да и мы не можем понять, не можем разгадать ее загадки, а только сокрушаемся да бьем себя в грудь в крепком хмелю и похмелье: неужто все так и закончится разговорами и сказаниями о русской праведной душе, неужто так она и не осуществит себя и не осознает, неужто суждено ей и дальше только страдать да ложиться в роковой час под дубовый крест?!

Кто ответит нам на это, кто надоумит?! Похоже, что и ответить некому и надоумить некому...

Пока не взошло солнце, стоял Григорий Иванович возле могилы, и плакать ему вроде бы не плакалось, и тосковать не тосковалось, но ноги никуда не несли, словно пристыли к могильному холодному песку. Он уже готов был остаться здесь навсегда, лечь рядом с холмиком, обнять его да и уснуть чистым и непробудным сном, как уснул здесь Иван Егорович, оставив на земле недоделанную работу, незавершенные дела, недожитую жизнь...

Но вот солнце наконец засияло над кладбищем во всю свою мощь, обхватило его, разрежало лучами и пошло дальше к селу. Григорий Иванович в последний раз посмотрел на могилу, взял себе с нее горсть земли и пошел с кладбища все той же луговой тропинкой, повторив про себя памятные горькие слова:

Ни хитрому,
ни умелому,
ни птице умелой
суда Божьего не миновать...

К чему они сейчас пришли ему на ум, он и сам толком объяснить не мог. Но вот же пришли и, как часто это с ним случалось, повторились опять:

Ни хитрому,
ни умелому...

И пока он шел, пока томился в ожидании новых и новых поворотов, которые, словно насмехаясь над ним, убегали куда-то все дальше и дальше, по Городу Городов уже ползли о Григории Ивановиче слухи...

Первый слух, что будто бы он хочет переманить всех жителей Города Городов в басурманскую веру. Да и сам он басурман, потому как роста громадного, голова бритая, носит вельветовый костюм, разрезанные сзади по голенищам сапоги и вдобавок ко всему моется не в железнодорожной, а в татарской бане, где ни один уважающий себя командированный мыться не станет. Да еще на пару с Ерусалимом Лазаревичем Тонконогим!

Второй слух был сродни первому, с той разницей, что дело, мол, не в вере. По теперешним временам это не имеет ровно никакого значения, какой ты веры: православной, басурманской или языческой. Молись себе на здоровье, бейся головой об стенку. А дело в том, что ищет этот басурманин таких людей, которых можно было бы увезти за море да и продать там в неволю. Такие, мол, случаи теперь бывают. О них даже в газетах пишется.

Третий слух был и того страшнее. Мол, все это глупые глупости насчет басурманства и работорговли. Такого у нас нынче ни за что быть не может, потому как мы страна вольная и православная. А на самом деле Григорий Иванович ищет достойных людей, крестьян, чтоб отселить их на отруб и хутора для семейного и прочего подряда. Потому как от этих хуторов и подрядов прибыль и выгода государству особая. На Базаре Базаров в табачном ряду нашелся даже один старичок, который тут же и согласился отселяться на хутора. Если, говорит, государству выгода, так мы с нашим удовольствием.

Был, рассказывают, еще один слух, но очень тайный. Знать нам о нем не положено, а тем более писать в сочинениях.

Конечно, если бы Ерусалим Лазаревич Тонконогий мог предвидеть, что Григорий Иванович вернется из Богородицкого так спешно, он уж встретил бы его где-либо за околицей и шепнул бы насчет этих слухов. Но он предвидеть этого не мог да и, признаться, был крепко занят, потому как в Городе Городов на седьмом холме опять начали перестраивать седьмое здание и Ерусалим Лазаревич неотлучно находился там, дабы записать в свои скрижали это историческое событие.

Встретил он Григория Ивановича уже возле самой гостиницы, но тут, на виду у всех людей и особенно своего соперника, директора краеведческого музея Соловья-Муромского, шептать забоялся, лишь торопливо пожал Григорию Ивановичу руку и с печалью в голосе произнес:

— Такая вот судьба...

— А вы что, уже знаете?— задержал на минуту шаг Григорий Иванович.

— А то как же,— отвел глаза в сторону Ерусалим Лазаревич.— Я и раньше все знал...

— Почему же не сказали?

— Так ведь боязно,— еще больше потупил взгляд Ерусалим Лазаревич.

— Почему это?

— Да потому, Григорий Иванович. Сами подумайте: вам что, сегодня вы здесь, а завтра там, уедете в свои Петушинные Дворики, и дело с концом. А я остаюсь в Городе Городов. А ну как приедут все трое из Богородицкого?! Что тогда?!

— Что? — переспросил, уже поднимаясь на ступеньку, Григорий Иванович.

— А то, что у меня архивы, история. У них ведь знаете как? Чуть что — сразу все утопить...

— Знаю! — переступил еще одну ступеньку Григорий Иванович, но потом оглянулся на Тонконового, который стоял на кирпичном тротуарчике, совсем уж какой-то потерянный, жалкий, одна только кожа да кости, пергамент. Григорий Иванович не выдержал, вздохнул и, вспоминая задушевные беседы с Тонконогим в татарской бане, вдруг предложил ему:

— Так, может, проедем со мной в Петушинные Дворики? Там тоже летописцы нужны.

Ерусалим Лазаревич встрепенулся, словно застоявшийся петух в Петушинных Двориках, щечки его зарумянились, запыхали и даже как будто пополнили, фигура обрела вес и значение, а в глазах промелькнул такой огонь, который был разве что в глазах Петра I, когда он смотрел на шведский берег. Но в следующее мгновение Ерусалим Лазаревич опять поник, развел руками:

— Никак не могу.

— И почему это? — не ожидал от него такого ответа Григорий Иванович.— У вас ведь здесь ни квартиры, ни работы стоящей.

— Все так, все так,— засокрушался еще больше Ерусалим Лазаревич.— Но обязанность, историческая, так сказать, миссия. Сами видите, седьмой дом на седьмом холме только начали разбирать. На Со-

ловья-Муромского у меня нет никакой надежды. Все перепутает, все переиначит, после потопки не разберутся, где какой камень лежал. Так что спасибо за приглашение, но пока не заложат новый фундамент, ехать не могу.

— И скоро его заложат?

— А кто ж его знает? Смета еще не утверждена! Всенародного обсуждения не было.

— Ну, ждите! — протянул на прощанье Тонконогому руку Григорий Иванович.

В гостинице сотоварищи у него опять были новые.

— Мы вятские — люди хватские! — бил себя в грудь, рвал импортную рубаху костистый низкорослый мужик с жиденькой бородашкой.

— А мы псковские, — встал против него другой, тоже костистый и низкорослый, но в рубахе, кажется, своей, доморощенной. Раза два-три рванув ее, он принялся дразнить вятского, вспоминая его дедов-прадедов, дровосеков и пильщиков: — На тя!

— Нет, на тя! — тоже вспомнил своих предков вятский.

— А ... тя!

— А я — тя!

— А мы черниговские! — поднялся с койки мужик покрупнее, с бородашкой посерьезней, рыжей с проседью. — Мы древнее вас! Мы еще Соловья-разбойника помним!

— А мы сами по себе! — отозвался мужичишка уж совсем щупленький, но зато с кожаной полевой сумкой под головой. — Вот сейчас вас успокою!..

Шестая койка, как и в прежние дни, опять пустовала. Григорий Иванович глянул на нее не то чтобы со злобой и ненавистью, но с таким отчаянием и тоской, каких никогда в своей жизни не испытывал. Он никак потом не мог понять, чего далась ему эта койка, в чем она провинилась перед ним. Но Григорий Иванович вдруг сорвался с места, сокрушил для начала снежно-белую ее аккуратно поставленную на ребро подушку, потом разметал по сторонам простыни, одеяло и пододеяльник, добрался до матраца и долго бил о пружинную сетку, пока она не провисла до самого пола.

Все жильцы: вятские, псковские, черниговские и прочие которые просто так, сами по себе, — при виде такого разбоя притихли, сбились, словно испуганное стадо во время половодья, в кучку, не смея издать ни единого стога. Когда же Григорий Иванович, устав бушевать и корезить ни в чем не повинную койку, упал в своем углу, они опять оживились, зашуткались, сообща прибрали, замели следы погрома, монетку бросали тихо, без всякого крика и спора, соединялись и того тише, в согласии и дружбе, сразу по красненькой... Кого они выбирали в гонцы и глашатаи, Григорий Иванович уже не слышал. Сон свалил его, распластал на койке, словно великомученика.

Но поспать Григорию Ивановичу не довелось. Только начала грезиться ему дорога, первый поворот, а за поворотом в тумане и ночной непроглядной мороси благодать, как в комнату постучались. Григорий Иванович мгновенно пробудился, глянул спросонья на стучавших: двух гражданских, но с военной строгостью во взгляде мужчин — и сразу понял.

— Вещи брать? — на всякий случай поинтересовался он.

— Берите, — поторопил его один из стучавшихся.

Жильцы комнаты сделали вид, что спят пуце прежнего, натянули поплотней одеяла, а вятский так даже спрятал голову под подушку и начал похрапывать. Прощаться с ними Григорий Иванович не стал. Коль так крепко и беспробудно спится ребятам, тут хоть из пушек пали — не поможет. Это он по опыту знал. Ведь не первый и не второй раз стучатся к нему среди ночи мужчины в гражданской отутюженной форме. Случалось, приходили и прежде, когда он хлопотал о санях, телегах или каком-либо ином товаре для Петушиных Двориков, когда

слухи о нем будоражили города и веси. И каждый раз жильцы, сотоварищи Григория Ивановича по гостинице в полуночный этот прощальный час засыпали таким богатырским, тяжелым сном, что мужчинам в черных костюмах приходилось приглашать понятых из соседних домов.

Но сегодня, слава Богу, обошлось без понятых. Мужчины тщательно обследовали портфель Григория Ивановича, потом с особым пристрастием полистали затрепанную книжицу с прощальными словами: «Здравы будьте, князья и дружина», потом заглянули под матрац и под койку и наконец скомандовали:

— Пошли!

Григорий Иванович в последний раз оглядел своих спящих товарищей, князей и дружину, которые лежали тихо и смиренно, как на поле брани после тяжелого сражения, когда никто еще не знает, кому досталась победа, когда одни только вороны могут отделить живых от павших. Безмятежному их сну Григорий Иванович ни капли не позабывал, зная, что пробуждение и похмелье будут для них тяжелыми, что многих они недосчитаются в своих ратях, многих потеряют по буеракам и дебрям, многих еще живых и небезнадежных отдадут на съедение дикому зверью и воронам. Так уж у нас ведется из века в век...

О том, как везли Григория Ивановича, мы рассказывать не будем. Ничего особенного. Обыкновенная машина, не черная даже, а голубенькая, с крепкой, правда, дверью и с крепкими провожатыми. А остальное все буднично, неприметно, как всегда, как в любые времена.

Привезли же его, само собой разумеется, на шестой холм к шестому зданию, высокому и кирпичному, которое наши предки построили, говорят, всего за один год, но зато на века, на столетия. Оно и простояло эти столетия без единого ремонта, исполняя всегда одну и ту же службу, охраняя от постороннего глаза и обиды ретивых, ловких да много о себе думающих. А их всегда у нас было вдоволь, так что зданию никогда не пустовало, не зарастало пылью. Оно и в нынешние времена, говорят, не зарастает, потому как ловкие да ретивые ребята у нас никак не переводятся. Вот только вывеска теперь на здании какая-то стыдливая, скромная: «Учреждение № 19». Не сразу и поймешь, что там за воротами, за контрольно-проходными пунктами и постами. А вот раньше была вывеска одно загляденье, одно удовольствие: «Тюрьма». Провожатые Григорию Ивановичу попали надежные, на проходной долго не задержались, доставили сразу в просторную и почти не заселенную комнату, оштукатуренную, как и положено, «под шубу» — изолятор предварительного следствия называется. Расстались они тоже по-доброму, по-товарищески почти.

— Отдыхайте пока до утра, — сказали на прощанье провожатые и потребовали от Григория Ивановича самую малость — ремешок с галунами и бляшками, так, мол, положено, не их воля.

Пришлось Григорию Ивановичу ремешок отдать, ребята действительно надежные, покладистые, ночи на него не пожалели. Без ремешка он, правда, почувствовал себя как-то слишком вольно и безмятежно, словно во сне, когда все тебе нипочем, когда идешь-шагаешь по луговой тропинке, а солнышко — вот оно — встает из-за холма, греет тебя и ласкает, подталкивает к новой жизни и к новым испытаниям.

Двери между тем закрылись на все запоры и замки. Григорий Иванович огляделся, снял шляпу и тут только заметил, что на сосновых скрипучих нарах лежит и наблюдает за ним старичок-боровичок: голова плешивая, лысая, бородка клинышком, но задиристая, крепкая. Взгляды их встретились, переплелись и как будто даже усмехнулись друг другу. Старичок сразу вскочил на ноги, приободрился:

— А я тут лежу себе, думаю, привезут вас нынче или нет.

— А что, непременно должны были привезти? — немного удивился Григорий Иванович.

— Это как пить дать,— засуетился старичок, предлагая Григорию Ивановичу на выбор любые нары.— Слухи и сюда дошли. Вот только не знаю, кто донес: Зубличный или Ворожейкин?

— Да мне без разницы,— пожал плечами Григорий Иванович.

— Оно конечно...— опять заволновался старичок.— Но мне кажется, Ворожейкин. Это по его отделу.

Григорий Иванович сделал вид, что последних слов не расслышал.

— Вот вы сомневаетесь,— стойким размашистым шагом ходил между нар старичок.— А я почти уверен, что это дело рук Ворожейкина из ДОДа.

— Что еще за ДОД? — невольно залюбовался его стойкостью Григорий Иванович.

— А вы что, первый раз в Городе Городов?

— Нет, не первый.

— Тогда тем более странно! Здесь любой мальчишка знает, что такое ДОД. ДОД — это добровольное общество доносчиков. Потомственное, между прочим, в Городе Городов ремесло. У них и зданье свое есть, тут вот неподалеку от нашего учреждения, за углом, темненькое такое, старинное, с лозунгом наверху.

— И что ж за лозунг? — прислушался к старичку повнимательней Григорий Иванович.— Доносчику первый кнут?

— Как бы не так! Лозунги у них вполне правильные: «Выполним и перевыполним...» А вот дела худые, старые — доносить и наушничать. Взять, к примеру, хоть тех же Ворожейкина и Зубличного. Да их хлебом не корми, дай письмецо какое-нибудь вверх написать. Ворожейкин — слухач, по слухам, значит, специализируется, а Зубличный, тот больше по наветам и подлогам. Теперь вот еще Доброжелатель появился. Этот пострашнее, молодой, здоровый,— законник, все ходы и выходы в судах знает. Ученик, между прочим, Обротьева и Стременного.

— А это еще кто?

— Так известно кто! Из старых еще, довоенных, тех, что с уклонистами боролись. Обротьев — с левым, а Стременной — с правым. Оба теперь, конечно, на заслуженном отдыхе, почетные члены ДОДа. Выступали недавно у нас в колхозе по линии общества «Знание», делились воспоминаниями. Интересно было послушать, поучительно. Мы им и цветы преподнесли, и по пятерке, как полагается, выписали, и обедом накормили. А как же, люди пожилые, заслуженные... Да,— спохватился старичок,— забыл представиться. Семен Семенович меня зовут, фамилия Битый, председатель колхоза «Новое время». Бывший, конечно, председатель. Ну да не в этом дело.

Григорий Иванович пожал старичку крепенькую, тоже какую-то удивительно стойкую руку и назвал в свою очередь.

— Да я-то вас давно знаю,— откликнулся на его слова старичок.— Слухом земля полнится. Я и Шестикрылова вашего знаю, встречались в Москве.

Григорий Иванович хотел поблагодарить Семена Семеновича за добрые слова и памятьливость, но тот не давал ему вставить ни слова, твердо шагал между нарами, весь напружиненный, бодрый, борода, слово заостренная шпага, вперед, руки за спину. Наконец немного пригнулся и встал против Григория Ивановича.

— Вообще-то меня здесь все Впередсмотрящим зовут.

— Почему так? — удивился Григорий Иванович морскому этому прозвищу в сухопутном Городе Городов.

— Да потому, что всю жизнь как бы вперед времени бегу. Знаете, как в старину говорили: поперед батьки в пекло. У нас, между прочим, это родовое занятие. Дедам и прадедам, правда, полегче было, их посекут на площади да и опять к сохе и плугу. У нас и фамилия поэтому — Битые. А вот нам с отцом хуже довелось: чуть что — сразу в учреждение номер девятнадцать

— А что, и отец сидел?

— Еще как! И за левый уклон сидел и за правый. Лет двенадцать в общей сложности. Ну а после войны я уже заступил, когда председателем избрали. Первый раз как космополит сидел.

— И каким же вы образом в космополиты попали?— поддержал разговор Григорий Иванович, пробуя кусочек сала.

— Да очень просто. На фронте еще, в Австрии, попался мне один журнальчик, английский кажется, по селекции. Припрятал я его на всякий случай. Думаю, жив останусь, попробую у себя в колхозе — дело вроде бы стоящее. И, как видите, жив, но ничего у меня с этой селекцией не получилось. Только мы начали с ветеринаром Григорием Пудовичем примеряться к журнальчику, переводить по словарю, пробовать, как Стременной вот он, тут как тут. В газете областной в то время работал, сельхозотделом заведовал. Приехал к нам за какой-то статейкой по надоям и поголовью, но как прослышал про журнальчик и опыты, так сразу все бросил и давай копать. А уж он умеет... Григорию Пудовичу, конечно, ничего, легким испугом отделался, он лицо подчиненное, зависимое да и самоучка к тому же, без всякого образования. А я — председатель, мне на всю катушку и отмотали, как по тем временам принято было, — десять лет. Славно, скажу вам, посидел! Ей-богу, славно! И главное, с хорошими людьми: генетики все в основном, биологи, врачи. Многому меня подучили. Когда амнистия вышла, так даже расставаться жаль было...

— Ну а после за что сидели?

— Да за все понемножку, — остался доволен вниманием Семен Семенович. — За кукурузу сидел, за мелиорацию сидел, за семейный подряд и то сидел.

— А теперь за что же? Вроде бы времена не те...

— Времена действительно не те, да люди прежние. Пока Доброжелатель и Зубличный с Ворожейкиным живы, сидеть придется, никуда мы не денемся.

Григорий Иванович помолчал, боясь вспугнуть вопросами Семена Семеновича, который несколько раз уже встревоженно поглядывал на него, словно спрашивал, может, спать будем — скучные все это рассказы... Но вот он, кажется, успокоился, окончательно поверил Григорию Ивановичу и, пробежав между нарами от одного конца камеры до другого, продолжил свой рассказ:

— Нынче дело у меня посерьезней, святое, можно сказать, дело. Лет на восемь, пожалуй, потянет, если не разберутся. А все оттого, что отчаяние во мне поселилось, злость. Да и как им не поселиться, сами подумайте?! Только посадят меня в очередной раз, только захлопнется за мной дверь, а на председательском месте уже какой-нибудь выдвигенец из сорокапятитысячников красуется, бывший милиционер, провинившийся начальник или такое перекаати-поле из уполномоченных, что не приведи господь. И вот пока я сижу с добрыми людьми, работаю на передовых рубежах, ума набираюсь, они колхоз доведут до ручки: распашут там, где у нас сроду не пахали, посеют то, что у нас сроду не сеяли. В первые годы и десятилетия после войны мужики все это еще кое-как терпели. От радости больше, что войну прошли, живы остались, а потом терпение их лопнуло, плюнули они на все и, как это часто у нас бывает, загуляли на весь отворот. Вернулся, значит, я в последний раз, гляжу, земля кругом до самого горизонта польнью заросла, мужики мои работать разучились, коня запрячь не умеют, пьют себе с утра до ночи, бражничают, как на каком-нибудь Веселом хуторе. Эге, думаю, совсем твои дела плохи, Семен Семенович! До осени кое-как дотянул, а потом собрал собрание и говорю: «Вот что, граждане мои, земледельцы, работать нам несподручно нынче в колхозе, невыгодно, да и некогда, если по правде сказать — брага по домам стынет! Распускаем артель! Кто за? Против? Воздержавшихся? Нету!» Мужики мои руки вскинули дружно, при-

выкли за многие годы. Да и опять-таки некогда — коль уж собрались на собрание, так обмыть такое дело нужно, выпить за встречу и взаимное согласие. Но я пока сход не распускаю, дальше речь держу: «Теперь, значит, землю будем делить! Каждому десять десятин, коня в придачу, корову — и крестьянствуйте с богом. А когда накрестьянствуетесь вдоволь и захочется назад в артель, тогда и создадим ее заново, на добровольных, так сказать, началах...»

— Ну и что? — не выдержал-таки Григорий Иванович. — Взяли землю?

— Держи карман шире! — метнул куда-то вверх на зарешеченное окошко воспаленный взгляд Семен Семенович. — Трое только и взяли. А остальные говорят: «Да гори огнем она, твоя земля, чтоб я одним конем да коровой обрабатывал десять десятин. Мне и тридцати соток, что возле двора, за глаза хватит!» Во, брат, какие дела! Теперь сижу вот дожидаясь своей участи. Доброжелатель за меня взялся, а он молодой, ученый, на политику больше давит. Мне с ним тягаться трудно.

— Даст Бог, все обойдется.

— Поглядим, — распрямился и окреп духом Семен Семенович.

Вслед за Семеном Семеновичем Григорий Иванович тоже прошелся между нар, глянул на зарешеченное окошко, в котором как раз показалась далекая затуманенная звездочка, и вдруг на полшаге запнулся. Уж Бог его знает почему, но именно в это мгновение опять засадило у Григория Ивановича сердце. Он с трудом сдержал в себе стон и недоумение, попробовал сделать шаг пошире, но сердце опять напомнило о себе, затосковало и зашлось уже настоящей болью. «Должно быть, от бессонницы и буянства в гостинице», — подумал Григорий Иванович и, стараясь ничем не побеспокоить Семена Семеновича, незаметно прилег на нары.

Но сердце, как говорится, не обманешь. Не от бессонницы и не от буянства тосковало оно и рвалось из груди Григория Ивановича! Пока разговаривал он в камере с Семеном Семеновичем, пока тешил себя несбыточными надеждами и замыслами, в Петушиных Двориках случилось новое происшествие...

В самое глухое предупреденное время петушок на шесте у Григория Ивановича вдруг поднялся на ноги, повернул голову на восток и трижды предупреждающе прокричал. Деревенские петухи в сараях и курятниках едва не свалились от неурочного крика с насестов, переполошились и тоже начали кричать без всякого порядка и толка, забыв все прежние свои достоинства. Само собой разумеется, что мужики в Петушиных Двориках немедленно проснулись и высыпали на улицу к правлению колхоза.

— Это он от обиды, — поглядел в ночи на петушка Григория Ивановича Шестикрылов. — Хозяин долго не едет.

— Точно, от обиды, — без лишних слов согласились мужики, перекурили и, проклиная беспутного петуха, стали разбредаться по домам, где не успели еще остыть пуховые мягкие перины.

А между тем кричал петушок не зря! Из Другой области, из Кошачьих Двориков на Петушиные Дворики в это время тремя неостановимыми лавинами неслись кошачьи полчища. Впереди, низко вытянувшись над землей и позвякивая обрывком золотой цепи, мчался тот самый якобы ученый кот с зелеными остекленевшими глазами, которые горели среди ночи, словно две далекие затуманенные звезды. Зная, что все привыкли его любить и холить, что никто его не боится, кот мчался в открытую, чистым полем, луговой дорогой, лесным шляхом, вел за собой несметные полки и рати. На подходах к Петушиным Дворикам кошачьи лавы не стали пользоваться мостом через Излучину, а переправлялись вплавь, взбунтовав и опоганив воду на многие десятилетия вперед. Так случилось всегда, и в прошлые, и в позапрошлые века, когда делали они свои набеги на Петушиные Дворики, когда

все вокруг замирало в страхе от их бесшумного шага, от вздыбленной шерсти, от выгнутых спин, от вони и смрада.

Замирало все: лесные звери и птицы, полевые травы и жита, придорожные цветы и полынные заросли; ночной сверчок-цикада и тот испуганно умолкал, забившись под куст нехворощи,— и лишь одни мужики беспечно расходились по домам, покуривая да посматривая на восток, определяя, долго ли, коротко ли им суждено еще поспать до утренней зари. Получалось, что долго — часа два-три самого беспробудного сна, когда не слышишь, не знаешь да и не хочешь знать, что происходит вокруг. Сняв в сенях сапоги, мужики чуть подвинули на кроватях разгоряченных жен и стали укрываться теплыми, на вате одеялами, забыв даже набросить на дверь крючок...

А коты в это время уже обходили Петушинные Дворики, брали их в кольцо тремя бесшумными лавинами...

Если читатель надеется, что сейчас он станет свидетелем сечи, сражения, что сейчас полетят стрелы калены, загремят сабли о щлемы, затрещат копыя булатные в поле незнаемом, то он ошибется. И если он думает, что коты, не встретив никакого сопротивления, стали врываться в курятники, заламывать петухам голову, терзать их и доводить до смерти одним только своим видом,— тоже ошибется. Может, так оно и было в прежние времена (о чем знает один только Ерусалим Лазаревич Тонконогий), но нынче все перемешалось, нынче стало больше порядка и смысла даже в кошачьих вздыбленных лавах.

Взяв Петушинные Дворики в кольцо, коты разбились на тысячи. Тысячи разбились на сотни, сотни — на десятки, десятки — на тройки. И вот каждая такая тройка стала заходить в сарай или в курятник, останавливалась у ворот и зачитывала заранее заготовленную бумагу: «Вы объявляетесь государственным преступником!»

Приговоренный петух заполошно вскрикивал, вытягивался на жердочке, но потом обреченно опускал крылья, отстегивал саблю и шпоры и, не выказав никакого сопротивления, бросал их к ногам победителей. Те давали ему возможность проститься с онемевшими от страха курами, делали в сараях небольшой торопливый обыск, подписывали какие-то документы с печатями и визами и лишь после этого, исполнив по закону все формальности, уводили петуха за ворота в темноту и гибель...

К утру, к рассветной заре, все петухи были допрошены, разоблачены, вина их была раз и навсегда установлена, подкреплена многими свидетелями и очевидцами, приговор приведен в исполнение...

И лишь один петушок на телевизионной антенне, на спице у Григория Ивановича остался невредимым. Сколько коты ни кружились возле него, сколько ни пытались взобраться по шаткой, всего в палец толщиной спице, ничего у них не получилось. Петух сидел стойко и смело, словно заранее знал, что ни один кот, будь он самый рядовой или, наоборот, самый главный, с обрывком золотой цепи на шее, до него не дотянется.

От злости и бессилия коты повыбили в доме у Григория Ивановича все окна, загадили и растерзали все в комнатах, разграбили последние запасы зерна, но рассветная заря уже была близко, и кошачьи лавины заторопились отступить в темноту, в ночь, запрятаться по своим чердакам и подвалам в Кошачьих Двориках.

Проснувшись на рассветной заре, мужики увидели на своих подворьях разорение и позор. Замученные петухи лежали в зарослях крапивы и лебеды. Правда, лежали все головами на восток, что мужиков хоть и мало, а все-таки утешило. Они опять собрались возле правления колхоза, крепко задумались, послушали Шестикрылова, перекурили по первому разу, потом по второму и наконец послали в Куницыны и Крысиные Дворики гонца с предупреждением. Мол, вы там глядите, куницынские и крысиные мужики, за своими хомьяками и куницами! А то у нас тоже есть чем ответить! Вон петух у Григория

Козика на спице сидит. Молчит себе, молчит десятилетиями, а потом возьмет да как закукарекает — будет вам худо!

Серафим Николаевич Шестикрылов предлагал еще послать гонца и в Кошачьи Дворики. Но мужики засомневались: Кошачьи Дворики — это вона где, в Другой области, да и не кошачья тут потрава. Ну еще на цыпленка, на подлетка могут напасть, но чтоб пойти против взрослых петухов со шпорами и саблями на боку, такого сроду еще не было, о таком ни в каких книгах не написано, никому из уст в уста не передано...

А Григория Ивановича на рассветной заре вызвал к себе следователь, молодой человек в гражданской форме по фамилии Неподкупный. Поговаривают, правда, что настоящая его фамилия Целовальников, но поскольку в Городе Городов была мода на псевдонимы, то он и взял себе фамилию иную, более подходящую к его профессии. И правильно, конечно, сделал! Ну кто, скажите на милость, захочет иметь дело со следователем по фамилии Целовальников. Да никто! А вот Неподкупный — совсем иной коленкор, к такому любой пойдет и даже не побоится взять с собой конвертик с красненькими или зелеными бумажками. Потому как Неподкупный есть Неподкупный, тут как ни испытывай судьбу, а до конца не испытаешь...

Пригласив Григория Ивановича садиться, Неподкупный долго листал его дело, в котором мелькали фамилии и Зубличного и Ворожейкина и, само собой разумеется, Доброжелателя. Дело, несмотря на короткий срок пребывания Григория Ивановича в Городе Городов, было пухленьким, объемным, со множеством справок и выписок, с копиями и оригиналами, с вещественными даже доказательствами в виде щепотки табака и земли с могилы Ивана Егоровича Пташечникова. Следователь все это перечитал, перетер в руках, рассмотрел даже в увеличительное стекло, сдунул в нескольких местах накопившуюся якобы пыль и паутину и наконец устало откинулся на спинку стула.

Григорий Иванович приготовился слушать. И услышал.

— Вот что я вам скажу, гражданин Козик, — обхватил голову руками следователь. — Езжайте вы отсюда как можно скорее! Езжайте с миром и чистой душой!

— Почему? — не понял его отчаяния Григорий Иванович.

— А потому, — взорвался неожиданно следователь, — что нету у нас здесь в Городе Городов нужных вам людей! Понимаете — нету! В других краях и областях, может, где и есть, а у нас — нету! Поэтому езжайте, пока я не передумал.

Григорий Иванович молчал, немного ошеломленный столь резким поворотом разговора и своей судьбы.

Следователь тоже молчал несколько мгновений, а потом вдруг взорвался. С новой силой негодования он подскочил к многочисленным шкафам, стал выхватывать оттуда пухлые запыленные папки, скоросшиватели и просто кипы бумаг и бросать их на стол перед Григорием Ивановичем:

— Вот, глядите, какие у нас люди! Глядите! Воры, мошенники, взяточники! Сами неоднократно судимы или с кем-нибудь судятся! И за что, скажите на милость! За раздел имущества, за наследство, за клевету и подлог, за обман и грабеж, за любовную измену и неверность... Да что там любовная измена и неверность — за историю и за ту судятся! Полистайте вот, Княжеский с Соловьем-Муромским третий год тягаются. И все на мою голову, на мои плечи!

Григорий Иванович из любопытства и уважения к следователю полистал отдельно выброшенную папку. Чего только в ней не было! Иск Муромского и встречный иск Княжеского, архивные выписки, фотография татарской бани и описание седьмого здания на седьмом холме, свидетельские показания какого-то современника Дионисимова и яко-

бы лжепоказания очевидца Пароконного. Были, конечно, бумаги и от Доброжелателя, и от Обротьева, и от Стременного...

— Или вот еще! — Следователь кидал и кидал перед Григорием Ивановичем папки, бледнея и истончаясь лицом. — Мать судится с дочерью, отец с сыном, муж с женою, племянница с теткой! Да черт их всех разберет!.. А вы приехали бог знает откуда, ходите по деревьям, по городу, бунтуете народ!

— Ладно, — налил ему стакан воды Григорий Иванович. — Уеду. Как только отпустите, сразу и уеду.

— Вот это хорошо! — мгновенно успокоился и отверг предложенную воду следователь. — Вот это по-нашему!

Он в изнеможении упал на стул, снова обхватил голову руками и спрятался за обилием папок и судебных дел.

— Расписываться надо где? — переждал несколько минут Григорий Иванович.

— Вот здесь, вот здесь и вот здесь, — встрепенулся, оживая, следователь и протянул Григорию Ивановичу совершенно чистый заранее заготовленный листочек.

Григорий Иванович занес уже было руку и вдруг остановился:

— А Семена Семеновича выпустите?

— Да кто ж его держит! — со всего маху ударил ладонями по столу следователь. — Тоже навязался на мою голову!

— Как это — кто? — ничего не понял Григорий Иванович. — Вы же и держите.

— В том-то и дело, что никто его не держит. Иди на все четыре стороны — создавай коммуны! Не идет, окаанный, суда требует, разоблачения. Третий месяц с ним бьюсь!

Григорий Иванович, словно невзначай, вскинул голову и взглянул прямо в глаза следователя. Нет, действительно вроде бы Неподкупный — глаза голубые, чистейшие, без всякой примеси и налета.

— Тогда хоть сводите его в баню, — высказал последнюю свою просьбу Григорий Иванович.

— В баню можно, — тут же согласился следователь и во второй раз подсунул ему заготовленный листочек.

Григорий Иванович еще несколько мгновений сомневался, думал, держал руку на весу, припоминал и Шестикрылова, и Петушинные Дворики, и реку Излучину, и золотого своего петушка, помощника и радателя в жизни, и наконец безысходно вздохнул обиженной, истосковавшей грудью да и подписал одним махом все три экземпляра.

Следователь тут же выхватил у него из-под рук бумаги, бросил их в ящик стола, а взамен положил перед Григорием Ивановичем знаменитый его ремешок с множеством галунов и бляшек. Появился вскорости и портфель с нехитрым скарбом Григория Ивановича, кое-какими командировочными документами, зачитанной старинной книгой, зингеровской опасной бритвой и мыльницей. Впрочем, зингеровской бритвы, которая досталась ему в наследство вместе с петушком, кажется, не было. Ну да Бог с ней, с этой бритвой! Дело в его жизни, судя по всему, идет к тому, чтобы запускать бороду, заводить настоящий посох да и отправляться в дорогу навсегда. И уже не надеяться на быстрые повороты и излучины, а идти долго и медленно, как и полагается ходить по этой земле всякому страннику...

С такими вот мыслями и вышел Григорий Иванович из учреждения номер девятнадцать, попросив на прощание следователя разрешить ему на минуту заглянуть к Семену Семеновичу. Тот разрешил. Но действительно лишь на минуту. Потому как Семен Семенович, только увидев следователя, сразу приступил к нему с требованием:

— Хочу сделать заявление!..

В общем, попрощались они по-быстрому, подали друг другу руки, обнялись. Семен Семенович утонул в глубоких сердечных объятиях Григория Ивановича, но все-таки успел шепнуть оттуда, из глубины,

всего одно словечко: «Не покоряйтесь!» И упал после этого в изнеможении на нары...

Сразу за учреждением номер девятнадцать Григорий Иванович повернул направо, поглядел с интересом на темное, будто занавешенное шторами, здание ДОДА с новым, только что прибитым лозунгом на фронтоне «Подписывайся своим именем!» и мимо седьмого здания на седьмом холме, где уже кипела работа по закладке фундамента, пошел к вокзалу.

На его счастье, поезд, возвращавшийся из того края земли, как раз подходил к перрону. Григорий Иванович без долгих колебаний купил билет и зашел в указанное проводником купе. Ничего особенного он тут не обнаружил. В уголке возле окна сидела какая-то дамочка, возвращающаяся оттуда сюда, читала серенький, неприметный журнальчик, названия которого Григорий Иванович на разобрал. В другом уголке жался мужчина лет сорока, худенький, изможденный, но явно с нареканиями. Таких теперь много ездит по стране в разные командировки и на тайные денежные промыслы. Впрочем, их и раньше ездило немало. Григорий Иванович насмотрелся на них вдоволь, нареканиями их проникся по самую завязку.

На верхней полке лежал еще старичок в поношенной клетчатой рубашке и шерстяных носках, но лежал он к проходу спиной, похрапывал и за всю дорогу не дал о себе знать ни разу. Бессловесный какой-то старичок, его и в расчет принимать не стоило и за пассажира считать не полагалось. Едет себе да и пусть едет: страна велика, дорога бесконечная...

Дамочка и пассажир с нареканиями посмотрели на Григория Ивановича неприязненно, как всегда смотрят в поездах на вновь входящего в купе. Но он развиться этой неприязни не дал, быстро снял свои сапоги-скороходы, взобрался на верхнюю пустующую полку да и положил по своему обыкновению под голову портфель...

Впервые Григорий Иванович возвращался из командировки, не сдержав обещанного слова. Не шли впереди его в Петушиные Дворики вагоны, груженные лесом, санями и телегами, не мчались телеграммы, извещающие, что надо встречать обозы с медом, вином и мукой, не трещали телефонные аппараты, не неслись из них слова приветствия и одобрения.

День для Григория Ивановича померк, превратился в какое-то месиво дождя и холодного ветра. Лежал он на верхней полке, смотрел в потолок и не хотел придумывать для себя даже самого малейшего оправдания. Да и не в оправданиях тут дело! Домá в Петушиных Двориках пустуют, рушатся, земля чхнет, зарастает чертополохом, гибнет без добрых рук и чистого сердца. А ведь где-то же есть и эти добрые руки и эти чистые сердца! Иначе зачем было Шестикрылову эти дома и строить!

Григорий Иванович совсем поник духом, совсем отчаялся. Каяться ему было вроде бы не в чем, но и не каяться было нельзя. Его тут вина во всем! Постарел он, должно быть, поизносился, раз не может найти для Шестикрылова, для родных своих Петушиных Двориков десятка достойных людей. А ведь бывало, в прежние годы...

Но нет, о прежних годах сейчас вспоминать не приходится, былыми удачами хвастать не к лицу. Что было, то, как говорится, ушло. А вот как нынче предстанет Григорий Иванович перед Шестикрыловым, что скажет истомившимся в ожидании мужикам, как помнит к себе и приласкает безголосого, отчаявшегося петушка?!

В общем, в пору было Григорию Ивановичу возвращаться назад в Город Городов или в какое-либо иное, более удачливое место и начинать все сначала, не поддаваясь ни слухам, ни уговорам, а больше доверяя уму своему и сердцу. И Григорий Иванович, наверное, вернулся бы! Но тут начало с ним твориться что-то необъяснимое, загадочное, чему и названия-то еще нет...

Вдруг ни с того ни с сего пропал его старинный с галунами и бляшками ремешок. И ладно бы повесил его Григорий Иванович где-либо на крючок или бросил на полку, а то ведь лежал подпоясанный и даже время от времени в отчаянии и тревоге мял его изможденной рукой. И вот на тебе — исчез, словно ветром его сдуло, вытянуло в чуть приоткрытое окошко. Григорий Иванович с недоверием оглядел пассажиров и особенно дамочку, которая ехала оттуда сюда. Но ничего подозрительного не обнаружил. Дамочка по-прежнему читала свой тайный серенький журналчик, хмурила брови и что-то подчеркивала на страницах длинным, остро отточенным ногтем. Гражданин с нареканиями тоже вел себя смирно, страдал и мучился недоверием в углу, хотя, надо сказать, при взгляде на дамочку приступы недоверия его немного отпускали, он теплел душою, наливаясь помесью стыда и застенчивости. Старичок же, как и раньше, загадочно и бессловесно лежал к проходу спиной, похрапывал и никакого участия в вагонной жизни не принимал.

Ну ладно, вздохнул Григорий Иванович, Бог с ним, с ремешком. Случалось, что и раньше в дорогах и путешествиях пропадал у него именно ремешок. Занятая все-таки штучка, диковинная. К примеру, дамочка попутчица ни там, ни здесь такого ремешка сроду не видела, тонкий свой стан им не подпоясывала. Гражданину с нареканиями он тоже поди ни разу не встречался...

Словом, пришлось Григорию Ивановичу смириться с пропажей, пережить ее в одиночку. Даст Бог, ремешок как-либо вернется. В прежние же годы возвращался: то вдруг обнаружит его Григорий Иванович в селюпо за бочкой башкирского меда, то находил целым и невредимым с начищенными даже бляшками на таких тропинках и стежках, где ни разу до того не хаживал, то вдруг видел его заброшенным высоко на телевизионную антенну рядом с испуганным недремным петушком. А раза два так и вообще была какая-то несурезица. Просыпается Григорий Иванович утром, а пропавший ремешок подпоясан у него на голом теле по всем правилам, галунами и бляшками вниз. Так что непременно ремешок должен вернуться и, может быть, даже еще до конца путешествия.

Григорий Иванович повернулся со спины на бок и вдруг обнаружил новую пропажу. С крючка возле двери исчезла его соломенная, пережившая многие путешествия шляпа. Ну ладно там ремешок, его действительно могло сдуть ветром, вытянуть в оконную щелку. Но шляпа ведь немалого размера, прочная, ни разу до этого не исчезающая — она-то куда могла деться? На пассажиров Григорий Иванович не стал даже смотреть. Ну зачем им подобное сокровище?! Дамочку в такой шляпе, потной и замусоленной, никто не заметит в нынешней разноликой толпе, никто не скажет ей заветного, долгожданного: «Бонжур, мадам», никто не заглянет в ее журналчик, не прочтает оттиснутые ногтем строчки, над которыми она глубокомысленно морщила свои брови. Гражданин же с нареканиями такой шляпы убоится, скажет, не по размеру она мне, не по виду да и не по уму. Хотя тут он, конечно, слукавит. Уж ума-то у него нерастраченного палата, залежи и сокровища, только некуда его применить, некуда пристроить. Оттого и нарекания, оттого и маета, оттого и лысина на всю макушку в молодые, еще ранние годы.

Ну а старику все без разницы, лежит себе спиной к проходу, похрапывает...

Смирился Григорий Иванович и с этой пропажей, откинулся опять на портфель, заложил руки за голову и вдруг почувствовал — нет в портфеле книги. Он встревоженно щелкнул замками, перерыл все квитанции и бумаги — нет! Ну уж это совсем никуда не годилось! Это уж совсем было какое-то издевательство! Столько лет книга жила с ним бок о бок, столько раз выручала в самых дальних и опасных путешествиях, когда от тоски и несправедливости впору было

отчаяться и бросить задуманное дело. Голодный ли, холодный ли бывал в этих путешествиях Григорий Иванович, а возьмет в руки книгу, погладит ее старинный переплет, откроет нужную страницу — и слова оттуда будто сами собой войдут к тебе в душу, обнадежат ее и излечат:

О Боян, соловей старого времени!

И никто до сегодняшнего дня на нее не позарился! Другие книги, случалось, у Григория Ивановича исчезали, а то и сам он их дарил за ненадобностью какому-либо книгочею из командированных. Эту же берег, как берегут только самые памятные вещи, доставшиеся от пращуров. И вот нет ее больше у Григория Ивановича! Нет и, похоже, не скоро отыщется, потому как не ремешок это и не соломенная шляпа, которыми можно покрасоваться да и выбросить. Запрячут ее куда-нибудь за монастырские стены и будут там держать в заточении. С книгами попроще и го, говорят, подобные истории случались. Все знают: есть, должна быть такая-то и такая книга, а вот нет ее лет тридцать — сорок, словно в воду канула...

Что было делать Григорию Ивановичу после этой пропажи?! Попутчики его, истомившись дорогой, исконные свои занятия оставили: дамочка забросила куда подальше журнальчик, гражданин, устав от нареканий, вынул из чемодана бутылочку вина, да и запиrowали они на славу, как и полагается в дороге. Старичок же похрапывал, глядел сны и в пиrowании участия не принимал. Хотя, надо признать, никто его на пир и не приглашал...

Григорий Иванович повернулся теперь на полке ничком, обхватил портфель двумя руками и затих в надежде, что ничего у него больше не пропадет, потому как ничего стоящего у него больше не осталось.

Но не тут-то было! Вдруг прямо из-под рук выскользнул и исчез неведомо куда старый истрепанный портфель Григория Ивановича. Только что холодил щеку — и вот опять-таки нет! Словно кто-то невидимый склонился с вагонной крыши, просунул в окно руку и выдернул его вместе с квитанциями и разными прочими удостоверениями. А ведь и цена тому портфелю три копейки! Разве что замки приглянулись. Замки действительно прочные, стальные, не чета нынешним. Но ведь ключи-то от них давно потеряны! Так что невелика добычка!

С досады Григорий Иванович решил выйти в коридор, а то даже и в тамбур,дохнуть там свежего воздуха да собраться кое-как с мыслями. Но каково же было его изумление, когда на полу он не обнаружил своих изношенных еще больше, чем портфель, сапог. Григорий Иванович заглянул под сиденье, поискал под столом, за которым пиrowали дамочка и гражданин с нареканиями, приподнялся даже на багажную полку. Но сапог нигде не было!

Постоял Григорий Иванович минут пять — десять в тамбуре на холодном полу, много чего передумал, много чего перелистал в своей памяти, много каких поговорок вспомнил, а ничего толком не надумал, ничего утешительного не нашел. Плохи были его дела! Плохи и непоправимы! Решись он теперь даже вернуться назад в Город Городов и начать свое предприятие сначала, так никто ведь не поверит босому и полуголому человеку, никто даже и мысли не допустит, что занят он делом благородным и честным. Проходимец, скажут, босяк, да и без всякой помощи ДОДа запрячут опять в соседи к Семену Семеновичу в учреждение номер девятнадцать.

Одна отрада была сейчас Григорию Ивановичу, одна, надежда, что дорога ему предстояла еще долгая, неизмеренная. Он опять забрался на свою полку, стал глядеть в окошко да слушать, как знакомятся, пируют и хотят уже ехать вместе всю жизнь до последней остановки гражданин с нареканиями и дамочка. Он невольно позавидовал им, торжественным их клятвам и обещаниям, но еще больше позавидовал старичку, который все спал себе да спал на жесткой вагон-

ной полке, никому не мешая и никому не принося радости. Казалось, вся жизнь его в том именно и заключается, чтобы спать без снов и сновидений, а может быть, даже и без всякой надежды на пробуждение.

А поезд между тем все мчался и мчался по лесным и степным просторам, покрикивал, погукивал, веселил на обочинах мужиков, которым тоже хотелось бы куда-либо уехать, да вот не пускают дела, заботы: надо пахать-сеять, косить-молотить, обихаживать скотину и не день-другой, а всю жизнь до последнего своего часа, до последнего дыхания. Какие уж тут поездки, какие дороги, какая благодать за каждым поворотом?!

Полдень давно уже миновал, солнце клонилось к вечеру, и Григорию Ивановичу надо было на что-то решаться. Выбор у него был невелик. Либо ехать до конечной своей станции и предстать там во всей красе и позоре: без сапог, без шляпы, без портфеля, а главное, без ремешка, законной и непреходящей гордости Григория Ивановича. Либо сойти верст за сто до Петушиных Двориков на крошечной: полустанке Деревины да и добираться оттуда пешком лесными потаенными тропинками. Конечно, Григорий Иванович согласился бы скорее всего на первое. Коль довел он себя до такого позора, до такого бесчестия, так не надо его скрывать, не надо прятать от людей. Пусть смотрят, пусть видят, чего стоит человеку гордыня! Он уже почти решил на это, но вдруг вспомнил буфетчицу Зойку, кормившую и поившую его всегда на станции перед дальней дорогой, ее белоснежные салфетки, ее серебряную посуду, ее нежнейшие шаги с подносом в руках... Вспомнил и понял, что заплаканного и оскорбленного взгляда Зойки он не выдержит. Не в его силах, не в его власти. Он упадет перед ней, словно малый ребенок, и тоже заплачет, зарыдает, требуя участия и жалости...

Поэтому Григорий Иванович выбрал второе. К его счастью, поезд в Деревинах остановился глубокой ночью. А это значило, что можно было сойти совершенно незамеченным, неузнанным, поднять с земли палочку да и двинуться потихоньку на Петушиные Дворики, на покаяние к Шестикрылову и на позор всем завистникам, впервые не неся золотому своему петушку в горсти даже самого малого зернышка. Повезло Григорию Ивановичу и во второй раз. При самом подъезде к Деревинам начал накрапывать дождь и, надо сказать, порядочный, обещавший тут же замести все следы босых его ног.

Все у Григория Ивановича вначале ладилось как нельзя лучше. Сошел он незамеченным и неузнанным, подобрал с земли хорошую палку и даже прошел первую сотню шагов по лесной потаенной тропинке. Но рано ликовал Григорий Иванович, рано уже видел себя в Петушиных Двориках, рано сочинял в уме покаяние Шестикрылову! Как только скрылись у него за спиной неяркие огни полустанка и затих вдалеке уходящий поезд, так сразу на лесную тропинку вышли трое с ломиками и монтировками в руках. Двое были ребята крепкие, смелые, третий же жиденький, хлипкий, но зато монтировка у него была повнушительней.

— Снимай костюмчик! — преградили они Григорию Ивановичу тропинку.

Григорий Иванович прикинул: можно было схватить сейчас за шиворот двух, которые покрепче и посмелей, ударить лбами друг о дружку да и положить их, сердечных, крест-накрест на землю. Третий же сам туда ляжет из соучастия и маеты. Сверху, наверное, стоило бы еще привалить для прочности лесину, которая темнеет вон там на обочине, а самому пойти дальше своей дорогой, оставив ребят коротать ночь в единстве и дружбе. Но вдруг такая жалость к ним обуяла Григория Ивановича, что он, ни слова не говоря, стал снимать вельветовый свой, шитый на заказ костюм. Это до какой же жизни, до какой крайности дошли ребята, что ничем, кроме разбоя, на пропи-

тание себе заработать не могут?! Как тут не порадеть их горю, как не посочувствовать, как не отдать последнюю рубаху с плеча!

— Исподнее снимать? — спросил Григорий Иванович, кое-как справившись с костюмом.

— Снимай! — сплюнул на тропинку хлипкий, слывший, судя по всему, в компании за главного.

Нет, умеют все-таки у нас раздеть-разуть! Снимут вначале тулупчик или пальтишко, потом костюмчик и галстук, потом исподнее и завязки к исподнему. Впрочем, завязки, пожалуй, оставят, чтоб было чем человеку наготу свою прикрыть. Но даже и тут Григорий Иванович зря обнадежился: ребята не только завязки ему не оставили, но палочку сосновую сучковатую и ту выдернули из рук и стгнули в темноте, словно привидения, словно нелюди.

И вот остался Григорий Иванович один среди лесных и степных просторов, голодный, холодный, а теперь еще и совершенно нагой. Но деваться ему было некуда, надо идти к родному дому, к Петушиным своим Дворикам. О потаенных лесных дорожках, о луговых тропинках, о широких, разогретых на солнце проселочных дорогах ему теперь и мечтать не приходилось. Ведь не предстанешь на этих тропинках и дорогах в нагом своем виде, не постучишься в лесную сторожку или в дом на околице села за коркой хлеба и кружкой воды. Крестьянин пошел теперь грамотный, книжки читающий, телевизор глядящий; примет он Григория Ивановича за какого-либо снежного или степного человека да выйдет на него всем миром с рогатинами и топорами, и никуда от крестьянского этого гнева не спрячешься, никуда не убежишь. Так что надо теперь Григорию Ивановичу всякого жилья и человеческого глаза остерегаться. Идти надо только по ночам и не мягкими тропинками, по обочинам которых растет иван-чай, а буераками и чащобами, где человеческая нога не ступала...

В последний раз оглянувшись на едва мерцающие сквозь деревья огни полустанка, свернул он в лесные дебри да там и сгинул в надежде пройти за первую ночь хотя бы десяток другой километров...

Тяжелая и безрадостная выпала ему дорога! Дождь, на полустанке только начавший моросить, теперь усилился и насквозь пробивал листья и хвою. Мокрые, словно обледенелые, ветки до крови секли Григорию Ивановичу лицо; босые его, израненные ноги то и дело наткались на какие-то сучья, проваливались в ямы и топи; глаза, залитые дождем и потом, почти ничего не видели, и каждый шаг приходилось делать на ощупь, рискуя упасть на землю и потерять остатки сил... Вдобавок ко всему Григорию Ивановичу начало чудиться, что где-то совсем рядом кричит, взывает о помощи золотой его истомившийся на спице петушок. Избавиться от этого крика было никак нельзя, и Григорий Иванович несколько раз действительно падал на землю, лежал в изнеможении на мокрой лесной траве, упрекая петушка за неурочный бесполезный крик...

Ах, если бы знать Григорию Ивановичу, что не зря кричит и не зря бьется на спице его петушок, что вот уже третью ночь подряд не смыкает он глаз, смотрит и смотрит на Петушиную, недавно отстроенную Шестикрыловым улицу. Если бы Григорий Иванович все это мог знать и предчувствовать, так он бы ни одной минуты не блуждал по лесу, не скрывался бы от людей, а тут же вышел бы к первому попавшемуся жилью на топоры и рогатины, повинился бы перед мужиками да попросил какую-либо одежду, чтоб поскорее добраться до Петушиных своих взбудораженных Двориков, где случилось в эти три ночи совсем уже неожиданное и ни в какие прежние века не случавшееся происшествие.

Но откуда все это было знать Григорию Ивановичу в лесной непроходимой чащобе! Лежал он на мокрой истлевающей траве, обхватив ладонями лицо и желая только одного, чтобы петушок перестал кричать и мучить его неурочными своими предупреждениями.

А случилось в Петушиных Двориках вот что. Пустынная Петушиная улица начала вдруг заселяться сама собой. Первым занял центральный, самый просторный дом совершенно подозрительный тип. Облик у него был вроде бы человеческий, борода с проседью наискосок, волосы на голове тоже человеческие, на щетину не похожие, но глазки свиные, зубы через один, с клыками. Поселился он по всем правилам, с надлежащими подлинными бумагами, где среди прочих подписей была и собственноручная подпись Шестикрылова, хотя тот клялся и божился перед мужиками, что сроду такого исчадия не видел. Но дело было сделано, и новый жилец уже располагался на Петушиной улице со всем своим семейством. А оно, надо сказать, было немалое: три жены и трое детей, тоже все со свиными глазками.

Вместе с этим семейством в доме появился еще один жилец из той же свиной породы, день он стоял на часах, произносил всего три слова: «Не велено пускать», да целовал при каждом входе и выходе своего старшину и трех его жен в плечико.

А тот, едва успев заселиться, едва успев занести в дом четырехспальную неразборную кровать, прибил над воротами лозунг «Мы в перестройке участвуем!» и умчался на другой конец улицы, где тоже уже праздновалось новоселье. Да еще как! Прорыв от реки Излучины канал, подведя его к самому дому, там поселилось сонмище водяных и русалок. И опять-таки поселилось на законных основаниях, так что Шестикрылов только руками развел и не посмел даже обжаловать это заселение в районных инстанциях.

Свиной человек бросил у порога велосипед и нырнул в залитый водой дом, в самую гущу русалок, нимало не заботясь о том, что женщины они только до половины, а дальше обыкновенные рыбы с чешуей и хвостами. И вот среди белого дня, на виду у изумленных Петушиных Двориков началось в этом тинной облепленном доме такое веселье и такие страсти, что нам лучше отвернуться и уйти, не оглядываясь и не описывая всего, что там делается...

Но и на других подворьях встретят нас жильцы не абы какие. В доме посредине Петушиной улицы поселились три девицы, пышнотелые и пышногрудые, но решительно с гусиными головами и шеями. Крепко взявшись за руки, они заключили в круг какого-то мужичишку, заросшего недельной щетиной, в курсантской затрепанной форме со споротыми погонами. Не давая мужичишке опомниться, гусыни клевали его длинными, заостренными клювами, дорывали и без того ветхую его одежку, до крови ранили худое его тело, всюду, оказывается, поросшее щетиной. Мужичишка крутился вьюном, просил пощады, давал клатвы, но гусыни в ответ лишь погогатывали да ревниво следили за русалочьим домом, гадая, придет к ним на закате солнца человек со свиными глазками или останется в тине и воде навсегда.

На другом конце Петушиной улицы в одном из домов вдруг само собой образовалось какое-то учреждение. Его директор, крепкий, жилистый старик с орлиным костяным носом, привыкший ходить заложив руки за спину, приказал немедленно выкрасить стены в черную краску, так что Шестикрылов несколько раз натыкался на них, принимая дом за пустое темное пространство.

Еще несколько домов заняли якобы сбившиеся с дороги путники. Но к вечеру все они тоже оказались каким-то зверьем, не то летающим, не то ползающим. Закрыв на все запоры окна и двери, они подняли такой вопль, такой рев, что даже в русалочьем водоеме на мгновение затихли веселье и стенания...

По чердакам всюду поселились артели командированных. По виду вроде бы люди, при галстуках и часах, но с очень уж подозрительными замашками. Ночи напролет они играли в карты, бросали серебряную монетку, бегали куда-то за вином да с вождением поглядывали на трех томящихся под присмотром жен разгулявшегося, кажется, не на шутку свиного человека.

Почти обезумевший Шестикрылов носился от одного дома к другому, стучался в двери и калитки, христом-богом просил: «Ладно, живите, пользуйтесь крестьянским добром, но ведь уборочная на носу, выйдите хоть на день-другой в поле, подсобите Петушиным Дворикам!»

Но в ответ несся такой хохот, такое негодование, что Шестикрылову лучше всего было бы исчезнуть с лица земли. Но как тут исчезнешь, как спрячешься! То вдруг заманят его водяные и русалки в свои тенета, заставят нырять на самую невозможную глубину, обниматься и плавать с ними. То затянут его командированные на чердак, усадят за картежный стол и, если проиграется, гонят в потаенное место за вином и закусками. То пригласит его вдруг директор темного дома и, постукивая орлиным клювом по столешнице, задеет такое собеседование, что Шестикрылов выйдет оттуда весь мокрый от пота.

На третью ночь, когда все дома оказались занятыми, новые жильцы решили устроить общее новоселье. По берегам реки Излучины, где в прежние годы Шестикрылов не раз принимал высокое районное и областное начальство, вспыхнули небывалой силы и разлива костры. Всюду были расстелены белые скатерти и накидки, появились вино, закуски и снадобья, заиграла какая-то дьявольская потусторонняя музыка. Все жильцы высыпали на берег, принялись пить и гулять без всякого разбора и оглядки. Костры разгорелись уже вполне, освещая реку Излучину, в которой кишмя кишели водяные и русалки, от берега до берега ныряли гусыни, победно хрюкал и призывал перестраиваться человек со свиными глазками. Никто не мог устоять перед таким разгулом: ни командированные, которые совершенно забыли о своих каргах и монетке и теперь гонялись кто за гусынями, а кто за русалками; ни хромой мужичок, пивший и гулявший чуть в стороне в одиночку, радуясь, что гусыни нашли себе другое занятие; ни даже директор темного дома, впервые высвободивший руки из-за спины и теперь загребаящий все, что ни попадалось на пути.

Но и этого гуляющим было мало! В полночь они начали выманивать из домов на музыку и танцы вначале деревенских женщин, мгновенно забывших, что всего через каких-либо три-четыре часа им надо подниматься к скотине, а потом и мужчине, которые, конечно же, не могли устоять перед дармовой выпивкой и закуской...

И вот веселье уже стало всеобщим. Даже Шестикрылов, поддавшись ему, махнул на все рукой и пустился в такой перепляс, что костры на берегу реки Излучины на мгновенье сбавили пламя, а свиной человек высунулся из воды в обнимку с очередной русалкой и захохотал диким, всепобеждающим хохотом.

И лишь один золотой петушок Григория Ивановича третью уже ночь криком кричал на телевизионной антенне, поворачивался то на восток, то на запад, на разгорающиеся костры, звал и будил все живое в округе. Но разве кто мог услышать и увидеть его в этой ночи, в этом безудержном веселье и вакханалии?! И вот когда на горизонте начал уже загораться новый день, когда заалела на востоке крохотная полоска, петушок вдруг расправил крылья, оттолкнулся от телевизионной антенны и, словно какая-либо ранняя перелетная птица, улетел в ночную, со звездами еще, поднебесную высь...

Оторвите от земли головы, посмотрите в предрассветное небо — не пролетал ли он над вашим селом, над вашим городом или над вашей страной?

...И еще! Почему это вдруг на телевизионной антенне Григория Ивановича поселилась крохотная речная ласточка, почему она так кричит и так щебечет на восходе солнца... и почему от этого щебетанья так болит у меня душа?..

ОЛЬГА СЕДАКОВА

*

ПОТОМУ ЧТО ВСЕ МЫ БЫЛИ

Элегия смоковницы

Ивану Жданову.

Дерево, Ваня, то самое, смоковницу ту
на старой книжной гравюре, на рыхлой бумаге верже,
узнаёшь?

Листья еще сверкают, ветки глотают свою высоту.
Но время вышло. Гнев созрел. Слово в горле уже.

*

— Бедная,— говорю я в себе,— ты свое заслужила.
Ты масла с собой не взяла, ты терпенья в ум не вложила
и без факела выйдешь, без факела выйдешь — позор! —

*

к Тому, кто не извещал ни о дне, ни о часе,
но о том, что небо нуждается в верности,
светильник — в масле,
жажда — в плодах.
Остальное приходит, как вор.

*

Вот и не войдешь в дом этой свадьбы, в среду ликованья.
И не прольешь, обмирая от недоброго предсказанья,
дорогой аромат, за который ты отдала

*

все, что имела.
И не проводишь Его на мученье,
чувствуя, как сыновнее предпочитают почтенье
всей надежде и помощи.
И как смерть подошла

*

не изнутри, но требуя приказанья:
Открыто —
войди!
И все, что прежде: что осмеяно, оплевано, бито,
что чужим достанется, как нешитый хитон.

*

А ты выбирала, безумная, жить. Правда, любой выбирает.
Жить и смотреть без конца, как весна идет, птицы играют,
птенцов выводят, колосья блестят, шумит каменистый Кедрон...

*

— Я просил — ты помнишь, Он говорил? — что Я дам, дело другое,
дело не ваше.
Я болен — кто навестил меня?
Я пить хочу — где чаша?
Лисы язвыны имут и птицы гнездо, я стучу — где мой дом?

И я руку поднимаю
и дотрагиваюсь — и при мне
рвется человек, как ткань дурная,
как бывает в страшном сне.
Но от замысла их озлобленья
не прошу я: сохрани! —
бич стыда и жало умиленья
мне страшнее, чем они.

Как глаза, изъеденные дымом,
так вся жизнь не видит и болит.
Что же мне в огне твоём любимом
столько горя говорит?

Если бы ты знал, какой рукою
нас уводит глубина! —
о, какое горе, о, какое
горе, полное до дна.

Мне страшнее, старец мой
чудесный,
нашего свиданья час,
худоба твоя, твой Царь Небесный,
Царь твой тихий, твой алмаз.

Ветер веет, где захочет.
Кто захочет, входит в дом.
То, что знают все, темнее ночи.
Ты один вошел с огнем.

III

И как сердце древнего рассказа
бьется в разных языках —
не оставивший ни разу
никого пропавшего, проказу
обдувающий, как прах,
из приюта поколенья
собирающий Себе народ —
Боже правды, Боже вразумленья,
Бог того, кто без Тебя умрет.

Земля

Когда на востоке вот-вот загорится глубина ночная,
земля начинает светиться, возвращая

избыток дареного, нежного, уже не нужного света.
То, что всему отвечает, тому нет ответа.

И кто тебе ответит в этой юдоли,
простое величье души? — величье поля,

которое ни перед набегом, ни перед плутом
не подумает защищать себя: друг за другом

все они, кто обирает, топчет, кто вонзает
лемех в грудь, как сновиденье за сновиденьем, исчезают

где-нибудь вдали, в океане, где все, как птицы, схожи.
И земля не глядя видит и говорит: Прости ему, Боже! —

каждому вслед.

Так, я помню, свечку прилаживает к пальцам
прислужница в Пещерах каждому, кто спускается к старцам,

как ребенку малому, который уходит в страшное место,
где слава Божья, — и горе тому, чья жизнь — не невеста,

где слышно, как небо дышит и почему оно дышит.

— Спаси тебя Бог, — говорит она вслед тому, кто ее не слышит...

...Может быть, умереть — это встать наконец на колени?

И я, которая буду землей, на землю гляжу в изумленье.

Чистота чище первой чистоты! из области ожесточенья
я спрашиваю о причине заступничества и прощенья,

я спрашиваю: неужели ты, безумная, рада
тысячелетьями глотать обиды и раздавать награды?

Почему они тебе милы, или чем угодили?

— Потому что я есть, — она отвечает. — Потому что все мы бы и.

Бабочка или две их*Памяти Хлебникова.***I**

Те, что жили здесь, и те, что живы будут
и достроят свой чердак,
жадной злобы их не захочу я хлеба:
что другое, но не так.

Но и ты, и ты, с кем жизнь могла бы
жить и в леторасли земной,
поглядев хотя б глазами скифской бабы,
но, пожалуйста, пройди со мной!

Что нам злоба дня и что нам злоба ночи?
Этот мир, как череп, смотрит: никуда, в упор.
Бабочкою, Велимир, или еще короче
мы расцвечивали сор.

II

Бабочка летает и на небо
пишет скорописью высоты.
В малой мельничке лазурного, оранжевого хлеба
мелко, мелко смеются чьи-нибудь черты.

Милое желание сильнее
силы страстной и простой.
Так быстрее, быстрее! — еще я разумею —
нежной тушью, бесполезной высотой.

Начерти куда-нибудь три-четыре слова,
напиши кому-нибудь, кто там:
на коленях мы, и снова,
и сто тысяч снова
на земле небесной
мы лежим лицом к его ногам.

Потому что чудеса великолепней речи,
милость лучше, чем конец,
потому что бабочка летает на страну далече,
потому что милует отец.



БОРИС ПАСТЕРНАК: НЕИЗВЕСТНАЯ ПРОЗА

Перед читателем неизвестный доселе текст Бориса Леонидовича Пастернака. Это фрагмент повести, заглавие которой утрачено. Название же фрагмента сохранилось: «2-ая картина. Петербург». Отрывок посвящен Петрограду эпохи революции. Автор текста не обозначен, но принадлежность его Пастернаку бесспорна.

Рукопись «Петербурга» обнаружена в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР при научном описании фонда Лили Юрьевны Брик и Василия Абгаровича Катаняна. Это 23 машинописных листа по внешнему виду первой половины или середины 20-х годов. Листы несколько большего, чем современный стандарт писчей бумаги, формата, характерного для рукописей того времени. К сожалению, сам фрагмент сохранился не полностью. Конец рукописи утрачен. Над текстом на первой странице карандашная надпись следующего содержания: «Прочтите со стран<ицы> 17 до 24. Там полагаются места излишней, недействительной и невыразительной сложности. Течение повести затормаживается и останавливается. То же самое и на 34-й стр<анице>». То, что эта надпись—автограф Пастернака, не вызывает сомнений. Его же почерком сделаны пометы на полях на 4 и 17 страницах: «для прозы тяжело» и «тяжело». Вся остальная правка в тексте (тоже карандашная) сделана почерком, похожим на авторский, но все же иным. С некоторой долей сомнения его можно считать почерком Александра Леонидовича Пастернака. В основном правка состоит из исправления опечаток и настрочных надписей пропущенных слов, иногда это мелкая стилистическая правка. Исключение представляет вставка на обороте страницы 11, где вписаны от руки полтора абзаца текста, возможно пропущенного при печати. При публикации опечатки и мелкая стилистическая правка не оговариваются. Зачеркнутое автором берется в угловые скобки.

Как рукопись Пастернака оказалась в фонде Л. Ю. Брик и В. А. Катаняна? Дело в том, что отношения с Лефом и Маяковским в середине 20-х годов еще не были у Пастернака окончательно испорчены. Он летом 1926 года бывает в Гендриковом переулке, участвует там в чтении поэм Цветаевой¹. Возможно, он предложил Маяковскому или О. М. Брику прочесть перепечатанный отрывок его ранней прозы в том виде, в котором он существовал, и высказать мнение о возможности его публикации при существенной доработке. Пастернак хотя и редко, но печатался в «Лефе». В 1925 году он передал туда фрагмент «Из записок Спекторского». Запись об авансе за этот фрагмент есть в приходо-расходной книге журнала «Леф» за май 1925 года². Так или иначе, текст незаконченной повести Пастернака оказался среди бумаг грузей Маяковского.

Когда же Пастернак работал над нею? Скорее всего ее можно датировать концом 1917 — началом 1918 года. Тематически и стилистически эта проза кажется близкой другим работам Пастернака того времени — «Письмам из Тулы», «Безлюбью», «Диалогу». С некоторой натяжкой и осторожностью можно предположить, что этот отрывок и «Безлюбье» — куски одного неосуществленного замысла. Точная датировка настоящего отрывка пока еще не представляется возможной.

Судя по письмам к О. М. Фрейденберг, в 1924 году Пастернак собирался написать некий рассказ для сборника прозы, договор на который был заключен с Ленгизом³. В письме М. И. Цветаевой 13 июня 1926 года он говорит о желании переписать раннюю рукопись под названием «Чужая судьба»⁴. Возможно, публикуемый фрагмент имеет отношение к одному из этих замыслов.

Текст публикуется с любезного разрешения Василия Васильевича Катаняна. Публикатор благодарит за помощь и ценные советы Елену Владимировну и Евгения Борисовича Пастернаков и Иосифа Львовича Беленького.

Публикация, вступление, послесловие и примечания М. А. РАШКОВСКОЙ.

¹ См.: «Дружба народов», 1987, № 9, стр. 226—227.

² ЦГАЛИ СССР, ф. О. М. Брика, № 2852, без шифра.

³ См.: «Дружба народов», 1988, № 7, стр. 218.

⁴ См.: там же, 1987, № 8, стр. 258.

2-ая картина. ПЕТЕРБУРГ

1-ая глава (Вокзал)

Поезд последними широкими шагами, как спешащий, достигающий цели и приободившийся пешеход, отпыхиваясь, остановился у дебаркадера и стал сдавать пассажиров. Он вынимал их, как добрый святочный гость игрушки из оттопыренных карманов, и расставлял по платформе. Сначала они, бессильные и непонимающие — где они и что с ними,— группировались и чернели каждый у своего кармана — вагона. У них тоже оказывались свои карманы, из которых тоже что-то вынималось, и уже после этого они приходили в действие, словно у них кто-то заводил механизм, и опять игрушечно, не по-настоящему, не по-людски быстро-быстро, толкая друг друга и ничего не видя вокруг себя, они бросились в направлении летящей и прибитой к серой стене вокзала стрелы и рядом с ней черного слова — «вход»! Эта стрела символизировала их стремительность.

Не дойдя до барьера решетки, люди натыкались на обратный полет той же стрелы с надписанным внизу словом — «в ы х о д». (...И трудно себе представить, что стало бы с городом за время существования ж. д., если бы не этот «выход»...) При этом они поднимали головы, вытягивая шеи друг над другом, как будто что-то главное было там, впереди, и из-за него они могли не видеть окружающего. Они набегали друг на друга, механически, как заводные, говорили «pardonnez», это спасающее когда-то русских французское слово, на звук которого, как на пароль, сдавались все: произнесший его мог безнаказанно толкнуть еще раз и проложить себе дорогу к цели. Знанием этого слова обладали не все, и не обладавшие им оставались позади.

В этой механизированной обстановке сегодня было четыре «живых» человека. Они вышли со своим несложным ручным багажом и, сразу выделяясь из всех обычных, узаконенных своим неожиданным внешним видом, казалось, требовали к себе чьего-то особенного внимания.

Это внимание было им уделено. За ними наблюдал кто-то такой же свежий, такой же не слизанный языком однообразия, и этот наблюдатель звался Жизнью.

Жизнь сразу же отметила своих и здесь. Во-первых, она им подсказала, что там, где топчутся,— и топчут. И что поэтому им следует быть здесь настороже — в особенности, если у них есть свои завоевательные планы. А планы эти были, и были вывезены отсюда, откуда вместе с Жизнью перекочевали они сюда...

На каждой станции и при всяком удобном случае из окна вагона, в особенности, когда можно было его открыть и высунуться, сверялись они с нею,— она с ними. Часто влетала она шумом ветра на повороте или уклоне, густым и свежим, сдавленным в оконный глоток воздухом; врывалась в вагон и шевелила пальцами волосы своих четырех сыновей.

Нетерпеливая, как мать, она то и дело справлялась о них и, обласкав, вылетала обратно, оставляя детей дотерпевать день и потом полдня и, наконец, несколько минут в этих вневременных домиках, герметически закупоренных от «настоящего» и катящихся между прошлым и будущим.

Иногда было странно, отводя глаза от шелухи подсолнухов, окурков и плевков на полу вагона, встретиться с вечером или полднем там. Там все это было и подавалось в окно большими, щедрыми и аппетитными кусками: то это было стадо сгоняемых к водопое слитно мычащих коров,— и это означало полдень в августе.— То это была кавалькада бесседельных наездников, мчащихся вихрем в обгонку поезда ниже насыпи мальчуганов, и это был вечер, торопящийся звезды и тишину покоя и созерцания: «в ночное»¹.— То это была девушка, садящаяся в соседний вагон 2-го класса, и провожающая ее остающаяся здесь мать. Тогда это был такой-то год; революционное время; такой-то год девушки, порывающей со всем прошлым: с теплым крылом матери, с знакомой лампой в столовой по вечерам, с знакомой ночной библиотечной полкой, откуда рвался мир, в который теперь рвалась она, с знакомыми голосами птиц под окном и — что все то, что там позади, исчезнет с ее отъездом.

В жертвенный рот постоянного движения поездов совались куски пейзажа, целые жизни. Казалось, все, что текло, притекало роковым образом к рельсам и покорно склоняло свою голову на рельсовый путь, и железное чудовище торжественно перерезало в каждом метре своего вращения бесчисленные жертвы выкупающей будущее,—

пошедшей на приманку быстроты,— жизни. Жизнь поэтому заглядывала в вагоны вездесущим глазом, отыскивала своих и предостерегала их: «Я здесь!»...

«Здесь, здесь!»...— рубили колеса на стыках...

Теперь жизнь предупреждала своих четырех: «Держитесь крепче за меня и вслушивайтесь в мои знаки. Для чего иначе одарила я вас чувствами и предчувствиями, как не для того, чтобы вы умели пользоваться ими — завоеватели?»...

Во-первых, она им все это сказала. Во-вторых, по запаху гари и города, волнующему и полному мужества, они догадались, что здесь есть и их стихия. И в-третьих,— и теперь это было самым главным — они поняли, что переступив порог этой станции, переступят они ту границу, к которой шли и не ожидали, что так близка.

Так на них ты различаешь, читатель, в разных местах этой повести начавшее звучать, чтобы где-то прийти к созвучию и быть разрешенным в гармонию, время.— Время, сегодня одевшее на себя четыре разных тела. * Время — сухой скелет, обросший их индивидуальностями — (т. е. вневременным или, еще вернее, безвременным,— потому что индивидуальность — Платонова идея).

И они, не спеша и как бы в нерешительности раздумья, последними прошли в вокзал.

Их досадливо ожидали, уважающие заведенную в правилах вокзалов торопливость игрушечных, контролер и часовой у решетки — тоже игрушечные, которых разбудили и заставили быть живыми,— (раз уж разозлившимися),— эти отставшие последние подошедшие к сетке, где у них полагалось отбирать билеты.

Это было видно по тому, как хлопнули вслед им железной дверкой: она два раза отскочила, прежде чем прихватилась зубами замка, и по всем делениям проводочного невода, ловящего рыбу городов, долго отражалась рябь ударившейся о берег волны их злобы...— звяканье «цзы-цзы... ц... з!».

При этом четыре ** были лишены билетов.

Я уже сказал, что в запахе гари уловили они себе родное, успокоительное и тянулись к нему. Никифор уловил себя на чувстве беспокойства, когда у буфета запахло закуской, свежими булками, духами и сигарой «игрушечного», заглушая настоящий верный запах.

Ему, как сеттеру, захотелось лайнуть от досады на эту потерю. Задыхаясь еще от бега, удовлетворенный, он останавливается у кочки, откуда тянуло бекасом, и — весь напряженье — стоит и втягивает в себя волнующий дух дичи, и вдруг его относит ветром. Он еще не решается проявить беспокойство, но весь подергивается от нетерпенья и взвизгивает какой-то судорогой живота: бекас взлетает.

Такой же судорогой повело и Никифора, когда вдруг сбил этот запах духов и сигары! —

Он поторопился уйти от стойки и опять попасть в полосу желаемого запаха.

— Как хорошо пахнет Петербургом! — захотел он проверить остальных. Все переглянулись: оказывается, это было общее удовлетворение.

Читатель удивится такой длительной остановке на, казалось бы, незначателем моменте различения ими этого Петербургского запаха. Но в это ощущение вкладывалось ими так же инстинктивно, как в трижды переписанный мазок живописцем, и так же упорно, как им, его последний вкус.— Он знает, что тó и есть возбудитель, он чувствует, что здесь ключ для зрителя,— что им он вскрывает тайну своего сердцебиения, вводит в намагниченную творческую среду. Этот мазок неразличим отдельно, но он-то и дает зрителю фокус картины.

Они чувствовали себя также сразу попавшими в полосу искомого — на верном следу: здесь им надлежало быть. И это страшно волновало. Вспоминался отличный от этого запах солнечной, запекшейся от лета земли,— запах клейких весенних листьев: там было — зрелость и рождение, здесь — смерть (законная, как стадия развития). Эти моменты, как полюсы, давали искру: зажигалось и билось в пульсе напряжение, так необходимое, и было больно, как от подведенного электрического тока, и вместе сладко. Это тянуло.

Нет, в этом не было специфического плакатного запаха заводских труб, хотя сейчас здесь и нуждались в плакате.— О, нет, этот запах не давался на зубок подстрочника, зачитанного букварика времени.

* Далее, до конца абзаца,— отчеркнуто. Надпись на полях рукой автора: Для прозы тяжело.

** Курсив. (Помета автора на полях.)

Он уходил широкими плечами в седину людских возрастов,

Да, очень может быть, что он попахивал страницей Достоевского, ибо страницы Достоевского хранили его,— ибо этим страницам не существовать бы — не обладай художник вкусом и не измерь он удельный вес дыхания туманов Петроградских болот...

Может быть, именно этот запах довел когда-то Петра до галлюцинаций, чтоб он увидел город во всей его далечайшей исторической будущности — вплоть до настоящего момента, чтобы скользить по нем и дальше*.

Казалось, в настойчивости этого запаха был заказ исписывать еще и еще жадные, отдающиеся почерку страницы: неудовлетворенность, мужественность, головокружительная активность, почти безумие действия выдыхалось в нем.

2-ая глава (Первая пара)

Невский тонул в тумане.— Четыре разбрелись по парам: одной надо было идти в коалиционную (правительственную) пятерку, другой не надо было никуда.

Они вошли в туман, как в сказочную заводную табакерку, в которой выгаллюцинированный город играл вступление,— темп был медленно...

Рвали туман только восточные лица, отчасти лица южан. Какой-то нелепейший, как солнце на Шпицбергене, туркмен в чаалме, под зонтиком топил не только воздух — стены.

От четырех скул, взятых нами под наблюдение, как корпией, рвалась простыня туманов на чью-то рану. Раной могла быть мостовая. Было больно от проезжавшего автомобиля; от подков коня она страдала невыносимо.

Крик мостовой и крик копыт был взрывом музыкального клохтанья.

Дирижирующий при этом брал палочку тремя пальцами, и палочка вибрировала, как и жилка на седом виске.

Малейшее движение вправо раскачивавшегося Направника²: — чаалма и скулы звенели, как медные тарелки... Проститутки и чиновники, новый народ, войной окрашенный в серое, входил в лейтмотив тумана. Трамвай позвякивал, как дверь на звонке в фойе театра. (И всякий раз при этом казалось, что входят новые лица и войдет кто-то нужный, кого здесь ждут.)

<А может быть, звонками Раскольникова.>

<Припоминались>

Занавес был еще опущен.

Сморкался капельмейстер. В ложах шуршали платья, поправляли шейфы, облачивались лорнетами.

Вошли мужчины: открыли лысины, извинились, что опоздали... Кин брился. Вместо него вышел актер на вторые роли и предупредил о чем-то капельмейстера. Тот вновь показал манжеты, взмахнув ими, как ученая птица, показывающая десяток лет в Зоологическом снововку утерянному права лета, и улыбнулся посочувствовавшему соседу — первой скрипке: оба знали сейчас свою обязанность подтвердить торжественность момента секретом у рампы — и это было более действительно, чем первый и второй звонок. Электричества не было — фикция, но для толпы и этого (и шевеленья у рампы) было достаточно. Здесь запах гари подменялся запахом дорогих и потому дешевых сигар.

Они будут играть Шекспира!!!

— Галерки не было — она была в пригороде...

Двое свернули с Невского и пошли по Шлиссельбурке. Лавра и дальше амбары сразу могли дать понятие о XVI веке; здесь действительно мог бродить Лир с сотней добрых Корделий.

Здесь красочность декораций позабывших о лаконизме их языка художников лишалась места: оно отводилось актеру.

На каждом булыжнике читался жирный шрифт афиш о трагедии с соблюдением трех единств.

На бревнах, десятилетиями не дотянутых до места провала, берега которого они должны были соединить (и куда они завезены были размахнувшимся в росчерке городским думцем, а потом деревенским людом), читалась та же надпись. Бревна репетировали.

Афиша была на чайных, прачешных; она же была на лицах едущих на паровичке.

* Может быть, начал уже галлюцинировать иной строитель. (Прим. авт.)

В наивности метел, приделанных к футлярам колес, чтобы сметать щебень, крошащийся в рельсы, была наивность сказки о Бабе-яге, заметающей след. Паровичок казался прирученным ежом в кухне, куда ради него ходят дети хозяев каждый час, и он это знает и добродушно чмышет...

Запах гари здесь был доведен до полного совершенства. Пора было появиться и Кину.

3-я глава. Перед выходом

Четыре рвущих туман скулы, с четырьмя проведенными сквозь время пригорода, сквозь это двухсотлетие от впадения кого-то там в галлюцинацию, глазами преодолевали косность времени, как пространства, легшего между ними, и продолжали галлюцинировать... (Все тоже.)

Им это также снилось вместе с миром. Мир спал, как мать, что бредит детьми, и дети слушали — они не спали.

Бред матери — жизни, что ль, родины ль? — но этому четырехглазому пешеходу казалось знакомым... Он предчувствовал уже по вступлению, как скорлупе опавшему и совлекшему с поврежденного маской лица белый гипс туманов, — что эта наступающая ночь (а до нее оставалось еще столько шагов, сколько надо для того, чтобы и мы, идя за ними, могли бы быть достаточно подготовленными ко встрече), что эта ночь покроет своим «сегодня» значение города со всеми двухсотлетними его аксессуарами.

Брались октавы, которыми помимовольно побуждались к дальнейшему пальцы глухого.

Лошадиные бега по клавишам камней бывают громче, чем Бетховен.

Музыкант наконец перестал настраивать первую скрипку. Направник перестал демонстрировать держащие на нервах партер белейшие манжеты. Они давно были поглощены и втянуты, как эти пешеходы в улицы, в лабазы, не монастыря — не музыкальной пустоты, — в игру великого.

Кин вышел... Последней музыкальной фразой (паузой) была часовня Мать Всех Скорбящих — это граничило с голосовой возможностью скрипки. Скрипка добирала уже, как обертывавшееся над звездами озеро неба, тогда как звезды слишком навалились (они очутились теперь в обратном зеркале: озеро со звездами падало сверху, небо тонULO и втягивалось в болото), звезды были на куполе часовни. На нее нельзя было глядеть без головокружения. Выносили чей-то гроб...

Музыкант испытывал тоже головокружение: стоя на одной ноге и отводя, как бы в падении, другую, он старался так, не перелив ни капли и не нарушив двух глубин, — переместить их звуком; и затем играть на самых низких и успокоительных, как бром, тупящих нотах. И тотчас же вас усыпить, не дав почувствовать всей остроты падения.

В тех случаях, когда рвут связки самых эластичных сгибов, дают страдающему морфий.

И шок, закупоривающий дыхание скрипачу, излечивался глотком воды.

Была даже салфетка, предохраняющая шею... Часовня была этим бромом.

Низкими нотами колокола лечили скорбь...

4-ая глава. Кин

Они — двое — прошли широкую, вдоль целой улицы писанную забором рекламу — «жестяно-гвоздильный завод»... Дом, глядевший из тупика вдоль этой улицы, был желтым гробом: форма его, — то, что он был с мезонином, — казалась пирамидой гробов с последним сверху; вокзальный цвет окраски.

Дом-гроба поглядывал восьмью глазами с куриной слепотой гераней в стеклах (о, этот запах цветочного горшка!) вдоль жестяно-гвоздильной улицы. Название ее было Прогонная, и черный палец «к сапожнику» указывал и куда гнать. Он мог быть истолкован двояко — этот черный палец...

На ней постоянно дул сквозняк. Одна щель выходила сквозь все восемь заплесневевших разгераненных глаз тремя такими же с затылка на сквозной двор — дальше, через Неву, на Охту.

Там был лес, туда тянуло пригород в праздники. И эхо условленного оклика «рябина» — «рябинушка!» — долетало оттуда, как «вуу — штоо?!..». Этим кончалась щель.

Дальше была уже географическая карта Европейской России и — в бинокль ее не было видно.

Другая — с противоположного конца. — На этой щели была надпись «Чайня С. Букетова».

Синяя вывеска, недавно выкрашенная, пахла дешевой шоколадкой в желатиновой обертке с вклеенным ангелом или букетом, той, которой украшают елки в пригородах их благотворители (из года в год снимаемая и пряча в жестяную коробку до следующих вихростых поколений).

На вывеске С. Букетова по естественной ассоциации вывесочных дел мастера — два розовых букета (наследственной герани в рыжих глиняных вазочках).

Не жил ли С. Букетов в грободоме? И не нарочно ли «чайня», имевшая такой же мезонин и спицы на нем, и высунулась брюхом вперед и отошла на мостовую два лишних шага, чтобы беззастенчивый Эс. Бук. (назовем вкратце) мог всеми восемью подслеповатыми оттуда наблюдать из-за сербаемого и студимого блюдечка (с букетами же) и одурманенного соседством с ним самовара — свой увеличенный «с расчетом на сто персон» самовар-дом и гордо помысливать, макая усы и приглатывая к шее бороду, о том, что переулоч-то, собственно, наш, ибо по нем, кроме сапожника Семиона Владимировича, никто не вывесил вывесок и не приглашал к себе, и не потому ли (наконец да!) — и называется он Прогонный, что по нему не столько раз проходят глухие рогоживотные на пастбища, сколько бегают Мишка, Терентий и прочие половые чайного дома Семиона Букетова и Сам старший тезка сапожника, Семион Титыч Бук., как крещен был маститый «чаепитыч» добрососедством с неоскорбительным дружелюбным лукавством... Елочным благотворительством казалась вывеска, и ей не приходилось жаловаться на неблагодарность.

Посетители захаживали, засиживались и хвалили...*

Этим людям, чьи чайня не кончались, а лишь начинались за чайной вывеской... холились чайня, о которых в голову не приходило потребляющим густой, на соде, китайский напиток.

Чайня эти простирались вплоть до вещей политического порядка. Вплоть, например, до мечты о конституции (купеческой), где бы благородные роды принуждены были сесть рядом с благородным капиталистом в столь засаженной поддевке, пахнущем канарейкой и цветочным (геранным) горшком, чьи бороды напоминали запяленные и сбившиеся от частой мойки тюлевые занавески.**

Круто деревянными были шаги по этому переулку, когда на утренней и вечерней заре проходили, мыча, животные, пахло временами Ноя.

Някифор припомнил осень прошлого и лето будущего года.

Он вспомнил, как ветер, дувший постоянно вдоль Прогонного, взметал бумажки: бумажки танцевали. После танцевали девушки; на них были цветные косынки; гурьбой они вошли и вышли со смехом, относящимся к нему, — со смехом, полным молодых восторгов странному, так взволновавшему их посетителю и доброго пути ему, — вытанцевали, а не вышли они на крыльцо, и еще ветер долго доносил обрывки звонких голосов, как клочки дорогих писем, разорванных и пущенных по ветру.

Два года, прошлый и будущий, дугой перегибались над настоящим — таким недотрогой, — хохотали и радовали. Алгебраическая формула с двумя неизвестными, веселая парад — наслаждение для гибкого, свежего, требующего движения ума. Темперамент был окован ненужной миссией. Меловой маской миссии прикрыли и хотели придушить румянец. Маска срывалась, румяня щеки еще сильнее.

Но слепщик шел рядом и примеривал белые, как гипс, слова к душе взбунтовавшегося вдруг спутника.

Он и он: у четырехскулого появилась тень и раздражала. Игра случайно находила новые поводы, тема варьировалась. Кин играл.

5-ая глава. Комната

Занавес опять отдернулся, открыв болото и четыре корпуса; один был институтом, остальные — приютом сумасшедших — материалом института, здесь их изучали.

* Далее вставка на обороте листа карандашом.

** Конец карандашной вставки.

В них искали разгадку — ключ к бытию. Свое падение неизбежное старался звать заранее, к этому выработался элементарный вкус. Кин вышел — пригород торжествовал: галерка хлопала им сумасшедшими домами.

Никифор и Даниил искали комнату. У них был старый адрес брата, оставшегося в следующей паре: «Морев, рабочий цеха медников, Екатерининская 9.1». Они дошли. Хозяева их знали по фотографиям, оставшимся от прежнего жильца. Их напоили чаем с леденцами, сырыми блинчиками из картофельной муки (по рюмке водки) и показали комнату: ту самую, в которой жил Глеб. Алексей Михайлович Морев обещал пристроить на завод.

— Что, не хотите быть табельщиками? Ну, нет, в жестяницкий не рекомендую, будете вот так токовать, как я, весь разговор испортите. Куда-нибудь уладим. Токарями. На Механический не выйдет! Ладно!.. Как Глебушка?..

Да, комната была «та самая», т. е. в ней были все признаки, идущие из будущего. Угадывали по приметам: когда уселись здесь, казалось, вот и возвратились из долгих странствий.

Горька была чаша этой комнаты, но в этом-то она больше всего и ценилась. Горечи ль не быть? Только скорее бы все шло и делалось. Они томилась.

Старшая, Лея, принесла цветок в старой коробке из-под монпансье (здесь называли это «ландрином»). Цветок посажен Глебом. Ему уже три года. Он периодически то умирает, то оживает вновь, сейчас он ожил — да, «с неделю места». Ожил, извольте видеть!..

— Как Глебушка? Где есть сейчас? — спрашивает Алексей. Условлено было не говорить, что Глеб приехал.

— Работает,— эсэрничает.

— Та-ак... А вы — позвольте?..

— Мы — большевики..

Посмотрел, порезал ножиками глазных щелей: выдерживают.

— Это спокойнее, хотя и не по времени, я тоже записался в партию, с неделю места. Обмякли народовольцы-то: Исусисто!.. Опять же фронт..

В двух местах проданные со стены шпалеры открывали прежнее. Два голубых засиженных квадрата дышали плесенью и вместе зноом каникулярного — мухолотописи.

Нужна решимость Сведенборга³, чтоб стены означали Ангела,— две рамы — выклеванные глаза, кровати были полюсами, стол бел и холоден, как лед,— безмолвие скатерти сибирской ночью,— окно трещало: не влезал, что ль, гроб?

Кресло последнюю попытку бессмертия,— печь из железных листов круглая, окрашенная под цвет легких,— свидетель и уничтожитель. В такой комнате должно завести пса, вертящегося со времен Гёте, и все это имело бы тысячу других значений. Беднейшая из бедных комнат могла быть лучшим снарядом, чем тот, что выдуман Райтом⁴. <Была насыщена и годилась для преодоления веса.> Времени в ней не было, она была вся в настоящем. Решили поселиться здесь. Им дали зеркало. Привесили. Ушли.

— Могучие неврастеники,— сказал о них Морев.

6-ая * глава. (1-ая ночь)

Опять они на Невском.

Вечер — музыкальное приготовление к ночи. Опять темп бешеннейших встреч в ином, не сжитом с ними мире. Пульс неизвестных жизней пропитывал, как малярия. Сердце стучало в голове и мыслало.

Казалось, что проспект гадал на картах или играл азартный, но расчетливый игрок.

А, может быть, просто — старушечий пасьянс.

Белые пряди из-под чепца — туман, все вырывавшийся из-под ночи: она их подбирала, но непослушливые падали.

Очки сползли на кончик носа. На холодный кончик, вынюхавший свои семьдесят лет, теперь имевший только этот смысл — поддерживать оплывшие очки.

Она откидывалась, выдавая за выскомерие отсутствие живых движений.

Но карты оживали. И карты были черными.

* В тексте опечатка: 7-ая глава.

Лишь попадая в полосу особо ярких кафе, фигуры загорались королями и дамами. Чаще всего шли трефы.

Вот фланер — трефовый туз. И дама в шляпе с наклоном — пиковая. Вот пара — трефовой четверкой: вверху отогнуты поля у шляп, внизу закатаны по-английски клеши и боты дамы с отворотами.

Вот три фланера под руку — трефовая шестерка: три пары ног и шляп...

Но эти двое: кем были они на молоке туманов? Может быть, их сердца просвечивали двумя червонными тузами, может быть, горели спины двумя бубновыми? Они приберегались, как последний козырь.

Лечь сверху в гран-пасьянсе Пиковой Дамы: хваленый ее секрет. Опять тасует и сдает проспект: идут лишь пики, трефы, — черный креп мастей. И ночь шарахается и подбирает пряди с мокрых улиц, но они волочатся и смешивают карты.

Голова вздремнула, сбился чепчик, и холодный кончик носа приплюскивается к груди червонного туза, наконец выпавшего... Хруст очков...

Вбегаёт Герман: «Карту!»

— Что я — дурочка? — откидывается старуха.

— Две карты, — беснуется вошедший.

— Вздор!

— Три!.. — Старуха падает.

Герман тревожно выбирает карту. Старуха остается лежать, разметывая волосы тумана вдоль проспекта. Чепчик — ночь или Исакий.

Они остановились на углу, где скрещиваются проспекты и автомобили, купцы и простигутки. Все дороги ведут в Рим: эти дороги привели недостающих; в руках у Германа было три карты.

Нашли ночлег. Какая чернота. Из нижнего плыл чад: топилась кухня. Они попали в синеву его по лестнице.

Казалось, он десятками десятков лет, прижавшись к стенкам, шел, щаря, как слепой, вдоль лестниц и страдал одышкой. Это он посизил стены беззрачными белками: стены мучили — сплошные бельма.

Запах слез и пота — и тяжелое дыхание свалившегося на перила пара (неустанно подымаясь); запах жареного и вареного мяса: лошадей, собак, коров, кошек и кроликов; запах окисшей крови на ножах — тошнило. Поевший чувствовал себя детоубийцей.

Номер, расположенный наискось коридора, был также вызывающий: по форме (округлого угла) и номером 77. Все их готовило к совместной ночи.

В номере один диван и два стола; три кресла.

Сообразив, где ночью лягут, испытали жуть взрослых. Жуть эта создала примету поваров: спишь на столе — зарежут.

Холодок повязал нитями локти и у щиколоток. Сидели, закурив, молчали. Обменивались незначущими фразами.

Глеб, узнав, что под квартиру снята его комната, как-то вобрался в плечи и сидел, полный предчувствий и беспокойства.

Чем была для него его комната? Ничем особенным! В ней он завел раз установленный порядок вещей, по-студенчески теплично жил и занимался при пятилинейной лампе.

Утром бывал только в праздник, и то ненадолго. Утра эти и были окрашены как будто праздником. Поэтому и во всякое утро, когда он вставал, спеша в институт, захватывал с собой немного праздничности снов и одиночества.

Праздничность лекций была другой: обширность мыслей; в конце концов, во всем этом, пожалуй, больше было будней, чем в нескольких захваченных минутах утра из бедной комнатенки. Бедность жилья подчеркивала богатство достижений в области знаний, черпаемых здесь. На всем этом лежал привкус студенческого быта, но что-то просачивалось, точно первые лучи в окошко комнаты и точно первый мир, где он вставал с постели, обязательный дать имена природе.

Теперь ему казалось, что это-то и было самым главным: сонное в той комнате. Об этом думал он теперь.

Особенно теперь ему все это показалось нужным; он ревновал тех двух к их будущему в комнате, — к недоговоренному им его прошедшему, — и ежился. Сказать об этом теперь нельзя.

<Его инстинктом, выделившим себе защиту для уединенных мыслей позой, изучалась боль. Она спасала от их вмешательства.>*

Он еще раз проверил: ревность разыгрывалась, как зубная боль,— вернулся к общему незначащему разговору, оставив много для себя молчания.

Странно было то, что дядька Николай держался так же: он так же, как и первый, вбирался в плечи и ревниво поглядывал на остальных.

Они, разбившись утром надвое и теперь сойдясь, казались чуждыми одни другим. Было такое впечатление, что с этими, как с теми, в это шестичасовье произошло многое — чего взаимно не решались открыть. И не условившись заранее, боялись, как бы кто-то не оказался неосторожным и не нарушил заключенной тайны.

Бессознательно они копировали друг у друга движения: двойник по тайне, как бы желая мимой воспроизвести думу другого и боясь растроганности, жался. Но могли не бояться; выдать было нечего. Безмолвие ж всегда разгадано безмолвием: об этом забывали.

Николай, воспроизвед (скопировав) состояние Глеба, стал понимать, что это понял и те, и ежиться вдруг перестал.

— Глеб, и тебе бы надо перестать горбиться. Глебенок, а? Что ты там прячешь? Знают они все это. Ну! Шея втиснулась, как черепаха.

— Потеря, к сожалению, невозвратимая,— повернулся тоже к Глебу шагавший между креслами, выписывая странную какую-то кривую, которая как будто помогала ему мыслить, Никифор.

Руки у него были за спиной, замком, и вид немного приподнятый — возбужденно веселый. Он как будто продолжал и замыкал последнюю мысль Глеба.

— Ты не беснуйся! Хочешь с нами в ту самую? Ведь ты ревнуешь теперь больше, чем раньше! Ты различаешь — чутья у тебя хватает,— что все, что здесь происходит, из действительной жизни, о которой тебе только снилось. А сладострастия в тебе столько же, как во всех нас; это неплохо. Это единственное, что в тебе неплохо. Остальное ты понимаешь, но сам на это не способен: скажем, музыку; а действительность — это твой магический круг, куда тебя тянет — настоящего. Если бы ты пошел этим путем естественного развития твоих сил, ты не был бы мумией, какой сейчас стал. Ведь отчего ты шею вбираешь, как черепаха, как сказал Николай? Это ты себя настоящего втягиваешь в мумию. Я вот совсем из другого порядка — музыки, но вас вижу, и на тебя мне глядеть досадно. Ты более действительный, чем все мы. Вот Данила — тоже, но он естественен. В нем пока много хаотического, но это пройдет, он уже видит дальше себя. А ты заткнул нос ватой... Я-то тут при чем? А я занимаю твое место. Мне бы сейчас надо бросить вас и уйти прочь. Мне только хотелось раскрыть тебе глаза на все. Самое вредное — это то, что ты хочешь вобрать в черепаху не только свою шею, но и чужую — Данилну. А он,— как ты этого не понимаешь,— уже распух от воздуха и не влезает. Ну и сиди теперь со своей фальшивой миссией... Никто не выкрал твоей миссии: лежит спокойно в боковом кармане — документы, подписи...— больше ничем не грозит!..

Глеб вздрогнул, но тотчас же справился, чуть-чуть приподнял брови, чуть дрогнула губами.

— Вот что я тебе скажу: того, что мы решили, ты не отменишь. Что ты за эти 6 часов обвела Николая своим толстовским стариковством и нежностью, отваливается вот здесь же.

Он повернул к Николаю и, вынув из кармана его пальто браунинг, положил в свой.

Николай сидел и глядел во все глаза, с каким-то почти детским любопытством. Он вдруг просветлел, как юноша.

— Рано, сокол! — поднялся он.

И вынув браунинг у не сопротивлявшегося Никифора, положил обратно себе в штаны.

— Я знал это,— сказал Глеб.— Одно только — зачем вы меня брали?

— Ты сам покинул свое болото. Никто тебя не звал: фабрика — предлог, ты это тоже знал.

— Но ведь ты эгоист, и во имя только своих страстей ты не имеешь права посягать на дело общества. Ты вне его. Зачем ты вмешиваешься и вовлекаешь нас?

* На полях авторская помета: Тяжело.

— Нас? О ком ты говоришь, Глеб? — отозвался Данила.

Обиженного тона не было, но мыслью вопроса передавалась обида.

— О тебе.

— Я так и знал. Сообрази, что из одного протеста против твоего нянчания я пойду с Никифором.

— А почему с ним, а не сам?

— Из протеста, в пику тебе и твоим нелепым подозрениям о моей незрелости! А впрочем, все это ради спора. На самом деле вовсе не Никифор решал вопрос, а я. Никифор просто моторная сила в данном случае. <В нем есть упругость: мы его выбрали пружиной часов. Дойдет до места — шлепнет Николай, зайдет опять — пойду я. А что он сам потом будет делать — это совершенно не важно, ни тебе, ни нам. В таком деле должен существовать слепой механизм — для исполнителя. Вся воля собрана в волевой момент решения, но другой волевой момент — точка — действие, должен быть предоставлен или часам, или — ему. В нем насыпан песок какой-то четкой упругости: он — время. В это я верю и в правильность его формы (колбы с песком).

— Как все это литературно: кирилловщина, — причем сам Кириллов — Никифор, разыгрывает роль Ставрогина... а ты... По-моему, вы поменялись ролями. Не в этом ли выход из того, чтобы вовсе не стать обезьянами «Бесов»? Все-таки это оттуда...> По мне, роль Никифора — роль Верховенского, только и тот был честнее...

— Да, — такой же идиот, как ты: верил в Ивана-царевича! — не утерпел Никифор. — Это на меня не похоже.

— Верись! — как-то повелся весь судорогой Глеб.

— Что за тарабарщина — это в него? Бросим. Не хочу говорить в эту сторону. У тебя литературный зуд в голове. Если бы кто-нибудь мне сказал то же самое другой, я бы даже не рассердился: ничего, пожалуйста; но тебе мне хочется выдолбить... или, вернее, вышибить из тебя эту плесень. Ты ведь и в партии литературишь. Не можно идти в монастырь — ты на послушании у эсеров. Покаянная сволочь! Тошнит. Противно. Совсем ты не тот!.. Эх, не к чему!.. А я ведь из эстетики, как ты говоришь, — повернулся он опять, продолжая шагать.

— Знаю, знаю, что ты из эстетики. Знаю, откуда это началось. Греки, <или ничто>. «Террор Антиквус» <— так тебя, кажется, звали твоей...> Но при чем тут дядько Николай со своими 7-ю ребятишками!

— Ребята — вещь коллективная, мой друг, — провел ему Николай сухой ладонью по плечу, и в этом жесте опять была такая юность, что Глеба обожгло на минуту. Он тотчас сообразил и вернулся опять в свою линию мыслей.

— Я... — начал было снова Глеб.

Никифор вдруг предложил, — вот что, недурной выход: кто пойдет за чаем?

— Данила, пойдем! — кивнул Николай. Они захватили чайник и вышли.

— Уф, какая вонь, — послышался вздох из-за двери. — Дядька, иди ты сам, я не могу.

— Пойду я с ним, — подошел к двери Никифор.

— Да ничего, я и один справлюсь.

— Не справишься, запутаешься.

— Справлюсь, иди. — Оба брата вернулись.

Глеб сидел, глубоко вобравшись плечами в диван и подняв острые худые колени.

— Пока нет дядьки, я тебе вот что скажу: если ты будешь мешать, поезжай завтра же (не только делом — мыслью). Мы надеялись, что ты увидишь <хари на своих иконах> и сам поймешь и пойдешь с нами. По тайне благочестие. Тогда весь план перестраивался бы. Этого не случилось.

— Я поеду, — упавшим голосом отозвался Глеб.

— Глебенюк, не плачь, не унывай! Жалко на тебя глядеть, какой ты большой дурак, — подошел к нему Никифор.

— Ты чудовище!

— Я знал, что ты все время так и думаешь обо мне, хотя и любишь всегда; кое-чего не добиралась самая малость.

— Оставь свою теорию в голове.

— У тебя другая мысль: «Оставь мне этих двоих и иди... на Хитров». Я, дорогой мой, оглохну и пропаду в такой стране дурацкой, а если жить, так дышать и олышать... «Хитров» — хитер — он на это не пойдет; он ко всякой вони приучился. А этих двух я знаю и крепко их люблю; мы можем думать вместе, радоваться и умереть. В

этом вся штука. Ты не хочешь, и ради тебя,— чтобы дать тебе почувствовать себя,— мы, может быть, делаем сейчас вот много ненужных вещей. Ты тоже в этом механизме не последняя шпилька, своим упрямством. <Неужели ты — студент, а не человек? Вот вопрос, который меня интересует. Моль учебников съела тебя,— изжевала.> Энциклопедист.

— Помилуй, я не могу быть таким дикарем, как ты.

— Скажи, вернее — ты этого не мог и раньше, и потому это клеймо так и пришло к тебе. В тебе нет дарованья. <Ты взял трудом и самолюбием и потому дорожишь завоеванным. Боишься остаться банкротом, отказавшись от искусственных зубов. Желал ли ты когда-нибудь... как конь — сена...>

Вошел Николай.

— Вот весь сказ. Теперь рассуждай и принимай решение: большей любви, чем сейчас была во мне к тебе, нигде, никогда не встретишь.

— Ну, парнята, раздобыл!..— Он поставил чайник и достал из кармана красноголовую полбутылку и сверток сельдей и огурцов. Хлеб принес под мышкой.

Достали кружки и уселись у стола.

Немного оживились. Всем досталось по полкружки водки и по огурцу.

— Глебенек, вот что я тебе, дорогой, должен сказать: пощадил я тебя сегодня, когда не выклеил ему лбишку — этому пузырьку из «Народного труда». — Студент, но мерзавец, и остальные такая же дрянь... Преклоняться перед наукой умею, но перед наукой опыта, и если это — теория, так в дело; а все остальное — вещь подпольная, комнатная — мозговой бред — барство. Подожди-ка, еще сбегаю за полбутылкой. На вас не рассчитывал,— улыбнулся он.

— Я пойду,— встал Никифор и вышел.

— Подожди, дядька, одну минуту; все это знаю наизусть, что ты скажешь, и ты, конечно, будешь прав, а не Никифор, о котором тоже можно сказать, что это — из области подпольного бреда и никого не касается. Скажи ты мне одно: думал ты о детях и как решил, если это серьезно?

— На этот раз подумал, хотя те-то <тысячи отцов>, идя за «царя и отечество», не думали об этом. Устрою. Есть подпольный союз — будет помогать до переворота. А потом пенсия.

— Да что ты думаешь, я так и сдался; мне не в первый раз этим ведасть...— он запнулся и помрачнел.

— То есть... что это? Я не понял: о ком ты? Разве ты стрелял кого-нибудь?

— Ну да, стрелял!

— Я не знал. Ах, правда, у тебя что-то на Дальнем Востоке, помню, тебе не хотели дать солдатское жалованье, как инвалиду.

— Не то! Ну да не важно!

— Ну, да, не важно. Как же ты думаешь?

— Что ты входишь во вкус, или?.. Скажи прямо, Глеб,— не станешь поперек дороги? Стыдись! Ведь нас три головы, твоя одна: мы, может быть, чище втроем-то обмозговали. Как ты?

— Нет, не стану. Завтра уеду.

— Дядька, не имеешь права,— сверкнул <...>

* * *

Пастернаковская проза отчасти сродни искусству кинематографа. Поглотив суть киноискусства Пастернак считал, судя по его письму С. П. Боброву 2 августа 1913 года, не уподобление театральному действу, а воспроизведение не столько самих событий, сколько их лирической атмосферы, лирической среды. Первые три главы фрагмента — это и есть изображение атмосферы повести, увертюра к предстоящему действию.

В революционный Петроград приезжают три брата — Даниил, Никифор и Глеб — и «дядька» Николай. Даниил и Никифор — большевики, Глеб — левый эсер. Николай, вероятно, тоже левый эсер-боевик. Время действия — лето или начало осени 1917 года. Примета времени — упоминание Николаем газеты «Народный труд», издававшейся партией народных социалистов в 1917 году в период подготовки к выборам в Учредительное собрание. С вокзала Николай и Глеб идут в коалиционную пятерку. На такие пятерки делились группы эсеров-боевиков.

Цель приезда в Петербург всех четверых остается не слишком ясной. Это некая боевая акция, которая должна способствовать политическому перевороту. О будущем перевороте говорит Николай, отвечая на вопрос о судьбе детей после его возможной гибели. Причем Николай играет роль слепого орудия, исполнителя воли Даниила и Никифора.

Подробности революционно-конспиративной деятельности героев, по всей видимости, мало занимали автора. В споре Глеба с Даниилом и Никифором, изображению которого посвящена вторая половина отрывка, его интересуют не рецепты революционных преобразований, а внутренняя правота, нравственная и даже эстетическая оправданность действий героев. В этом разговоре революционеров, в колебаниях Глеба, в железной самоуверенности его братьев, в их претензиях на обладание прерогативой сверхчеловека без колебаний вмешиваться в управление историей и жизнью как бы предугадываются будущие темы романа «Доктор Живаго».

Тема судьбы революционера существенна для раннего творчества Пастернака. Вероятно, публикуемый фрагмент можно рассматривать в одном ряду с такими его произведениями, как «Драматические отрывки», работа над которыми относится как раз к лету 1917 года, и «Безлюбье» (1918). «Безлюбье» представляет для нас особый интерес. Это рассказ о возвращении с Урала эсеров, едущих в революционную Россию и не ведающих своей дальнейшей судьбы. По сравнению с публикуемым текстом «Безлюбье» кажется более цельным, отработанным фрагментом. Может быть, это объясняется тем, что сюжет его больше связан с непосредственным жизненным опытом автора. Сам Пастернак только что пережил такую же поездку — возвращение в Москву из Преуралья.

Две зимы, 1916 и 1917 годов, Пастернак прослужил конторщиком на химических заводах во Всеволодо-Вильве на Урале и в Тихих горах в Пермской губернии. На этих заводах работал Борис Ильич Збарский, инженер-химик, будущий академик, близкий знакомый семьи Пастернаков. В письмах родителям в ноябре 1916 года Пастернак говорит о нем как о человеке, обладающем ярким дарованием, но находящемся не на своем месте: «...он по зататкам, по богатствам своим, хочу я сказать, и по рогу своих аппетитов — не интеллигент, как и я, а такой же дикарь. Жизненная, т. е. деловая его стезя — ложна и обидна сейчас. Когда-то он был полон научных идей в том же роде, смысле и значении, как и я музыкой. Как я — не музыкант сейчас, так и он не ученый. В том же горьком смысле и значении... В его меланхолии виноваты его темперамент и дарование» (архив семьи Б. Л. Пастернака).

В этой оценке угадывается та же эмоциональная окраска, что и в характеристиках героев петербургского отрывка. Збарский был эсером. Эсером же был в то время и Е. Г. Лундберг, писатель, журналист, работавший секретарем редакции петербургского журнала «Современник» (это он принял в журнал пастернаковский перевод комедии Г. Клейста «Разбитый кувшин»). Зимой 1916 года Лундберг некоторое время прожил во Всеволодо-Вильве. На заводе в Тихих горах работал другой известный химик, Л. Я. Карпов, социал-демократ. Может быть, спор героев в публикуемом тексте в какой-то степени отражает беседы, свидетелем и участником которых был Пастернак в течение этих двух зим.

Как и вся ранняя проза Пастернака, текст этот нелегок для восприятия. Он перегружен символикой, историко-литературными ассоциациями. Это пушкинский Петербург Пиковой дамы и Германина, это Петербург Достоевского с Раскольниковым и героями «Бесов», это Петербург Андрея Белого с террористами-мечтателями. Но несмотря на обилие литературных ассоциаций и скрытых цитат, с первых строк отчетливо слышится оригинальный авторский голос. Это конечно же Петербург Пастернака. Это его город, как цельный организм сам становящийся героем действия. Это город, разыгранный, как музыкальное вступление к шекспировскому спектаклю, с дирижером и оркестром, с Кином в главной роли, с пейзажем городских окраин, исполняющих роль декораций («...здесь действительно мог бродить Лир с сотней добрых Корделий»). Для Пастернака город был одновременно и предметом и героем его поэзии и прозы.

Такими же постоянными предметами-героями, как и город, от юношеских произведений до позднего творчества были у Пастернака вокзал, поезд, железная дорога, которые воссоздают пространство города с пространствами страны, земли, вселенной. Мир, стремительно проносющийся за окнами вагона, — одна из постоянных пастернаковских тем. В описании пролетающего за окнами пейзажа отразились приметы

времени («полдень в августе», «революционное время», «война») и важные для творческой биографии автора моменты. Кавалькада скачущих в ночное мальчуганов напоминает о том, как в 1903 году в день Преображения («шестое августа по старому») тринадцатилетний Пастернак сломал ногу, упав с прыгнувшей через ручей лошади. С этим событием он связывал позднее первые проблески своего художнического творческого самосознания. Десять лет спустя в письме А. Штиху 6 августа 1913 года он писал об этом: «Мне жалко тринадцатилетнего мальчика с его катастрофой 6-го августа. Вот как сейчас лежит он в своей незатвердевшей гипсовой повязке, и через его брег проносятся трехгольные синкопированные ритмы галопа и пагения. <...> Еще накануне, помнится, я не представлял себе вкуса творчества. Существовали только произведения, как вынужденные состояния, которые оставалось только испытать на себе. И первое пробуждение в ортопедических путах принесло с собою новое: способность распоряжаться непрошеным, начинать собою то, что до тех пор приходило без начала и при первом обнаружении стояло уже тут, как природа».

Известно, что Пастернак огни и те же темы часто разрабатывал параллельно и в поэзии и в прозе. Так было и с петербургской темой. В декабре 1915 года Пастернак ездил в Петроград. Там он близко сошелся с Маяковским, через него познакомился с Бриками. Сразу же после поездки было написано стихотворение «Петербург»:

Тучи, как волосы, встали дыбом
 Над дымной, бледной Невой.
 Кто ты? О, кто ты? Кто бы ты ни был,
 Город — вымысел твой.

Та же тема Петербурга как вымысла или фантома, восходящая еще к Гоголю, запечатлена в публикуемом прозаическом отрывке. Ландшафты изображенного в нем петроградского предместья живо напоминают поэтическое описание города и в другом стихотворении этого времени — «Город. Отрывки целого» (1916):

Это вещи, голые ветки, божась чердаками,
 Вылетают на тучу.
 Это — черной божбою
 Над тобой бьется пригород Тмутараканью
 В падучей.
 Это — «Весы», «Подросток» и «Ведные люди»,
 Это — Крымские бани, татары, слободки, Сибирь и бессудье,
 Это — стаи ворон. — И скворещицы в лапах суков
 Подымают модели предместий с издельями
 Гробовщиков.

«Изделья гробовщиков» трижды возникнут и в этом петербургском фрагменте: чей-то гроб в часовне Матерь Всех Скорбящих, дом-гроба на Прогонной улице, мысль о гробе, возникающая у героев при взгляде на стены и окно в комнате Глеба.

Таковы самые первые соображения, которые помогут читателю при знакомстве с этим отрывком неизвестной прозы Бориса Пастернака.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Над картиной с таким названием работал Л. О. Пастернак на даче в Оболенском в 1903 году.

² Направник Эдуард Францевич (1839—1916) — главный дирижер Мариинского театра в Петербурге, автор оперы «Дубровский». По всей видимости, упоминание Направника имеет сложную ассоциативную нагрузку. Дело не только в высоком мастерстве музыканта, деятельность которого была связана долгие годы с Петербургом, но и в направленности исторических событий, о которых пишет автор. Далее, само имя композитора связывается с именем Дубровского. Стало быть, в круг ассоциаций с неизбежностью входят образы бунта, разбоя, насилия.

³ Сведенборг Эммануэль (1688—1772) — шведский ученый, мистик, духовидец. Скорее всего имеются в виду братья Райт, Уилбур (1867—1912) и Орвилл (1871—1948), авиаконструкторы и летчики. Построили в 1903 году летательный аппарат, совершивший первый в истории самостоятельный подъем в воздух.

ЕЛИЗАВЕТА КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА

(1891—1945)

*

УБЕРИ МЕНЯ С ТВОЕЙ ЗЕМЛИ

Есть два способа жить: совершенно законно и почтенно ходить по суше — мерить, взвешивать, предвидеть. Но можно ходить по водам. Тогда нельзя мерить и предвидеть, а надо только все время верить. Мгновение безверия — и начинаешь тонуть.

*Мать Мария, «Записная книжка,
31 августа 1934».*

Судьба Матери Марии известна у нас скорее как миф: мы что-то слышали о ее героической жизни и кончине, но почти не знаем ее лица, ее голоса.

Мать Мария, в миру Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева¹, начинала свой путь как поэт и была поэтом до конца своих дней, причем в том редком качестве подвижника духа, когда словесное творчество неотделимо от творчества жизни.

Поэтесса родилась 20 декабря 1891 года в Риге. Окончила женские Бестужевские курсы. Первый сборник «Скифские черепки», замеченный А. Блоком, выпустила в 1912 году в акмеистическом издательстве «Цех поэтов». В 1919 году Е. Ю. Кузьмина-Караваева навсегда покидает Россию и переселяется во Францию, живет в Париже.

Жизненный и творческий путь поэтессы во многом типичен: революционные искания бурной молодости сменяются интересом к христианским ценностям и — только на первый взгляд неожиданным — обращением в православие. Аналогичным образом обрели себя многие представители русского Духовного ренессанса первой половины XX века.

В 1929 году Е. Ю. Кузьмина-Караваева издает книгу «Миросозерцание Вл. Соловьева». В 1932 году принимает монашеский постриг и новое имя — мать Мария, но не уходит в монастырь, а несет служение в миру, организует приют для бездомных. Ее поэзия в эти годы становится духовной в собственном смысле слова.

«Критерий религиозной истины должен быть выстрадан, вымолен, добыт сердцем, волею, разумом и жизненным служением; и каждый человек призван разрешить эту задачу для себя самого. И чем глубже и цельнее он будет жить в этом искании, тем больше шансов, что добытый им критерий будет, может быть, иметь значение и для других. Возможно, однако, что этот критерий окончательно дается людям — лишь по смерти: в последнем и окончательном, не-телесно-земном предстоянии Богу», — писал русский философ И. А. Ильин. Вот эта вымоленность сердцем и жизненным служением нового опыта органично присуща религиозной лирике Матери Марии. Современный неопит часто воспринимает христианские ценности как отдаленные и трудно достижимые для реального человека. Преодолеть разрыв можно, только вымолив, пережив истину сердцем, и тогда христианская реальность открывается внутреннему взору человека во всей своей неопровержимости и подлинности, поэзия становится частью христианского предания, а отдельные стихотворения сливаются в один гимн, пропетый Небесной Славе:

Прошли века, или прошли мгновенья,
Иль в будущем — там, у Тебя в раю,
Я вместе с ангелами песнопенья
Пред ликом пламенеющим пою.

¹ Девичья фамилия Пиленко, по второму мужу — Скобцова.

Земное время кончается, начинается новое, в котором жизнь и смерть не разделены вечным барьером, но преодолеваются мощью и величием Духа.

Поэзия Матери Марии мистична в самом высоком смысле этого слова. Божественные дары действительны и спасительны. И если это так, то не страшен любой, самый грозный противник, даже сатана.

Последние годы земного пути Матери Марии пришлось на время второй мировой войны. Одним из ее близких друзей становится Юргис Балтрушайтис, замечательный поэт-созерцатель, объединивший в своем творчестве любовь к Литве и России. В Париже он писал в основном по-литовски, и стихотворение, посвященное им Матери Марии, одно из немногих, созданных им в те годы по-русски. Приводим его целиком.

Новогоднее видение

Высококочимой Матери Марии.

Знак неразгаданного рока
Равно клеймит и прах, и цвет,
Но наши пытки лишь до срока,
Как сумрака без меры нет...

Лишь смерч и смерч нам ныне ведом,
Где мирные сады цвели,
И Демон Тьмы кровавым бредом
Сковал сурово грудь земли...

Но благодатные созвездья
Прольют сквозь мрак свой свет на нас,
И близок, близок час возмездья
И щедрый воздаянья час...

Вот он — грядет рассветный Витязь
В венце из радуг и зарниц —
Гонимые земли, молитесь,
Заблудшие, падите ниц!

Париж. 31 января 1942 г.

Час Матери Марии был действительно близок. Она принимала участие в движении Сопротивления и в 1943 году была отправлена гитлеровцами в концлагерь Равенсбрюк. Там 31 марта 1945 года трагически завершился ее земной путь. Заветом живым остались ее слова:

У каждого имя и отчество
И сроки рожденья и смерти.
О каждом Господне пророчество:
Будьте внимательны, верьте.

Предлагаемая читателям подборка взята из сборника «Монахиня Мария. Стихи» (Берлин, «Петрополис», 1937). Этот сборник единственный, изданный самой поэтессой в монашеский период ее жизни.

* * *

Братья, братья, разбойники, пьяницы,
Что же будет с надеждою нашею?
Что же с нашими душами станется
Пред священной Господнею Чашею?

Как придем мы к Нему неумытые?
Как приступим с душой вороватою?
С раной гнойной и язвой открытою,
Все блудницы, разбойники, мытари
За последней и вечной расплатою?

Будет час,— и воскреснут покойники,
Те — одетые в белые саваны,
Эти — в вечности будут разбойники,
Встанут в рубищах окровавленных.

Только сердце влечется и тянется
 Быть, где души людей не устроены.
 Братья, братья, разбойники, пьяницы,
 Вместе встретим Господнего Воина.

* * *

Мы не выбирали нашей колыбели,
 Над постелью снежной пьяный ветер выл.
 Очи матери такой тоской горели,
 Первый час — страданье, вздох наш криком был.

Господи, когда же выбирают муку?
 Выбрала б, быть может, озеро в горах,
 А не выюгу, голод, смертную разлуку,
 Вечный труд кровавый и кровавый страх.

Только Ты дал муку, — мы ей не изменим,
 Верные на смерть терзающей мечте,
 Мы такое море нашей грудью вспеним,
 Отдадим себя жестокой красоте.

Господи, Ты знаешь, — хорошо на плахе
 Головой за вечную отчизну лечь.
 Господи, я чую, как в предсмертном страхе
 Крылья шумные расплавлены у плеч.

* * *

Не то, что мир во зле лежит, не так, —
 Но он лежит в такой тоске дремучей.
 Все сумерки — а не огонь и мрак,
 Все дождичек — не грозовые тучи.

За первородный грех Ты покарал
 Не ранами, не гибелью, не мукой, —
 Ты просто нам всю правду показал
 И все пронзил тоской и скукой.

* * *

Убери меня с Твоей земли,
 С этой пьяной, нищей и бездарной,
 Боже силы, больше не дремли,
 Бей, и бей, и бей в набат пожарный.

Господи, зачем же нас в удел
 Дьяволу оставить на расправу?
 В тысячи людских тщедушных тел
 Влить необоримую отраву?

И не знаю, кто уж виноват,
 Кто невинно терпит немощь плоти, —
 Только мир Твой богозданный — ад,
 В язвах, в пьянстве, в нищете, в заботе.

Шар земной грехами раскален,
 Только гной и струнья — плоть людская.
 Не запомнишь списка всех имен,
 Всех, лишенных радости и рая.

От любви и горя говорю —
Иль пошли мне ангельские рати,
Или двери сердца затворю
Для отмеренной так скупой благодати.

25 марта 1936 г.²

* * *

Трудный путь мы избирали вольно,
А теперь уж не восстать, не крикнуть.
Все мы тщимся теснотой игольной
В Царствие небесное проникнуть.

Не давал ли Ты бесспорных знаков?
И не звал ли всех нас, Пастырь добрый?
Вот в боренье мы с Тобой, как Яков,
И сокрушены Тобою ребра...

* * *

Там было молоко, и мед,
И соки винные в точилах.
А здесь — паденье и полет,
Снег на полях и пламень в жилах.

И мне блаженный жребий дан —
В изодранном бреду наряде.
О Русь, о нищий Ханаан,
Земли не уступлю ни пяди.

Я лягу в прах и об землю лбом,
Врасту в твою сухую глину.
И щепня горсть, и пыли ком
Слились со мною в плоть едину.

* * *

Припасть к окну в чужую маету
И полюбить ее, пронзиться ею.
Иную жизнь почувствовать своею,
Ее восторг, и боль, и суету.

О, стены милые чужих жилищ,
Раз навсегда в них принятый порядок,
Цепь маленьких восторгов и загадок,—
Пред вашей полнотою дух мой нищ.

Прильнет он к вам, благоговейно нем,
Срастется с вами... Вдруг Господни длани
Меня швырнут в круги иных скитаний...
За что? Зачем?

* * *

Что я делаю? — Вот без оглядки
Вихрь уносится грехов, страстей.
Иль я вечность все играла в прятки
С нищею душой своей?

² Здесь и дальше стихотворения датированы отцом Сергием Гаккелем (Брайтон, Англия), ведущим жаток жизни и творчества Матери Марии, по автографам, хранящимся в его личном архиве.

Нет, теперь все именую четко —
 Гибель значит гибель, грех так грех.
 В этой жизни, дикой и короткой,
 Падала я ниже всех.

И со дна, с привычной преисподней,
 Подгребая в свой костер золу,
 Я предвечной Мудрости Господней
 Возношу мою хвалу.

* * *

Мне кажется, что мир еще в лесах,
 На камень камень, известь, доски, щебень.
 Ты строишь дом, Ты обращаешь прах
 В единый мир, где будут петь молебн.

Растут медлительные купола...
 Не именуемый, нездешний, Некто,
 Ты нам открыт лишь чрез Твои дела,
 Открыт нам, как великий Архитектор.

На нерадивых Ты подѐмлешь бич,
 Бросаешь их из жизни в сумрак ночи.
 Возьми меня, я только Твой кирпич,
 Строй из меня, непостижимый Зодчий.

* * *

Нечего больше тебе притворяться,
 За непонятное прятать свой лик.
 Узнавшие тайну уже не боятся,
 Пусть ты хитер, и умен, и велик.

И не обманешь слезинкой ребенка,
 Не восстановишь на Бога меня.
 Падает с глаз наваждения пленка,
 Все я увидела в четкости дня.

Один на один я с тобой, с сатаной,
 По Божью велению, как отрок Давид,
 Снимаю доспехи и грудь я открою.
 Взметнула пращою, и камень летит.

В лоб. И ты рухнул. Довольно, проклятый,
 Глумился над воинством ты, Голиаф.
 Божию силу, не царские латы
 Узнал ты, навеки на землю упав.

Сильный Израилев, вижу врага я
 И Твоей воли спокойно ищу.
 Вот выхожу без доспехов, нагая,
 Сжавши меж пальцев тугую пращу.

31 марта 1936 г.

* * *

Чудом Ты отверз слепой мой взор,
 И за оболочкой смертной боли
 С моей волей встретились в упор
 Все предназначанья черной воли.

ПУБЛИЦИСТИКА

ВИКТОР ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН

*

НОВЫЕ ОПАСНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОМАНТИЗМА

Еще несколько лет назад, в начале перестройки, почти никто представить себе не мог, что у нас возможен затяжной экономический кризис, более того, что не исключена и катастрофа. Активисты перестройки убеждали: энергичные усилия обеспечат ускорение и подъем народного хозяйства. Тех, кто предупреждал, что на быстрые успехи рассчитывать не следует, объявляли скептиками, если не противниками радикальной реформы.

Прошли годы. Серьезных положительных сдвигов не заметно ни в одной из сфер экономики. О материальной стороне жизни и говорить не приходится, тут все ясно. Но не проявляют ожидавшихся позитивных качеств и управленческие нововведения, мы видим какой-то карнавал превращенных форм, «молодуха оборотилась козлухою»...

Зачинатель классической школы в политической экономии Уильям Петти говорил, что природа — мать богатства, а труд — его отец. Нас и будет интересовать, как соотносятся и с течением времени меняются роли этих «родителей» в развитии хозяйства. Будем группировать различные ячейки экономики в агрегаты — назовем их слоями — в зависимости от того, какую фазу переработки природного сырья в конечный продукт они реализуют. Представим народное хозяйство наподобие слоеного торта. Нижний слой составляют производства, непосредственно обращенные к природе: горная промышленность, сельское и лесное хозяйство, рыболовство, это ресурсное основание, на Западе говорят — «первичная экономика». Следующий слой — первичная переработка сырья. Это производство металла, электроэнергии, цемента, простейшая деревообработка, начальные фазы технологических цепочек химической промышленности, ткацко-прядаильное и кожевенное производства и т. п. Третий слой снизу — вторичная переработка сырья, здесь уже прокат, трубы, химия синтеза (не самые «высокие» фазы), стройиндустрия, мебель, швейная и обувная промышленность... Далее идут машиностроение и производство других сложных товаров и услуг. В нижних слоях велико значение природного фактора и труда относительно низкой квалификации: чем выше слой, тем меньше их затраты, но тем больше роль специалистов, интеллектуального труда, науки, техники, технологии, информации.

Как же распределяется валовой национальный продукт между такими слоями, или, если пользоваться кулинарно-геометрической аналогией, какую форму имеет торт в различных экономиках? Еще в конце прошлого века в развитых капиталистических странах (сначала в Англии, затем в США, Германии, Франции, Швеции, а в нашем веке и в других государствах) сложилась структура, подобная конусу (высота его примерно равна диаметру основания). Иначе говоря, чем выше слой, тем меньше его вклад в валовой национальный продукт, причем убывание идет равномерно. Аналогично распределяются и усилия общества по развитию и поддержанию слоев своего хозяйства: ведь если в капиталистической экономике затраченные средства не дают нормативной отдачи, то такая хозяйственная ячейка быстро исчезает с экономической арены. Если же отдача выше нормативной, то подобную дифференциацию нивелирует перелыв капитала. Таким образом, интересует ли нас распределение результатов экономической деятельности или затрат на нее — один и тот же конический торт представляет индустриальную структуру.

В России в сравнении с индустриальной структурой слабо были развиты, начиная уже с третьего, средние и особенно высшие слои. Да и горное производство вместе с первичной переработкой сырья казались достаточными только при худосоч-

ном машиностроении: его рост неминуемо потребовал бы существенно больше металла, энергии, цемента. Это был не конус, а скорее колокольчик: расширенное основание, быстро сужающаяся середина и вытянутая верхушка. Соответственно и на внешнем рынке Россия продавала продукцию сельского хозяйства, сырьевые материалы, чугун, ввозя прежде всего машины, оборудование, качественные потребительские товары.

Введенный после Октября «военный коммунизм» не изменил материальной структуры хозяйства. Сдвигов в этой структуре не произошло и за годы нэпа: хозяйство было восстановлено почти до предвоенного уровня, но пропорции между отдельными секторами экономики сохранились, в рамках самого хозяйства не наметилось и тенденций к таким изменениям. Однако за несколько лет нэп мобилизовал практически все ресурсы, которые можно было вовлечь в оборот при данной структуре. Это привело к невиданным темпам роста экономики в середине 20-х годов.

Сейчас практически все, кто обращается к опыту нэпа, восторженно пишут о его успехах, но при этом проявляют склонность к экстраполяции. Мол, если бы не сталинский курс на резкое сворачивание новой экономической политики, то высокие темпы сохранились бы, хозяйство достигло бы целей, декларированных в первые пятилетки, в более короткие сроки и без трагических потерь в политической жизни, социальной сфере да и в самой экономике, принимая во внимание долгосрочный аспект, последствия, в полной мере проявившиеся в 60-е и последующие годы.

Серьезных оснований для подобных экстраполяций, на мой взгляд, нет. Ликбез не поднял крестьянина на качественно новую ступень и не восполнил тех небывалых потерь в сфере культуры, которые понесла страна. Дело не только в том, что утончение культурного слоя деформирует, если не уничтожает способность населения воспроизводить этот слой; для хозяйства он играет роль катализатора развития, прежде всего в верхних, определяющих основные изменения уровнях структуры. Причем важно не только трудовое участие, но и иная структура потребностей — ориентированная на качественные, технически сложные новые изделия. Это в полной мере относится и к наиболее культурным представителям самого крестьянства. Массовый переход от безграмотности к полуграмотности, как бы он количественно ни впечатлял, не мог возместить кошмарной утраты качества. Впоследствии этот переход вместе с другими причинами привел к возникновению новых явлений, тех социально-психологических структур, которые обусловили возможность и сталинщины и застоя.

Хозяйство оказалось перед выбором.

* * *

Первый путь состоял в созидательном использовании возможностей существующей структуры, то есть в ориентации на развитие основного источника ресурсов роста — сельское хозяйство через его укрепление, усиление интереса к промышленным товарам, участие во внешней торговле и т. д. Неизбежным становилось падение темпов, резкое замедление экономического развития, ибо сложившаяся структура уже к 1927 году использовала почти все «готовые» ресурсы, вовлекаемые в производство. На этом пути крестьянство должно было автономизироваться и, следовательно, стать реальной политической силой. Структура хозяйства менялась бы относительно медленно, тем более что культурный слой катастрофически поредел. Видимо, примерно такой путь развития, с акцентом на возможности целенаправленного руководства событиями, импонировал Н. Д. Кондратьеву и А. В. Чапанову.

Второй путь предполагал резкий, по сути насильственный переход к новой структуре, переход через беспощадное и недальновидное разрушение всего, что казалось лишним. «Диктатура пролетариата» не могла принять медленной эволюции на сельскохозяйственном базисе с городской безработицей и раздражающими «гримасами нэпа». Структурная перестройка «диктатуре» необходима была и потому, что капиталистическое окружение воспринималось только как враждебное. Богатые возможности внешней политики, безусловно, открылись бы и на первом пути, но само такое предположение подтверждало неприемлемость этого пути с позиций господствовавших идеологических представлений: скажи мне, кто твой партнер, и я скажу, кто ты.

Направление перестройки представлялось достаточно очевидным: быстрое развитие хозяйства на базе механизации, достижение желанной независимости от импорта, укрепление военной мощи — все это возможно только при ускоренной индустриализации. Такое понимание структурно-хозяйственных целей развития было

единым для партийных и государственных деятелей в конце 20-х годов, в этом вопросе не было принципиальных разногласий. Споры велись относительно конкретных темпов индустриализации, способов ее финансирования, обеспечения экономическими ресурсами, организационных форм управления процессом.

В 1922—1925 годах, когда с учетом краха «военного коммунизма» предпринимались первые попытки разработать теорию переходного периода, не вполне ясную позицию Н. И. Бухарина и некоторых других идеологов еще можно было трактовать как зондирование первого пути. Но к концу 20-х оснований для этого уже не существовало. Раньше Бухарин писал о «врастании в социализм», о том, что «мы медленной дорогой пойдем себе помаленечку вперед, таща за собой крестьянскую колымагу»¹, категорически отрицал «третью революцию». Однако в апреле 1925 года он подчеркнул: «...нам важно сейчас до зарезу все время ускорять быстроту хозяйственного оборота... Это значит, что мы должны добиваться возможно более быстрого накопления во всем народном хозяйстве в целом...»². И хотя в дальнейшем Бухарин не раз писал, что темп развития промышленности должен быть согласован в плановом порядке с темпом развития сельского хозяйства и что эти темпы необходимо оптимизировать, исходя из долгосрочной перспективы, он не смог достаточно конкретно изложить свою позицию. В «Заметках экономиста» Бухарин недвусмысленно говорит о целесообразности повышения налоговых ставок на кулацкие хозяйства и «возросшем хозяйственном влиянии кулачества в деревне»³.

В нынешних попытках представить Н. И. Бухарина деятелем, предложившим убедительную альтернативу сталинскому варианту индустриализации, на мой взгляд, преобладает стремление выдать желаемое за действительное. Именно отсутствие достаточно ясной конструктивной программы предопределило не только политическое фиаско Н. И. Бухарина и его сторонников в год «великого перелома», но и легкость и быстроту, с какими победившая сталинщина задвинула выдающихся лидеров за кулисы общественной жизни, а затем уничтожила их физически. Бухарин отступал не перед Сталиным, а перед той могучей, страшной силой, которая за ним стояла.

Индустриализация осуществлялась в сталинском варианте. За две пятилетки совершилось преобразование материальной структуры хозяйства. Индустриализация, по Сталину, несомненно, повторила многое из того, что пытался провести в жизнь «военный коммунизм». Она, по сути, восстановила продразверстку, объявила непримиримую войну не только частной, но сколько-нибудь заметной личной собственности, занялась искоренением товарно-денежных отношений и рынка, внедрением прямого распределения, провозгласила командование лучшим способом управления в хозяйстве, в обществе.

В отличие от «военного коммунизма» индустриализация была подготовлена системно, кроме того, ей содействовали и весьма существенные случайные факторы.

Во-первых, если «военный коммунизм» был попыткой прорыва «вообще», то индустриализация имела вполне конкретные экономические, материальные цели — построение новой хозяйственной структуры, обеспечение обороноспособности, экономической независимости. Неправедные преобразования социально-экономических отношений, учиненные «военным коммунизмом», были одним из целевых компонентов: «должное» немедленно вводилось в саму реальность. Отнюдь не отказываясь от целевого содержания ломки социально-экономических отношений, индустриализация на первый план выдвинула другую цель, гораздо более понятную, осязаемую, измеримую и контролируемую, более того — реалистичную в каком-то особом, безусловно извращенном смысле. По отношению к ней ломка оказалась средством, ее последствия (каковы бы они ни были) можно оправдывать целью, поскольку она достигалась. Важно сформировать такую незунитскую ситуацию, а извлечь из нее весь огромный пропагандистский эффект — дело техники.

Во-вторых, вместо разрухи 1918 года индустриализация начиналась в хозяйстве, восстановленном излом, мобилизовавшим все доступные ему ресурсы. Эта мобилизованность была материальным фактором, толкавшим к перестройке структуры. «Военный коммунизм» подобного фактора не знал.

¹ Н. И. Бухарин. Избранные произведения. М. Политиздат. 1988, стр. 87.

² Там же, стр. 123.

³ Там же, стр. 404.

В-третьих, была подготовлена система управления, которая включала последовательно насаждавшееся чиновничество в центре и на местах в ходе так называемого районирования (этот процесс поразительно описан А. Платоновым в очерке «Че-Че-О») и аппарат репрессий. Система формировалась из людей, совсем недавно оторванных от социальной почвы, от своих корней, державшихся только за верх, за того, кто их назначал, а потому готовых выполнить любой приказ.

В-четвертых, к 1929 году среди тех, кто участвовал в революции и гражданской войне, накопилось острое недовольство текущим состоянием дел: обогащение нэпманов, хлебозаготовительные кризисы, безработица в городах. Большинство этих людей не могли найти себе адекватного места в условиях нэпа. Энергия революционного потока, рожденного Октябрем, не иссякла, она не находила выхода. Именно в этом сходство ситуации 1929 года с 18 брюмера — в обоих случаях революционный поток устремился в новое русло.

В-пятых, в том же 1929 году разразилась «великая депрессия», крупнейший в истории капиталистический кризис перепроизводства. Дело не в том, что конкурирующая система катастрофически теряла привлекательность, началась даже достигшая пика в 1933 — 1934 годах иммиграция в СССР. Для индустриализации было важнее, что существенно облегчились условия закупок импортного оборудования, столь необходимого для перестройки структуры хозяйства. Распродавая по дешевке культурные богатства страны, бюрократия по умеренным ценам покупала машины. На стройки спонялось «избыточное» деревенское население, а те, кто оставался в селе, были объединены в колхозы и кормили города и стройки, им самим оставалось не более того, что необходимо для воспроизводства рабочей силы в сельском хозяйстве. Вот и вся немудреная экономика индустриализации, заменившая «хитроумные» рассуждения Бухарина.

В-шестых, развитие осуществлялось за счет экстенсивных факторов, страна располагала огромными запасами природного сырья, неосвоенными землями, трудовыми ресурсами. На этапах экстенсивного роста движение на каждом направлении происходит как бы по прямой, ибо не меняются формы взаимодействия хозяйства и природы, базовые технологии, характер труда и требования к нему. Сегодня осваивается одно месторождение, завтра — другое аналогичное при помощи такой же техники, затем третье и т. п., то же относительно заводов, фабрик, новых контингентов трудящихся... Не требуется гибкости, тех маневров, без которых невозможно интенсивное развитие, непрерывное качественное обновление.

* * *

Индустриализация потребовала две пятилетки, и тем была достигнута основная структурная цель хозяйственной политики. Надо было поставить новую цель, выяснить, соответствуют ли ей встроенные в ткань общества средства осуществления предыдущей. Но средства, созданные к этому времени, не предрасполагали к такому анализу, да и тревожные обстоятельства внешнего порядка заставляли концентрироваться на текущих задачах. Перевод экономики на военные рельсы, восстановление хозяйства после войны опять-таки ставили скорее оперативные, чем долгосрочные стратегические задачи. «Средства» между тем набирали силу: крепла и костенела командно-бюрократическая система управления, усиливалась социальная эрозия. Все это подталкивало к продолжению равномерного роста всех элементов хозяйственной структуры. Грандиозные по первому впечатлению планы конца 40-х — начала 50-х годов поражали больше масштабами, а не глубиной социально-экономического обоснования, не силой предвидения.

Могла ли наша экономика бесконечно расти, сохраняя структуру практически неизменной? Конечно, возникали новые производства — точное приборостроение, электроника, ракетостроение, атомная энергетика, — но это не вызывало сколь-нибудь радикальных структурных изменений. Соотношения между секторами почти не менялись, новые производства не играли структурообразующей роли. Хозяйство требовало все тех же ресурсов, что и раньше, в тех же соотношениях, но в больших количествах, ибо оно росло. Но ресурсы каждого конкретного вида ограничены. Это и ставит границы экстенсивного роста.

Обычно спрашивают: разве в нашем хозяйстве не происходило обновление основных фондов? Разве мы остались в стороне от научно-технического прогресса? Нет, обновление происходило, наблюдалось и научно-техническое развитие, хотя и замед-

ленное, особенно в последнюю четверть века (разумеется, в сравнении с США, Японией и Западной Европой, а не предшествующими десятилетиями). Но, во-первых, преобладали относительно малые изменения в прежних технологиях, не массовый переход к принципиально новым (скажем, к сухому способу производства цемента); во-вторых, наиболее передовые технологии осваивались в оборонных отраслях, а процесс передачи их в гражданские отрасли растягивался на несколько пятилеток, так что, в-третьих, термин «технологическая стагнация» вполне адекватно характеризует положение во многих гражданских отраслях на сегодняшний день. Например, мартовский способ выплавки стали преобладал до войны, теперь он безнадежно устарел, но и сегодня более 50 процентов стали выплачивается у нас в мартенах, хотя в Японии еще в 1980 году, а в США и Западной Европе несколько позже мартены демонтированы.

Однако если равномерное расширение хозяйства при сохранении его структуры наталкивается на естественные ограничения, то, хотим мы того или нет, знаем об этом или не знаем, неизбежны деформации структуры (конечно, когда не предпринимаются целенаправленные усилия по ее перестройке соответственно с изменившимися условиями развития экономики). Первым признаком такой деформации, собственно, и было перманентное отставание сельского хозяйства, особенно резко проявившееся в конце 50-х годов и вынудившее Н. С. Хрущева в 1962 году повысить цены на мясо и молоко (мера эта, как известно, не привела к позитивным результатам). Суть дела была в процессе, как теперь говорят, раскрестьянивания, в сложном комплексе разнообразных причин, но социальное блузурное руководство, ориентированное на техницистские рецепты, полагало, что все проблемы сельского хозяйства можно решить организационными перетрясками, наращиванием капитальных вложений. Такой подход к успеху не привел: реорганизации лишь отвлекали от дела крестьян, укрепляли господство бюрократии, что же касается инвестиций, то социально-экономические условия не способствовали усвоению направляемых в деревню средств, да и качество их было отнюдь не передовым, они нигде не образовывали единого комплекса, приспособленного к специфике конкретного сельскохозяйственного ареала. Затраты на развитие сельского хозяйства стали возрастать гораздо быстрее, чем его продукция.

В минерально-сырьевом комплексе аналогичный процесс начался в 60-е годы. Стали иссякать месторождения, удобно расположенные в обжитых районах с приличной инфраструктурой, в благоприятных горно-геологических условиях, с сырьем высокого природного качества. За сырьем пришлось отправляться все дальше, добывать его все с больших глубин, мириться с низким содержанием полезных компонентов, значительными вредными примесями, отсутствием инфраструктуры, достаточного коренного населения, с малоприспособленными для постоянного проживания приезжих работников условиями. Опять-таки рост затрат для получения результата, прежде не требовавшего экстраординарных усилий. Вспомним, что «дальше» означает более длинные рельсы и трубопроводы, рост затрат энергии на транспортировку; «глубже» — больше буровых, насосно-компрессорных и обсадных труб, шахтного оборудования; ниже содержание полезных компонентов — мощнее обогатительное оборудование, а это все сталь, энергия...

Вот и получается, что чем больше выплачивается стали, производится энергии, тем больше стали и энергии расходуется в металлургии, энергетике и обеспечивающих их производствах не только в валовом исчислении, но и на каждую единицу продукции и тем более прироста продукции. С определенного момента почти вся дополнительная сталь расходуется на производство этой самой дополнительной стали. Самоедская экономика! Приходится пожирать плоды сохранявшейся в течение почти полувека установки периода индустриализации: потребность отраслей народного хозяйства в энергии, металле, природном сырье должна быть удовлетворена. Но если эта потребность вовсе не соответствует народнохозяйственным интересам, особенно долгосрочным? Если дефицит стали, энергии, сырья обусловлен их структурным перепоблением?

Деформация структуры хозяйства произошла помимо воли и сознания хозяйственных руководителей эпохи застоя. Пренебрежение стратегическими вопросами развития экономики пронизывало практически все решения и даже нашло отражение в «руководящих» выступлениях. На майском (1982) Пленуме ЦК КПСС Брежнев говорил: «Товарищи! Продовольственная программа выдвигает разные по срокам задачи — и долгосрочные, и среднесрочные, и срочные, неотложные. Мне кажется, что

именно последние следует сейчас поставить в центр наших забот». Это и есть экономический манифест застоя, это и есть попытка жить не по средствам — за счет будущих поколений. Все двадцать лет застоя усилия сосредоточивались на текучке, на задачах, определенных хозяйственной инерцией, без попыток осмыслить, в чем состоит эта инерция, куда она ведет и как ее преодолеть. Если огромная страна целиком сосредоточена на срочных задачах, она обрекает себя на воспроизводство и дальнейшее обострение этих задач, и так без конца.

Неблагополучие в хозяйстве, естественно, было секретом полишинеля, какие бы торжественные речи ни произносились, какие бы огушительные ни публиковались рапорты, какие бы иллюзионистские эффекты ни демонстрировало ЦСУ. Экономические просчеты Н. С. Хрущева (и злополучная кукуруза, и непрерывные шараханья в сельском хозяйстве, и попытка преждевременно свернуть угольную промышленность, и многое другое), очевидный провал его плана построить коммунизм для «нынешнего поколения советских людей» обострили как саму хозяйственную ситуацию, так и ее восприятие общественностью. «Мирная» отставка Хрущева, напомнившая о его великой заслуге — разоблачении культа личности Сталина, — пробудила надежду на демократизацию общественной жизни и, следовательно, повышение уровня компетентности в управлении экономикой. Оживленная дискуссия начала 60-х годов по вопросам управления хозяйством, экономического механизма выявила новые подходы. Казалось, реформа 1965 года реализует хотя бы некоторые из этих полезных идей. Этого не произошло, то, что в теоретических дебатах поначалу представлялось действенным и реалистичным, при реализации открылось неожиданными границами.

Утрата экстенсивными факторами былой эффективности все яснее говорила о кризисе системы, о ее неспособности даже сохранять видимость. Все реформистские устремления были направлены против адресного директивного планирования по огромной номенклатуре натуральных показателей. Вспомнили о законе стоимости, констатировали, что существенные элементы товарности имеются в социалистическом хозяйстве, а стало быть — да здравствуют стоимостные плановые показатели! Эта насквозь ошибочная логика и явилась основой реформы 1965 года — еще одной не удавшейся перестройки.

Установка на экономизацию хозяйствования, то есть на использование стоимостных оценок при выборе хозяйственных решений, проводилась в условиях, когда база этих показателей — цены — определялась испытанным бюрократическим способом: в служебных кабинетах ведомств. Закон стоимости игнорировался, ибо никакого рынка по-прежнему не было, за исключением колхозного и левого, а без рынка закон стоимости не действует, как не действует закон Ома в сети, по которой не идет ток. Рынок определяет, во-первых, чего и сколько надо произвести для общества, во-вторых, на какие затраты оно ради каждого вида продукции согласно пойти. Эти затраты и представляют собой стоимость, а цена — ее денежная форма, причем определяет ее рынок не вообще, а именно для этих объемов — общественно целесообразных. Вся история нашего хозяйствования свидетельствует, что если эти задачи решает не рынок, а чиновники в своих кабинетах, то ничего хорошего не получится.

Реформа привела к экономизации только по форме, а не по существу, ибо не сопровождалась коммерциализацией реальных отношений хозяйственных субъектов. Такая формальная экономизация лишь устранила ту небольшую порцию содержания из планов и статистической отчетности, которая в них была, способствуя утере экономической перспективы. Как некогда при индустриализации, промежуточные задачи и средства довольно быстро заслонили и действительные цели, стоимостные показатели реформы 1965 года с многочисленными наследниками (вал, реализованная, нормативно-чистая, чистая, условно-чистая продукция, прибыль, имевшие к стоимости весьма отдаленное отношение) воздвигли между системой управления и хозяйственной реальностью донельзя искаженный образ этой реальности.

Для структуры нашего хозяйства катастрофическим было решение ориентировать экспорт на торговлю природным сырьем, с тем чтобы получаемые средства использовать для устранения научно-технического отставания и массовых закупок продовольствия и ширпотреба. Такое решение ни в какой мере не детерминировалось хозяйственной ситуацией, но буквально навязывалось тем кривым зеркалом, которое устроила система управления. В середине 60-х годов хозяйство, исчерпавшее возможности роста при сохранении пропорций индустриальной структуры, стояло перед выбором стратегии развития. Положение вещей в этом смысле напоминало канун индустриализации. И, как тогда, выбор был определен политическими факторами. Те-

перь это был даже не выбор, а отказ от стратегического выбора, от активной структурной хозяйственной политики, ориентированной на долгосрочную перспективу.

В результате структура нашего хозяйства уже в 60-е годы начала деформироваться: у индустриального конуса стали расширяться два-три нижних слоя, а из-за дефицита экономических ресурсов, прежде всего квалифицированного труда и капитала, при этом неизбежно хирели верхние слои. К середине 80-х индустриальный конус трансформировался в хорошо известный по прежним временам колокольчик.

* * *

В развитых капиталистических странах между тем происходили события иного рода. Еще в начале 60-х годов появились первые аналитические и прогностические работы, в которых подвергались сомнению возможность и целесообразность безудержно расширять ресурсопользование. Опасения вызывала зависимость даже не от импорта сырья, а от ставшего чрезмерно значимым природного фактора. Уменьшить эту зависимость, как становилось все более ясно, значит обеспечить хозяйству адаптивность, способствовать развитию самых прогрессивных производств, содействовать сохранению и защите окружающей среды, сократить число рабочих мест с неблагоприятными условиями труда. Для этого уже была создана научная база, опробованы и непрерывно совершенствовались энерго- и ресурсосберегающие технологии. Но как повернуть хозяйство к их использованию, как сделать эффективными необходимые капитальные вложения, а не прежнее ресурсорасточительство?

Проще всего такая цель могла быть достигнута повышением цен на энергию. В условиях рыночной экономики вмешательство государства в процесс ценообразования вовсе не редкость. В частности, более двадцати послевоенных лет в США цены на электроэнергию искусственно поддерживались постоянными, и притом значительно заниженными. Так стимулировался рост энерговооруженности труда, процесс, с которым связывали в те годы главное направление научно-технического прогресса. Однако повышение цен на энергию было бы крайне непопулярной мерой. Помог энергетический кризис 1973—1974 годов. Какие бы проклятия в адрес ОПЕК ни раздавались по этому поводу, США были заинтересованы в таком развитии событий. Результаты сказались довольно быстро и превзошли все ожидания. В капиталистических странах в итоге реализации различных программ энерго- и ресурсосбережения, разработанных на государственном уровне, валовое потребление природного сырья стабилизировалось и даже начало сокращаться, между тем как экономический рост продолжался — за счет развития технологичных, наукоемких производств, сферы услуг. Энергоемкость и ресурсоемкость национального дохода в этих странах пошли вниз. Началась желанная перестройка структуры.

Теперь торт, слой которого прирастали только вверх, из конуса превратился в цилиндр. Это уже не индустриальная, а постиндустриальная структура. Дело не просто в изменении формы, но в смене основного формирующего фактора. Раньше эту роль выполняла энергия. Именно ее потоки, направленные снизу вверх, определяли в большей мере, чем все остальное, промежуточные преобразования природного сырья от его первозданного вида к тому, что нужно человеку. Энергия вкуче с прочими природными ресурсами обуславливала и способы преобразований, то есть используемые технологии. В постиндустриальной структуре первые роли оказались у информации и квалифицированного труда. Информационный поток движется сверху вниз, и теперь уже он по преимуществу влияет на выбор промежуточных стадий и технологий. Если вспомнить У. Петти, то матриархат сменился патриархатом.

* * *

Однако постиндустриальные страны существуют не сами по себе, а имеют активные экономические отношения с развивающимися странами и с социалистическими государствами. Не правильнее ли рассматривать целостную структуру мирового хозяйства или всю мировую экономическую систему капитализма? Либо, во всяком случае, внести какие-то поправки в картину, которая предстает при анализе, абстрагирующемся от окружения постиндустриального общества?

Хотя за импортируемое сырье развитые страны расплачиваются прежде всего оборудованием и иной технологичной и наукоемкой продукцией, данная статья импорта не столь уж велика в сравнении с валовым национальным продуктом (ВНП). Например, для США она составляет всего 4 процента валового национального про-

дукта. Впрочем, на долю внутренней первичной экономики в этой стране приходится 8 процентов ВВП, а вместе с импортом — 12 процентов. (Для сравнения: в СССР в первичной экономике сосредоточено никак не менее 30 процентов народнохозяйственных затрат, причем, как уже отмечалось, именно этот сектор растет быстрее других.) Не все развивающиеся страны активно включены в международное разделение труда, но и те, кто вышел на мировой сырьевой рынок, необязательно оказались интегрированными в него полностью: во многих из этих стран экономика разделилась на две слабо взаимодействующие части — экспортную, которая встроена в мировое хозяйство, и традиционную, которая почти автономно функционирует по старинке. Как по продукции, так и по затратам экспортная сырьевая часть совокупного хозяйства развивающихся стран примерно соответствует тем поправкам, которые вносятся в показатели первичной экономики постиндустриальных стран при учете импорта.

Но, с другой стороны, нынешний уровень научно-технического развития индустриальных стран в значительной мере «финансировался» в прежние годы теми, кто сейчас весьма далек от этого уровня. Стало немодно вспоминать об эксплуатации, колониализме и неоколониализме, и тем не менее было бы полнейшей экономической наивностью забывать о том, что те самые экономические резервы, которые дают возможность хозяйственного маневра и определяют свободу выбора, были получены постиндустриальными странами в свое время из колоний и освободившихся государств. Конечно, сейчас ситуация иная. Раньше Англия ввозила продовольствие из колоний, и не она одна. Теперь практически каждая индустриальная страна ввозит продуктов питания не больше, чем вывозит.

Итак, различия современных структур хозяйства нашей страны и постиндустриальных государств следует квалифицировать как принципиальные, качественные.

Нашу экономику называют затратной, имея в виду, что хозяйственный механизм многие годы ориентировал предприятия на рост затрат, а не на их экономию, ибо именно через затраты командно-бюрократическая система измеряет результаты хозяйственной деятельности: иначе не получается, если нет рынка — единственного известного инструмента объективного общественного соизмерения затрат и результатов. Но она затратна и в другом смысле: сама структура хозяйства предопределяет завышенные затраты в сравнении с экономикой постиндустриальных стран, причем практически по всем видам производимой продукции.

Раздутое основание структуры нашего хозяйства, о которой говорилось выше, — отражение того факта, что наша первичная экономика за счет избыточности природопользования вовлекает не только вполне эффективные, но и неэффективные природные ресурсы — это относится и к месторождениям полезных ископаемых, и к сельхозугодьям, и к лесам. А раз в хозяйство вовлекаются неэффективные ресурсы, то неизбежно оказываются завышенными затраты на производство продукции в природоэксплуатирующих отраслях, но не только в них: продукты переработки природного сырья неизбежно наследуют чрезмерные издержки в составе своих затрат, поскольку получают сырье не лучшего качества, и т. д.

Но издержки оказываются завышенными и в верхних слоях структуры, хотя и по другим причинам. Здесь именно недостаточный масштаб выступает как неблагоприятный фактор. Для подлинной результативности производства верхних слоев необходима высокоразвитая технологическая среда — не просто инфраструктура, об отставании которой у нас в последние годы сказано немало, но очень высокое разнообразие и качество продукции смежных производств, гибкость и адаптивность технологических систем, общая культура хозяйства и управления им.

Итак, болезненная полнота снизу крайне нехлестки дополняется худосочностью сверху, эта худосочность и ограничивает нас в технологических средствах, с помощью которых можно отказаться от нерационального природопользования, заменив примитивную переработку низкосортного или слишком дорого достающегося сырья глубокой комплексной переработкой самого эффективного. Естественно, все сказанное в равной мере относится и к ресурсообеспечению народного хозяйства, и к другому аспекту рационального природопользования — охране окружающей среды.

Такое положение вещей предопределено структурой хозяйства, то есть не сегодняшними, не вчерашними, а позавчерашними решениями — теми, что десять, пятнадцать и двадцать лет назад направляли долгосрочное развитие. Выправить этот дисбаланс в обеих его частях можно только вместе со структурой, но никак не в данной структуре.

Можно надеяться победить дисбаланс, продавая излишки одних продуктов на мировом рынке и покупая на полученные средства недостающее. Тем, кому это вполне удается, нет оснований говорить о дисбалансе — обычное разделение труда. Что значит вполне? Это значит, что издержки на производство экспортной продукции вполне приемлемы по критериям интегрированной системы мирового рынка, то есть для стран с конвертируемой валютой. К сожалению, прямой пересчет наших издержек на добычу экспортируемой нефти или газа в конвертируемые единицы невозможен. Однако все косвенные рассуждения и сопоставления свидетельствуют: наши нынешние издержки чрезмерны и наш экспорт вызван текущим напряжением внутри хозяйства, а не обусловлен выполнением внешних критериев целесообразности. Это значит, что в долгосрочном аспекте он содействует дальнейшей деформации хозяйственной структуры.

Ясно, что если издержки в натуральном выражении зависят прежде всего от структуры хозяйства, то она детерминирует и стоимостные оценки, однако не непосредственно, а через систему социально-экономических отношений, включая управление. Поэтому гипотетически допустимо, что два хозяйства с примерно одинаковой структурой могут иметь различные системы экономических оценок, в зависимости от того, какой механизм осуществляет при этом передаточную функцию. Наша нынешняя система экономических оценок, сформированная командно-бюрократической системой управления, пожалуй, никого не вдохновляет. Поэтому многие ставят вопрос о «правильных» ценах, которые адекватно отражают требования закона стоимости, гарантируют равновесие спроса и предложения, позволяя отсекал общественно нецелесообразные виды хозяйственной деятельности и стимулировать социально оправданные. Какие цены могли бы удовлетворять таким требованиям? (Примем условно точку зрения, согласно которой к ценам можно предъявлять требования не только в моделях, но и в жизни.)

Очевидно, что в качестве ответа подразумевают цены, которые сложились бы в хозяйстве с примерно такой же структурой, как у нашего, но с совсем другим экономическим механизмом, а именно — основанным на свободном рынке. Рынок повышает цены на продукты, дефицит которых ощущается в хозяйстве, далеко вперед он не заглядывает — «рынок близорук», как говорят его исследователи на Западе. А какие продукты у нас в дефиците, это определяется главным образом структурой хозяйства: долгие годы перманентная нехватка энергии, труб, проката, выпускаемых предприятиями нижних секторов нашей хозяйственной структуры. Рынок поднимет цены именно на них. «Вот и хорошо, мы наконец начнем их экономить», — подумают многие.

Хорошо, да, к сожалению, не сразу: растраты и потери, происходящие от безхозяйственности, из-за отсутствия элементарного порядка, определяются не якобы низкими ценами на энергию, сырье, материалы, а незаинтересованностью в сокращении затрат. Она обусловлена бездействием хозрасчета в условиях монополии производителя — все издержки, оправданные и неоправданные, можно переложить на потребителя. А перерасход, вызываемый техническим отставанием, требует замены ресурсоемкого оборудования ресурсосберегающим, то есть реконструкции предприятий, модернизации технологии. Но заменить устаревшее оборудование сейчас, как правило, нечем: наша промышленность мало выпускает передовой техники.

Краткосрочная реакция хозяйства на изменение условий известна: из всех привычных видов деятельности оно выбирает те, которые соответствуют новым требованиям. Но повышенным ценам на энергию соответствует увеличение ее производства, благо спрос и при повышенных ценах вряд ли упадет, то же относится и к прочим продуктам первичной экономики. Ведь самая привычная продукция для нашего хозяйства — шахты и карьеры, скважины и трубопроводы, домы и мартены, ГЭС и ТЭС, а не контрольно-измерительная аппаратура, не средства автоматизации, не компьютеры, не мембранные фильтры, не композиты, тем более не образцовая организация труда, высокая дисциплина, соблюдение требований технологии, качество продукции.

Мы не верили в лозунг «советское значит отличное» даже тогда, когда он красовался на всех стенах, железнодорожных насыпях и заборах стройплощадок. А ресурсосберегающее оборудование — это прежде всего результат организации, дисциплины, качества и применения новейших технологий предприятиями-изготовителями. Пока все это к нам придет, пока стимулы рынка (а он только еще формируется)

повернут машиностроение к выпуску того, что действительно нужно, пока затраты на производство этого оборудования и объем предложения достигнут того, что рыночная цена станет приемлемой для многих, мы наверняка выроем новые шахты и карьеры, пробуем скважины, пророем каналы... Но как раз этого нам и не следует делать — дальнейшая деформация структуры хозяйства, разрастание ресурсного основания приведут к тому, что не останется экономических ресурсов на развитие передовых производств, а дефицит энергии, сырья благодаря развитию «самоедского» контура будет возрастать, подхлестывая цены. Такое неуправляемое развитие может закончиться только глубочайшим структурно-экономическим кризисом, который не обойдется без неизбежных социальных и политических «дополнений».

Из рассуждений подобного рода следуют выводы, не вполне согласующиеся с наиболее модной сейчас точкой зрения на пути радикальной реформы. Эта точка зрения, как показывают многие публикации, выступления по радио и телевидению, сводится к тому, что необходим незамедлительный, по мнению некоторых экономистов, почти мгновенный переход к рыночным отношениям, полному хозрасчету, а то и к конвертируемому рублю. Основные аргументы в пользу этой позиции — ссылка на блестящий успех нэпа, аналогии с реформами в Китае, восхищение практикой неоконсерватизма на Западе. Эти аргументы не представляются убедительными потому, что подразумеваемые ими сравнения неправомерны: разница в условиях, характерных для нашей нынешней ситуации, и в тех, что были у нас в 20-е годы, в начале и середине 80-х в Китае, тем более в США или Англии в последние десять лет, столь велика, что применять хорошо сработавшие инструменты без оглядки на эти условия никак нельзя. Это было бы новым проявлением уже подводившего нас экономического романтизма, когда привлекательная идея ставится над экономической реальностью в уверенности, что сможет подчинить и должным образом трансформировать эту неудовлетворительную реальность.

Нужно ли нам развивать рынок? Совершенно необходимо. Для нашего уровня производительных сил и производственных отношений он, как бы ни относиться к его будущему за пределами научного предвидения, был и остается прогрессивной формой, которую — именно в наших нынешних обстоятельствах — заменить нечем. Развитие рынка благоприятно скажется и на социальных процессах, содействуя становлению правового государства, демократического общества. Вот как бы только не дискредитировать идею рынка, особенно учитывая, сколь много у нее скрытых и явных антагонистов и как далека она — не в теории, а на практике — от повседневных дел большинства нашего трудоспособного населения. Поэтому так важно понимать, что декретом рынок ввести нельзя: он не появится сам собой по мановению волшебной палочки, как только будут сняты какие-то ограничения.

На Западе рынок формировался не одну сотню лет (даже если ограничиться капитализмом), он стал элементом культуры общества, развиваясь в соответствующей социальной среде и, конечно же, воздействуя на эволюцию этой среды. Раз рынок — элемент культуры, то это и история, и традиция, и ритуалы, неписанные и писанные законы... Всего этого не только за два года, но и за две пятилетки не сформировать. Многие искренне верят, что наша левая экономика — готовый рынок, надо только освободить ее от бессмысленных запретов, легализовать. Увы, левая экономика — обратная сторона командно-бюрократической системы, это способ жить на проценты с чужого капитала, фундаментальный принцип ее существования — обман, а вовсе не культура.

Экономический романтизм проявляется и в неразличении закона и практики его применения. Сколь много надежд возлагалось на Закон о государственном предприятии: как только введем его в действие, так все предприятия и окажутся на хозрасчете. Выяснилось, однако, что Закон разве что открывает путь к хозрасчету — долгий, трудный, со многими препятствиями, в том числе и непредвиденными.

Для подлинного хозрасчета одного Закона мало — необходима монополизация, развитая оптовая торговля средствами производства, цены, отражающие как сложившуюся структуру, так и общественно целесообразные направления ее трансформации (в этом диалектическом противоречии совсем нелегко разобраться), хорошо налаженная система финансовых взаимоотношений предприятий и государства, предприятий и местных органов власти и многое другое. Постепенно это становится ясно практически всем. Но экономический романтизм не хочет примириться с мыслью о необходимости пройти долгий и трудный путь и ищет «экономический камень», который катализирует желанные перемены. Сами того не замечая, некоторые наши «кушцы» (если ис-

пользовать разделение А. Стреляным теоретиков и практиков хозяйства на «кушцов» и «кавалеристов») вскочили на лошадей и размахивают в нетерпении шашками.

Как ни странно, в качестве очередной палочки-выручалочки все чаще стали фигурировать цены. Странно потому, что, казалось бы, вся наша практика убеждает: цены нельзя рассчитать в кабинете, даже за дисплеем лучшего компьютера, ничего хорошего из этого не получается. Тем не менее многие уверены: чтобы «заиграл» хозрасчет, исчез дефицит и расцвела оптовая торговля, надо установить «правильные» цены. Вот только откуда они возьмутся?

Некоторые предлагают провести тщательно подготовленную реформу цен, то есть опять-таки рассчитать их. Неужели Госкомцен в состоянии это сделать, особенно если учесть, что видов продукции, для которых определены цены, существует более 25 миллионов, а Госкомцен пока успевал утвердить и установить лишь примерно 300 тысяч цен в год, в основном по предложениям министерств, ведомств и предприятий? Кстати, никаких новых предложений по методике расчетов и принципов калькуляции что-то не заметно. Самое забавное, что среди сторонников этой точки зрения немало таких, кто убежден: цены должен определять рынок, но чтобы инициировать его появление, нужна реформа цен. Вероятно, Госкомцен осуществит ее перед своим упразднением.

Кое-кто из экономистов высказывается за то, чтобы принять цены мирового рынка в качестве внутренних. Они-то, мол, правильно отражают соотношение затрат и результатов, учитывают некоторые передовые тенденции и т. д. Остается выяснить: у какой структуры хозяйства затраты и результаты отражены ценами мирового рынка? Отнюдь не у нашей. А что это значит для нас, если мы попробуем их ввести? Резкое несоответствие натурально-вещественных соотношений ценовым.

Мировые цены органичны для хозяйства, интегрированного в международную капиталистическую систему разделения труда, имеющего конвертируемую валюту и тем самым согласного продавать практически все, что оно имеет, по мировым ценам, по ним же приобретая практически все, что требуется. Нам до такой интеграции очень далеко, и, грубо говоря, удаление приемлемых для нас цен от мировых примерно соответствует расстоянию, которое предстоит пройти нашему хозяйству до интеграции в мировой рынок, если мы поставим перед собой такую цель (уверен, что к этому следует стремиться). Уместно напомнить, что реализация японской государственной программы превращения иены в конвертируемую валюту (а это, по сути, и есть интеграция в мировой рынок) заняла — до снятия последних существенных ограничений — двадцать два года, с 1949-го по 1971-й. А ведь в Японии был капитализм, с начала войны в Корее она получала огромную помощь от США, уже с 50-х годов ее рынок был более или менее насыщен товарами внутреннего производства и т. д.

Наконец, предлагается снять все ограничения, «отпустить вожжи» и «поручить» определение цен нерегулируемому свободному рынку в полном соответствии с рецептами неоконсерватизма. Подобные рецепты (хотя и со множеством ограничений) небезуспешно применяются в странах, где структура хозяйства в сравнении с нашей представляется вполне гармоничной, где рынок реально действует, где проблема состоит в том, чтобы ускорить переориентацию вполне к этому готовых хозяйственных субъектов, где валюта конвертируема и экономика интегрирована в мировую систему (более того, играет в ней не последнюю роль). Да и неоконсерватизм вряд ли будет господствовать вечно. Как раз наоборот, история послевоенного развития показывает регулярную, почти циклическую смену консервативных и, скажем условно, «лейбористских» концепций, в зависимости от необходимости изменения акцентов экономической политики под действием напряжений в структуре и других факторов. Нужно ли нам наращивать производство энергии вместо ее экономии при потреблении? Конечно, нет, но при нашей структуре, как было показано, цены свободного рынка будут толкать именно в эту сторону, и достаточно долго: «рынок близорук».

При классическом капитализме структурные сдвиги осуществлялись не рынком в процессе его нормального функционирования. Они решались кризисами, разрушавшими выработанную этим рынком систему экономических оценок и обусловленных ими конкретных ориентаций хозяйственных субъектов. В годы, на которые пришлась наша индустриализация, капитализм начал искать средства, позволяющие достаточно мягко и гладко реализовать необходимые структурные сдвиги. Родилось государственное регулирование. Вместе с другими элементами экономического устройства и социальными институтами государственное регулирование фактически образует силу, противостоя-

щую рынку, если иметь в виду создаваемое им ориентационное поле. Правда, вместе с тем в долгосрочном аспекте эта сила воспроизводит условия существования рынка, защищает его от него самого, от последствий стихийности.

У нас такой силы, уравновешивающей рынок, нет, да она и не могла сформироваться при отсутствии самого рынка. Часто приходится слышать возражение: как так, именно в противодействии рынку мы и сильны, шестьдесят лет только тем и занимались, что искореняли его, нам ли учиться этому «искусству», сами кого угодно научим! В том-то и дело, что не о борьбе с рынком, не об искоренении его идет речь, а о регулировании и целенаправленном воздействии на него, не только не разрушающем, но в определенном смысле укрепляющем рынок.

Нерегулируемый рынок в условиях структурных диспропорций приводит к галопирующей инфляции, которую ни в коем случае нельзя воспринимать как путь выправления диспропорций. Бешеная скачка цен — как раз свидетельство бессилия рынка справиться с тем, что ему неподвластно, ибо весь смысл рынка как регулятора (должен предостеречь от смещения рынка как регулятора с регулируемыми воздействиями на рынок) состоит в относительно быстром возвращении системы к равновесию, к стабильности. При этом рынок, как свидетельствует практика и подтверждает математическая теория, — регулятор в малом, сам по себе он справляется лишь с относительно небольшими отклонениями от равновесия.

Это вовсе не противоречит тому, что происходит при ползучей инфляции (с годовым темпом 5—10, а может быть, даже 15—20 процентов): ее причина — непрерывное появление новых отклоняющих от равновесия факторов и обстоятельств, которые непосредственно не обусловлены рыночным механизмом. Такое положение вещей характерно для рыночных экономик, преодолевающих структурные диспропорции посредством централизованного регулирования. Но при галопирующей инфляции рынок работает как усилитель нестабильности и нуждается в еще большем сдерживании. Желательные структурные сдвиги могут произойти на фоне галопирующей инфляции (с годовым темпом в две-три сотни процентов), но их вызывают совсем другие причины: иностранная помощь, умелое управление научно-техническим развитием, мобилизация хозяйственных резервов в государственном секторе и т. д. Галоп цен в таких случаях может оказаться лишь ширмой, скрывающей реальные позитивные процессы до тех пор, пока они не устранят диспропорции, тогда вместе с обусловившими их причинами исчезают и инфляционные конвульсии. И наоборот, паллиативные меры, действующие не на причины, а только на их проявления, загоняют болезнь внутрь, создают условия для воспроизводства, даже с усилением тех феноменов, против которых направлены. Во многих случаях эти паллиативные меры (сдерживание цен, регулирование доходов и т. п. вне зависимости от структурной роли соответствующих видов продукции и деятельности) необходимы, прежде всего в социальном аспекте — для смягчения дестабилизирующих факторов. Но если при этом одновременно не реализуются серьезные воздействия на структуру, такие меры могут лишь оттянуть, а в конечном счете обострить кризис, неизбежный при подобном развитии событий.

* * *

Каждое хозяйство имеет такую систему управления и такой экономический механизм, каких заслуживает, в том числе, а может быть, прежде всего в зависимости от своей материальной структуры. Конечно, против этой сентенции можно привести массу возражений, сделать соответствующие оговорки и уточнения. В целом, однако, как характеристика тенденции она правильно отражает важнейший феномен: возможности и результативность использования «естественных», «нормальных», «мягких», если угодно — экономических методов управления тем шире, чем сбалансированнее структура хозяйства, чем более отвечает она целям общества, удовлетворяя его потребности. Наоборот, чем менее сбалансирована структура, чем напряженнее общество ощущает оковы, налагаемые хозяйством, тем острее необходимость административных воздействий на экономику. В самом деле, если товарное покрытие платежеспособного спроса не обеспечивается, то неизбежен дефицит, а следовательно, нормальная торговля невозможна и рынок обязательно будет вытесняться фондированием. Если из-за перекосов в ценах, тарифах, нормативах, из-за того же фондирования и прочих «внешних», обусловленных централизованным планированием причин некоторые предприятия, выпускающие требуемую хозяйством продукцию

(здесь даже не важно, в какой мере обоснованы эти требования), оказываются убыточными, то необходимы дотации адресного характера.

Какую бы противоестественную форму централизованного воздействия на хозяйственные единицы из числа практикуемых в нашей экономике ни взять, для нее заведомо можно отыскать оправдание. Разумеется, не вообще, а при бесчисленных «если», то есть в конкретных условиях, созданных в хозяйстве согласно нашим намерениям или сформировавшихся вопреки им. И пока эти «если» сохраняются (как бы нелепы и противоречивы они порой ни были), остаются и резоны в пользу таких централизованных воздействий. Но дело не только в системе управления, в административной надстройке как таковой — она не представляла бы собой столь мощной крепости, если бы не структура хозяйства, не реалии нашей социальной жизни. Как Антею достаточно было прикоснуться к матери Земле, пополняя свои силы, так и бюрократизм доказывает свою необходимость и неизбежность использования командных методов каждым соприкосновением с социально-экономической действительностью — с деформациями хозяйственной структуры.

Не следует, однако, думать, что тем самым можно оправдать все, что делает бюрократия. Ведь бюрократия, реализуя административное вмешательство там, где оно необходимо, всегда стремится «прихватить лишнее», вводя ограничения, запреты, отнимая и деля, даже если это вовсе не требуется и попросту вредно. Таким путем она укрепляет свою власть, расширяет свои возможности, лишая свободы действий других. Кроме того, само качество административного вмешательства оставляет желать лучшего, ибо укрепление власти бюрократии (по крайней мере в краткосрочном аспекте) определяется не успешностью выполнения тех функций, ради которых создало административное общество. Бюрократия вовсе не стремится также изменить условия, которые определяют необходимость командных методов. Наоборот, почти каждым своим деянием она способствует воспроизводству этих условий, в том числе и неосознанно, когда не ставит перед собой подобной цели (вроде Шуки из щедринской сказки: та вовсе не предполагала проглотить Карася в сей злополучный момент, но такова уж была ее природа). А среди тех факторов, которые предопределяют и первое, и второе, и третье, самый важный — отсутствие гласности в подготовке и принятии хозяйственных решений...

Продолжение сложившейся инерции разрастания ресурсного сектора грозит нам катастрофой — экономической, экологической, социальной. Но невероятная сложность наших сегодняшних проблем происходит из-за того, что следовать привычным для подобных ситуаций путем усиления административного вмешательства мы не можем — дальше некуда. Усиление административного вмешательства во всех случаях, кроме ситуаций типа «военного коммунизма», не изничтожило рынок, но, сдерживая, опиралось на него. Этой опоры мы сейчас лишены, ее только предстоит создать. Парадокс в том, что у нас нет времени ждать результатов действия «естественных» сил и формирования, «выращивание» рынка должна начать та самая командно-бюрократическая система, которая специализировалась на его удушении.

Воистину нам предстоит пройти по лезвию ножа, но пропасть с обеих сторон — одна, хотя рухнуть в нее можно двумя разными способами. Первый — продолжение застоя, когда мощная сила инерции повлечет дальнейшую деформацию структуры хозяйства. На этот путь толкают и пассивность, и сторонники «добрых старых времен», и те, кто осуждает коммерциализацию хозяйственных отношений с позиций высокой морали. Второй способ — романтическое форсирование событий, аналог ускоренной индустриализации, хотя и с противоположными интенциями в социально-экономических отношениях. Это может привести к дискредитации экономических методов, необходимых нам компонентов экономического устройства (подобное уже наблюдается в отношении кооперативов), вызвать резкую реакцию против нововведений — и опять-таки возвращение к застою.

Свободы выбора у нас практически нет. Надо найти решение едва ли не единственное, поэтому ошибки недопустимы. В данном случае решение: система краткосрочных мер по стабилизации экономического положения и средне- и долгосрочных — по радикальному перелому негативных тенденций развития. Но как бы ни были остры ситуации, социальные напряжения, каким губительным ни казалось бы любое промедление, мы не должны в очередной раз поддаться соблазнам экономического романтизма. Он не раз подводил нас — и при «военном коммунизме» и при индустриализации, — подсовывая нам пустозвонные лозунги: «догнать и перегнать», «нынешнее

поколение советских людей будет жить при коммунизме». Основой этого романтизма неизменно были — экономическая некомпетентность, социальная незрелость и политический авантюризм. И антонимом поспешности в этом контексте является не промедление, а продуманность решений.

Сторонники экономического романтизма, руководствуясь поверхностными аналогиями, толкают нас именно к поспешным решениям, как эскулапы-дилетанты, для которых существуют лекарства «от сердца», «от желудка», «от головы», а разбираться в диагнозах им необязательно. Перед нэпом (в отличие от сегодняшнего дня) не стояла задача перестройки структуры хозяйства, ломки сложившейся, устойчивой, доказавшей свою невосприимчивость к целенаправленным воздействиям инерция экономического развития. Диагнозы существенно различны, несмотря на сходство симптомов и отчасти причин (перецентрализация, бюрократизация механизма управления хозяйством, изгнание экономических методов, товарно-денежных отношений, рынка, самоуправления). Однако в первом случае — временная протяженность всего несколько лет, во втором — несколько десятилетий.

Конечно, в обоих случаях в хозяйственную жизнь необходимо вернуть то, что из нее изгнано. Но как? Тот относительно простой способ, какой был использован нэпом — устранить не привившиеся, не прижившиеся, непрерывно отторгаемые формы хозяйствования и дать простор силам, готовым к деятельности в существовавшей структуре, — сейчас не пройдет. Антисоциальное, антиэкономическое в хозяйствовании стало нормой, сама хозяйственная структура, крайне инерционная и отсталая, порождает чаще всего такие силы, которым нельзя давать простора; ведь они направлены на закрепление именно того, что препятствует прогрессу. Нужна строгая селекция и тончайшая регулировка, ибо воспроизводится и усиливается эффект грекки на опухоль: уставший от болезни организм требует того, что ему противопоказано.

Как бы ни была специфична ситуация, которая сложилась в России в самом начале 20-х годов, нечто подобное в ряде существенных экономических аспектов повторилось в Китае в начале 80-х. Сходство бросается в глаза: как когда-то у нас, две трети населения — деревенские жители, занятые сельским хозяйством и смежными промыслами, плюс принципы «военного коммунизма», остановившие экономический рост и развитие структуры хозяйства, но еще существенно не изменившие социально-психологических структур (несмотря на куда более длительное господство, чем в послеоктябрьской России). Первые годы проведения экономической реформы в Китае принесли быстрые и впечатляющие успехи: едва ослабли пути командно-бюрократического механизма, хозяйство мобилизовало резервы, которые могли быть использованы при существующей структуре. Но дальше начались трудности. Их анализ заставляет вспомнить наши проблемы конца 20-х годов. Движимый личным интересом крестьянин далеко не всегда производит именно то, что требуется для общества (поскольку структура хозяйства не соответствует этим целям, с ними существенно рассогласуется детерминируемая ею система экономических оценок), поэтому страна, прекратившая было импорт зерна, вынуждена снова обратиться к нему; остро ощутима нехватка экономических ресурсов для структурных преобразований. Привлечение иностранного капитала явилось здесь главным источником, но для огромного Китая достигнутые масштабы оказались совсем незначительными: 8 миллиардов долларов инвестиций — это менее 8 долларов на душу населения. Не замедлили проявиться и колоссальные социальные напряжения, которые усиливаются в тех случаях, когда долго ожидавшийся процесс социально-экономического подъема быстро стартует, а затем резко затормаживает.

Конечно, изучать практику нэпа и экономической реформы в Китае, использовать отдельные элементы этой практики и учитывать уроки необходимо, но ни о каком точном переносе соответствующих мер не может быть и речи.

Думаю, что для выработки правильной стратегии общества надо вспомнить, что скачки в каком-то одном направлении не приводят к успеху, а негативные последствия тем сильнее, чем дальше — по первоначальному впечатлению — удалось прыгнуть. Нельзя выправить структурные деформации в развитии производительных сил экономическим механизмом и системой управления эпохи застоя. Но точно так же невозможно в нынешней структуре хозяйства создать экономический механизм, который хорош для сбалансированного, успешно развивающегося хозяйства. Только последовательное, целенаправленное и согласованное изменение как структуры производительных сил, так и всей хозяйственной модели будет формировать и закреплять позитивные сдвиги. Фактически речь идет о принципе системности, который

у нас часто провозглашался как основополагающий, но почти не применялся на деле. В системе нельзя изменить ни одного элемента без того, чтобы не трансформировались другие, и вопрос в том, как они станут меняться: так, как мы хотим и предвидим, или же случайным, неведомым образом.

В полной мере принцип системности применим не только к общественному развитию в целом, но и к хозяйственному механизму, поскольку он представляет собой систему. Нельзя даже вообразить себе нормальный рынок, функционирующий при ценах, действующих в нашей стране сейчас. Но нельзя и сформировать приемлемых цен, не опираясь на рынок. Невозможен подлинный хозрасчет вне рынка, при дезориентирующих ценах. Но нельзя и построить надежный хозяйственный механизм — с рынком, с пристойными ценами, — если всемерно не использовать хозрасчетные стимулы, развивая их, по мере того как вырисовываются черты этого нового механизма. Именно вырисовываются, ибо сам механизм нельзя запроектировать заранее, начертив на ватмане все его элементы, узлы и передачи. Так же, как с демократией: ее нельзя ни подарить, ни ввести, ни установить, ее можно только развивать — вместе с обществом.

Необходимо радикальное изменение функций централизованного управления. Сокращение штатов наших министерств и ведомств, их слияние, упразднение некоторых из них (сопровождаемое организацией аналогичных подразделений в других министерствах и ведомствах) иногда приводят к снижению затрат на управленческий аппарат, но практически ничего не меняют в самой деятельности системы управления, в ее функциях и способах их реализации (более того, эти функции хуже выполняются меньшим числом чиновников, находящихся к тому же в состоянии «реорганизационного стресса»).

Центральные и региональные органы управления хозяйством должны быть переориентированы с подавления рынка на его развитие и регулирование, с ущемления незапланированной хозяйственной активности на ее всемерную поддержку. Простейшие меры такого рода — отчисления от прибыли государственных предприятий и кооперативов в бюджет региона, где они локализованы (республика, область, район), и отчисления от их же прибыли, не обусловленной госзаказом, в собственный фонд министерства, которому предприятия подведомственны (да и вообще полезно отдавать министерству какой-то процент прибыли от всякой деятельности, которой оно сейчас мешает, — чиновники быстро переориентируются и, глядишь, станут налаживать хозяйственные связи: снабжение кооперативов, арендных предприятий и т. д.). Эти последние платежи могут определяться по регрессивной шкале, в процентном отношении быть незначительными и потому малочувствительными для предприятий, но для ведомств окажутся вполне заметными.

Если министерства, во-первых, станут испытывать давление как сверху, со стороны организаций высшего уровня социально-экономического управления, так и снизу, со стороны предприятий по мере расширения их реальных прав, а во-вторых, получат возможность собственной, и притом стимулируемой, коммерческой деятельности (в частности, благодаря образованию фонда, о котором было сказано), они вместе со своими институтами достаточно быстро могут трансформироваться в консультативные, информационные, исследовательские и обучающие фирмы. Хозрасчет министерств, ориентированный в этом направлении, и соответствующая кадровая стратегия (за выполнение новых функций платить выше и не расширять ради них штат) могут стать главными двигателями такой трансформации.

* * *

Сейчас горячо обсуждается множество самых разнообразных предложений, как управиться с нашими экономическими проблемами. Немало таких предложений порождено паникерским восприятием ряда экономических показателей, непониманием их истинного значения и вторичности по отношению к глубинным, прежде всего структурным, факторам. Так, многих поразила сумма внешнего государственного долга СССР — 34 миллиарда рублей. Но это всего лишь около 120 рублей на душу населения, а в Польше, например, — более тысячи долларов на душу. Можно сказать, что экономическое положение Польши не слишком утешительное, но вот и во вполне благополучной Финляндии — 1500 долларов на душу. Но раз так, говорят другие, почему бы нам не взять в долг побольше, пусть он хотя бы утроится! Но дело не в абсолютной величине долга и не в душевом исчислении, а в том, покрывают ли экспортные поступления те суммы, которые необходимо выплачивать по процентам. Сейчас это условие для нас не выполняется, поэтому надеяться, что наши проблемы разрешимы

посредством иностранных кредитов, пока не приходится. Другой вопрос — как использовать имеющиеся у нас средства? В том, что надо расходовать их на развитие внутреннего потребительского рынка и технологически передовых производств, а вовсе не на расширение сырьевых отраслей, сомнений нет. Может быть, еще больше толков, чем вопрос о долгах и кредитах, вызывает оценка денежных сбережений населения, многим представляющихся астрономическими — более 300 миллиардов рублей на сберкнижках. Несомненно, это часть внутреннего государственного долга; не имея точных данных, могу лишь предположить: это примерно половина его. Но государственный долг США составляет около 2,5 триллиона долларов. Следует ли отсюда, что финансовая ситуация у нас благополучнее?

Дело опять-таки не в абсолютной величине сбережений как долга и не в соответствующую среднедушевых показателей, а в том, что весьма значительная часть сбережений вызвана отсутствием полного товарного покрытия платежеспособного спроса. По этой причине сбережения непрерывно растут, и по той же причине меры типа денежной реформы 1947 года ныне не дадут позитивных результатов, ибо ситуация станет немедленно воспроизводиться. Если крупные вклады действительно заработаны, то реформа накажет лучших работников. Если же источник богатства — нетрудовые доходы, то реформа окажется мощнейшим стимулом активизации усилий по их извлечению: ведь надо вернуть утраченное, и жулье это сделает раньше всех. О подрыве доверия к серьезности намерений по активизации рынка, неизбежном следствии денежной реформы, распространяться нет необходимости. Сторонники навязчивой идеи выкупить лишние деньги у населения не учитывают остроты ситуации на рынке элементарных товаров и услуг. Выкупать деньги, может быть, и нужно, но только не за счет развития производства этой продукции. Сейчас социально недопустимо отвлекать средства на отоваривание сверхвысоких доходов.

Какие бы аспекты сегодняшней экономической ситуации ни анализировать, получается общий вывод: без развития внутреннего рынка не решить ни одной реальной проблемы. Главное препятствие — деформированная хозяйственная структура, низкая результативность централизованных воздействий. Причина — несоответствие выполняемых центром функций реальным нуждам управления экономикой, а также монополизм ведомств. Монополизм, порождающий огромные инвестиционные затраты не там, где требуется, усиливающий структурный дефицит, который глушит любые попытки активизировать товарно-денежные отношения. На быстрые успехи рассчитывать трудно, но промедление недопустимо, иначе успехи не придут и в отдаленном будущем. Если же говорить о самом неотложном, то, без сомнения, это прекращение совершенно неэффективных инвестиций в те производства, которые со структурных позиций содействуют не развитию, а застою.

Путь постепенных реформ конечно же всегда предпочтительнее, если он реален. Практика нашей экономической реформы, радикальной пока лишь по названию, вызывает, однако, сомнения. Экономическое положение продолжает ухудшаться, и многое, недавно казавшееся невозможным, теперь воспринимается иначе. Два года назад о повышении цен никто не хотел и слышать. Пустые прилавки убедили многих, что в такой хозяйственной ситуации цены просто не могут не повышаться. Едва ли не единственный способ осуществить необходимые преобразования — резкое изменение ситуации, шоковая терапия. Все понимают, что это рискованный путь. Но ведь еще рискованнее наблюдать, как бюрократия извращает все попытки двигаться вперед не спеша, и, если без купания в проруби не обойтись, лучше выбрать место поменьше. Конечно, шоковая терапия должна быть не романтическим порывом, а тщательно спланированным мероприятием.

Наше хозяйство просто не воспринимает многие методы, дающие прекрасные результаты «за бугром»: сколько раз мы наблюдали, как самые естественные экономические меры у нас приводят к противоположным, чем следует, результатам. Цены повышаются и спрос вместе с ними; цены растут, а предложение стоит на месте; средства вкладываются в расширение производства, а дефицит усиливается и т. п. Необходимо вполне осознать уникальность ситуации, в которой оказалось наше хозяйство, и перестать отыскивать готовые рецепты в других эпохах и странах. Нам надо многому учиться, многое заимствовать, но только после тщательной примерки, глубокого анализа — именно этого и не хочет признавать экономический романтизм.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

М. С. ВОЛОШИНА

*

ЗАПИСИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

1941 г <од>. Коктебель. 30/VI.

Вот опять хочу начать вести записки¹. Складывается все как будто бы так, что мне только это и остается. Опять настали страшные времена. Никого около меня. Чувство сиротства, одиночества и предельной скорби за все, обо всем. Опять война с 22/VI, всего только 8 дней, а кажется, уже года, года большой напряженной жизни. Некуда податься. Все ужас кругом. Сегодняшние известия о гибели 15 т <ысяч> людьми, танками, аэропланами! Господи, сколько мы можем терпеть! Ведь нет сил. Не то пьяная, не то больная от горя, напряжения. Взяться ни за что не можешь, а ходишь и глубоко томишься. Ночи не спишь. Полное затемнение. С 10 ч <асов> нельзя выходить за калитку; огонь горит — мигалочка, еле-еле освещая. Окна закрыты ставнями и пледями. С 11 ч <асов> сидишь в жаре и духоте. Правда, чарующая тишина. Эти дни стоят знойные и тихие, луна — уже половина почти. И так необычайно тихо все кругом. Я так люблю тишину, а сейчас сжимается сердце от этой тишины, п <отому> ч <то> она так неестественна в такую пору года, и ловишь, ловишь взглядом каждого человека и хочется, чтобы подольше здесь оставались люди. У меня пока Валерик Фальк²; только что стал вставать после болезни. Мне тяжело и кормить и ухаживать за ним, п <отому> ч <то> я очень устала, ухаживая целый месяц за Жеком (Эриком)³, который болел малярией целый месяц. Но я рада, что В. Фальк живет у меня, п <отому> ч <то> я физически еще не одна в доме.

I/VII.

Слухи и информация — никакие, и это страшно раздражает, утомляет и оскорбляет. Сердце и какое-то подсознательное чувство явно говорят, что что-то неблагополучно. И эта литература и хвастовство газет прямо нестерпимы. Так ждешь, так важно знать, что же делается, — и так непонятно, зачем такая болтовня, ложь и замалчивание о самом главном, что так волнует. Хочешь не слушать, не знать ничего, п <отому> ч <то> это все неверно и глупе. И идешь, и слушаешь, как маньяк, п <отому> ч <то> нет сил не знать. Вчера в 11 ч <асов> ночи Абрам Марьяхин прислал сторожа, требуя, чтобы сейчас несла радиоприемник на почту. Вздвинулась, отнесла. Дивная была ночь. Шла и плакала. Ск <олько> горя творится в такую ночь! Марьяхин остается директором⁴. Нужно ожидать всяких гадостей. Здесь нет ни одного мало-мальски порядочного человека — и вот с этими преступниками мне нужно оставаться в такой тяжелый момент. Сегодня массу сделала мелких дел: стирала, убирала, ходила за обедом, пенсию получила⁵. Значит, опять не буду спать. Значит, опять будут болеть руки. Тоскую о Маше, тоскую без его ласкового, мудрого слова. Нет места, где бы я могла хоть немножко отдохнуть от боли и горечи. И все-таки есть силы. Хожу, что-то делаю, раздражаюсь. Откуда это берется, когда и дух, и тело так угнетены.

17/XI.

Вот 5 м <есяцев> прошло, будет 22 <-го>, как началась война с немцами. Хотела записывать все изо дня в день. И опять — только желание, а осуществить этого не могла. Не было ни сил, ни воли.

¹ После смерти мужа в 1932 году М. С. Волошина неоднократно начинала вести дневник.

² В. Р. Фальк, сын художника Р. Р. Фалька.

³ Эрик Пазухин, сын друзей Волошиных. Летом 1941 года ему было восемь лет.

⁴ Директором Дома творчества писателей Литфонда СССР (в Коктебеле называемого просто Литфондом).

⁵ М. С. Волошина получала пенсию 225 рублей за мужа.

Так, внешних событий почти и не было. А ск<олько> пережито? Этого не запишешь и не передашь. Да! Нет еще 5 м<есяцев>, а России не стало. Она [Запись оборвана.]

18/XI.

Даю себе слово писать каждый день.

Такие дни — и они у меня проходят так мучительно и так бездарно. Полдня трачу на приготовление еды. Едим теперь вместе: Анчут<ка>, Мар<ия> Вас<ильевна> и Вар<вара> Яков<левна> — и я готовлю⁶.

России нет. Мы ничего не знаем, что делается там, в России. Здесь к нам пришли с 3<-его> на 4<-е> немцы. Ночью в 2 ч<аса> ночи 4<-го>. И вот уже 12 дней мы завоеваны. Уже через Коктебель прошло несколько партий немцев, румын. Столько пережито! Глядят глаза, мучительно бьется сердце. Безумно безысходные проводишь ночи. Страшно прошлое и так же страшно грядущее. Полная покинутость, полное отчаяние за Россию и всех близких и далеких. Разве можно словами рассказать все то, что происходит хотя бы вот тут, на этом маленьком кусочке земли!

Фактически распад и полная несостоятельность и безответственность начались с первых недель войны, т<о> е<сть> с июня месяца. Общих мест и того, что, что происходило дальше Коктебеля, я не знаю. Думаю, что то же самое, п<отому> ч<то> система была одна и та же. Ложь, ложь и ложь. Сердце надрывалось от боли. Хотелось з н а т ь, что же происходит там, на войне. Было ясно и страшно, что командный состав невежествен, что все хвастовство. Достаточно было увидеть двух-трех командиров, чтобы понять, кому доверяют миллионные армии. Слушала радио. Тошнило от звука интонации «вещания». «От Советск<ого> информбюро...» И вся трагедия миллионов жизней, разорения страны сводилась к 8 строчкам. «В течение ночи велись ожесточенные бои на всех фронтах и наша авиация продолжала наносить удары...» Каждый день один и тот же трафарет. А затем шли какие-то эпизоды. Которых, конечно, было тысяча. И, конечно, был герой, большие, безвестные. Но это еще мучительнее было слышать, п<отому> ч<то> знаешь, что иначе быть не может, но не это решает войну. В этих сообщениях для меня лично вскрывалась вся беспомощность и растерянность власти и прикрывание своей трусости геройскими подвигами обреченных людей. Так хотелось верить, так хотелось исправить ложь и знать! П<отому> ч<то> в глубине души не было веры, п<отому> ч<то> вся окружающая действительность говорила о другом. Такое вдалбливание в головы населения о всех ужасах и зверствах войны. Такое абсолютное несчитание ни с кем, кроме себя. Именем войны делались самые жестокие, бессмысленные поступки. А сами правители ни на йоту не только не показали примера честности, храбрости и человечности, а делали гнуснейшие вещи. Расхищали добро. Пьянствовали, обжирались. Отвезти больного в больницу на экстренную операцию (ущемленная грыжа) не было никакой возможности. Мы вчетвером обегали всех руководителей (их было человек семь) — и все были или глухи, или посылали один к другому, а больной два раза ложился на подводу и два раза был снимаем, п<отому> ч<то> жена председателя колхоза (коммуниста) хотела ехать в Кишлав, п<отому> ч<то> там спокойнее и не могло <быть>, чтобы ей не давали подводы. Керосина ни у кого не было ни капли, в город ходили все пешком, а коммунисты по 3 раза в день ездили спекулировать, то мукой, то яблоками, в ближайшие и отдаленные районы. Добиться чего-нибудь не было никакой возможности. И это август, сентябрь. Слухи ползли. Они были полны самых мрачных ожиданий и глали. Страх у нас и полный, невежественный цинизм у них. Заместителем управляющего, котор<ого> мобилизовали, был оставлен Абрам Марьяхин — страшная, темная, уголовная личность, котор<ый> как пивьяка присосался к Литфонду. Погубил несколько человек, стал кандидатом в партию — и что он тут вытворял! Уже с августа месяца он стал говорить, что все сожгут, что сами они уйдут в лес, а здесь все сожгут. Еще Днепр не переходили, а наши руководители запугивали нас сожжением всего и заготовлением горючего материала. Но было

⁶ Анчутка (от Анна чутная) — прозвище Анны Александровны Кораго (1890—1953); педагог, внучка Ф. И. Тютчева, племянница В. М. Гаршина; перевела роман Ж. Куртелина «Поезд 8.47» (М. 1926); в Коктебеле поселилась постоянно после смерти М. А. Волошина, помогая Марии Степановне в быту. Мария Васильевна — Иваницкая, тетья А. А. Кораго, Варвара Яковлевна — Безобразова.

еще тепло и была возможность ходить по ночам и смотреть, нет ли где чего подожженного. Я иногда оставалась ночевать в саду. Полное затемнение, налет аэропланов. Сначала летали наши. Но потом они перестали летать и летали только неприятельские. Маскировали дом. То есть вымазали грязью. Марьяхин требовал этого мазанья. Чтобы я самостоятельно, своими силами вымазала его. А м<жду> т<ем> у него были еще и служащие при доме <творчества>, и другие дома мазались ими. Правда, в лунные ночи наш дом блестел своей белизной, и мне это было очень неприятно. С моей повышенной рефлекторностью я реагировала на все. Затем мы с Анчуткой, а главным образом я, таскали песок на чердак, <в> кабинет Макса и мастерскую, наполняя все сосуды водой и песком на случай падения зажигательной бомбы. Когда их стали бросать в Феодосии, в газетах писалось, что так-то и так-то проводятся меры и показательные приемы тушения пожаров. А я не могла допроситься огнегасителя — и дал мне его наш сторож Паликорчук. Отвратительное психологическое состояние было, когда стали эвакуировать семьи коммунистов. В этом был какой-то вызов. На нас, остающихся, смотрели с нескрываемым презрением. «А, ждете немцев!» Когда кой-кто из населения смог купить топливо, причем распродавали сами же коммунисты — и тут же упрекали: «Зимовать собираетесь с немцами?»

29/XI.

Опять перерыв. Нет сил записывать все изо дня в день и нет воли. Жизнь — сплошной калейдоскоп. Записать все невозможно, п<отому> ч<то> так врывается много постороннего. И, главным образом, немцы. Но хочу продолжить последние недели перед приходом немцев.

Жили и мы, берег, и деревня⁷ в невероятном напряжении. С первых дней мужчин всех поголовно стали обучать, вернее, мучить военными упражнениями. Каждый день с 5 ч<асов> вечера вся деревня — и женщины (молодежь) — маршировала около почты часов до 11—12 ночи. Зрелище было жалкое и, чувствовалось, ненужное. Радио глало: слушали, боялись, не верили.

Марьяхин пугал и обворовывал Литфонд. Целыми днями вывозилось все, что можно вывезти. Слухи ползали, просачивалось что-то помимо лживого радио — и было страшно, и дни были безысходные. Боялась за дом, боялась, что каждый момент могут принудительно выселить и вообще сделать все что придет в голову. <...> Ходила часто к Масе на холмик⁸. Крутом бомбили и взрывали, гудели вблизи и вдали немецкие бомбардировщики. Плакала и молилась. Просила Масеньку защитить дом, пронести этот ужас мимо его любимой земли. <...> Только у него и черпала силы. Целые ночи не спала, физический страх и моральный ужас полного бесправия и незащищенности делали совершенно больной. Столько раз была близка к самоубийству. Так соблазнительно было перестать быть, перестать все это переживать. И вот когда уже была у самой последней грани полной безысходности, вдруг совершенно неожиданно приехал Ил<ья> Сельвинский. Это было чудо для меня. Я так просила Масеньку, так молила его взять меня к себе: «Я больше не могу, возьми, возьми меня к себе! Я так тут без защиты...»

И, конечно, Маса мне послал защиту. Сельвинский приехал с двумя военными. Он тоже был военный — и те были его начальством. Сначала я не знала, кто они и что. Я рада ему была как близкому, родному человеку⁹. <...> Мы даже не могли поговорить как следует. Я ему в коротких словах рассказала об окружении и поведении Марьяхина и его отношении к дому.

Накануне, перед его приездом, ко мне прибежала утром взволнованная и пере-

⁷ Деревня Коктебель, населенная в основном болгарами, находилась в полукилometре от берега моря. «Меня кормила деревня, — вспоминала Мария Степановна позднее о периоде оккупации. — Я у них ничего не просила, но каждая, каждая несла то 2—3 картошки, то кусочек хлеба и каждый день, по очереди, 1/2 литра молока».

⁸ М. А. Волошин похоронен на холме Кучук-Енишар (167 метров над уровнем моря), километрах в трех от своего дома.

⁹ Поэт Илья Львович Сельвинский был в Коктебеле в 1927 и 1931 годах. 29 августа 1941 года записал в дневник: «С редактором газеты «Сын отечества» и начальником издательства Аксельродом ездил в Коктебель к Марии Степановне. Как чудесен был любимый мой Коктебель вечером на закате! Я стоял на башенке Волошина и глотал слезы. Таким я этого моря, этих скал, этих гор, пляжа, этих растений — никогда не видел. Пустота. Тишина. Ни души. Все разъехались, разбежались — и опять море, горы и скалистый профиль Волошина стоят, как в доисторические дни...»

пуганная Ек<атерина> Мих<айловна> Манасеина¹⁰ и рассказала, что Марьяхин на нее в 12 ч<асов> ночи, ворвавшись к ней, кричал: «Расстрелять вас надо! Окопались тут на берегу — вы, Волошина. Расстреляем...» Я рассказала об этом Сельвинскому. Его начальству. Очень мне понравился он по внешнему виду. Мало говорил, и очень выразительные, усталые были у него глаза. Несмотря на то, что было 10 ч<асов> вечера и они были очень усталые, он сразу захотел пойти в сельсовет или штаб и познакомиться со здешними управителями. Я отговаривала их. Но он все-таки настоял, и мы пошли. Подойдя к штабу, мы увидели яркий свет. А ведь была светомаскировка! В штабе сидели наши деревенские девушки-комсомолки, хихикали, а Марьяхин лежал и был пьян. <?...> Он не подозревал, что пришла моя друзья. Я стояла под окном, чтобы не входить в штаб, и часть разговора слышала. А затем меня прогнал милиционер Фролов — друг Марьяхина. «Я приказываю вам отойти от окна и идти в сельсовет. И сидеть там, пока я вас не позову». Был, конечно, начальнически груб. А Марьяхин на вопрос о<бо> мне отвечал: «Волошину нужно гнать в шею, убрать раз навсегда из Коктебеля. Здесь у нас есть три элемента, с которыми нам нужно расправиться: Манасеина, Волошина и Святские¹¹ — мы с ними порешим наконец». Тут уж Сельвинский вознегодовал и прикрикнул на него: «А что, собственно, вы вменяете в вину Волошиной? Вы кто?» «Зам<еститель> директора. Кандидат партии, был 6 л<ет> шофером».

Тут начальник Сельвинск<ого> стал отчитывать Марь<яхина>: «Вы и рассуждаете как шофер, а не как кандидат. Что же Волошина делает, что вы решаете ее убрать?»

«Она популярна среди крестьян. Ее любят крестьяне, она дачевладелица. Не понимаю, чего писатели с ней носятся, — ведь Волошина никто не знает и советск<ое> прав<ительство> не печатает» и т. д. Я слышала, что Сельвинский негодовал и взволнованным голосом отчитывал Марьяхина, как и его начальство. Дальше что они говорили, я не могла слышать: меня прогнали. А уж потом Марьяхин, Кустодинчева¹² и Фролов стали издеваться над ними с проверкой документов. Продержали их до 3-х часов ночи, усталых, придавившись к какой-то формальности. И проделали всю эту комедию до 3-х ч<асов> ночи, вплоть до вызова Н.К.В.Д. из Стар<ого> Крыма. Но т<ак> к<ак> они были в больших военных чинах, то глупость и подлость Марьяхина была учтены. А мне этот приезд помог и был послан как защита от гибели дома и меня. Все было чудо.

Утром мои гости должны были выехать спешно, п<отому> ч<то> получили какие-то важные военные известия (потом я узнала, что взят Геническ немцами). Начальник мне сказал, что они не могут оставаться ни одной минуты, что дела их призывают. И по их поспешности, и по всему я поняла, вернее, почувствовала, что произошло что-то очень серьезное, п<отому> ч<то> им так хотелось остаться и побыть хоть полдня здесь. А они так быстро и неожиданно уехали.

Проводив их, я так осиротела опять. Так смутно было за фронт и так страшно, что несомненно там катастрофа. Свое отошло. Было страшно и ясно, что на фронте катастрофа.

А на другой день уже говорили: немцы взяли Геническ, прорвали Перекоп, подходят к Феодосии. Партийные вели себя по-прежнему неприлично. Все собрались бежать. Очень, очень было страшно и тревожно. Я пошла, спросила Уразова¹³: что же творится? И он первый раз сказал правду: «Плохо, все кончено, погибла советская власть. Нужно бежать».

А баб и девушек гнали на окопы. Больных, пожилых. Анчутку призывали. З<инаиду> Ив<ановну>¹⁴. Она в это время заболела суставным ревматизмом, но ей

¹⁰ Манасеина Е. М. (умерла ок. 1955) — дочь писательницы Н. И. Манасеиной, драматическая актриса. Имела в Коктебеле двухэтажный дом.

¹¹ Святские — коктебельская семья. Евгений Николаевич Святский (ок. 1887—1960) — художник, ученик С. Чехонина.

¹² Кустодинчева Анна Георгиевна (1903—1986) в 1941 году была председателем Коктебельского сельисполкома. О Волошине говорила (в ноябре 1973 года): «Расхваливать его нечего... Он затворническую жизнь вел, не общался с массами... Писал не доходчиво для простого народа».

¹³ Уразов — директор дома отдыха ЦК Союза работников общественного питания «Коммуна».

¹⁴ Елгаштина З. И. (1897—1979) — балерина из Ленинграда. В Крыму оказалась по болезни.

не верили. Присылали за ней из сельсовета. Приходил милиционер, издевался. Больных, со справками от врача, женщин загоняли рыть окопы. Многие заболели, их прямо из окопов отправляли в больницы. Были случаи, что и умирали. Очевидность ненужности окопов всем была ясна. Но людей гнали и гнали. <...> А немцы летали над окопами, бросали листовки с призывами не рыть окопов, уходить по домам. Хлеба нам давали только по 300 гр., но был, к счастью, виноград и было тепло. Слухов, ужасов, полной дезорганизации было много. А начальство пьянствовало, расхищало имущество д<омов> о<дыха> и развратничало. Такое безобразие, такая безысходность! Кормили меня рыбаки. Каждый день ходила за 300 гр. в деревню и причащались ужасов нашей действительности. А в Феодосии бросали бомбы, гудела земля от тяжелой артиллерии. Сжималось сердце за судьбу дома. Очевидно было, что все, написанное Максом, пропадет от пожара, поджога, от бомбы. Рыла ямы, копала с Анчуткой убежище для рукописей, для себя. Физически было трудно, явна была очевидность ненужности этого копания — и все-таки копали, п<отому> ч<то> нужно было хоть что-то делать, чтобы быть, чтобы к<ак>-н<ибудь> держаться. А тут сообщения о бомбардировке Питера и Москвы!

И в эти дни покинутости и запустения опять мне дан был знак, что я не покинута. Сельвинский и его начальство о безобразиях Марьякина дали знать властям — и ко мне приехал начальник Н.К.В.Д. Старого Крыма.

На меня он произвел хорошее впечатление. Сказал, что его просили помочь мне сохранить рукописи М<аксимилиана> А<лександровича>.

— Отберите самые важные и ценные для вас — к<ак>-н<ибудь> надо это сохранить.

— Здесь все ценно, п<отому> ч<то> это жизнь М<аксимилиана> Ал<ександровича>, — отвечала я.

— Да, но ведь всего нельзя. Вы сами понимаете.

— Вывозить я ничего не позволю и никуда не повезу. Это все равно на гибель.

— А как же вы хотите сохранить?

— Я хочу закопать в землю, но у меня нет физических сил — рукописей много.

— Об этом никто, кроме вас, не должен знать.

— Но такой ямы я не могу выкопать, м<ожет> б<ыть>, вы кого-нибудь ко мне пришлете?

— Хорошо, но это будет в самый последний момент, тогда я пришлю к вам такого человека, сейчас вы пока ничего не предпринимайте. Соберите только самое ценное и дорогое вам, а я в последний момент вам помогу. Мар<ьякин> больше тут не будет, и вы не волнуйтесь.

Звали его К<арл> Ив<анович>. Он за эти страшные месяцы и дни из всего местного начальства был единственный человек, котор<ый> был достоин этого названия. Я думаю и хочу о нем хорошо думать. М<ожет> б<ыть>, ему дан был приказ, мне это не важно. Он был человек, понимал мое состояние и ответственность мою перед памятью Макса. Словом, все понимал. Никаких лишних слов, никаких разговоров. И его приход мне так был нужен и дорог. И я благословляю приезд Сельвинского и его начальника, и этого начальника Н.К.В.Д., молю за них Бога. Помогите им, Господи, в эти тяжкие, несомненно, для них дни. Сохрани их жизнь, п<отому> ч<то> они хорошие и они так мне помогли, когда мне было так безысходно! Ты, Маша, мне их послал. Попроси у Господа и для них спасения и милости! Попроси Заступницу нашу, Божью мать, помочь им и спасти их. И этот К<арл> Ив<анович> еще раз приезжал. Но тут был какой-то передых, несколько дней. Говорили, что дела наши немного улучшились и якобы немцев отогнали. А на море видны были вдали суда, ясно, что это эвакуировали Одессу или еще что-то, а Феодосию бомбили. А потом Одесса пала. Беженцы, раненые, принудитель<ная> гонка баб на окопы. Мобилизация болгар до 52 л<ет>, мужиков, потом плач жен, страдальческие глаза мобилизованных, разорение, слухи. Тревожные вечера и ночи. В один из вечеров — тревога на берегу, метанье ракет и выстрелы с моря. Беженцы из Херсона и Николаева на моторных катерах заблудились и пристали в нашем заливе.

Так весь сентябрь и октябрь. Катастрофа была ясна. Радио лгало. Начальство воровало, путало и мучило. Явно катились в пропасть. И боль, и отчаянье увеличивались еще и оттого, что тебе не верили, что тебя считали врагом, т<о>, е<сть> всех нас, что мы жили и были уже с завоевателями, что правящие на нас смотрели как

на врагов. Взяв мужиков в солдаты, они им ружей не давали, а бутылки с керосином. Вместо винтовок — бутылки с керосином.

Проходили по дороге целые эшелоны мобилизованной молодежи, детей прямо. Нищих, раздетых, измученных, жалких. Говорили: «Их гонят в лес, это партизаны». Говорили: «В лес везут продукты — муку, брынзу, гонят стада. 100 т <ысяч> партизан согнано в лес, им вино, бараны, скот». А начальство пьянствовало. Гудела земля от тяжел<ых> орудийных обстрелов, завывали в небе аэропланы, носились тревожные слухи: горит Армянск, взят Джанкой; сторел Джанкой, подожгли коммунисты. Ищут тех, кто поджег, чтобы расстрелять, п<отому> ч<то> сожгли раньше, а немцы не вошли.

Так проходил октябрь, а газеты писали невероятные случаи о немецких зверствах и живо-истеричные статьи: «Не отдадим солнечного Крыма».

30/Х и 31 целый день мчались автомобилями, сплошной непрерывной рекой тянулись обозы, с пьяными командирами шли разнокалиберные, плохо и неряшливо одетые войска. Шли, шли — три дня и три ночи, говорили — на Судак. Так было страшно, так было жалко — ясно было, что все кончилось. Армия отступала. 31 мне сказал случайно встретившийся цаговский¹⁵ садовник, что им дан приказ зажечь дома. Узнала я об этом в 5 ч <асов> вечера. В деревне мне этот слух подтвердили. И я в 7 ч <асов> утра помчалась к Уразову.

— Правда, К. Ив., что вы будете поджигать дома?

— Да, будем все палить.

— К. Ив., а как же наш дом? Ценность его какая!

— Ничего не знаю, разговаривайте с Большаковым¹⁶, ему это все поручено, а я через 6 ч <асов> сам ухожу.

Как судьба все время была милостива ко мне и как Макс охранял свой дом! 25/Х я получила из Симферополя от оргкомитета художников бумагу с просьбой ко всем властям охранять Максин дом. Я благодарна была худ<ожнику> Бирзгалу¹⁷, но мне казалось странным и совершенно невероятным обращаться с такой бумагой к нашим властям. Кроме издевательства, кроме насилия и ужаса, я ни на что не надеялась. И я ее сложила и положила как матерьял для архива. Но первого ноября, зная уже наверное, что дома поручено сжигать Большакову, я пошла к нему утром. Застала его. Спросила:

— Вы будете жечь дома, мне сказал об этом авторитетный человек, — и дом М. А. Волошина вы тоже подожжете?

— Кто вам сказал? Кто вам сказал?

— Я взрослый человек, говорю с вами серьезно, как с ответственным человеком, знаю это тоже от ответственного человека. Вот вам бумаги — прочтите и помогите мне сохранить дом и ценности этого дома.

Он рассмеялся, переглянулся с тут же находившейся Ан<ной> Кустодинчевой, председат<елем> сельсовета.

— Скажите, кто вам сказал, тогда скажу.

— Нет, я говорить вам не буду.

— Заставим.

— Можете.

— Спрашивайте тех, кто вам сказал об этом.

Уразов уже уехал. Тогда я в отчаянии побежала на почту, было 8 ч <асов> утра. Говорили, — немцы в 30 вер<стах> от Коктебеля.

На почте было двое комсомольцев-служащих.

— Вася, можно Стар<ый> Крым?

— Занят.

— Вася, голубчик, пожалуйста!

— А что вам нужно в Стар<ом> Крыму?

— Начальника Н.К.В.Д.

¹⁵ ЦАГИ — дом отдыха московского завода Центрального аэрогидродинамического института.

¹⁶ Большаков Федор Александрович — директор дома отдыха Московского энергетического института имени В. М. Молотова.

¹⁷ Бирзгал Ян Петрович (1898—1968) — художник, директор Симферопольской картинной галереи.

Вася опешил. Но это имело свое действие. Решив, очевидно, как комсомолец, что мне нужно туда сообщить что-то очень важное, он мне сразу дал по служебной линии Н.К.В.Д. И, к моему счастью, начальник его, К<a>р<l> Ив<анович>, был там.

— К<a>р<l> Ив<анович>?

— Да.

— К<a>р<l> Ив<анович>, мне стало известно, что сегодня будут приняты жестокие меры с д<омами> о<тдыха> в Коктебеле. Вы сюда не собираетесь? Я крайне взволнована и прошу вашего вмешательства в это дело по отношению к дому М<аксимилиана> А<лександровича>.

— Да, да! Я собираюсь, так. Но ведь вы никуда не уезжаете?

— Нет.

— Ваш дом не тронут. Я постараюсь быть в Коктебеле, не волнуйтесь...

Какое у меня было облегчение.

Страшно. Но я верила, что он не лжет и что эти мерзавцы теперь побоятся поджигать наш дом.

Конечно, мы с Анчуткой ни на минуту никуда не уходили. Часов в 5 наш сторож Паликорчук сказал, что в серый флигель, Катин домик¹⁸ и бильярдную наложено сено, обито керосином — и ночью зажгут. Не хотелось верить, не могла этому верить. Смотреть не пошла, но как бешеная помчалась и начала ломать деревянный балкон маленького дома, п<отому> ч<то> расстояние между ним и палубой — аршина два, и деревянный балкон вспыхнул бы, как порох, и пошло бы все заниматься пламенем. В полчаса мы его с Анчуткой разобрали. А затем стали поливать палубу водой — лнали, лнали воду, чтобы намочили доски палубного балкона и не так бы занялись от жара горящего в двух аршинах здания.

Вечер был тревожный, разошлись. Я задремала у себя, в 2 ч<аса> ночи пришла из столовой Анчутка: «ВАММ зажгли, загорается МЭИ»¹⁹.

Я подхватила с кровати, и мы еще некоторое время сидели — вернее, метались по столовой от окна к окну, наблюдая и определяя, какие горят дома. Было страшно, очень страшно, сердце билось — и странно, что оно не лопнуло в те минуты. В 5 ч<асов>, когда кругом все польхало, мы разбудили М<арию> В<асильевну> и Вар<вару> Як<овлевну> и пошли опять поливать балкон палубы. Пламя гудело, звенели стекла, раздавался грохот и треск рухнувших крыш и балок. Было даже красиво и фантастически светло. К счастью, была исключительная тихая ночь, что у нас случается редко, и поэтому искры летели все вверх. Высоко-высоко их тянуло пламя — уйти, раствориться в пространстве, не быть тут, на нашей, такой страшной земле.

В 6 ч<асов> утра прибежал Паликорчук — бледный, с выкатившимися от страха и ужаса глазами. «Ховайте меня, куда хотите! Я боюсь, меня расстреляют. Я не мог поджечь корпуса. Всюду наложили с вечера соломой. Клал навоз и сырую солому нарочно, чтоб не загоралось, обливал керосином, разбавленным водой. За мной Большаков и Косарев²⁰ ходили, ругали, простите за выражение, матерными словами, грозили расстрелять, но я не поджег. Теперь боюсь, что придут и меня расстреляют». Вид его был страшный, и перепуган он был ужасно. Мы велели ему идти и спрятаться куда-нибудь в кусты и постараться заснуть, а сами решили охранять от дальнейших попыток сжечь наш дом.

Наступило мрачное, страшное утро. Все догорало кругом, стояли черные остовы стен и труб, всюду клубился дым, пролетал над нами немецкий аэроплан, вдали ушла артиллерийская стрельба. А деревня побежала грабить. Тащили все. 4 дня шла

¹⁸ Катин домик — одноэтажный флигель в три комнаты, где из лета в лето жила Екатерина Оттовна Сорокина (1889—1977), первая жена И. Г. Эренбурга, с детьми.

¹⁹ ВАММ — дом отдыха Военной академии механизации и моторизации РККА имени И. В. Сталина. МЭИ — дом отдыха Московского энергетического института. У А. Г. Кустодинчевой сохранился «Акт», в котором указывалось, что «на основании распоряжений начальника местной обороны — председателя исполкома депутатов трудящихся Старокрымского района т. Аверьянова и помощника начальника местной обороны по полтчасти, секретаря Старокрымского райкома ВКП(б) т. Аралова, 2.XI сего года, в момент эвакуации Коктебеля, согласно ранее разработанного плана (по их указанию) произведено «уничтожение части оставшегося имущества и других материальных ценностей, которые не были вывезены своевременно воинскими частями». Уничтожались склады, отдельные корпуса, водолечебница с электростанцией, контора МЭИ (с архивом за 1910—1941 годы).

²⁰ Косарев Василий Прокофьевич — начальник дома отдыха ВАММ.

сплошная вакханалия грабежа. Отвратительное впечатление и вид этих червяков человечества, котор<ые> с такой ненасытимой жадностью тащили все. Гадко, бессмысленно. Многим явно были не нужны разграбляемые вещи, но только п<отому>, ч<то> тащили другие, тащили и они. Дико, жадно, с озверелыми лицами, безобразного вида, страшные и чуждые внутренне. Чувство одиночества, брезгливости и безысходной обиды переполняло все существо. Вид разграбленного, побитого, изломанного, бессмысленно выброшенного совершенно был нестерпим. А вблизи и вдалеке гудели орудия, было полное безвластие. Все всего боялись, преувеличивали, создавая новые слухи и тревоги. А в ВАММ загорались новые дома, их еще продолжали поджигать.

Ночь пришла страшная. Ожидали, что все не сгоревшее снова будут поджигать. Я вынесла, откуда могла, подложенную, облитую керосином солому. И на ночь мы втроем — Вар<ара> Яков<левна>, Анчутка и я — стали дежурить по 2 ч<аса>, ходя вокруг дома, чтобы не оказаться подожженными. Так всю ночь до 7 ч<асов> утра и продежурили...

А с Двужкорной неслась все время стрельба из тяжелых орудий²¹. На 10—15 минут иногда прервется — и все гудит и гудит. Земля и дом дрожали. А войска наши все отступали и шли, шли по дороге день и ночь, полураздетые, неряшливые, усталые, испуганные. Говорили — на Алушту. Я никуда не выходила до вечера. Вечером, часов в 6, пошли с Анчуткой в деревню за молоком. Деревня все еще не насытилась грабежом. Вид был отвратительный. Под мостами сидели саперы и ждали, чтобы прошли все войска.

Вечером взорвали один за другим все мосты. Взрывы были очень сильные. В особенности большой мост. Земля гудела. Было безысходно страшно. Часов в 11 вечера к стрельбе с Двужкорной присоединился еще новый звук стрельбы, более близкой и какой-то двойной. Ни места себе нельзя было найти, ни дела — думать ни о чем нельзя было. Такая сиротливость, незащищенность — очень гадко и тяжело. Не раздеваясь, разбитая, не могла найти себе места; спустилась в чулан под лестницу, закутала голову в платок, чтобы не слышать или хоть чуточку ослабить гул от орудий.

В 2 ч<аса> ночи 3/XI — стук в нижнюю, в Щель²², дверь. Редкий, но упорный.
— Кто там?

— Мадам, зольдат до ист ме...

Не могу сказать, что говорилось по-немецки. Сердце билось от страха, усталости. Совершилось. Немцы вошли.

Мне мучительно трудно записывать даже самые факты. Объективно все было приемлемо. Первый немец, вошедший в наш дом, был смертельно утомлен, шатался от усталости, весь в грязи. Вид его был скорее жалок, чем страшен. Было жалко. Я накинулась сначала на М<арию> В<асильевну>, котор<ая> говорит по-немецки, — и никто не встал из них. «Шурка лучше меня говорит, пусть она и объясняется». Никто из них не встал из постели. Анчутка спустилась из столовой. Немец искал большевистских солдат. Я отвечала ему через дверь, поворачивая ключ, чтобы он (двери не открыл).

— Здесь фир alte фрау²³.

Вышла мы с Анчуткой и провели его в дом. Я освещала спичкой лежащую в постели М<арию> В<асильевну> и Вар<ару> Яков<левну>. Он скромно отворачивался, и мы прошли наверх. Разговаривала с ним Анчутка.

16/9 42 г<ода>.

Год перерыва. Т<о> е<сть> год, как я не писала ничего. Не брала пера в руки и, кажется, разучилась писать. И нет слов, и незачем писать. Дом, в основном, цел. Я жива. Худа, больна, постарела. Анчутка тоже. Мар<ия> Вас<ильевна> умерла. Нас осталось трое, т<о> е<сть> В<арвара> Я<ковлевна> с нами. А ск<олько> пережито!

«Кто передаст потомкам нашу повесть?

Ни записи, ни слова к ним не дойдут: все знаки выест кровь и слижет пламя...»²⁴
Что говорить, о чем? О себе, о своих переживаниях?

²¹ В Двужкорной бухте находилась минная станция.

²² Щель — волошинское название коридорчика с кладовками при черном ходе в дом.

²³ Четыре старые женщины.

²⁴ Неточная цитата из стихотворения М. А. Волошина «Потомкам» (1921).

Что об этом говорить. Идет война. Страшная, неведомая, небывалая.

Сегодня, говорят, взят Царицын, или, как его теперь называют по-большевистски, Сталинград. Немцы берут город за городом. Кавказ. Мы терпим все. И голод, и болезни, и полную незащищенность завоеванных людей.

Говорить о завоевателях? О них, верно, очень много будет сказано. Да и все это знают. Мы абсолютно бесправны. Ни о ком ничего не знаем. Даже в Феодосию, даже в Отузы²⁵ пройти нельзя. Купить — тоже. Живут все впроголодь и еще какими-то запасами и манипуляциями. Удалось посеять кукурузу, и будем есть ее. Мы с Анчуткой тоже сажали, но немного, около дома, и собрали фунтов 10. На это не проживешь, но в деревне есть кукуруза. Сейчас поспекает виноград. Крестьянам запретили его рвать и есть, но они ходят и воруют его сами у себя, и, т<аким> образом, в каждом доме виноград есть.

12/XI 42 г<ода>.

Милый мой, только твой образ, только мысль о тебе и с тобой дают мне силы как-то брести, что-то делать. Изнемогаю от бессилия, обиды, непонимания. С тобой не расстанусь. А как бы поступил Маса, а что бы он сказал? Макс бы объяснил. Макс бы сказал. Масенька бы пожалел, помог! Вот только это и твержу себе, изнемогая. И сейчас ничего не могу, не хочу, не мыслю. А только к тебе, и вот писать стала, чтобы хоть как-нибудь себя обмануть, за что-то зацепиться, что-то делать. Милый, ск<олько> горя, бессилия, обиды!

Писать изо дня в день нельзя, п<отому> ч<то> нет слов и руки не поднимаются — вот сесть и писать. Это больше чем немисливо. Это невозможно. Мой маленький ум, мои больные нервы, больная психика не вмещают, не могут справиться с ужасами творящегося и творимого. Времена апокалипсические. Страны нет. Россия растоптана, поругана германским сапогом. Мы оккупированы, завоеваны. Все, все непереносимо! Ну, какие слова? Ну, как это все рассказывать? Больно, страшно, оскорбительно, возмутительно. Это все только приблизительные определения. Да и зачем и кому передавать? Собственное бессилие, слабость? Конечно, вот это верно и хочешь передать. Хочется поддержки, ласки, логики. Ощущаешь только свое бессилие и боль. Эти унижительные состояния. Мизер своего духа. Ах, я всю жизнь жила в иллюзиях, что что-то могу, понимаю! И теперь, на старости лет, вижу всю иллюзорность своих представлений. Жизнь — ужас. Война — реальность.

Как человечество может быть в таком ужасе? Вся Европа! Весь мир. Да что же это такое? Насилие, насилие, смерть, убийства, разгром, грабеж, разорение стран — и так годы. Да что же это такое? Неужели нет умных, гуманных, понимающих? Ведь весь мир! Почему Гитлер, Стал<ин>, 3, 4, 10 — сколько их, могут посылать на убийства, на смерть, разорять, словом, делать войну и все ее ужасы? Почему миллионы не могут сказать: не можем больше так жить! Не сказать, а заставить не убивать, не разорять, не делать войны? Почему нет 10—100 таких, котор<ые> сказали <бы> «не надо войны!»? Господи! Я бесплодно думаю день и ночь все об одном и том же...

Вот и сейчас: пишу, а над ухом, вблизи и вдалеке, все выстрелы, выстрелы. Вся дрожю. Все время дрожю, когда стреляют, физически и морально так подавлена. И так второй год, с большими или меньшими интервалами.

1943. 6/VI.

Опять и опять перерыв. Записывать изо дня в день нет никаких сил. Физически не можешь, когда над твоей головой летят аэропланы, когда кругом гудит гул тяжелых пушек и трещат всякие выстрелы и взрываются бомбы.

А в промежутке нет сил. Быть летописцем, когда сам сидишь в костре, невозможно. Я знаю всю необходимость вот таких записей изо дня в день и я больше чем кто-либо не могу их вести, п<отому> ч<то> так безумно боюсь всего.

Время страшное. Что нас ожидает и как все будет, не знаешь.

Как самый последний заяц, как самая слабая букашка, дрожишь, дрожишь. Очень страшно <...> По два-три раза в день пролетают наши аэропланы, бросают бомбы, в них стреляют из зенитных оруд<ий>. Я безумно боюсь. Не могу привыкнуть за два года к этим гулам. <...> Да, война еще обогатила одним новым и подлым чувством — страха. Я им больна. Похудела на 1 п<уд>, ни есть, ни спать не могу. Смерти

²⁵ Отузы (ныне Щебетовка) — татарская деревня в восьми километрах от Коктебеля в сторону Судана.

сознательно, логично я не боюсь. Я хочу ее. Она была бы светлая избавительница от всего. А вот когда стреляют,— мин, бомб, всего этого механического ужаса боюсь до сумасшествия. Я стала сумасшедшей. Злой, жестокой.

13/4 44 года.

«Кто верит в жизнь, тот верит в чудо.
И счастье сам себе несет»²⁶.

Ну, вот, чудо совершилось, так долгожданное. Пришли наши, мы снова дома. Два с половиной года такого кошмара. История будет писать о кровавых ужасах и фактах всемирного варварства, о неслыханных фактах злодейств соврем<енной> техники, разрушенных и стертых с лица земли городах. О миллионах убитых и замученных всеми достижениями науки и техники XX века. Драматурги и поэты будут писать драмы и поэмы о том же. На десятки лет хватит для них трагического матерьяла. Все будут зализывать страшнейшие раны. И все-таки, все-таки, что бы ни написали, что бы ни исчисляли, всего не расскажешь! <...> Кто жил в эти дни — без слов знают всё. А грядущие поколения (и дай, Господи!) никогда не поймут наших потерь, наших жертв, наших трагедий, обиды и боли, ужаса и сиротства, насилия и беспомощности, лжи и трусости, мелкоты падения и героических неведомых подвигов. О героях будут писать. А о маленьких повседневных безысходностях знают только те, кто их пережил.

Чувств своих и мыслей я не смогу передать. Постараюсь честно и объективно восстановить все пережитое за эти два с половиной года. Основное чувство — непримиримого оскорбления и жгучей, моментами нечеловеческой ненависти к немцам.

Какая-то удивительная неприязнь к нации. Отдельные люди — ничего. Но понятие «немец», массы их — все это приводило в негодование, постоянную угнетенность, безысходность, обиду и боль. 2½ г<ода> такого напряжения! Сознание гибели России, миллионные человеческие жертвы, боль за них и за ними стоящих матерей. Партизаны, их семьи и разрушение и поругание их гнезда. Ах, все это! На бумаге это так плоско и схематично. Мне даже стыдно писать, п<отому> ч<то> это только приблизительные слова. А сущность, повторяю, не перескажешь.

14/4 44 г<ода>.

Как странно: пишу дату — и все 44 и 4.

Сегодня ночевали человек 70 наших русских солдат у меня, в нашем доме, на тех же самых местах, т<о> е<сть> в тех же самых комнатах (во всем низу дома), где 2½ г<ода> ночевали и толкались и немецкие и румынские солдаты.

Все различно — все, все. Как ни на что не похоже, начиная с внешнего вида и кончая моральным обликом. Наши порыв и буйная устремленность; грязны, усталы, но какая неопишуемая бодрость и пренебрежение — внешне, конечно, — и какое тупое самодовольство и упрямство немцев. Упорство и тупость. О румынах буду говорить потом²⁷. К немцам у меня такая сильная неприязнь. Я их всегда, всегда не любила. А сейчас, когда они причинили нам столько зла... Как часто я их проклинала самыми жестокими словами! Остыв, мне бывало стыдно, что я так жестоко их проклиная.

15/4.

Хочу писать каждый день — и не могу. Столько дел, эмоции и как-то физически изнемогаешь. Я очень слаба, очень устаю от всего: и пережито столько, и сейчас потрясена совершившимся. Наши пришли. Крым освобождают. Уже Симферополь, Евпатория взяты обратно. Остался только Севастополь. Севастополь. Ну, как о нем можно сказать или записать что-нибудь! 6 м<есяцев> изо дня в день его разбивали немцы, тысячи и тысячи людей там положены. Город стерт с лица земли. Его нет. Больше чем героически — трагически его защищали, будучи отрезаны, как на острове, от своих. И он пал. Сейчас там тысячи лагерных. Что немцам придет в голову с ними делать? То же, что с евреями: всех перебьют. Упорно носят я слухи, что они вывозят на плотках и топят в море. Господи! Не хочешь этому верить — и так страшно.

А м<ежду> т<ем> приходят из деревни и говорят, что лагерных никого, кроме Вовки Чер.²⁸, нет. Где же они? Уже 3 дня как наши в этих местах — и лагерные

²⁶ Из стихотворения М. А. Волошина «Бегство» (1919), цитируется неточно.

²⁷ «Румыны нас жалели, — вспоминала Мария Степановна, — они все время что-нибудь подбрасывали из еды... Румыны — как дети... И запуганы».

²⁸ Лицо не установлено.

должны же уже возвратиться! Семья партизан из Симферополя почти все вернулись. Их, слава Богу, из тюрьмы, где их целый месяц мучили, выпустили — и кое-кто пришел. А лагерных никого нет. Так страшно. Все как сон. Рад, больше чем рад, что ты освобожден, что земля наша, нет этого оскорбительного и унижительного состояния, что ты в плену, что ты у себя — и не можешь еще очнуться от подавленного кошмара пережитого. И так сжато сердце за тех, кто не вернулся из лагерей, так боишься еще дать волю радости ощущения свободы. А где же все? Я еще боюсь идти в деревню, п<отому> ч<то> там так много узнаешь ужасов. Говорят, что в Стар<ом> Крыму немцы расстреляли, уходя, 500 ч<еловек>. Просто вот так оцепили два квартала и из дома в дом расстреливали мирное население²⁹. Так это все страшно.

Что мы еще узнаем и услышим! Я очень связана с деревней — и так за всех, за всех душа болит. И нет сил. Вчера было ровно 2 м<есяца> как меня оперировали в Симферополе: вырезали рак и с ним часть желудка и пищевода. Я еще еле хожу. И сил физических у меня крайне мало. Операцию и какое это было чудо, я не стану сейчас описывать. Но все, что со мной творится и как я сохранила дом и осталась жива, — это чудо. Мне помогают только Бог и Масенька. Ежедневно, в каком бы я ни была удрученном, безвыходном состоянии, я молюсь. Я знаю силу молитвы. И только молитва и вера, что я не покинута, что Макс сторожит и просит у Бога мне сил и защиты. Как часто я изнемогала. Как часто отчаивалась. И молиться не могла. И как мне неотступно помогала в такие минуты падения Анчутка! Она говорила: «Помолись. Бог тебе поможет. Отдайся Ему в руки. Ск<олько> раз уже Он тебе помогал. Проси Макса — он тебя не оставляет».

И я, ослабевшая, обезумевшая, только к Богу и Максy прибегала. И они спасали меня от бессилия и уныния. Мне не хочется и стыдно как-то обо всем этом говорить. Ведь я пишу, чтобы об этом прочли, верно? Я не знаю, для чего пишу. П<отому> ч<то> нужно пожаловаться, п<отому> ч<то> безысходно, п<отому> ч<то> хочется, чтобы знали, как это все было, — и ловлю себя на том, что это все сложнее. Пишешь о фактах, о простом. А о силе, о необходимости и нужности молитвы как-то стыдно писать. И в действительности этого не передашь.

18/6 — 44 г<ода>.

Все во мне самой, если бы была внутренне больше дисциплинирована, могла бы и время найти, и больше успеть. И хоть самое главное записать. Или это уже в нашей русской натуре? Время идет, столько событий, а нет сил, нет воли хотя бы самое главное в твоём дне записать. Вот сегодня я очень худо себя чувствую физически. И это сердце. Руки опухли, лицо и вся изнемогают от бессилия и тревоги изнутри. И знаю, что это серьезно и сердце. И это меня очень тревожит, п<отому> ч<то> каждую минуту может что-то случиться внутри — и конец. И мне сладко это сознание — и, в то же время, тревожно, что я ничего не успела. Столько нужно было сказать о Масе! Столько нужно было сказать о доме! Судьба его и Масино наследство меня тревожит очень. Я сейчас не боюсь, п<отому> ч<то> это уже у нас. И друзья есть и, в конечном итоге, сохранят. Они трусливы, измучены, некогда, осторожны. Но все-таки это все более или менее сохранится и когда-нибудь дойдет черед и до Маси. А сейчас только немногим, только избранным он доступен. А остальное все измучено, истерзано войной — и кому дело до умершего и не популярного поэта. О, я все это прекрасно понимаю и знаю. Конечно, лучше объективно, если я дольше задержусь здесь и что-то сама смогу охранить и сберечь. Но я столько сейчас знаю и знаю всю тщету человеческой защиты. Все идет вне нас и вне наших чаяний и представлений. Колесо истории вертится по своим законам. А наше человеческое представление — все миф. Мы ничего не можем. Ск<олько> самоуверенности было у немцев. Ск<олько> они тут утверждались и обосновывались — и где это все? А мы? До войны ск<олько> у нас было самохвальства (его и сейчас очень много, но сейчас как-то это по-другому) и разговоров о непобедимости. <...>

Ну, ск<олько> нужно сказать — и ничего опять не смогу, нет времени и сил. Села записать, ск<олько> бывает больных и как мало я могу им дать, а пошла о другом — и вижу, как все это не важно, не нужно записывать. Очевидно, потребность эта от одиночества. Сама не знаю. И хочу и не хочу. <...>

²⁹ Вечером 11 апреля 1944 года отряд эсэсовцев, обходя дом за домом, убил 584 жителя Старого Крыма — женщин, стариков и детей.

15/1 — 45 г<ода>.

Ск<олько> себе ни говорю — не могу усадить себя и писать систематически. Сейчас есть отговорка: сломанная рука³⁰. Но ведь я ею владею — трудно, но могу писать. И буду, буду! Я чувствую, как уходят мои силы. Вот уже две ночи мне очень нехорошо: не могу лежать, сердце мешает. Просыпаюсь в страшной тревоге. <...> Ясно так сознаю, что это начало конца, скоро умру. И отношусь к этому спокойно. Знаю, что не готова к смерти, т<о> е<сть> не прошла еще всего пути. Но я ведь не сама иду, а ведома. Мне жалко дома. Я очень боюсь, что он без меня заглохнет: не будет тем, чем был, чем должен быть. Но что я могу? Я его только сохранила, и он очень дорог многим. Но ведь даже при самых лучших условиях, если я окажусь здоровой, — то ну 5—10 л<ет> еще, потом все равно умру. Но, м<ожет> б<ыть>, тогда наступит время изучать и заниматься Максом. Вероятно, бессознательно это и пугает меня, и поэтому так жалко умирать. Все хочется самой что-то увидеть и убедиться, что что-то делается для Макса. Я первого января вернулась домой из Москвы, после 3-месячного пребывания там. Ск<олько> я видала! Ск<олько> пережила! Очень страшно все — и жизнь, и люди, и ложь, и мука, а главное бессмысленные страдания и вся неправда жизни и политики. Так жить нельзя. Это больше, чем тупик. Это трагедия всего мира. <...>

Людей всех жалко. Люди, друзья и все очень изменились к худшему — оползли. Не хуже они стали в своей сущности. Конечно, нет. М<ожет> б<ыть>, даже наверное, лучше, п<отому> ч<то> все так страдают. О, как страдают! Но жизнь приняла такие уродливые и напряженные формы, что они не могут быть иными. Жалко всех ужасно, п<отому> ч<то> все выбиваются из сил. А сил так мало. У всех — от недоедания, чрезмерного труда, невероятно тяжелых условий быта. И так все постарели за эти страшные годы. И ск<олько> ушло — хороших, настоящих, и как жестоко, несправедливо и бессмысленно большую часть их загубили. <...>

29/1 — 45 г<ода>.

Опять не пишу, п<отому> ч<то> очень худо себя чувствую, да и не потому только, а п<отому> ч<то> не хочу, не умею, не пишется. Не нужно это мне. Стихнула нет. Сейчас шумит, ревет море. Все внутри съезжилось: холодно извне, холодно внутри. <...> И шум моря мне напоминает десант 41—42 г<ода> и этих бедных мальчиков, котор<ые> тут метались и некуда им было деться³¹. Они все были обречены — и все, все. Я, вероятно, и больна-то оттого, что все это во мне еще живет. Весь ужас плена и завоевания. Все равно это все тут, ведь это все пережито. <...>

31/1 45.

Ровно год тому назад, в эти дни, я лежала, тяжело больная желудком. Я знала, что у меня рак. Анчута хлопотала. Привела немецкого врача. Хороший, видно, был человек. Молодой, красивый и, наверное, сентиментальный. Я с ним разговаривать не могла — и п<отому> ч<то> языка не знаю, и потому что мне плохо было, и так не хотелось никого и ничего, и уж меньше всего немца при таких условиях. Анчута ему рассказала мои подозрения и симптомы. Он молча осмотрел — я указала ему на печень. Он прощупал и покачал головой: «Nein — hier ist guttes»³². И стал осматривать желудок. Я смотрела на его лицо. Оно объективно было красивое и умное, не было этой упрямой немецкой тупости, а было хорошее здоровое, приятное лицо интеллигентного человека — и вдруг мне стало очень больно и неприятно как-то в области сфинктера желудка, а у него изменилось лицо. Мы только посмотрели друг другу в глаза. Он взял мою руку и положил там, где было больно. Я прощупала с голубиное яйцо неподвижную опухоль. Он мне ничего не сказал, молча вышел. За ним пошла Анчута, и ей на балконе он сказал: «Сомнения нет — верней всего, что рак, п<отому> ч<то> опухоль так ясно прощупалась».

— Но что же делать? — спросила она.

— Медленно умирать, — ответил он. — Что вы можете делать при таких условиях? Ждать. Месяцев 7—8 будет медленно умирать.

Он ушел. Анчута стала плакать. А я так успокоилась. <...> Приговор выслушан, и все стало на свои места. Я очень обрадовалась, что могу умереть. Ск<олько> раз

³⁰ В декабре 1944 года, находясь в Москве, Мария Степановна сломала правую руку.

³¹ Тактический десант был высажен в Коктебеле 29 декабря 1941 года.

³² Нет, здесь хорошо.

я придумывала способы покончить с собою. Убить немца; пойти у них на глазах в лес к партизанам; накричать, оскорбить действием немецкое начальство. Чтобы тут же на месте меня расстреляли. Так ясно видела себя убиваемой ими и искала этого. А тут вдруг могу сама умереть! <...> И дня два — как раз вот эти дни — я была такая светлая и отрешенная от всех этих ужасов, что творились кругом, и ото всего. Но плачущая Анчута, но боль физическая и бессонные ночи, конечно, прорезали мой светлый подъем и действительность вставала передо мной. Мне очень жалко было дома и всего, что делал тут Масы. Вот, я уйду. И это все уйдет. Вот так и разлетится. Анчутка, наверное, не может быть моей наследницей — сейчас же все это разнесут, расхватают. Анчуту выгонят — и никто и ничто уже не спасет дом и Масино наследие. И такой болью и жалостью все наполнилось! Жалко стало умирать и это все бросать. Ведь и так все висело на волоске. На каком волоске! Просто все было чудо. И хранил это все только Макс. Ведь ск<олько> — 2 г<ода> до этого внизу жили немцы. Ск<олько> от них было ужасов, неприятностей и моей войны с ними! И вдруг в это именно время Господь, по Масиным молитвам, послал сюда к солдатам совсем приличного офицера. Как-то так они располагали свои части, что здесь почти никогда не жили офицеры, а только солдаты и унтера. А тут среди солдат жил лейтенант. Анчутка раза два к нему обращалась, когда солдаты бесчинствовали и ломали двери и окна другого дома. А я вступала с ними в бой. Боясь, что они меня убьют, она пошла к нему за помощью. И он оказался очень хорошим человеком. Видя ее заплаканную, он участливо спросил, что с ней.

— Фрау больна, у нее рак желудка.

— Я видел, наш врач к вам приходил.

Он выразил ей свое сочувствие. И стал утешать, что это может быть поправимо, что его мать 7 л<ет> т<ому> назад оперировали от рака и что она жива до сих пор.

— Да, не будь войны и плена, и мы бы нашли способы бороться и защищаться от этого недуга. Но что можем мы делать тут, 3 старухи, при таких условиях?

— Отправить ее в Симферополь: у нас есть там очень приличные хирурги.

— Но как, на чем? Кто ее повезет?

— Я вам помогу. Через день в Симферополь ходят военные автобусы, я попрошу коменданта достать вам пропуск и место на таком автобусе. А врач не откажет, наверное, дать вам соответствующее направление.

Анчута поблагодарила, и пришла, мне все это рассказала. Первое мое движение был страшный протест. «Ни за что! Оперироваться у немца! Искать у них помощи, когда они все убили, и страну мою, и детей наших, так изнасиловали, изуродовали все — и к ним идти за личной помощью, нет, нет, ни за что!» Было только сплошное негодование, и слушать я ничего не хотела. Но милая Анчута терпеливо выслушивала мои стенания. Молилась Богу и мне предлагала молиться. Зажгла лампаду в столовой, где мы с ней спали, и каждую ночь молилась вслух, прося у Господа Бога помощи и защиты.

Мое светлое ощущение стало колебаться. Мне очень было жалко Анчутку и дом. Так жалко, что слов нет рассказать все это. И благодарность ему за все это счастье, что я здесь почерпала. Масеньку, нашу жизнь с ним и все его радости. Пра³³, ее любовь к дому, к себе, и всех друзей, детей. И всех тех, кто здесь бывал и жил по долгу. Я не могу сейчас пересказать всех тех ощущений расставания с домом. Ведь два года я жила, каждую минуту могла все это покинуть. Но это все были моменты. А тут ясно стояла смерть, как приговор, и нужно было что-то сделать. Не себя спасти, а что-то сделать завершенное по отношению к дому. И милый Анчуттик, наученная только Богом и Масей, тянула и тянула изо дня в день: «Ну, поедem в Симферополь. Хорошо, не делай операции. Но, м<ожет> б<ыть>, случайно кто-нибудь уцелел, кто знал Макса и кому дорог его дом и наследие. Ну, м<ожет> б<ыть>, кто-нибудь есть, кто поможет тебе, даст совет, что нужно сделать и как сохранить хоть что-нибудь. Ведь мне немцы ничего не дадут. Я даже не твоя родственница. Ну, все равно ты умрешь, но хоть что-нибудь ты сделала — и перед Масей тебе не будет стыдно. Конечно, поедem в Симферополь только для дома, м<ожет> б<ыть>, тебе удастся сделать там завещание и передать мне дом по завещанию. М<ожет> б<ыть>, хоть что-нибудь я тогда сохраню». Я понемногу, жалея Анчуту, начала склоняться.

³³ П р а — Елена Оттобальдовна Волошина (1850—1923), мать поэта.

А в эти дни нижний офицер таки сделал, что обещал. К нам снова, уже без нашего зова, пришел немецкий доктор: принес и тихонько от меня передал Анчуте коробочку с морфием (если будут большие боли), и морфий, кстати, оказался русский. И два пропуска — один в Симферополь на право проезда на операцию, а другой с диагнозом болезни. И когда Анчута проходила по деревне, ее окликнули из комендатуры, чтобы она зашла и взяла пропуск.

15/2 — 45 г <ода>.

(Сегодня, год тому назад, в 8 часов утра, мне сделана была операция: вырезан рак и часть пищевода. Опять не писала — не пишется. Чувствую себя очень худо: тот же желудок продолжает мучить. О, не так, как год назад! Но я и не здорова. Есть почти ничего не могу, никак не наладить желудок. Пайка никакого, кроме кукурузной и ячменной муки, а я ее не перевариваю. Молоко не дают. Но буду продолжать свою болезнь.)

Взяв пропуск на поездку в Симферополь, она пошла в старостат попросить лошадей до Феодосии, так как в комендатуре ей сказали, что из Феодосии по их пропуску нас возьмут на военную машину. Анчута вернулась, и на другой день, 6/2, мы должны были выехать в 5 часов утра. Пришли деревенские женщины. Кто хлеб, кто яйца, собрали 700 рублей денег — плакали и прощались со мной. Я была совершенно покойна. Жалко было дома, но честно ехала умирать. Помолилась последний раз дома Богу. Анчута зажигала все время лампаду. Сборы наши были коротки. Выехали рано, в 5 утра, было пасмурно, темно, промозгло. На чужой, незнакомого кучера лошадке поплелись в город. Смутно на душе. Смутно снаружи. На мосту патруль — немец осмотрел пропуск. Творила молитву. Благословляла покидаемые места. Молилась в Масенькину сторону⁴, прося его устроить так, как надо. Он ведь знает все, все, что со мной делается. И была спокойна. Приехали в Феодосию часов в 9 утра. Анчута пошла к коменданту, я осталась на линейке. Возница стал ворчать, что долго ее нет. Тогда я встала и пошла тоже в комендатуру. Встретила в коридоре Анчуту, которая металась из дверей в двери очень озабоченная.

— Ну что?

— Подожди, не ладится, но я добьюсь толку.

Я села около жарко натопленной голландской печки и стала греть озябшие руки и ноги. Проходил какой-то солдат-немец. И, очевидно, вид мой был очень жалок — он мне протянул довольно большой кусок черного хлеба. Это так было неожиданно. Я машинально его взяла. Он еще раз оглянулся на меня, тогда я подумала: верно, он думает, я голодная. Я взяла и положила его на окно. Вещи лежали на линейке, Анчута еще промелькнула в какие-то двери с немцем и была очень озабочена. Пришел возчик, стал ворчать, что ему надо куда-то еще по делам ехать. Я отдала ему данный мне кусок хлеба немцем. Он чуточку подобрел. Затем вышла Анчута, в сопровождении немца, и сказала, что мы должны идти к заставе на дорогу, где проверяют пропуска при въезде в город. Ей сказали в комендатуре, что они не могут устраивать «цивилистов» на военные машины. Что им за дело, что больна: стойте на дороге, может быть, какая-нибудь машина и возьмет. Тогда она стала повышенным голосом им объяснить и присочинила, что их же немецкий врач меня направляет и уверил нас, что нас, по распоряжению комендатуры Коктебеля, направляют в Симферополь. Словом, как-то она убедила старшего лейтенанта так или иначе посадить нас на машину, а то я умру на дороге. Он дал нам сопровождать нас какого-то страшно сердитого чиновника-немца, которую всю дорогу (правда, она была не длинная) ворчал и бранил нас по-немецки. «Стой на холоду, караул проезжающие машины для каких-то русских свиней». Мне хотелось кричать от негодования. Анчута волновалась. Я решила молчать и отошла в сторону, чтобы на него не смотреть и не слышать его воркотни. Много машин прошло — нас не брали, несмотря на то, что он все их останавливал. Было холодно — пусто и безразлично. Наконец, часов около 12, какая-то грузовая машина нас взяла. Кое-как Анчута меня взгромоздила на нее — и мы очень быстро очутились в Старом Криму. Опять комендатура. Но тут были добрее. Сказали: «Идите за Старым Криму километра 2 отсюда, и там вас посадят на первую проходящую машину». И мы поплелись. Сил у меня было мало. Я еле шла. Дошли. Нужно ждать посреди грязной развезенной дороги у заставы,

⁴ То есть в сторону могилы М. А. Волошина на холме Кучук-Енишар.

пока наберется 10 машин и тогда уже караваном поедут, п<отому> ч<то> под Карасубазаром партизаны нападают на машины и отбивают их.

Грязь по дороге была отчаянная; от усталости, боли в спине, от унижительного состояния зависимости от немецкого плена и негодования ноги подкашивались. Стояла легковая машина, я подошла к ней и сзади ее облокотилась на ее кузов — сил не было больше стоять. А нам нужно было дождаться еще 9 маш<ин>. И вдруг как на меня закричит нем<ецкий> офицер, чтобы я не смела касаться его машины! Анчута стала ему объяснять, что я больна, стоять не могу.

«Больна — так нечего таскаться по дорогам, больные сидят дома! Знаем мы русских больных!» Ой, как я разозлилась! Но слов-то у меня нет ему ответить. «Не объясняй ему ничего!» — крикнула я Анчуте и со злости взяла и села в грязь. Глупо. Вымазалась и холодно было. Но так было все возмутительно и беспомощно, что хоть в таком глупом действии был какой-то выход.

Через какое-то количество времени набралось 10 автомашин, немец<ких>, румынских, — и нас погрузили на одну из них. Сидели в ней солдаты, немцы, румыны. Прямо на пол сели и помчались. Шофер гнал вонсю, вытряхивал душу и все внутренности. Было холодно, враждебно. Ан<чута> следила за мной глазами, оберегая меня на поворотах. Очень было тяжело. Наконец добрались до Симферополя. Решили идти в комендатуру, т<ак> к<ак> я не знала ни одного адреса моих знакомых. Было уже 4 ч<аса>, а ходить по городу разрешалось только до 4½. Усталые, измученные, добрали.

— Приходите завтра утром — комендатура закрыта, — сказал немецкий унтер, сидящий за столом.

— Мы только что приехали из уезда, нам некуда идти, мы в больницу.

— Вон! — заревел толстый усач. — Я сказал: завтра утром!

— Пусть нас сажают в подвал. Я никуда не пойду. Пусть убивают. Но не смеет он кричать на нас! — завопила я.

Но перед нами захлопнулась дверь. Я так была измучена и возмущена — и хотела очень, чтобы патруль подобрал нас и отправил в подвал. Я честно считала, что это должно быть с нами. Почему я должна была пользоваться каким-то вниманием с их стороны? Ведь они враги наши. «Пусть сажают в подвал. Я никуда не пойду». Но Анчута закричала на меня. У нее уже началась астма, она не может идти в подвал, — глушости! И повела меня к какой-то случайной старухе, буквально в трущобу — в абсолютную холодную, без стёкол, комнату. Тут же стояла «параша», п<отому> ч<то> старуха уже несколько дней не выносила таз со всяким его содержимым. У нее было нечто вроде кровати, а мы уместились вдвоем на каких-то лохмотьях грязного подобия дивана. Так — в шубах, в грязи, усталые. Анч<ута> с астмой, я с болями и тошнотой, полуживая.

Утром, часов в 7, она потащила меня в управу. Спросили городск<ого> голову. Он оказался болен.

— Тогда его заместитель.

Нас принял в большой комнате человек интеллигентного вида, лет 40.

— Я вдова поэта Волошина, приехала из Коктеб<еля> на операцию — рак желудка. Но прежде, чем я буду говорить о возможности операции, мне важно, чтобы вы направили нас к самому старш<ему> немец<кому> начальнику по гражданской части. Я хочу сказать ему, что они не имеют морального права так с нами обращаться. Пусть убивают, на это мы идем — они враги. Но когда говорят, что не смеют кричать, — и выгоняют больного человека, старуху!

— Хорошо, хорошо, мы доложим о вашем случае. А сейчас успокойтесь.

Этот помощник город<ского> головы был, по-видимому, симпатичный и умный человек. Он, конечно, слышал о Максe и отнесся к нам максимально хорошо. Прежде всего, указал женщ<ину>-врача, котор<ая> может быть нам полезна, и сказал, что она исключительно хороший человек и что есть хороший — знаменитый — хирург именно по раку, и что эта женщина-врач нас к нему направит. Он дал нам ордер на питание в лучшую столов<ую>, котор<ая> была в Симферополе. Я сказала, что до тех пор не буду делать операцию, пока не определю судьбу дома. Он нам указал старика юриста.

Мы оттуда сразу пошли отыскивать указанную ж<енщину>-врача. Города не знаем, указать никто не мог — и мы путались из конца в конец часов до 4 дня. Я изнемогала от усталости, боли и тошноты. Наконец остановилась и сказала, что дальше

никуда не пойду. Ан<чута> совершенно забывала, что я смертельно больна, и, в своем стремлении найти поскорее, делала массу нелепых крюков, заводя меня бог весть куда.

Тогда, видя, что я действительно больше не могу идти, она оставила меня стоять около какого-то дерева, а сама побежала искать указанный адрес. Нашла и вернулась за мной, но предварительно сама познакомилась с женщ<иной>-врачом и рассказала, в каком мы положении.

Женщ<ина>-вр<ач> оказалась миловидной приветливой старушкой. Приняла меня, как старую, давно ей знакомую,— очень приветливо и ласково. Я расплакалась и стала жаловаться на вчерашнюю встречу и что ни за что, ни за что не буду делать операцию. Зачем? — все равно умирать, и жить я не хочу, и не могу жить с немцами, и что гораздо лучше умереть, что сама судьба мне посылает такую смерть, но вот дом меня беспокоит, и как только я сделаю завещание на Анчуту, я могу умереть: буду ждать смерти, поедем домой, и никакой операции делать я не буду.

«Нет, раз уж вы сюда добрались, вы должны сделать операцию, и М<аксимилиан> Ал<ександрович> этого хочет и уговорил бы вас. Мне 74 г<ода>, и я бы, на вашем месте, даже в таком возрасте сделала бы себе операцию, не задумываясь. Если поздно, то мы облегчим вам страдания. Вы ведь знаете, что вас ожидает месяца через два-три, какие нестерпимые страдания. Ну, а мы вам поможем их не переносить. А если еще не поздно, то и совсем вас освободим. У нас есть тут такой хирург, котор<ый> делает чудеса, и через 4 м<есяца> вы будете совсем здоровы. Доверьтесь нам».

Она так ласково и так хорошо со мной говорила, словно я была маленькая девочка. Я плакала, слушала ее — и боль как будто бы утихала. Первый раз за 2 г<ода> моральных и физических страд<аний> я слышала жалость и участие к себе. Нервы, все, все болело. <...> Ушла я от нее, как-то размякши. И от нее мы узнали адрес одной знакомой семьи, куда и направились прямо. Мой вид и трагичность положения расположили их к нам, и, несмотря на почти предельную бедность и отсутствие еды, они нам оказали и кров, и стол.

На другой день мы отправились с данным <нам> письмом к проф<ессору> в городскую больницу. Проф<ессор> сейчас же нас принял, прочтя письмо. Осмотрел меня, сказал: «Пустяки. Идите на рентген». И вот, ожидая, пока меня просветят, тут произошла еще одна встреча. <...> Я была больше чем пассивна. Я просто, как приговоренная, тупо ждала какого-то конца, не принимая ни в чем участия. А Анч<ута> завела разговор с сидящей рядом пожилой женщ<иной>, котор<ая> заинтересовалась, откуда мы. И, услышав слово «Коктебель», страшно оживилась.

— Ах, да моя Надичка! Ах, да вы не знаете там писателя Волошина, Надичка Богу на них молится, что с ними?

— Да вот сама Волошина.

— Вы Надичку Бурлей знаете? — обратилась она ко мне.

— Нет, не помню. Столько у нас было людей... не помню.

Старушку это разочаровало. Оставив меня в покое, они продолжали разговор. Старушке очень хотелось, чтобы я вспомнила ее Надю. Она оказалась няней одной девушки, котор<ая> в 27 г<оду> приехала на практику в с/п бухгалтером. Совсем юная, покинутая, и Макс, и я приняли в ней участие, когда ее обидели в кооперативе. Мы взяли ее к себе, обласкали, и она у нас прожила целый год. Когда старушка мне напомнила все это, я, конечно, вспомнила Над<ежду> Н<иколаевну> Бурлей⁸⁵. Стар<ушка> побежала домой сообщить Наде о нас. А меня просветили. Проф<ессор> ничего не сказал, что у меня, а только — что операция необходима. Но как же? «Так: принесите 5 м<арок> и приходите послезавтра в 1 сов<етскую> больницу».

Я сказала Анчут<ке>, что до тех пор, пока не сделаю завещания, никуда не пойду.

Пошли к юристу. Старый суровый человек посмотрел на меня исподлобья — и на все мои предложения завещать дом и литературное наследство Ан<не> Ал<ександровне>, с тем чтобы она хранила это все, а потом передала бы русским писателям и чтобы, боже сохрани, это к<ак>-нибудь не попало немцам, ответил: «Говорите глупости. Это не дамские разговоры, а серьезное дело. Идите к нотариусу такому-то. Впрочем, нет. Он очень занят. Он вас не примет». И сам пошел к нему, а нам велел

⁸⁵ Бурлей Н. Н. (род. 1907) — бухгалтер из Симферополя, жила в Коктебеле в 1929 и 1930 годах.

прийти потом. Дай ему Бог здоровья, если он жив. Он приложил все свои знания и старания. У него был друг, стар<ый> нотариус, и они вдвоем двое суток решали этот сложный момент завещания.

Когда мы пришли к нотариусу, я ему рассказала, что после моей смерти и дом, и наследие Макса должны сохраниться, но у меня нет наследников, а я хочу, чтобы это все перешло к русским писателям, а не досталось бы каким-то случайным авантюристам. Словом, чтобы это так или иначе донеслось бы до своих, п<отому> ч<то> я верила, что наши придут, — только бы пронести. Я все завещаю Анчут<е>, а она передаст С<оюзу> п<исателей> после моей смерти.

— Вы ей доверяете?

— Так, как себе.

— И все-таки ей завещать не надо. Она-то, м<ожет> б<ыть>, и отдаст все. Но, представьте, — у нее долги. И все завещанное пойдет на уплату ее долгов.

— У нее нет долгов.

— У нее есть родственницы.

Словом, они юридически мне объяснили, почему я не могу завещать Анчуте. И придумали текст нотариального завещания, котор<ый> сюда и прилагаю³⁶.

М<ожет> б<ыть>, сейчас он никакого смысла не имеет. Но тогда это был акт большой важности. И мне дал большое моральное успокоение. Конечно, немцы ни с чем могли не посчитаться. Но та форма, в какой составлено завещание, давала уже юридически прецедент — и можно было как-то защищаться. Тот, кто не пережил бесправия плена, тот никогда не поймет, за что можно было хвататься. <...> Нужно было найти свидетелей, душеприказчиков. И все это нашлось. Надя Бурлей нас отыскала и столько уделила человеческого внимания, столько для нас делала. Только страховку, 200 р<ублей>, взяли, а пошлины и всех расходов по завещанию с меня юристы не взяли.

А тут еще и управа помогла нам, т<о> е<сть> мне, — дав 2 т<ысячи> пособия. Я очень ослабела за это время, проф<ессор> назначил консилиум, т<ак> к<ак> сердце ослабло, легкие тоже — и нужно было ему решить, какой же давать наркоз. Сильно была истощена — и тогда решили у немцев просить их какой-то наркоз, нечто вроде «ефифана». Причастилась, исповедалась — и 14 пошла в больницу. Милая Мар<ия> Конст<антиновна> (женщ<ина>-врач) устроила так, что Анчут<е> разрешили остаться со мной и дали мне отдельную палату. Кормили Анчуту. С вечера мне сделали промывание. Очень было тяжело. А 15/2, ровно в 8 утра я пошла на операцию. Простилась с Анчутой у двери операционной. Я вошла на стол. Подошел молодой врач. Я выразила опасение, что дадут мне такой наркоз, что я все чувствовать буду. Проф<ессор> сказал: «Дадим такой, какой нужно, вы теперь не субъект, а объект — и доверьтесь нам».

Я ждала, что наложат маску, а у меня взяли правую руку, и обыкновенным [нрзбр] шприцем мне доктор стал вводить инъекцию в вену правой руки. «Ой, как хочется спать!» — и уже, что было дальше, я не помню.

Очнулась я в 1 ч<ас> ночи: больно все и, конечно, жажда. Надо мной стояла милая Анчута с ласковыми голубыми глазами. Я поняла, что я жива. Спросила, ск<олько> время — и пить, пить!

Первый раз я пришла в себя, вернее, очнулась, как мне рассказала Анчут<ик>, около 1 ч<аса> дня — и хотела перевернуться на живот. Мне не позволили. Тогда я вступила в драку: стала бить и кусать тех, кто меня удерживал. 4 человека держали — и я поднимала голову и старалась укусить или оцарапать тех, кто меня держал. Пришлось привязать, п<отому> ч<то> я ничего не понимала, а всячески старалась перевернуться.

Первая ночь была очень тяжелая. Лежала на спине, больно и пить хотелось очень. Рот высыхал, как бумага. Анчута обмакивала тряпочку, намотанную на палец, и давала мне сосать. А я ей кусала палец.

Потянулись серые, мутные дни.

На этом кончаются записи Марии Степановны Волошиной (1887 — 1976), относящиеся к войне. Делала она их в амбарной книге имени Юнге, прямо между строк (хранится в Доме-музее М. А. Волошина в Коктебеле). Их полнейшая искренность

³⁶ Копия завещания М. С. Волошиной 1944 года хранится в Доме-музее М. А. Волошина в Коктебеле.

вне сомнений. Приходится только пожалеть, что записи эти так невелики и отрывочны. Но с другой стороны: сохранились ли еще где-то в нашей стране подобные дневники? Не до записок было жителям наших оккупированных городов и сел (не говоря об опасности такого занятия!).

Следует отметить, что в послевоенные годы население Коктебеля относилось к Марии Степановне в массе недоброжелательно. Для них она была «барыня», взгорная старуха, вдова сомнительного (непризнанного!) поэта, о котором также ходило немало порочащих слухов. А ведь М. С. Волошина, имевшая акушерское и фельдшерское образование, много лет безотказно обслуживала местное население и, казалось бы, должна была вызывать лишь чувство благодарности. Однако почти все ее пациенты — болгарское население довоенного Коктебеля — в 1944 году были депортированы из Крыма. Остались единицы: русские, украинцы, болгарки, вышедшие за русских. Среди них были и такие, что относились к Марии Степановне с пиететом (супруги Д. А. и А. Г. Дубовик, И. В. Маврогиев, Н. Г. Гагарина...). Но раздавались и крайне тяжелые обвинения. Я. И. Гончаров (1908 года рождения, бывший каменщик) высказал сомнение: «Мы не имели права на берег выйти, а она всюду ходила! Почему ее немцы не выселили из дому?!» Н. И. Герасимов (1912 — 1982) — в 70-е работал кочегаром в котельной — шел еще дальше: «Она же партизан немцам выдала!»

Что ж, у Марии Степановны могли быть к 1941 году основания для недовольства советской властью. Ей тогда было пятьдесят три года. За свою жизнь она многое повидала: и жестокости гражданской войны на юге, и несправедливости «раскулачивания» в маленьком Коктебеле; ее муж не был признан, местные власти не раз его травили; множество грузей «Дома поэта» — талантливых и честных людей — были незаслуженно репрессированы... Можно было и соблазниться «новым порядком», как случилось с аргисткой Е. М. Манасеиной, поступившей к немцам в переводчицы, с Н. Н. Грин, служившей корректором в газете Старого Крыма, с Ж. Г. Богаевской (впрочем, этим женщинам, возможно, просто (не на что было жить). Однако М. С. Волошина, так многое не принимавшая у «своих», не пошла на поклон к чужим, сразу и навсегда увидела в них врагов...

Точки над «и» в этом вопросе для меня лично поставил разговор, состоявшийся в августе 1981 года, с генерал-лейтенантом в отставке Г. Т. Василенко (род. 1910), который в 1944 году освобождал Коктебель. Он тогда был полковником и командовал 339-й стрелковой дивизией. Бои кончились, но Приморскую армию оставили в Крыму, «чтоб Турция не высадилась». Особые отделы проверяли всех, кто был в оккупации, кое-кого осудили; М. С. Волошину не тронули! «Я ее поставил на довольствие, — вспоминал Г. Т. Василенко. — Дал ей сохранную записку... Эта женщина — жена писателя; по-моему, не всегда такие жены бывают».

...Сохранилось свидетельство немецкого генерала о военных действиях в Крыму. Ожидая высадки советских войск, и ему было поручено обследовать прибрежную полосу, чтобы уничтожить всякую возможность для закрепления десанта. «Ночью он в сопровождении отряда солдат... обходил различные места... и увидел... дом, который может пригодиться десантникам... постучали прикладами в дверь, им открыла испуганная женщина... В доме было темно... он осветил по сторонам и вдруг увидел маску египетской богини. Она смотрела на него так, что он вдруг смутился, ему показалось, что он вошел в ее личное жилище... И он понял, что не решится отгадать приказ уничтожить этот дом» (Н. Тихонов, «Устная Книга». — «Вопросы литературы», 1980, № 7, стр. 232).

В доме Волошина сохранилось самодельное объявление на фанерной дощечке. Печатными буквами по-немецки написано: «Музей русского поэта Максимилиана Волошина. 1878 — 1932. Вход в это здание без разрешения преследуется по закону военного времени. Посещение музея военными частями запрещено. Коктебель, 5.5.1942. Местный комендант». (Не после ли визита генерала появилось это объявление?..)

В общем, среди завоевателей находились отдельные лица, с которыми у Марии Степановны возникало человеческое общение. По-видимому, роль посредницы при этом играла Анчута, свободно говорившая по-немецки и по-французски (с румынами). А. А. Кораго отличалась исключительно мягким характером, терпимостью и в этом плане прекрасно дополняла взрывчатую Марию Степановну.

Последняя же чаще конфликтовала с пришельцами, ничего не боясь и порой лишь чудом сохраняя жизнь. В июне 1944 года она писала знакомой: «Я была очень деятельна и вела ежедневную борьбу и войну с ними за каждую доску и тряпку —

ни в чем не уступала, тоже с риском для жизни». И другой знакомой: «Ни единого дня не проходило без борьбы и отстаивания своих прав. И выселяли, и выгоняли, и расстреливать собирались, грозили, но ни где и ни в чем не уступала»... Однажды немец захотел взять из мастерской стол. Обычный с виду, даже не крашенный,— но его делал сам Макс! Она легла на этот стол, закрыла его собой: «Убивай, не отдам!» Немец сплюнул: «Сумасшедшая баба!» — ушел... Вышка дома была удобным пунктом для дозора, но пускать оккупантов через мастерскую она не могла. И настояла на своем: немцы прорезали в полу верхнего балкона люк и лазали по приставной лестнице!

В августе 1942 года поэт Александр Булгеев, ставший редактором симферопольской газеты «Голос Крыма», напечатал (к десятилетию со дня смерти) подборку стихов М. А. Волошина. Переслал Марию Степановне с опиской гонорар. И в ответ получил отповедь! «Напечатание его стихов сейчас не радость, а огорчение для меня,— писала вдова.— Буду их считать как бы ненапечатанными и гонорар, 1000 р<ублей>, возвращаю <...> Перед своей совестью и перед памятью М<аксимилиана> Ал<ександровича> я иначе поступить не могу».

Однажды немец снял со стены столовой 4 волошинские акварели — украл! Обнаружив пропажу, Мария Степановна побежала в комендатуру, потребовала возврата. Но назвать вора не могла. «Мне предлагали за них плату,— вспоминала она.— Я не соглашалась. Комендант недоумевал: «Чего же она хочет?» И дали мне расписку, что у меня взято 4 акварели М. В.». Эта Quittung (квитанция) на немецком, датированная 25 января 1943 года, тоже сохранилась...

В конце декабря 1941 года Феодосия была занята нашими частями. Горстка солдат была высажена и в Коктебеле: отвлекающий десант. Немцы уже отошли к Отузам, и десантникам сначала воевать было не с кем. Естественно, они постучали в единственный целый дом на берегу... «Они были мальчишки, лет по семнадцати! — вспоминала Мария Степановна.— Плохо одетые — в каких-то кофтах, в опорках; только двое или трое настоящие, в форме. «Тетенька, бабушка, а немцев здесь нет?» Из Анапы, Новороссийска; им сказали, что они будут охранять побережье... Человек 10 жило у меня, потом погошли из Феодосии еще»...

В эти дни Мария Степановна и спрятала все самое ценное в тайник. В подвале двухэтажного флигеля, построенного матерью Волошина, немцы перед уходом вырыли зачем-то большую яму. Вот туда-то вместе со своими компаньонками и двумя мальчишками из деревни (Жорой Дубовиком и Витей Босяковым) Мария Степановна перетаскала все книги (несколько тысяч!), архив, большую часть акварелей... Сверху положили доски, мешки, разный мусор, землю. Когда десант был отбит, в Коктебель пришла другая вражеская часть; никто ничего не спросил... Несколько документов подмокло, но все остальное благополучно дождалось апреля 1944 года.

Когда пришли наши, Мария Степановна возобновила экскурсии по Дому: снова рассказывала о своем единственном, незабываемом Максe. В архиве волошинского музея есть тетрадки и этого периода: отзывы солдат и офицеров, посетивших Дом в те месяцы. Трогательны эти безыскусные записи людей, никогда не слышавших прежде о Волошине, только что вышедших из боев и идущих дальше по следу врага. Были и конфликты: кто-то распорядился поставить возле Дома зенитную установку. Но ведь по ней — а значит, и по Дому! — могут открыть ответный огонь! Мария Степановна побежала к Василенко. И добилась своего: оружие перенесли...

Когда-то М. А. Волошин написал «Марусе» на одном из своих пейзажей:

Землетрясение, голод, и расстрелы,
И радость, и людей мы вынесли с тобой.
И я всегда был горд моей подругой смелой.
Как ты в душе подчас гордилась мной...

Он не знал тогда, сколько ей еще предстоит вынести! Но верил в нее всегда. «Я знаю, что связан с тобой глубоко и на всю жизнь», — писал он ей 16 ноября 1922 года, в самом начале их знакомства.

Она с лихвой оправдала эту веру.

«САМЫЙ НЕПРОЧИТАННЫЙ ПОЭТ»

Заметки Анны Ахматовой о Николае Гумилеве

В записных книжках Анны Ахматовой, которые хранятся в ЦГАЛИ СССР и готовятся ныне к публикации в Ахматовском томе «Литературного наследства», содержится немало записей, касающихся творчества Николая Гумилева и истории их личных взаимоотношений.

Непосредственным толчком к записи своих воспоминаний и размышлений о творческом пути трагически погибшего поэта, мужа, отца ее единственного сына послужило для Ахматовой издание в 1962 году в США первого тома собрания сочинений Н. С. Гумилева под редакцией Г. П. Струве и Б. А. Филиппова.

Осенью 1962 года Ахматова набрасывает планы своих записок о Гумилеве, которые сразу же (как это часто бывало в ее работе над автобиографическими и мемуарными произведениями) перерастают сначала в отрывочные наброски, а затем в более развернутые заметки или очерки. К сожалению, эти заметки остались незавершенными. Все они носят первоначальный, черновой характер. Этим объясняются и отдельные повторения в их тексте. Вместе с тем, как нетрудно убедиться, в публикуемых заметках содержится четкая, выношенная и совершенно оригинальная ахматовская концепция творчества Николая Гумилева, во многом решительно расходящаяся с концепцией его зарубежных издателей. Историко-культурное значение этих записок, в которых Анна Ахматова выступает и как главная героиня ранней лирики Гумилева, и как непосредственная участница литературного процесса 10-х годов, и, наконец, как его проницательная и высококомпетентная исследовательница, думается, невозможно переоценить.

В тексте своих записок Ахматова цитирует произведения Гумилева по памяти и иногда не совсем точно. Впрочем, в ряде случаев она, может быть, приводит не дошедшие до нас ранние варианты гумилевских произведений.

Настоящая публикация носит выборочный и предварительный характер. Примечания по условиям издания сведены к минимуму. Развернутый научный комментарий будет дан при полном издании записных книжек Анны Ахматовой в упомянутом томе «Литературного наследства».

6 ноября 1962. Москва.

I. Два акростиха 1911¹. То же в сне Адама про Еву. Она — двойтся. Но всегда чужая. Это в общем плане, но уже приложено к А <Ахматовой>. Вечная борьба. Сравни с «Жемч<угами>» (Цитаты).

II. Посвящ<ение> «Русалки». Автограф².

III. На даче Шмидта сжег рукопись пьесы «Шут короля Батинволя» за то, что я не захотела его слушать³.

IV. Тема — Гумилев и царскоселы (Вс. Рождественский, Оцуп и т. д.).

V. Поздние воспоминания («Эзбекине» и «Память»).

VI. Мое первое письмо в Париж.

Что это — снова угроза
Или мольба о пощаде?

VII. Глухонемые не демоны, а литературоведы⁴, совершенно не понимают, что они читают, и видят Парнас и Леконт де Лиля там, где поэт истекает кровью (Вяч. Иванов и Брюсов). Я согласна, что в «Дворце великанов» трудно угадать Царск<осельскую> башню, с кот<орой> мы (я и Коля) смотрели, как брыкался рыжий кирасирский конь, а седок умело его умирлял, что в неньюфарах «Озер» не сразу рассмотришь желтые кувшинки в пруду между Ц<арским> С<елом> и Павловском, что только говоря об Анненск<ом>, Г<умилев>, уже поэт-акмеист, осмелился произнести имя своего города, кот<орый> казался ему слишком прозаичным и будничным для стихов (см. «Путь конкв<истадоров>» и «Ром<антические> цветы»), но ощущение, но трагедия любви — очевидна во всех юных стихах Г<умиле>ва. Героиня так же зашифрована, как и пейзаж — иначе и быть не могло. Ее первый портрет:

У той жены всегда печальной
Глаза являют полутьму...⁵

И дальше:

И в солнца ткань облачена,
Она великая святыня...

И она же девичий труп в песне певца, она же та, кто отказалась идти за чародеем, и «Невеста дьявола», и та, кому отдан волшебный перстень с рубином — «за неверный оттенок разбросанных кос». Это ее он обещает взять на вершины и показать ей величье мира («Ты, для кого собирал я на Леванте...»). И страшен <разбросанный> сумрак волос (Анна Комнена). Она же Русалка «Пути конк<вистадоров>» («У русалки чарующий взгляд / У русалки печальные очи...») Ср. Анна Комнена: «Но очи унылы / Как сумрак могилы...»).

В 10-м году привез в подарок «Бал<ладу>»:

Тебе, подруга, эту песнь отдам,
Я веровал всегда твоим стопам,
Когда вела ты нежа и карая...

(Ср. с стих<отворением> «Она» — «учиться светлой боли...».)

Следующий период — страшные стихи в «Чужом небе»: «И тая в глазах...» — (прислал с дороги в Африку)...

Дальше «Канатная плясунья», «Маргарита», «Отравительница».

Он сначала только лечил душу путешествиями и стал настоящим путешественником (13-й г<од>). Всё (и хорошее, и дурное) вышло из этого чувства — и путешествия и дож-жуанство. В 1916 г., когда я жалела, что все так странно сложилось, он сказал: «Нет, ты научила меня верить в Бога и любить Россию».

* * *

Гумилев

1) Автограф «Русалки» (1904).

2) Отчего не сказано, что парижск<ие> «Ром<антические> цветы» посвящены мне (цитата из письма Брюсову). Это же посвящ<ение> повторено в «Жемчугах» (1910 г.).

3) Зачем жалеть об отсутствии мемуаров врагов (Волошин, Кузмин), а не друзей (Лозинский, Зенкевич...).

4) Как можно придавать значение и вообще подпускать к священной тени мешчанку и кретинку А. А. <Гумилеву>⁶, кот<орая> к тому же ничего не помнит не только про Н. Гумилева, но и про собственного мужа. Единственным близким человеком в доме для Н<иколая> С<тепановича> была мать. Об отце он вообще никогда не говорил, над Митей открыто смеялся и так же открыто презирал <...>.

5) О радостях земной любви (посвящение мне)⁷.

6) Отчего выпали все приезды Н<иколая> С<тепановича> ко мне (Киев, Севастополь, дача Шмидта, Люстдорф) из Парижа и Петербурга.

7) Отчего выпали: Таня Адамович (1914? — 1916), Лариса Рейснер (1916 — 1917), Арбенина (1920) и др.

Но этому не приходится удивляться, если этой бойкой шайке удалось изъять из биографии Н<иколая> С<тепановича> даже меня. В данном случае мне жаль Гумилева как поэта. Все начало его творчества оказывается парижской выдумкой («поражает безличностью» и т. д. И это всерьез цитирует якобы настоящий биограф в 1962 г.), а это стихи живые и страшные, это из них вырос большой и великолепный поэт. Его страшная сжигающая любовь тех лет выдается за леконт-де-лилевщину (см. отзывы о Г<умилеве> Брюсова и Иванова), и биограф через полвека выдает это как факт непререкаемый. Неужели вся история литературы строится таким манером?

5)* В никаких цирковых программах я не участвовала (1911—1912; летом 1913 г. Г<умилев> был в Африке), верхом не ездил (в 1912 донашивала рубенка), а когда все в Подобине или в Дубровке валялись на сеновале, м<ожет> б<ыть> раза два я демонстрировала свою гибкость. У Веры Ал<ексеевны Неведомской> был, по-видимому, довольно далеко зашедший флирт с Н<иколаем> С<тепановичем>, помнится, я нашла не поддающееся двойному толкованию ее письмо к Коле, но это уже тогда было так не интересно, что об этом просто не стоит вспоминать.

6) Ездить верхом не умел. Конечно, в 1911—12 гг. ездить верхом не умел, но в маршевом эскадроне Улан<ского> полка осенью 1914 г. (деревня Наволоки около Новгорода) он, по-видимому, все же несколько научился это делать, так как почти всю мировую войну провел в седле, а по ночам во сне кричал: «По коням!» Очевидно, ему снились ночные тревоги, и второй Георгий получил за нечто, совершенное на коне <...>.

Почему нигде и никогда я не прочла, что развод попросила я, когда Н<иколай> С<тепанович> приехал из-за границы в 1918 <г.>, и я уже дала слово В. К. Ш<илейко> быть с ним. (Об этом я рассказывала М. А. З<енкевичу> на Серг<иевской ул.>, 7. См. в его романе 1921 г.)

Почему этим якобы грамотеям не приходит в голову отметить тот довольно, по-моему, примечательный факт, что на моих стихах нет никакого влияния Г<умиле>ва, несмотря на то, что мы были так связаны, а весь акмеизм рос от его наблюдения над моими стихами тех лет, так же как над стихами Мандельштама. Георгий Иванов даже позволяет себе выдумывать прямую речь Гумилева («Петер<бургские> зимы») по этому поводу.

Что Н<иколай> С<тепанович> не любил мои ранние стихи — это правда. Да и за что их можно было любить! — Но, когда 25 марта 1911 г. он вернулся из Аддис-Абебы и я прочла ему то, что впоследствии стало называться «Вечер», он сразу сказал: «Ты — поэт, надо делать книгу». И если бы он хоть чуть-чуть в этом сомневался, неужели бы он пустил меня в акмеизм? Надо попросту ничего не понимать в Гумилеве, чтобы на минуту допустить это. Оно, впрочем, так и есть. Примерно половина этой достойной шайки (Струве...) честно не представляет себе, чем был Г<умиле>в; другие, вроде Веры Невед<омской>, говоря о Гумилеве, принимают какой-то идиотский покровительственный тон; третьи сознательно и ловко передергивают (Г. Ив<анов>) <...>. А все вместе это, вероятно, называется славой. И не так ли было и с Пушкиным, и с Лермонтовым. Гумилев — поэт еще не прочитанный. Визионер и пророк. Он предсказал свою смерть с подробностями вплоть до осенней травы. Это он сказал: «На тяжелых и гулких машинах...»⁸ — и еще страшнее («Орел»), «Для старцев все за претные труды...» и, наконец, главное: «Земля, к чему шутить со мною...»

* * *

Царское Село в стихах Н<иколая> С<тепановича> как будто отсутствует. Он один раз дает его как фон к стихотворению «Анненский» («Последний из царскосельских лебедей»). Сам царскосельским лебедем быть не хочет).

Однако это не совсем так. Уже в поэмах «Пути конквистадоров» мелькают еще очень неуверенной рукой набросанные очертания царскосельских пейзажей и парковая архитектура (павильоны в виде античных храмов). Но все это не на

* Ошибка в нумерации авторская.

звано и как бы увидено автором во сне: не легче узнать во «дворце великанов» — просто башню-руину у Орловских ворот. Оттуда мы действительно как-то раз смотрели, как конь золотистый (кирасирский) «вставал на дыбы».

Еще царскосельское впечатление (как мне сказал Гумилев):

Был вечер тих. Земля молчала,
Едва вздыхали цветники,
Да от зеленого канала,
Взлетая, реяли жуки.

А это где-то около Большого Каприза и на пустыню Гоби мало похоже.

Третье — в стихотворении «Озера». «Печальная девушка» — это я. Написано во время одной из наших длительных ссор. Н<иколай> С<тепанович> потом показывал мне это место. Ненюфары, конечно, желтые кувшинки, а ивы действительно были. Ц<арское> С<ело> было для Н<иколая> С<тепановича> такой унылой низменной прозой.

Две мои фотографии в царскосельск<ом> парке (зимняя и летняя) в 20-х годах сняты на той скамейке, где Н<иколай> С<тепанович> впервые сказал мне, что любит меня (февраль...).

* * *

Маргарита

Мне в юности приснился странный сон, будто кто-то (правда, не помню кто) мне говорит: «Фауста вовсе не было — это всё придумала Маргарита... А был только Мефистофель...» Не знаю, зачем снятся такие страшные сны, но я рассказала мой сон Н<иколаю> С<тепановичу>. Он сделал из него стихи. Ему была нужна тема гибели по вине женщины — здесь сестры.

* * *

Сейчас, как читатель видит, я не касаюсь тех особенных, исключительных отношений, той непонятой связи, ничего общего не имеющей ни с влюбленностью, ни с брачными отношениями, где я называюсь «Тот другой» («И как преступен он, суровый...»), который «положит поссх, улыбнется и просто скажет: „Мы пришли“». Для обсуждения этого рода отношений действительно еще не настало время. Но чувство именно этого порядка заставило меня в течение нескольких лет (1925—1930) заниматься собиранием и обработкой материалов по наследию Г<умиле>ва. Этого не делали ни друзья (Лозинский), ни вдова, ни сын, когда вырос, ни так называемые ученики (Георгий Иванов). Три раза в одни сутки я видела Н<иколая> С<тепановича> во сне, и он просил меня об этом (1924. Казанская, 2).

* * *

9 мая <1963 г.>. День Победы.

Я совершила по этой поэзии долгий и страшный путь и со светильником и в полной темноте, с уверенностью лунатика шагая по самому краю. Сама я об этом не писала ни тогда, ни потом (кроме двух стихотворений — одно даже напечатано)*, но описанию домашних ночных страхов царск<осельского> дома посвящена одна из семи «Ленинградских элегий» — 1921 г. («В том доме было очень страшно жить...»).

Я знаю главные темы Гумилева. И главное — его тайнопись.

В последнем издании Струве отдал его на растерзание двум людям, из которых один его не понимал (Брюсов), а другой (Вяч. Иванов) — ненавидел. Мне говорят, что его (Гл. Струве) надо простить, потому что он ничего не знает. Я тоже многого не знаю, но в таких случаях избегаю издавать непонятный мне материал <...>.

* «И когда друг друга проклинали...» и «Пришли и сказали: «Умер твой брат»...».
(Прим. А. Ахматовой)

* * *

5 авг<уста 1963 г.>.

Самый непрочитанный поэт

(продолжение)

Невнимание критиков (и читателей) безгранично. Что они вычитывают из молодого Гумилева, кроме озера Чад, жирафа, капитанов и прочей маскарадной рухляди? Ни одна его тема не прослежена, не угадана, не названа. Чем он жил, к чему шел? Как случилось, что из всего вышеназванного образовался большой замечательный поэт, творец «Памяти», «Шестого чувства», «Трамвая» и т<ому> п<одобных> стихотворений. Фразы вроде «Я люблю только „Огненный столп”», отнесение стих<отворения> «Рабочий» к годам Революции и т. д. ввергают меня в полное уныние, а их слышишь каждый день.

* * *

<Июль 1965 г.>

<...> И не только от несчастной любви (как мы видели выше), но и от литературных неудач и огорчений Гумилев лечился путешествиями. К сожалению, даже такие явные вещи недоступны для наших исследователей. А все-таки, когда пишешь о стихах, следует заниматься и столь элементарным их подтекстом, а не только тупо повторять, что Г<умилев> — ученик Брюсова и подражатель Леконт де Лиля и Эредиа.

Дело в том, что и поэзия, и любовь были для Гумилева всегда трагедией. Оттого и «Волшебная скрипка» перерастает в «Гондлу». Оттого и бесчисленное количество любовных стихов кончается гибелью (почти все «Ром<антические> цветы»), а война была для него эпосом, Гомером. И когда он шел в тюрьму, то взял с собой «Илиаду».

А путешествия были вообще превыше всего и лекарством от всех недугов («Эзбеки», цитата). И все же и в них он как будто теряет веру (временно, конечно). Сколько раз он говорил мне о той «золотой двери», которая должна открыться перед ним где-то в недрах его блужданий, а когда вернулся в 1913 <году>, признался, что «золотой двери» нет. Это было страшным ударом для него (см. «Пятист<опные> ямбы»).

<...> Разумеется, из этих двух страниц, которые я написала сегодня, можно сделать не очень тонкую книжку, но это я предоставляю другим, напр<имер>, авторам диссертаций о Гумилеве, кот<орые> до сих пор пробавляются разговорами об ученичестве у Брюсова и подража<нии> Леконт де Лилю и Эредиа. И где это они видели, чтобы поэт с таким плачевным прошлым стал автором «Памяти», «Шестого чувства» и «Заблудившегося трамвая», тончайшим ценителем стихов («Письма о русской поэзии») и неизменным best-seller'ом, т<о> е<сть> его книги стоят дороже всех остальных книг, их труднее всего достать. И дело вовсе не в том, что он запрещен — мало ли кто запрещен.

По моему глубокому убеждению, Г<умилев> поэт еще не прочитанный и по какому-то странному недоразум<ению> оставшийся автором «Капитанов» (1909 г.), которых он сам, к слову сказать, — ненавидел.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Имеются в виду акrostихи Гумилева, посвященные Анне Ахматовой: «Аддис-Абеба, город роз...» и «Ангел лег у края небосвода...».

² Автограф стихотворения Гумилева «Русалка» (1904) с посвящением Анне Андреевне Горенко сохранился в собрании Ю. Г. Оксмана в ЦГАЛИ.

³ Гумилев навестил А. Горенко на даче Шмидта под Севастополем летом 1907 года.

⁴ Иронически обыгрывается название сборника стихотворений М. А. Волошина «Демоны глухонемые».

⁵ Здесь и далее Ахматова цитирует стихи из ранних сборников Гумилева «Путь конквистадоров» (1905) и «Романтические цветы» (1908).

⁶ А. А. Гумилева (урожд. Фрейганг), жена старшего брата Н. С. Гумилева — Дмитрия.

⁷ «Радости земной любви» — цикл новелл Гумилева, опубликованный в 1908 году.

⁸ Здесь и далее цитируются стихи из сборников Гумилева «Костер» (1918) и «Огненный столп» (1921).

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АНДРЕЙ БИТОВ

*

ОДНОКЛАССНИКИ

К 90-летию О. В. Волкова и В. В. Набокова

I. ЧЕЛОВЕК ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ

Нарисованный разговор

— Значит, аристократия и интеллигенция — это не тождество?
— Совершенно нет. Да-да-да. Можно и в шестой части Бархатной книги быть записанным и быть совершенным хамом.

— А вы в какой?

— Я, наверно, служилое дворянство. Не берусь даже вам сказать в какой. Потому что никакой претензии на аристократичность в семье не было... Есть род Волковых, которые из самых древних в Бархатной книге, — бояре Волковы были, так же как Романовы, шесть-семь таких старых родов. Но я к ним отношения не имею. Со стороны матери у меня более, так сказать... есть адмирал восемнадцатого века...

— А материнская фамилия?

— Лазарева. Династия целая.

— Тот самый мореплаватель Лазарев?

— Да. Тот самый мореплаватель. Он мой прадед. И я бы был моряком, если бы не слабое зрение. Был близорук, поэтому в Морской корпус не приняли...

— Олег Васильевич, это мое первое интервью. Не знаю, с какого конца взяться, и тут же прекращается сытая писательская ирония над журналистами. Нет другого пути начать разговор, как объяснить вам же, кто вы такой. За это время вы, как всегда, сумеете сохранить достоинство, а я успею его растерять. Вы, Олег Васильевич, — уникальный экземпляр рода человеческого... Вы кому угодно сегодня покажетесь не просто человеком редчайших достоинств, а — преувеличением. Всякий, кто впервые увидит вас и соединит ваш облик и повадку с наслышкой о вашей судьбе, воскликнет, как тот персонаж из анекдота: «Не может быть!» В этом восхищении есть своего рода отказ: мол, исключительное исключение, как раз и не подтверждающее правило. Что-то вроде улыбки, даже усмешки, пусть и счастливой. Не сразу и заметишь, что улыбка эта — от смущения. Потому что не мы — правило, а вы. Потому что не вы преувеличение и исключение, а мы с нашим большинством. Потому что вы — не мы. Для меня вы человек нормы, нормальный человек. Просто норма стала уникальным явлением. Надо сказать, образ ваш заслоняет для многих и то, что вы пишете, и как вы пишете. Мне кажется, однако, что для вас последнее важнее. Вы современный писатель. Так вот, мне нравится (как человеку, многократно обвиненному в формализме), как вы пишете. Как употребляете слова. Как их ставите. У вас и на бумаге слова грассируют, как в жизни. Вот мы встретились в Союзе писателей, у «парадного подъезда», по вашему выражению. Вы так сказали про одного нашего секретаря: «Вам не кажется, Андрей Георгиевич, что он очень падший человек?» Ну разве не смешно? Не смешно — именно так: падший. В другой раз я читаю у вас про собачек, что они не стали хуже с тех, дореволюционных пор; та же порода и то же старание, просто у них уже нет той возможности приобрести практику, потому что дичи той нет... «Мои друзья пойнтеры» — так, кажется, называлось ваше эссе?

— Да. «Мои фавориты». Или «Мои любимцы»...

— Значит, не «друзья»... Перевод с французского. Вы ведь начинали как переводчик?

— Да. Я переводил и на французский и с французского, и на английский я переводил.

— Это то, что досталось вам в наследство. Единственно не разоренное наследство?

— Единственное мое богатство.

— Парадоксально, Олег Васильевич, но мы ведь с вами в некотором смысле одноклассники. Вы начали писать прозу тогда же, когда и я: каких-нибудь тридцать с небольшим лет назад. И вот я припоминаю у «молодого прозаика», в той же очаровательной прозе о собачках, первое же предложение: «Судя по тому, что первого пойнтера, которого я помню, звали Банзай, воспоминания эти можно отнести к 1904 году — русско-японская война...»

— Я, конечно, пережил три революции — всего уже, выходит, за свою жизнь. Первую — совершенно в младенческом возрасте, но сохранились у меня отдельные яркие воспоминания о Петербурге, охваченном революцией пятого года. Это были казачьи разбеды, патрулировавшие улицы, грешившие у костров солдаты и другие там военные... И нянюшка, улакивающая меня от этих в сторону, от костров с казаками, и говорящая, объясняющая мне, что вот они приехали нас защищать от тех, кто задумал царя-батюшку погубить. Такие были у нее комментарии к этому делу. Ну, еще я помню гласность того времени. Потому что потом было немало случаев сравнивать гласность ту и нашу обожаемую гласность. Тогда выходили все журналы всех направлений и в газеты можно было писать что угодно — это в шестом, седьмом годах. И тогда были даже карикатуры на царя... Это все так ярко запомнилось. Ну, выключили свет, отсутствие воды — вот так. В деревне у нас было тихо, поэтому усадьба не пострадала от... там кое-где были подожженные усадьбы, но у нас все обошлось благополучно.

(Благополучно... Вы заметили эту эпическую интонацию очевидца? Пережившие историю в полной мере никогда не преувеличивают и не пугают. Я воспользуюсь сейчас плавным временем его повествования о следующих революциях, чтобы набормотать в скобках о нем самом ту информацию, которую так глупо заключать в форму вопроса интервьюруемому... Поводом для нашей беседы явился факт выхода в Советском Союзе его книги «Погружение во тьму», главного его сочинения, так сказать, книги всей жизни, среди прочих примечательных его произведений. Книга эта полноправно встает в ряд с произведениями великих писателей лагерной темы Шаламова, Солженицына, Домбровского и существенно от них отличается. Будучи по жанру документальной, мемуарно-публицистической, она читается как роман, она и есть идеальный автобиографический роман. Романом ее делает наличие героя. Даже у такого блестящего романиста, как Домбровский, его герой отчасти «пропадает» в обстоятельствах камеры, допроса и лагеря. «Материал погавляет» — пропасть между этикой и эстетикой, дорытая нашим временем, становится проблемой для художника-повествователя: герой не только гибнет, но и распыляется в тени отнюдь не кафкианской, а реальной лагерной машины. У Волкова, казалось бы куда менее беллетристически искушенного, его герой, чудесно порожденный Волковым-человеком и Волковым-повествователем и чудесно же от них отделившийся, сопровождает вас до конца книги, ни в чем не утрачивая, ни в духе, ни во плоти, и вы увлеченно следите за перипетиями человека, а не ужасающими обстоятельствами лагерной системы. И будто вы читаете «Робинзона Крузо», а не «Мертвый дом». Кстати, автор «Мертвого дома», будучи первым, первым же наметил очертания острога как острова, необитаемого для благородного каторжанина, уподобил его Робинзону. И если Солженицыну принадлежит бесспорная честь осмысления системы островов как Архипелага, то Волкову — честь создания Нового Робинзона, выкинутого на берега его... Вам предстоит ужас и наслаждение при чтении этой робинзопады, и у меня здесь нет ни пространства, ни желания предварить это впечатление, хотя сама беседа и затеяна ради «паблисити». Из четырех часов нашей беседы я выкину здесь все существенное, о чем вам лучше самим прочесть, оставив лишь самое косвенное — легкую и внешнюю попытку портрета...)

— Так где же было поместье вашего отца?..

— Это в Тверской губернии, в Новоторжском уезде, в тринадцати верстах от Торжка города. Мы ежегодно весной отправлялись туда и возвращались к осени, к открытию учебного года. Ну, иногда это перемежалось с поездками за границу, на воды куда-нибудь, на Средиземное море. Тогда как-то наши курорты еще не были

в моде... Тем более что у моего деда была вилла в Ницце, поэтому мы туда ездили постоянно. Недолго, впрочем... Но русскую деревню я стал знать уже с самого раннего детства. И это, конечно, оставило следы на всю жизнь: я всегда любил именно нашу среднерусскую природу, и в разные горькие минуты она была для меня и утешением, когда я был в сибирской ссылке, на Соловках, на Севере — всегда было хорошо от скверных условий перейти к созерцанию какой-то светящейся жизнью природы, которая вдохновляла.

— Тогда же вы и охотничьей страстью заболели?

— Да. Потому что отец мой, одолеваемый толстовской проповедью, сделался вегетарианцем и свою охоту ликвидировал, но он смотрел, когда мы подрастали, его сыновья, чтобы у нас были ружья, собаки, и, так сказать, егеря к нам приставил, чтобы мы приобщились к этому. Потому что в душе он оставался, конечно, охотником.

— Мы — это ваш брат-близнец?

— Всеволод, да. Нас было вообще-то много: пять братьев и две сестры... Всеволод погиб на войне, в сорок третьем году. Старший брат умер в самый первый год революции просто от менингита, а младшего самого брата убили, расстреляли в мурманских лагерях; он там был, когда началась финская война и финны перерезали дорогу железную, эвакуировать лагерь было нельзя, и поэтому очень много народу перестреляли...

— Получается четыре. А пятый?

— Потом еще брат Андрей. У него как-то жизнь прошла благополучно. Он окончил институт технический и был инженером, и всю жизнь так как-то вот его миновало...

— Всеволод до войны тоже сидел?

— Долгое время я один представлял нашу семью в органах. А потом кончилось тем, что Всеволода тоже арестовали, и он пять лет трубил в воркутинских лагерях и кончил накануне войны свой срок и настоял на том, чтобы его взяли все-таки в армию, мобилизовали, потому что лагерников не брали в армию. И очень скоро погиб под Волховом...

— Вы ведь и сами как-то чудесно оттрубили свой третий... третий срок так, что вас выпустили чуть не за день до объявления войны, а на следующий день вышел приказ никого из лагерей не выпускать...

— Ну, я тогда был уже расконвоированный, работал с геологами, тайгу местную хорошо знал, прослышал про указ и подался в леса, меня никто найти не мог, жил охотой...

— Но вас нашли?

— Нашли уже зимой.

— Я хорошо помню это невыносимое место вашей книги. Полярная ночь, глушь, ни электричества, ни телефона, ни дорог — и милиционер в розвальнях прямо к вашему домику прискрипел... Вы знаете, кто наступал?

— Нет. Ума не приложу...

— Вот и меня, когда читал, донимало: кто? а главное — как? Ведь никакой связи.

И народ все свой — охотник...

— Там и власти, почитай, советской не было.

— А милиционер, однако, приехал. Вот что это такое?.. Не с этим ли мы имеем нынче дело, когда требуется инициатива, смелость, работоспособность, а предприимчивость у нас по-прежнему одна: зависть и желание укоротить всякого, кто отличается, — мол, не высовывайся, не при поперек народа, чем ты лучше других?

— Народ подменен, конечно, людьми бессовестными и дерзкими. И алчными.

— Это было с вами в сорок втором, а сейчас? Сейчас, когда народ нуждается в самом себе как никогда? Когда вот уже четыре года прошло нашего нового, обнадеживающего времени? Как он быстро отдалился — восемьдесят пятый... вот уже восемьдесят девятый на исходе. Четыре года — это уже история, и они могут стать упущенным временем. Что же теперь-то обеспечивает вашу, мою, нашу веру в себя, в народ, в будущее?

— Безвыходность.

— Кроме безвыходности?

— Безвыходность.

— Безвыходность нас заставляет верить?

— Да, заставляет. Да. Мы развязали языки, но это не значит, что мы развязали свободу деятельности человека, свободу избирать поле работы, которое он хочет. Создать ему другие условия — это ведь мы не торопимся сделать. И наоборот, чувствуется, что хочется будто новые одежды надеть, а сущность оставить ту же самую. Я не верю в плодотворность этих кустарных, маленьких, я бы сказал даже, отчасти лицемерных попыток возродить какие-то там аренду и так далее. Тут может быть только откровенное признание провала марксистских теорий, и надо переворачивать страницу. Надо опять переходить на испытанные хозяйственно-экономические структуры, которые позволяют и прогресс и уравнивают до какой-то степени расположение людей. Во всяком случае, без этой нищеты и унижения в очередях, которые мы уже, слава богу, сколько лет терпим. Я думаю, это самое главное. Потому что нельзя больше, надо отказаться от попыток опять еще дальше говорить о каких-то плюсах социализма. Их нет нигде. Да и не было. Что такое социализм — никто постоянно даже сказать не может. Я объясняю так, что бедствия первой мировой войны каким-то образом укрепили положение радикальных партий. И чем, так сказать, революционнее звучали призывы, тем они пользовались большей популярностью. Потому что лишения были велики, испытания невиданные, и люди перестали верить в существующие порядки. На Западе власть крайним партиям все-таки не дали. Там ведь были и Спартаки, восстания... Коммунисты, скажем, в той же Франции едва не подошли к власти, но потом от них отошли, а у нас на эту удочку клюнули. У них народ был просвещеннее, больше понимал, а главное, сильна очень была роль церкви, католической церкви. И безбожье не могло там так легко восторжествовать. У нас же именно из-за того, что народ был еще полутрамотен, что у нас церковь тоже перестала пользоваться уважением и авторитетом, которые она растеряла за последние столетия, и клюнули на эти обещания: земля — ваша и все другие лозунги...

(Мы углубились в дебри, я по неопытности не заметил, как у меня в очередной раз кончилась пленка. И на следующий день пришлось возвращаться на круги своя...)

— В том же эссе о пойнтерах... простите, Олег Васильевич, что я избегаю разговора о той книге, которую пытаюсь рекламировать. Все-таки застой стимулировал форму...

— Иносказание...

— Скажем так. Но на нескольких страницах о собачках, где ни слова нельзя было сказать ни о Сталине, ни об арестах, ни о лагерях, вам удалось сообщить необыкновенно много. Перечисляя «любимцев», начиная с Банзая, вы приходите вскоре к необыкновенно изящной мимоцензурной фразе, что-то вроде: «Но в двадцать седьмом году мои охоты вынужденно прекратились, и в течение тридцати лет я не имел возможности заводить собак».

— Не в двадцать седьмом, а в двадцать восьмом. Меня арестовали в феврале двадцать восьмого.

— Тоже подъехали на пролетке, если не ошибаюсь?

— Нет, это я ехал в пролетке, а они подъехали в «эмке». Это было у греческого посольства. Я там подрабатывал переводами.

— Края сходятся. Вас арестовали за то же ваше богатство — за язык. Причем не за длинный, а за иностранный. За происхождение.

— Да, в общем, за это.

— Вы побывали на Соловках дважды — тогда и еще раз, уже в тридцать втором. Помню, когда я побывал на Соловках в восьмидесятом и рассказывал вам о впечатлениях, вы сказали, что никогда не навестите больше эти места... Не сможете...

— Год тому назад я был на Соловках. Меня пригласило телевидение, и я там был и показывал места, рассказывал о том, что и где запомнилось... но самое страшное место, которое, я думал, что уцелело, не сохранилось. Потому что возле кремлевской стены, где происходил в двадцать девятом массовый расстрел, располагались монастырское еще, старинное, многовековое кладбище и церковь святого Онуфрия — все это снесли, разровняли и построили тут какие-то бараки, какие-то дома. Так что самое-то место и не уцелело...

— Вас реабилитировали в пятьдесят шестом?

— Реабилитация пришла в пятьдесят пятом году, в один из весенних месяцев. Я когда вернулся в Москву, был май или июнь...

— Значит, получается двадцать восемь лет. Как у Монте-Кристо.

— Двадцать семь с месяцами. А может быть, чуть больше. Что это вы — то Робинзон, то Монте-Кристо?

— «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью»... Расскажите, пожалуйста, что было между сроками, в ссылках... была передышка? погулять на воле удавалось?

— Нет. Погулять не приходилось. Это только вначале...

— Между Соловками и Соловками? У Толстого?

— У Толстого, да. Это было самое мягкое, так сказать, время. С запретом жить в шести городах Союза. Я выбрал Тулу, там еще была Александра Львовна жива, и она меня действительно поселила в деревне, против пруда усадебного. Потом второй раз перерыв между лагерями и тюрьмами — был я сослан уже в Архангельск, — а уже потом пошли сплошняком. Уже лагеря. Впрочем, длительное довольно время я был в ссылке красноярской, на Енисее, в селе Ярцево. Вот тут мои охотничьи познания и привычки помогли: я жил тем, что промышлял белку и ондатру. Мне далеко не сразу дали пользоваться ружьем, поэтому я охотился с капканами, с разными западнями хитрыми. А потом мне разрешили, и я уже нормально белковал и добывал ондатру.

— Это какие уже были годы?

— Послевоенные. Я досидел там до смерти Сталина, до пятьдесят третьего.

— И вам разрешили ружье?.. А помните уже наше с вами время, Олег Васильевич, лет этак через тридцать, восемьдесят третий, восемьдесят четвертый... когда у вас ружье отобрали?

— Да, это был какой-то отклик... Уже вжившись в спокойную свою, мирную московскую жизнь, я испытал такое очень неприятное чувство, когда ко мне пришла милиция и сказала, что ружье охотничье у меня... и у меня его отобрали. Сказали, что вышло постановление изъять оружие у всех сидевших. Я предъявил свои реабилитации... это не произвело впечатления.

— После этого случая вы их застеклили? Знаю, вы канцелярию не любите, все ненужные бумажки рвете. Вот недавно билет из Швейцарии порвали, а он вам для отчета был нужен... А как-то прихожу к вам, может быть, это было ваше восьмидесятипятое, и вижу все ваши реабилитации в рамке, под стеклом, как в красном уголке, такая рамка...

— Да, это мне племянник к юбилею постарался...

— Как почетная грамота, как диплом — лагерные фотографии и реабилитации, шпук шесть...

— Пять. Фотографии не помню, но там пять документов.

— Я думал, шесть...

— Пять. О реабилитации, да. Это была для самолюбия трудная история, но потом, поскольку сам начальник НКВД города Москвы извинялся передо мной и ружье мне принесли эти же милиционеры домой, то я, так сказать, подзабыла это, этот последний, так сказать, резонанс...

(Мне кажется, я точнее помню эту историю.. Я никогда не видел Олега Васильевича таким, как в тот день, когда у него отняли ружье. Я могу лишь гадать, что значит оно для охотника, но символику этого оскорбления человеческого, мужского, дворянского, наконец, достоинства представить себе нетрудно. Олег Васильевич тогда только что перенес тяжелую операцию и еще один раз в жизни выдюжил, выкарабкался. Но ходить ему еще было нельзя, а тут — ружье... и он пошел все к тому же «парадному подъезду», к начальству, какое у нас есть, в Союз писателей. Для начальства это был приятный случай: не машина, не квартира, не дача — одно лишь проявление гуманности с возможностью употребить всех подчиненных по цепочке. О, эта гуманность, обеспеченная нашими необъятными залежами зла! — валюта начальства — можно не сделать что-либо, а «поправить ошибку». И возвращали ружье не совсем так, как обещали. Позвонили и сказали: «Заберите ваше ружье!» «Нет, голубчики, — сказал охотник Волков, — вы забирали, вы и принесите». В общем, не враз он его получил. Но раз «сам начальник НКВД», то что ж мелочиться — победная вышла история. Но и не такой уж первый или последний был этот резонанс былого.

Одна из страшных вещей нашей — а может, и вообще — жизни, которую я лучше знаю, пока что глядя на других, а не на себя, это то, что мужество человеку требуется на протяжении всей жизни без передышки. Не бывает, не будет такого момента, что вот наконец я все прошел — и на свободе, что все кончено наконец, кончено. И голод кончился, и война кончилась, кончились посадки, кончились смерти...

в этот момент человек перестает жгать удара, и это момент, когда он, все выдержав, сдаётся,— значит, выдержки не хватило. Вы прочтете в книге Волкова о доходягах сорок третьего года — Солженицын ссылается в «ГУЛАГ» на его рассказ. Это невозможно читать. Человек списан, как шлак, как ветошь, и свобода для него — смертный приговор. Не так это просто, когда через сорок лет после такого опыта у вас отнимут ружье... Но не так просто и когда вас наградят медалью «За трудовое отличие» или пригласят участвовать в субботнике... «Трудовое отличие я имею сполна, да и субботники ваши все уже отработал», — отрежет Олег Васильевич.

И настолько таких, как Волков, в России уже у нас не осталось, что было ему в этих случаях снисхождение. Но — в пределах. Скажем, единственным членом Союза писателей, выступившим в защиту участников «Метрополя», несмотря на полное расхождение в литературном вкусе, был Волков — наказали: «Избранного» к восьмидесятилетию он на этом лишился. Или собрался в Париж — засомневались в здоровье, заботливо так: как-никак возраст... Собрал Волков все подтверждения отменного своего здоровья — тогда потребовался военный билет от человека на девятом десятке. «Какой может быть военный билет — вы что, не знаете, где я все это время пребывал?!» Знаем, знаем, нужен билет. «Да что такое, Господи! При царе-батюшке дашь дворнику пять рублей, и он тебе заграничный паспорт принесет». Сказал — как съездил за границу.

Так что в этой жизни никогда нельзя сказать, что все кончено... чтобы не загавать потом обидный вопрос: «За что?»)

— Замечательный это вопрос, до сих пор его задают. А мне уже и следователи его не задавали. Вызвали меня в последний раз и сказали: мы вас ни в чем не обвиняем, но вы уже сидели и вы называетесь повторником. Поэтому вас оставить в европейской части не можем. Мы вас или зашлем в лагерь, или дальнюю ссылку получите. И тогда мне сначала дали десять лет лагеря, но очень скоро, только этап доехал до Красноярска, мне там, в тюрьме, на пересылке, пришел приговор: вместо лагеря — десять лет ссылки. Такое чудо тоже случилось. Я считаю, что десница Божья меня спасала. Выдержал ли бы я то, что выдержал тот же Шаламов? Не уверен, не знаю. Потому что ту глубину унижения, лишения, которые ему довелось на Колыме испытать... конечно, мне не приходилось. Меня не били никогда — нет у меня ни одного воспоминания. Ну, угрожали застрелить, это все было. Но по морде или пинали ногами — этого никогда не было. А ему перебили барабанные перепонки... Это я такого не испытывал. Но он написал хорошо. Я пытался его «Колымские рассказы» рекомендовать «Советскому писателю» еще пятнадцать лет назад, но тогда, конечно...

— А сейчас они выходят уже.

— Сейчас выходят. Я знаю. Он умер, бедняга.

(Как-то, находясь в благодушном настроении, Олег Васильевич спросил меня: «Вы ведь не сидели, Андрей Георгиевич?» Жестоким вопросом, я застыдился. «Это очень хорошо, — утешил меня он. — Но вообще-то лет пять посидеть человеку полезно, особенно писателю... — Он задумался надолго. — Ну, даже десять еще можно... — И он опять надолго погрузился в расчеты. — Но пятнадцать — это максимум, — подвел он итог. — Больше пятнадцати невозможно». И вот как он пояснил мне эту невозможность: «Очень трудно потом начинать жить и работать».)

С пятьдесят пятого до сего дня Олег Васильевич — работает. Не покладая рук, без «зачетов». Боятся не успеть. Темы у него все лишь актуальные и злободневные: леса, реки, озера, зверь, птица, храмы, деревня, пьянство... Он работает, работает, предупреждает, взывает — а они все гибнут, гибнут...)

— Понятно, что я столько лет был в тайге, видел, как ее разоряют. Сам участвовал в этом на лесоповале. Поэтому я уж очень горячо выступал за лес. Потому что как же его уничтожают быстро! И потом еще в одном убедила меня эта моя экологическая деятельность: что никакие постановления вообще не выполняются. Нельзя уже считать, что они принесут пользу. Ведь сколько было, например, хороших постановлений о Байкале! Целые стопы. Об этом еще тридцать лет назад говорилось. Обещают много, и выносятся постановления — они ни для кого не обязательны. А даже, и это очень важно в таких делах, в самих законах делаются оговорки, разрешающие в отдельных случаях нарушать природоохранные законы. И это так и делается.

— Сплошной отдельный случай?

— Да. Пишется телеграмма — горит экспортный план, разрешите дополнительно пятьдесят тысяч кубов кедра! Ах вы такие-сякие, ну ладно, раз уж экспорт горит. Дайте им. Ладно, пусть сто тысяч.

— Олег Васильевич, пора кончать, а ничего-то я вас не спросил, что хотел.

— Что же вы хотели меня еще спросить?

— Да что-нибудь такое, полегче... Ну, что такое цивилизация?

— Это когда человек понимает, то есть победил в себе эгоизм.

— Тогда — что такое общество? Просто нормальное, здоровое общество?

— Общество — это где люди признают права соседей на жизнь, на все блага и почитают невозможным насилие применять для того, чтобы перевести в свою веру...

— А что же тогда интеллигенция?

— Я, может быть, не много могу сказать... не совсем полно. Это, конечно, прежде всего внутренняя порядочность в людях.

— Что, только это?

— Да.

— Независимо от классового или образовательного ценза?

— Нет-нет. Я встречал именно интеллигентных крестьян и совершенных хамов в аристократических кругах.

— А Флоренского на Соловках вы встречали?

— Нет. Он был после меня привезен. У меня даже ошибка в книге вышла, я ее потом поправил. Одно время духовенства на Соловках скопилось очень много. Был у меня там знакомый, очень близко, член Государственной Думы, священник Митроцкий такой. С ним я постоянно встречался, и как-то, когда мы в скверике в перерыв отдыхали, он разговоривал с человеком в монашеском подряснике, с кожаным таким поясом, и они обсуждали книгу «Столп и утверждение истины». Поэтому я подумал, что человек этот Флоренский и есть. Но, наверно, я ошибся...

(Такой человек Олег Васильевич — лишнего себе не припишет. Вот тут-то я и вспомню — в любимом порядке, свояг конец к началу, — как я с ним познакомился. Было это в пышной, майской Молдавии, в пышное застойное время, на пышном советско-финском симпозиуме, пышно поименованном международным, в то пышное застойное и невыездное время, двенадцать лет тому... Принимали нас! Мы вплавь преодолели цековские подвальные вина. Все это роскошество как-то сатирически оттеняло аскетизм нашей темы — «Писатель и природа». Но все это можно было в буквальном смысле «скушать», кабы не затесался между нами и изю всех сил трезвящимися финнами — Олег Васильевич Волков, брезговавший пить и курить, поражавший красотой, борогой, выправкой, произношением, двухметровый семидесятивосьмилетний старик не скажешь, но и мужик не скажешь — был он и старше и моложе нас всех, — господин, образчик породы человеческой. Не знали мы еще, что тридцать лет ему в зачет пошло, что скостил их ему Господь. Шутили: «Волкова надо записать в Красную книгу!» Поглядывал он на нас, изю всех сил смиряясь и не осуждая. Меня обидения удостоил. То да се, я вдруг Набокова помянул. Тогда он еще жив был, помирал. «Набоков? — хладнокровно удивился Волков. — Я же его очень хорошо знал. Мы с ним в одном классе в Тенишевском учились. В теннис он хорошо играл. Мы с ним много играли. Он и тогда был чудовищный сноб». Что-то треснуло пого мной вроде тверди — хлябь разверзлась, и провалился я с головой в эту трещину российской истории. Одноклассники... Одного класса... Это, значит, что же?.. Набоков пишет в те же годы, что Волков сигит? Один — от «Машеньки» до «Лолиты», другой — от звонка до звонка. По два романа на одну реабилитацию. Нет, господа, вы как хотите, а я не могу... Если уж мы шутим про Красную книгу, то надо помнить, что она не просто красного цвета или красного, запретительного, света, но — кровавая.)

II. ЯСНОСТЬ БЕССМЕРТИЯ

Воспоминания непреставленного

Во-вторых, это именно он ничего не забыл...

«...и говорил себе, что никогда-никогда не запомнит и не вспомнит более вот этих трех штук в таком-то их взаимном расположении, этого узора, который, однако, сейчас он видит до бессмертности ясно...»

Человек, который наделил этим переживанием одного из своих героев, запомнил и запечатлел такое количество «штучек» и их расположений, что является бесспорным рекордсменом мира по этому виду памяти. Обладая той памятью, которой я обладаю, то есть вообще плохой, но еще и ухудшенной образом жизни и историей, проведеншей на моих глазах беспримерный геноцид деталей, странно братья за воспоминания о нем.

Впрочем, не надо путать память с воображением, так же как воображение с фантазией. Память и фантазия противостоят друг дружке — по сторонам реальности. Воображение и есть реальность. Поэтому реальность никуда не девается, не пропадает в прошлом, не исчезает в будущем. Бессмертие невообразимо, воображение — бессмертно.

В-третьих, весной 1999 года, когда (в который раз!) возрождающуюся Россию охватил тошнотворный вал всеобщей обязательной подготовки к пушкинскому юбилею (на этот раз к двухсотлетию со дня рождения), еще более раскаленный стократно предновогодним нетерпением окончание XX века, — столетие со дня рождения Владимира Владимировича Набокова (1899 — 1977) прошло как-то между прочим, почти-точно и незаметно, зато в каком-то смысле и более достойно. И впрямь за предшествующие десять лет был набран обширный новый опыт празднований столетних юбилеев классиков уже не XIX, а XX, собственного, века: Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Цветаева, Маяковский, Есенин, Зощенко следовали один за другим, как патроны в обойме. Выстрелы слышались все глуше. Страна уставала от признания, празднования становились все более академическими, пафос сменялся культурой. Пушкинский юбилей всколыхнул своего рода ностальгию по пыльным юбилеям эпохи тоталитаризма, выпавшим в основном на долю классиков века XIX. Произшла, выражаясь языком физики, интерференция, помрачение салютом, свет погасил свет. Набоков оказался, в очередной раз, в тоталитарной тени, как и при жизни.

Но не надо и преувеличивать, это была уже тень от тени. Затмение даже не солнечное, а лунное (кто лучше, чем он, описал закопченное на керосиновой лампе стеклышко, через которое смотрят на затмение мальчик и девочка из соседних дореволюционных усадеб?.. измазана бровь — неожиданное проявление бронетки в блондинке, — а у мальчика скорее всего нос — попытка помочь друг другу стереть сажу должна кончиться первым поцелуем... нет, кажется, как раз и не поцеловались, но затмение проморгали... Где это у него? убей, не помню) — не надо преувеличивать и того, что плохо помните: это был сутроб, именины, а не затмение (рассказ «Весна в Фиальте»).

Как бы то ни было, на высшем уровне оказалось объявлено, что Набоков окончательно вернулся на родину, включая переводы с английского и французского (имелась в виду вышедшая малым тиражом «Ада»). Однако объявленное полное собрание не вышло и первым томом, но ведь и Эллендея Проффер («Ардис», Анн-Арбор) не успела закончить набоковское собрание, и академический Пушкин не поспевал к двухсотлетию...

Несколько более широко, чем где бы то ни было, юбилей Владимира Владимировича прошел на берегах Невы. Университет имени Александра Блока почтил уроженца Петербурга международной научной конференцией, отмеченной весьма тонкими сообщениями, из которых особо следует выделить профессора Присциллу Мейер (Уэсли, Коннектикут), блистательно приоткрывшую (в который раз!) очередной набоковский потайной ящичек (на этот раз не в «Бледном огне», а во «Взгляни на арлекинов!») без признаков взлома или отмычки.

Все это было отрадно. Доступность Набокова, когда его безобразно распечатывали в провинции (с бездной опечаток!), когда готовилась русская киноверсия «Лолиты» (так и не снятая), оттолкнула истинных поклонников. Но пусть склынул массовый читатель, зато на отмели удержались самые верные, и им стало, при всей скорби о недостаточном поклонении своему кумиру, по-своему комфортно (как когда-то, в 70-е...) ощущать себя посвященными и единственными. Помните, в постскриптуме к русскому изданию «Лолиты»:

«Но что мне сказать насчет других, нормальных, читателей? В моем магическом кристалле играют радути, косо отражаются мои очки, намечается миниатюрная иллюминация — но он мало кого мне показывает: несколько старых друзей, группу эмигрантов (в общем предпочитающих Лескова), гастролера-поэта из советской страны, примера путешествующей труппы, трех польских или сербских делегатов в много-

зеркальном кафе, а совсем в глубине — начало смутного движения, признаки энтузиазма, приближающиеся фигуры молодых людей, размахивающих руками... но это просто меня просят посторониться — сейчас будут снимать приезд какого-то президента в Москву».

На этот раз его встречали.

Кому-то даже показалось, что, прозрачный, спускался он к нам по небесному трапу.

Однако у меня создалось впечатление, что и на этот раз не столько мы недостаточно почтили Владимира Владимировича, сколько он сам запасливо от нас скрылся. Будто это не мы — о нем, а он сам прочитал нам очередную свою лекцию о Гоголе, на этот раз на собственном примере. «...как бы прекрасно ни звучало это финальное кредендо («Эх, тройка! птица тройка...».— А. Б.), со стилистической точки зрения оно всего лишь скороговорка фокусника, отвлекающего внимание зрителей, чтобы дать исчезнуть предмету, а предмет в данном случае — Чичиков».

XXI век! Цифра звучала счастливо: двадцать одно, очко, удача игрока... Что ж, удача это и была — пережить-таки кровавый XX, дожидаться смены цифры на спидометре. «Век был неплох», — как сказал поэт. Никому не было жаль будущих школьников, которым предстояло каждый день в тетрадах выводить двойку впереди года очередную тысячу лет... Что это за года такие пошли после двухсотлетия со дня рождения Александра Сергеевича, более похожие на очередную марку «Жигулей» (они все еще выпускались в России), чем на годы?.. 2001, 2002, 2003... 2089... Ну, это ничего. Единица впереди, конечно, лучше, хотя 21 лучше 20, зато 22-й век грозит перебором, зато тройка впереди спасет. Все-таки календарное торжество как-то заслоило другой юбилей — двухтысячелетие со дня рождения Христа...

Не знаю, как спорили в год рождения Владимира, какой год считать концом XIX, а какой началом XX — 1899? 1900? 1901? — но в 1999 году по этому вопросу возникла всемирная дискуссия (не просто смена веков, но — тысячелетий!) — 1999? 2000? 2001? Математика разошлась с психологией, и общественное, автомобилизированное мнение победило: отмечалась все же смена цифры на спидометре. Не как конец, а как начало. Конец века отмечался два года, 1999-й и 2000-й, и начало века отмечалось дважды, в 2000-м и 2001-м. Различие западной и российской ментальности сказалось и тут: нам, как всегда, нравилась более круглая сумма, американцам, по традиции ценообразования, много девяток (без одного цента).

Отвлечение это не в сторону, поскольку мы говорим о дне рождения Набокова (и Пушкина в скобках). Пушкин успел родиться в XVIII веке, а Набоков, через сто лет, — в XIX, хотя каждый из них олицетворяет собой век следующий. На той же конференции академик Л. Н. Одоевцев, сделавший любопытное сообщение о набокковском переводе «Евгения Онегина» на английский, а также исследователь из Мытищ А. Боберов, оспоривший в своем докладе дату рождения В. В. Набокова, вступили в примечательный диспут: в 1899, 1900 или 1901 году родился юбиляр? А. Боберов оспаривал 1899 год категорически, выдвигая две более поздние даты, но был убедительно опровергнут — его подвело слабое знание английского (как в свое время итальянского в его напумевшей гипотезе о «Божественной комедии»). Любопытно также, что все это произошло на фоне всероссийской (очередной) дискуссии о подлинном месте и подлинной дате рождения Пушкина (26 или 27 мая и по какому стилю отмечать).

Дело в том, что Владимир Владимирович, щепетильный до безразличности сторонник точности в своих прижизненных изданиях, как на английском, так и на русском, так и в переводах, которые мог контролировать, допускал неоднократно одну и ту же неточность (на мой взгляд, сознательно), а именно — в дате своего рождения. Это он-то, в одном из редких своих интервью (журналу «Вог», 1969, по поводу выхода «Ады») заявивший на вопрос (бесспорно его раздраживший журналистской пошлостью), что бы он хотел пожелать будущей литературе, — «Ничего. Разве чтобы в моих последующих изданиях, особенно в мягких обложках, были исправлены немногочисленные опечатки». Ошибка в дате рождения — пример такой «опечатки». После успеха «Лолиты» все романы Набокова выходили в популярной и престижной серии «Пенгвин букс». Под обложкой, на первой же странице, в этой серии полагается краткая биография автора. В полутора десятке книг Набокова этой серии, которые я видел, биография перепечатывается слово в слово, лишь с одной настойчивой опе-

чаткой — 1899, 1900, 1901 год рождения. Не могу утверждать, что он сам ввел эту опечатку, но зная его мистификаторский гений и склонность доставлять себе мелкие, личные удовольствия в тексте, можно с уверенностью предполагать, что он эту опечатку «поддержал», пропуская.

Приведу эту биографию (издание того же года, что цитированное выше интервью, — 1969):

«Владимир Набоков родился в Санкт-Петербурге (теперь Ленинграде) в 1901 году. Его отец был хорошо известный либеральный государственный деятель. Когда пришла революция, для него началась долгая цепь странствий, во время которой он изучал романские и славянские языки в Кембридже, который закончил в 1922-м. Затем он жил на континенте, преимущественно в Берлине, и заново утвердил себя как один из наиболее выдающихся писателей русской эмиграции.

В 1940 году он и его семья переехали в Америку, где он стал преподавать в Уэслианском колледже, в то же время занимаясь исследованиями по энтомологии в Гарварде. Позднее он был профессором русской литературы в Корнелльском университете в течение одиннадцати лет.

Лучшие из его рассказов собраны в «Набоковской дюжине»; их можно приобрести в серии «Пенгвин», так же как и романы «Пнин», «Смех во тьме», «Истинная жизнь Себастьяна Найта», и «Приглашение на казнь», и «Говори, память», автобиографию. Его другие романы — «Под знаком незаконнорожденных», «Лолита», по которому был снят фильм и который принес ему мировую славу, «Бледный огонь», «Отчаяние» и, последний, «Король, дама, валет» (1968). Он также опубликовал переводы из Пушкина и Лермонтова и биографическое исследование о Гоголе.

Владимир Набоков, который сейчас проживает в Швейцарии, женат и имеет одного сына».

Я сознательно не совершенствую перевод (слово в слово), включая даже неточности, — в своей лапидарности он наиболее выразителен.

Автор, даже Набоков, никогда не бывал главным в издательском деле. Переведем теперь это на русский язык.

На Западе биографии писателей после смерти не меняются. Вырос лишь перечень книг, вышедших в этой серии, да последняя строчка... Не живет, а умер.

Владимир Владимирович Набоков умер в Швейцарии, в городке Монтрё, 2 июля 1977 года. Как не преминули отметить «набоковисты», В. В. похоронен в Веце 7.7.77, будто это именно им был послан последний привет великого мастера литературной игры. И впрямь семерка — коса — означает иной раз «смерть» в домашних, дачных карточных гаданиях.

Родился же Владимир Набоков в С.-Петербурге все-таки в 1899 году. «Либеральный деятель» в переводе на русский означает член I Государственной Думы от кадетской партии, впоследствии управляющий делами Временного правительства. В этом качестве он имел отношение и к отречению Николая II. Семейству Набоковых принадлежал также один из первых автомобилей в Петербурге — одно из богатейших семейств... Владимир Дмитриевич был англоман; в английском магазине выкупались все дорогие и модные новинки, как, например, походные надувные ванны, не говоря о ракетках, велосипедах и прочем спортивном инвентаре, включая сачки для бабочек.

Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный...

Все это прекрасно описано самим Набоковым в «Других берегах». И это немаловажно отметить: еще одна черта его образования как прозаика. Ибо мир вещей, привычный ему с детства как данность, никогда не поразит его в Европе, никогда не станет предметом переживаний неимущего (нищего по сравнению с дореволюционной жизнью), зато вещи как деталь описания, как изделие будут подвластны ему в той же степени, как и мастеру, их изготовившему. Читая, вы будете ощущать эти предметы на ощупь, даже не имея ранее о них никакого представления. Чего стоят хотя бы сетования Набокова в послесловии к русской «Лолите» о невозможности перевода спортивных терминов на родной язык:

Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет. .

«Евгений Онегин» тут тоже при чем. В конце концов, «философом в осьмнадцать лет» Владимир встретит русскую революцию на сто лет позже Евгения. Соотношения и тайные соответствия с Онегиным протянутся через всю его жизнь, особенно выявившись в его позднем иноязычном творчестве (не говоря о четырехтомном комментированном издании перевода пушкинского романа на английский).

Набоков сам называл себя английским ребенком — у него, ясное дело, была своя англичанка, и ее язык сопутствовал ему с младенчества, как и язык матери. Французским он владел столь же свободно. Так что все три языка он вывез еще из России пригодными как для общения, так и для писания. И этого барьера, уже не имущественного, а языкового, преодолевать ему не пришлось.

И все свои хобби — бабочки, шахматы, спорт — Набоков так же вывез из Петербурга, из России, из своего детства.

Он вывез детство и юность, счастливые, как у принца, первые стихи, первую любовь... Дом в Петербурге на Морской, усадьбу в Рождествене под Петербургом, лето в Ялте... Весь этот импорт мы обнаружим позднее в его прозе: рассказы «Обида», «Лебеда», «Совершенство», повесть «Другие берега» и... повсюду.

Он отбыл из России с родителями, из того же Крыма, в апреле 1919-го, двадцати лет от роду — навсегда. Та жизнь кончилась с внезапностью то ли несчастного случая, то ли убийства. Новую он, кажется, никогда не начинал. Она — в книгах.

Набоков не эмигрант. (Боже упаси! я не хочу оправдать его таким образом ни в чьих глазах...) Это его судьба. Но и не только. Судьба есть линия одной жизни, как угодно ломанная, под каким угодно, хоть острым, хоть обратным, углом продолженная. У Набокова это послесмертие. В послесмертии уже не живут, а присутствуют, никем не замеченные, и всё видят. Сам переход от жизни к смерти у Набокова всегда переход от чувства, достаточно слепого и бедного деталью, к зрению, его загроможденному и перенасыщенному.

Сама смерть легка, даже забавна. Смешно, что человек никогда не узнает, что умер.

Не так ли молодой влюбленный никогда не узнает, что невеста ушла от него, потому что попадает под трамвай (рассказ «Катастрофа»)? Не так ли Картофельный Эльф умрет, так и не узнав, что его внезапно обретенный сын уже мертв? Это даже счастье, а не смерти. Один рассказ даже так и назван — «Совершенство», о том, как учитель утонул, спасая ученика, тайно оповещенный в секунду смерти, что тот не умер. Не так ли Смуров удивится после самоубийства силе мертвого воображения, воссоздающего покинутый мир с полнотой и точностью самой жизни (повесть «Соглядатай»)? И кто стал прозрачным, мир или Смуров? Кто кого не замечает? Непрозрачным станет Цинциннат в «Приглашении на казнь», но это уже приговор...

«Есть острая забава в том, чтобы, оглядываясь на прошлое, спрашивать себя, что было бы, если бы... заменять одну случайность другой, наблюдать, как из какой-нибудь серой минуты жизни, прошедшей незаметно и бесплодно, вырастает дивное розовое событие, которое в свое время так и не вылушилось, не просияло. Таинственна эта ветвистость жизни: в каждом былом мгновении чувствуется распутие — было так, а могло бы быть иначе, — и тянутся, двоятся, троятся несметные огненные извилины по темному полю прошлого» («Соглядатай»).

Что было бы, если бы?.. Если бы Сиваш, скажем, не высох в 1919-м? Что было бы, если бы красные не пересилили белых и была бы непонятная, послевоенная, послереволюционная Россия, вяло переползающая в буржуазную республику, понемножку теряющая свои имперские очертания и обретающая исконные? Не знаю, что было бы. Вариантов у Истории не бывает. Есть единственный, которого мы не постигаем. Что было бы?.. Да не было бы деления на литературу советскую и эмигрантскую хотя бы. Эмигрантская не замерла бы в бесконечной ностальгии, а советской бы не было (а жаль! какая такая литература без Платонова или Мандельштама...).

Какой могла бы быть русская литература после Чехова и Блока, после «серебряного века» и символистов, непрерывная, не прерванная?

Набоков и есть отсаженная ветвь той гипотетической литературы, проросшая сквозь культуру в цивилизацию.

Поэтому русская литература после 1917-го делится на советскую, эмигрантскую и... Набокова (я их не выравниваю и не сравниваю, тоже боже упаси...).

Належке, с шахматной доской и сачком под мышкой, Набоков вывез из России самый большой багаж — не тронутую ни зрельм опытом, ни писательским отражением, не распечатанную юность, непечатый элементарный опыт бытия.

Все это позволило ему не стать эмигрантом.

Из России он прибыл в Англию, с детства привычную, хотя бы и не посещенную страну, чтобы как бы продолжить (после Тенишевского училища) образование. В Кембридже (которому он посвятил дивные страницы в «Подвиге» и «Других берегах») он в белой рубашке апаш ловил бабочек, играл в теннис, греб на лодке по каналам и изучал, как сказано выше, романские и славянские языки (учиться ему было как бы и нечему, и учение, надо полагать, давалось ему легко). Он окончил Кембридж за три года. Лет этак через шестьдесят шесть мне довелось посетить те же места. Тамошний русист с гордостью сообщил мне, что вычислил по набоковским описаниям квартиру, в которой тот жил. Он показал мне окна на третьем этаже, возможно, те самые. Дом был серый, даже черный, для Кембриджа и невзрачный. Сердце мое не забилось. Равнодушно я опустил глаза, чтобы увидеть в витрине первого этажа перекрещенные две ракетки с теннисными же рассыпанными мячиками. Привет от Лолиты!.. Ее герб. Порадовавшись чисто набоковскому намеку, мы с русистом заглянули и в колледж по соседству, в котором один когда-то учился, а другой нынче преподавал. Какое счастье средневековые эти дворы с их газонами (теми самыми, про которые каждый русский знает, сколько им лет) и фонтанами! Этот был поменьше, зато куда ярче прочих. Такого буйного и яркого соединения цветов (как растений, так и красок) мне еще не доводилось видеть. Я подумал с неудовольствием, что студент Набоков уж точно знал имя каждого цветка. Цветы были так красивы, что, как и газоны, росли триста лет. Такими же их видел Набоков, годившийся мне теперь в сыновья, их посеяли при Ньютоне. Но и это нет, цветы были прихотью сторожа колледжа, явно при Набокове еще не служившего. Нас обогнал бодрый и древний старик, и я еще понадеялся, что этот мог бы быть сторожем при Набокове. Но и это нет. Как пояснил мне русист, это был старейший профессор Кембриджа, лет около ста, преподающий здесь лет более семидесяти. Нет, Набоков таки не любовался теми же цветами! «А что же можно преподавать так долго?» — спросил я без любопытства. «Он энтомолог, специалист по бабочкам». «Так он же помнит Набокова!» — возликовал я. «Он ничего не помнит», — сказал русист. Старик продолжал нас стремительно обгонять, оторвавшись уже метра на два. То ли он нас не слышал, то ли не видел, то ли мы говорили по-русски. Так, наверно, проходят сквозь текст Смуровы, Цинциннаты, как он прошел сквозь нас. «Он мог все забыть, но старики особенно помнят, что было в молодости. Не мог он забыть русского студента, наверняка наведывавшегося к нему со своими крымскими бабочками!» Я невольно посмотрел вверх, будто там мог пролететь сам Набоков под видом мотылька. Его там не наблюдалось — лишь чистый голубой квадрат неба. «Слушайте! — тербил я русиста. — Его непременно надо допросить — это же уникальный мемуар!» «Да, да», — неохотно соглашался русист, будто расспрашивать старика все-таки не стоило. Мы были как-никак в Англии. Старик скрылся в какой-то секретной двери, провожаемый моим жадным взглядом.

Набоков с особой гордостью включал в свою библиографию под номером первым как первую публикацию статью 1920 года о бабочках Крыма (опуская как не существовавшую свою гимназическую поэтическую книжку, думаю, не столько стесняясь, сколько для чистоты жанра: чтобы в России ничего им написано не было).

В 1922 году от пули террориста погиб отец (успел заслонить своим телом Милloва, которому пуля предназначалась).

Если собственная смерть у Набокова не страшна, то чужая смерть, смерть другого страшна очень. Страшно за родителей, еще не знающих о смерти дочери, страшно за их зятя, которому надо об этой смерти им сообщить (рассказ «Возвращение Чорба»). Страшно за бедную еврейскую маму, суетящуюся насчет чая неожиданным гостям, пришедшим сообщить о смерти единственного сына (рассказ «Оповещение»). И невыносимо разрывает читательскую душу рассказ об отце, потерявшем сына, который больше чем умер, смертельное бесчувствие которого взрывается рыданиями, когда зимней русской ночью из кокона в коллекции мертвого сына выходит живая экзотическая бабочка. Смерть в этих несчастных рассказах настолько страшна, что ее тоже нет. Она не уместится в сознании.

Кто же это все умирает и умирает в рассказах Набокова — так легко для себя, так страшно для окружающих? Набокова вроде не спутаешь с его героями, не уличишь (он бы этого не потерпел) в автобиографизме, но легко помирает — автор, а страшно — все тот же маленький Пуля, однажды уже переживший что-то вроде на-

боковской легкой смерти, когда его все забыли при игре в прятки и он ощутил, что исчез, стал прозрачен («Обида»).

В рассказе же «Лебеда» сам Путя не может пережить гибель отца, которая счастливо не состоялась и разрешилась теми же рыданиями.

Кто же стал прозрачен, кто же умер, у кого умерли?

Погибла Россия, погиб отец, сам Набоков стал прозрачен в послерусском послесмертии, как мальчик в чужом саду.

Кто виноват? Набоков не разбирается в этом — он не любит их.

Они — это целый ряд других героев. Эмигранты, немцы, разночинцы — убийцы, садисты, тираны — они. Тема хама и насилия (рассказы «Лебеда», «Хват», «Круг», «Королек», «Лик», «Истребление тиранов», «Облако, озеро, башня») навязчива, как тема смерти в рассказах его и романах. Никаких упреков истории, социуму или политическим системам у Набокова нет — высокомерное раздражение на самого себя: досадное, напрасное, психологическая неотвязность ненужного, чуждого человека в жизни. Гамма навязанных лирическому герою Набокова чувств по отношению к ним колеблется от ненависти до жалости и нежности (рассказы «Лик», «Круг»). «Круг» назван так не только по совпадению закольцованных сюжета и формы, но и по драматическому несовпадению героя рассказа с кругом Набокова в более светском смысле слова (здесь встретим мы впервые упоминание о Годунове-Чердынцеве, отце героя будущего романа «Дар»). Именно в «Круге» Набоков испытал возможность оптимального сочувствия к своему оппоненту. Герой рассказа любит (как всякий плебей, по-своему) Годуновых-Чердынцевых, они его готовы (и всегда не готовы, как люди своего круга) принять, но все-таки именно он не может перейти к ним, а не они (на этот раз «они» — наоборот) его не пускают. Он как бы от природы прирос к чему-то большему, им отвергаемому и не любимому, чего он стыдится, — к некой темной и слитной породе (в геологическом смысле), как кристалл. Набоков справедлив по-своему: один лишь классовый подход ему чужд. Люди такой породы встречаются в любой породе, разночинный дух поражает и дворянина: «Надумает нищий духом, что весь путь человечества можно объяснить каверзной игрою планет или борьбой пустого с туго набитым желудком, пригласит к богине Клио аккуратного секретарчика из мещан, откроет оптовую торговлю эпохами, народными массами, и тогда несдобровать отдельному индивидууму, с его бедными двумя «у», безнадежно аukaющимися в чащобе экономических причин» («Соглядатай»).

Попытка быть справедливым не сделает человека демократичным. Впрочем, принадлежность черт не может быть недостатком. Недостатком является их непринадлежность. Отношение героев Набокова к своим антиподам, колеблющееся от ненависти и презрения до жалости и почти любви, можно назвать комплексом, но лучше назвать страхом. Набоков проклял бы каждого, прислонившего к нему ненавистное слово «комплекс». Ядовитые выпады против Фрейда и всей «венской делегации» пронозируют все его творчество.

Природу этой неприязни легко и не надо истолковывать. Очень уж просто было бы накрыть набоковские построения о противостоянии смерти и исчезновении этим примитивным понятием. Не будучи ни знакомым, ни представленным, Набоков на своих страницах демонстративно не подавал руки человеку, который гибель родины и гибель отца обозвал бы комплексом.

Как-то раз и я встретил человека, заявившего, что и вся Россия — не более чем мой комплекс. Наверно, я не мог его опровергнуть, наверно, я сорвался в обидную, досадную, оскорбительную (мне), безнадежную грубость. Не помню сейчас, где и при каких обстоятельствах (во второй, английской половине творчества) пытается набоковский герой объяснить непонятное иностранцу русское слово *rozhlost*, и даже Набокову это не удается.

В этом очерке я опираюсь лишь на «второстепенного» Набокова, и это недаром. Романы возвышаются в его творчестве этаким Эльбрусом с двумя вершинами — русской и английской, — мне здесь не пройти и траверзом, я обойду их вокруг, с камушка на камушек. Возможно, как раз в том, чему ни он, ни мы не придали такого значения, он и сказался в наибольшей степени как человек, а не как мастер. И уж точно, что именно в рассказах и стихах находим мы эскизы ко всем его великим романам.

Впрочем, почти все рассказы и стихотворения написал не Vladimir Nabokov, а В. Сиринь в своей первой, русской половине творчества. Кроме этого, он написал по-

русски романы «Машенька», три квазинемецких романа — «Король, дама, валет», «Камера obscura», «Отчаяние» — и такие шедевры, как «Подвиг», «Защита Лужина», «Приглашение на казнь», «Дар». Итого восемь. Все это после Кембриджа, уже в Германии. Литература плохо кормит: Сирин пишет, Набоков подрабатывает. Какими только уроками он не подрабатывает, включая теннис (что особенно любит впоследствии)!)

Вообще у этого сноба, у этого эстета, у этого недемократа, у этого неэмигранта потрясающе трудовая (по сравнению с любым современным ему автором) жизнь. Литературная независимость не только в индивидуальности почерка, но и в поведении настолько полная, что за это приходится платить (тем же трудом). Он еще и бабочек не забывает никогда. И как шахматный композитор выступает.

Отношения с эмигрантами-литераторами не складываются. Русская манера, усугубленная эмиграцией, сплываться и рассыпаться на лагеря, кружки и кружочки ему не импонирует. Друзей у него нет. Писателей его ранга в его поколении не наблюдается. Со старшими то же. Они вывезли из России свою табель о рангах и остановились в ней. И с Буниным, сразу высоко оценившим его талант (с этим, по-видимому, связано редчайшее в практике Набокова посвящение в прозе — на рассказе «Обида»), отношения довольно быстро не сложились (превосходная по точности сцена в «Других берегах»). «Я всегда предпочитал его удивительные струящиеся стихи той парчовой прозе», — напишет о Бунине Набоков. И только, наверно, к Ходасевичу сохранит он на протяжении всей жизни благодарное и ровное отношение (Ходасевич напишет превосходно о Сирине в 30-е, а Набоков провозгласит его первым русским поэтом века в 60-е).

Но одиночество Набокова не обреченное, не тоскливое, а им избранное — счастье семьи и труда, — на которое ему хватает духа. Да и какое общество в посмертии? Ему хватает его Веры (ей он посвятит все свои книги), его сына Дмитрия, его бабочек, шахмат, не читанных, не перечитанных и не написанных только им книг.

Развитие писателя в эмиграции — тема весьма сложная и проблематичная. Набоков не продолжал, а начинал писать. Старшие замирали в изгнании, младшие не находили продолжения. Гениальный талант Набокова требовал развития. После «Дара» Набокову стало нечего делать.

И посмертие кончилось.

Из фашистской Германии он в 1937 году переезжает в Париж (спасая жену). Здесь он пробует покинуть русский язык, сбиваясь с английского на французский (первая проба будущей «Лолиты» и глава из будущих «Других берегов»), и в 1940-м переезжает в Америку.

И это сравнимо с 1919-м.

Снова морская вода отделяет жизнь от жизни или посмертие от посмертия (жизнь все равно осталась тогда, там). Эти две его «послежизни» поразительно симметричны, но и не похожи. Не похожи принципиально, как принципиально отличие левого от правого или объекта и отражения. Эти два творчества — русское и английское — симметричны, как крылья бабочки.

Решимость, с которой Набоков сам поменял жизнь, ни с чем не сравнима в практике мировой литературы и равнозначна лишь той исторической решимости, которая без его воли, сама поменяла ему жизнь. Из Европы отплыл Сирин — к американскому берегу причалил Набоков. Большой русский писатель стал начинающим американским. Самое великое свое достоинство — русский язык, в котором ему уже не было равных, он пожертвовал языку своей гувернантки.

Первый англоязычный роман «Истинная жизнь Себастьяна Найта» симметричен последнему русскому — «Дару». Как романист Набоков вооружен восемью русскими романами, он изощрен как композитор, ему все подвластно; как прозаик он лишь начинает и пишет почти на ощупь. Эта ощупь очень видна в изощренности приема, в параметрах исчисленного автором повествователя. Если в «Даре» герой — писатель, молодой и непризнанный гений, то в «Себастьяне Найте» — тоже как бы начинающий писатель, но никак как гений не заявленный, замороженный бытием родного брата, писателя великого, прославившего тончайшим стилистом на неродном ему языке (но на родном никогда и не писавшего... модель Джозефа Конрада). Это роман-воспоминание, роман-следствие, роман-биография. Повествователь же, занимавшийся до того лишь техническими переводами, никогда беллетристику не пробовавший, как бы застрахован

этим от упреков читателей в недостаточной изощренности английского, в полной мере воплощенной в творчестве брата. Стремление выяснить окончательно мучительную тайну их взаимоотношений на протяжении жизни приводит повествователя в финале к постели умирающего брата. Ему удается подменить сиделку. Всю ночь он просидел у постели, держа руку спящего в своих и проникаясь чувством прощения и любви настолько, что в темноте по ошибке он просидел у чужой постели; брат тем временем скончался в соседней палате. Но за ту же ночь герой прожил более реальную жизнь и почувствовал в себе брата. И кто умер, а кто остался, он уже не знает. Не передал ли брат ему свое бессмертное мастерство?

Этот не самый знаменитый роман Набокова очень важен для попытки постичь феномен перехода с языка на язык. Смерть, так напоминающая смерти из сирийских рассказов... Умер Сирий — родился Набоков. Кто кого держал за руку в момент написания романа? Сирий Набокова, Набоков — Сирина?

Крыло бабочки отразилось в собственном крыле.

Следующий роман «Под знаком незаконнорожденных» в чем-то симметричен «Приглашению на казнь» и «Истреблению тиранов».

Набоков пишет и профессорствует, обеспечивая семью, бабочек и романы. Роман «Пнин» — о русском бестолковом одиноком профессоре, всю жизнь безнадежно любящем единственную женщину и ее, не его, сына, осуществившем несуществующую любовь, — расскажет нам, конечно, не о Набокове, но о том, чего стоило ему его профессорство, и что такое жизнь русского в Америке — мы поймем. В. Л. Казем-Бек, профессорствовавший в то же время с Набоковым обок, на мои расспросы рассказал мне не много: «Ни с кем не общался. Коттедж его резко выделялся среди прочих образцовых профессорских коттеджей с их цветничками, газончиками и кирпичными дорожками. Участок его порос настоящими русскими лопухами и крапивой, и дом облупился. Изредка на крыльце объявлялись две русские тени в халатах, на вид еще до-революционных». «Пнин» — единственный среди английских роман-характер (сюжет равен характеру) так же как и «Защита Лужина» — единственный роман-характер среди его русских.

Двигаясь вспять по цепочке русских романов Сирина, Набоков набирает силу. Русские подобию, молодея, слабеют; английские — достигают зрелой мощи. Несмотря на внешнее сходство сюжетов «Камеры обскуры» и «Лолиты», сравнивать их нельзя уже по уровню (как поначалу нельзя было сравнить «Себастьяна Найта» с «Даром»).

«Лолитой» Набоков завоевал мир. А вместе с ним и право на все, что он написал до, да и на все, что напишет после. Завоевал он и покой: «С тех пор как моя девочка кормит меня...»

В 1959-м Набоков возвращается в Европу.

Он еще напишет «Бледный огонь» и «Аду», «Прозрачные вещи» и «Взгляни на арлекинов!».

Карл Проффер, которому Набоков передал право на переиздание русских романов (право на Сирина) и который поэтому встречался с ним неоднократно, в том числе и незадолго до смерти, рассказывал, что в кабинете Набокова царили чистота и пустота. Все систематизировано и разложено по папкам, и ни одной, даже чистой, странички на столе. (Такой же порядок запомнили современники в последний год Блока...)

Все было исполнено.

Бабочка сложила крылья. Будто на все еще теплом камне Крыма, так и не остывшем с 1919-го.

С 1919-го у Набокова никогда не бывало дома... Кельи Кембриджа, номера в пансионах, съемные квартирки, профессорские коттеджи и роскошный «Палас-отель» в Монтрé.

Такой дом, какой был у Набокова, бывает у человека лишь один раз. В Петербурге, в Рождествене, в России...

Два раза (не считая английских лекций по русской литературе и переводов с русского на английский) возвращался Набоков из английского в русский язык. Написав свои мемуары сначала по-английски, он сел их переводить на русский, но связь русского материала с русским языком была столь велика, что преодолевала речь английскую, и книга оказалась не столько переведена, сколько переписана. Можно считать ее последней его книгой, писанной по-русски. В другой раз сел он переводить

свой лучший английский роман «Лолита», не доверяя свою девочку Другим переводчикам. Грустно звучит послесловие к русскому изданию: «История этого перевода — история разочарования. Увы, тот «дивный русский язык», который, сдавалось мне, все ждет меня где-то, цветет, как верная весна за наглухо запертыми воротами, от которых столько лет хранился у меня ключ, оказался несуществующим, и за воротами нет ничего, кроме обугленных пней и осенней безнадежной дали, а ключ в руке скорее похож на отмычку».

Там же, в конце послесловия, содержится горькая ирония по поводу его намерений (мечтаний? фантазий?) посетить когда-либо Россию по подложному паспорту в качестве делегата на конгресс энтомологов (еще менее возможное для СССР того времени допущение!):

Качурин, твой совет я принял
и вот уж третий день живу
в музейной обстановке, в синей
гостиной с видом на Неву.

Священником американским
твой бедный друг переодет,
и всем долинам дагестанским
я шлю завистливый привет.

От холода, от перебоев
в подложном паспорте не сплю
исследователям обоев
лилеи и лианы шлю

Не спит, на канаве устроюсь,
коленки приложив к стене
и завернувшись в плед по пояс,
толмач, приставленный ко мне.

(«К кн С М Качурину»)

Он приблизился к России на ленинскую дистанцию (Швейцария).
Но его герои туда ходили.

В рассказе «Посещение музея» герой, вырываясь из бреда беспорядочно накопленной, мертвой материальной культуры (в каком-то смысле этот бредовый музей — пародия на затхлый уголок провинциальной Европы 30-х годов), внезапно оказывается в голом, ночном, снежном пространстве России и ареста. Рассказ этот находится в близком родстве с «Приглашением на казнь», где та свобода, которую обретает Цинциннат во время исполнения приговора (отвернулся от палачей и пошел к толпе встречавших его «своих»), очень напоминает возвращение на родину. Родина — это не только территория и не только казнь, это уже казенные «свои». Казнь отпускает человека на родину.

Тут кроется вовсе не мистический или символический секрет многочисленных исчезновений, растворений, испарений русских героев Сирина — тайна его удивительно просветленных и не страшных смертей. Возвращение на родину есть смерть, но и смерть есть возвращение на родину, на подлинную родину «своих», на свою родину.

Не метафорой, а сюжетом стало это в романе «Подвиг» (признаться, моем любимом), где герой Мартын задумывает и исполняет возвращение в Россию, сознательно (как сказали бы мы) идет на смерть, и это не самоубийство от несчастной любви, а подвиг. (Набоков довольно часто, отделив близкого ему героя от себя, придает ему заведомо несхожие черты — то пьяницы, то фальшивомонетчика... На Мартыне маска нелюбимости и бесталанности — тоже синонимы своего рода.)

В стихах все это без маски:

Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывет кровать;
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.

Но сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звезды, ночь расстрела
и весь в черемухе овраг.

(«Расстрел»)

В одном из последних (если не последнем) сирийском рассказе, написанном уже в Париже в 1939 году, поэт Василий Шишков (тот же Мартын, но зрелый и талантливый), разочаровавшись в конечной, абсолютной затее создать журнал «Обзор Страданий и Пошлости», рассуждает так:

«Вопрос шире, вопрос безнадежнее. Я решал, что делать, как прервать, как уйти. Убраться в Африку, в колонии? Но не стоит затевать геркулесовых хлопот только ради того, чтобы среди фиников и скорпионов думать о том же, о чем я думаю под парижским дождем. Сунуться в Россию? Нет — это польмя. Уйти в монахи? Но религия скудна, чужда мне и не более чем как сон относится к тому, что для меня есть действительность духа. Покончить с собой? Но мне так отвратительна смертная казнь, что быть собственным палачом я не в силах, да кроме того боюсь последствий, которые и не снились любомудию Гамлета. Значит, остается способ один — исчезнуть, раствориться».

Рассказ написан как конкретный мемуар о конкретном человеке, который и впрямь исчез, написан нарочито сухо и как бы реально-реалистично, без тени метафоры или условности. Написан рассказ на чемоданах в мае 1940 года. Набоковы ульвуют в Штаты. Русский поэт и писатель Сирий исчезнет навсегда. Он исчезнет не столько на другом континенте («геркулесовы хлопоты»), сколько в другом языке. Нет для писателя большего разрыва с родиной, чем разрыв с языком его произведений. Но неотвязный этот кошмар невозвратимости, необратимости родины должен быть побежден и преодолен. Сирий эмигрировал из эмиграции, на этот раз сам. Это мы знаем про великого англоязычного писателя Владимира Набокова — русский писатель Сирий таких гарантий не имел. Вот как кончается тот же рассказ о Василии Шишкове:

«Но куда же он все-таки исчез? Что вообще значили эти его слова — «исчезнуть», «раствориться»? Неужели же он в каком-то невыносимом для рассудка, дико буквальном смысле имел в виду исчезнуть в своем творчестве, раствориться в своих стихах, оставить от себя, от своей туманной личности только стихи? Не переоценил ли он «прозрачность и прочность такой необычной гробницы?»»

Можно говорить о тесноте и бесперспективности эмигрантского литературного круга для Сирина, о разгорающейся мировой войне, о необходимости спасти семью — и все это будет правда. Но нельзя не сказать, что писатель Сирий «исчез» в том же направлении, в котором на протяжении почти двадцати лет исчезали многочисленные его герои. Между Европой и Россией — суша. Все его герои уходят туда буквально, то есть ногами, пешком. Другие берега — это не Россия, это Америка. Орудием казни был пароход, отошедший от Севастополя в 1919-м. Окончательный разрыв, другие берега — пароход, океан. Юного Набокова отделило от России Черное море. Между Сирийным и Набоковым должен был поместиться океан, отделяющий английский язык от русского.

В. Ходасевич подошел к романам Сирина, разнообразным по героям, сюжетам и коллизиям, как к романам о творчестве как таковом. Творчество само имеет свой сюжет, свой пейзаж, свои законы времени, своих героев, свою реальность, которые и воплотил с такою яркостью Сирий. Все это лишь задрапировано изящным покровом внешней сюжетики и реальности. Ходасевич убедителен, все это верно в отношении Сирина-Набокова. Но в таком случае между творчеством и Россией следует поставить знак равенства.

Я все еще не сказал ни слова о стихах...

«Набоковисты» (поклонники, не подозревающие о своей принадлежности — лучше им и не знать друг друга, — сложившейся в застойные 70-е в России после того, как русские романы Набокова стали просачиваться в страну в перепечатке «Ардиса»), как правило, полагают стихи его слабее прозы. Это слишком просто — важно понять, зачем и почему, будучи столь неоспоримым мастером в прозе, он не переставал их писать, пусть и более слабые. Предпочтя стихи Бунина его прозе, не защищал ли Набоков свои собственные стихи от своей собственной прозы? (Так, единственный мне известный «набоковист», предпочитающий стихи Набокова его прозе, В. Солоухин, тоже защищает свои стихи от своей прозы...)

Ничто так не выражает (а в слабости — обнажает) личность человека, как его поэзия. Великое (многие полагают, что и чрезмерное) мастерство Набокова в его прозе гипнотизирует и мистифицирует нас. Мы всегда хотим унижить то, что заведомо поставим выше себя. Да, конечно, мастер, да, конечно, талант, да, возможно, гений,

но... Сколько я слышал такого. То холодный, то неверующий, то бездушный, то циничный, то жестокий (короче — бездейный...)... Мы отказываем человеку в боли, чувстве, трагедии за то, что ставим его выше себя. Не есть ли это плебейство или попросту зависть? Не есть ли и пресловутое мастерство (тем более избыточное) своего рода маска человека застенчивого, нежного, ранимого и израненного, страшящегося насилия (в том числе насилия истолкования)? Почему мы полагаем, что человек самонадеян, самовлюблен, ставит себя выше окружающих (кстати, а почему бы и нет?), что он в восторге от себя и самодоволен, как раз в том случае, когда мы сами в восторге от него? Не влюблены ли мы сами? (Вспомните чувства героя из рассказа «Круг»). Не есть ли обостренное чувство достоинства то, что мы полагали за высокомерие или самодовольство?

Ревнивый почитатель и критик (в одном лице) снимет все эти подозрения и вздохнет с облегчением, переходя от прозы Набокова к его стихам. Столько бескиростной, открытой, даже неприкрытой любви! Нет, зря мы подозревали его в прозе. «Моя жизнь — сплошное прощание с предметами и людьми, часто не обращающими никакого внимания на мой горький, безумный, мгновенный привет» (рассказ «Памяти Л. И. Шигаева»).

Набоков тоже человек, а не только мы с вами, потому что не умеем, как он.

Читайте же стихи Набокова, если вам непременно надо знать, кто был этот человек. «Он исповедался в стихах своих довольно...» Вы увидите Набокова и плачущим и молящимся.

Я выехал давно, и вечер не родной
рдел над равниною не русской,
и стихословили колеса подо мной,
и я уснул на лавке узной.

Мне снились дачные вокзалы, смех, весна,
и, окруженный тряской бездной,
очнулся я, привстал, и ночь была душна,
и замедлялся ямб железный...

По занавескам свет, как призрак, проходил.
Внимая трепету и тренью
смолкающих колес,— я раму опустил:
пахнуло сыростью, сиренью!

Была передо мной вся молодость моя:
плетень, рябина подле клена,
чернеющий навес, и мокрая скамья,
и станционная икона.

И это длилось миг... Блестя, поплыли прочь
скамья, кусты, фонарь смиренный...
Вот хлынула опять чудовищная ночь,
и мчусь я, крошечный и пленный.

Дорога черная, без цели, без конца,
толчки глухие, вздох и выдох,
и жалоба колес, как повесть беглеца
о прежних тюрьмах и обидах.

(«В поезде»)

Восхищение перед Набоковым, преклонение перед его мастерством — ничто по сравнению с тем неразделенным его одиночеством, тем нашим долгом ответной любви, который он не получил.

Не тот же ли мальчик так же остался стоять на палубе, глядя на отплывающий от него Севастополь, и простоял так до самой смерти?.. Великий писатель, вундеркинд, инфант, ученый, открывший свою империю взамен утраченной... Он собрал все брошенное нами, все лишние, неважные вещи, отсеянные из нашего опыта навсегда во все не грубостью и жестокостью жизни, а нашим грубым представлением о ней. Вот вам и великий мастер детали! Мы узнаем у Набокова то, что забыли сами, мы узнаем свои воспоминания (без него бы и не вспомнили) о собственной не столько прожитой, сколько пропущенной жизни, будто это мы сами у себя эмигранты. Набоков запомнил все и ничего не забыл. Он восстановил в правах такое количество и качество под-

робностей жизни, что она и впрямь ожила под его пером, пропущенная было все более невнимательной и сытой мировой литературой (вдруг вспомнил те часики с потерянным стеклышком, которые еще идут, в одном из его рассказов). Как всякий император, он что-то присвоил себе: бабочку, нимфетку, невстречу, случай, совпадение, опоздание, ошибку... Поэт невстречи, он соткал из всего этого паутину, сквозь дымку которой мы видим мир почему-то отчужденней, а не туманней.

Как ученый (а он именно ученый и потому энтомолог, а не наоборот) он каждый день вглядывался в строение мира, а как художник наблюдал Творение. Оттого мир его и не груб, как постоянно вычленяемое нами «главное», а тонок, как целое. Только тонкие различия принципиальны (как «производственно» помог опыт энтомолога писателю!). Тонкость мира есть границы, пыльца контакта между жизнью и небытием. Что-то есть жестоко детское и беззащитное в отношении Набокова к смерти как к «всего лишь» разлуке. Он-то знал, что значит это «всего лишь». Этот жгучий детский интерес к смерти и невозможность ее признать — попытка смотреть на солнце, дольше всех не сморгнуть. Набоков накалывает каждую следующую смерть, как бабочку, отменяя тем самым смерть. И в булавке важна не боль протыкаемого, потому что уже мертвого, тела, а отблеск солнца в ртутной, градусниковой сферочке булавочной головки.

И теперь, когда Набоков наконец, уже в XXI, как многие считают, веке, в еще одном своем послесмертии, вернулся на родину (сколько же не заслуженного нами пафоса вкладываем мы в это утверждение, будто находя в этом достижение и заслугу...), надо не забывать, что вернулся он сам, но только не так, как ему или тем более нам хотелось, а как его Мартын из «Подвига» — через пейзаж, висевший над его детской кроваткой.

Так что, во-первых, это именно нам следует помнить, что это не он, а мы пытаемся вернуться на родину.

С. ДЖИМБИНОВ

*

ЭПИТАФИЯ СПЕЦХРАНУ?..

Все знают, что в 1955—1956 годах из лагерей вернулись сотни тысяч репрессированных людей. Но далеко не все знают, что совсем недавно, в 1987—1989 годах, сотни тысяч книг были освобождены из специальных концентрационных лагерей, где они томились по пятьдесят и даже по шестьдесят лет. Так что сроки у книг были еще побольше, чем у людей. Правда, им и жить положено дольше. И «вышка» («высшая мера наказания» или «высшая мера социальной защиты») для них тоже была: через сожжение, сдачу в макулатуру — на переработку...

Лагеря для книг называются у нас отделами специального хранения, или сокращенно — спецхран. Хорошо помню, как я узнал об их существовании.

Я учился на втором или третьем курсе Литературного института. В иностранном каталоге Ленинской библиотеки мое внимание привлек курс лекций на английском языке — «Для молодого писателя»; я заказал книгу, но в ответ получил отказ: книга не числится по данному шифру, она переведена в отдел специального хранения. Я не огорчился, живо представил себе, что это одна из тех хрупких американских книг без переплета, которые рассыпаются по листам от неосторожного пользования и, естественно, требуют особого хранения. Не без труда нашел я отдел спецхрана в лабиринте библиотечных комнат. За столом сидели две девушки. Одна взглянула на мое требование и сказала, что для получения книги нужно специальное письменное ходатайство с места работы. А узнав, что я студент второго курса, добавила нечто совсем неожиданное для меня: это отдел закрытой книги, здесь могут работать только студенты-дипломники и строго по теме диплома, так что приходите, когда будете на пятом курсе.

Вот как обмануло меня когда-то наше пристрастие к непрямым, эфемистическим названиям. Вместо честного «отдел запрещенных книг» — «книги специального хранения». Вместо честного «пытки» — «методы активного ведения следствия».

Тогда я еще не знал «1984» Дж. Оруэлла с его изумительной последней главой о принципах «новоречи», или «новояза» (сам роман, разумеется, тоже был у нас в спецхране).

Что касается слова «спец», то в обществе, провозгласившем всеобщее равенство, его ожидала головокружительная карьера — от «спецпайков» и «спецшкол» до совсем уж зловещих «спецотделов» и «спецчастей».

Тут я позволю себе небольшое отступление. В нашем языке важную, драгоценнейшую его часть составляют слова с сакральным ореолом, связанные с богослужением. Их излучение незримо пронизывает язык. Свете тихий, свет невечерний ложится и на предметы домашнего обихода. Так «комната» становится «светлицей» и «горницей» (не забыли еще, что значит «горнее», «горь имеем сердца?»). Превращение светлицы и горницы в «жилплощадь» есть часть единого процесса перехода от идеализма к материализму. Характерно, что в словосочетании «жилплощадь» слова стиснуты, как в коммуналке. В словосочетании «спецхран» оба слова с ампутированными конечностями. О, эта вакханалия аббревиатур и усечений, начавшаяся даже не в 20-е, а несколько раньше, перед революцией («кадеты», «эсеры», «эсдеки»)! Это болезнь языка, за которой скрывается болезнь души: слово перестает восприниматься в его образной функции и становится инструментом и оружием. Живые слова уходят из языка, а на смену приходят слова-мутанты: «компромат», «беспредел». Слова вернутся, когда вернется настрой души, который их породил. Этот настрой создаст и новый уклад жизни. Но пора перейти от термина «спецхран» к обозначаемому им явлению.

Сделаю оговорку, что речь у нас пойдет только об идеологическом спецхране, мы не будем касаться так называемых спецдивов научно-технической литературы для служебного пользования, которая тоже хранится в спецхране.

Идеологический спецхран — книжный ГУЛАГ — имеет свои причудливые особенности, которые не просто понять и тем более — объяснить. Первая неожиданная черта: в нем практически нет русских дореволюционных книг. Тем более не попали в спецхран дореволюционные русские газеты и журналы. Богатейшая русская антисоциалистическая и антимарксистская литература, вышедшая до 1917 года, осталась вне колючей проволоки спецхрана. Помню, как изумлен я был, найдя в общем каталоге (спецхран вообще не входит в такие каталоги) книгу А. Богданова «Падение великого фетишизма», вся вторая половина которой — «Вера и наука» — является ответом на книгу В. Ильина «Материализм и эмпириокритицизм». Что же тогда у нас в спецхране, если это — в открытом фонде? — подумал я. А дело в том, что книга А. Богданова была защищена годом своего издания — 1910-м. На дореволюционные книги и журналы просто махнули рукой. Впрочем, речь у нас только о Библиотеке им. В. И. Ленина. Не уверен, что книгу Богданова можно найти в самой хорошей областной библиотеке.

Кроме того, чтобы быть совсем точным, некоторое небольшое количество дореволюционных книг в спецхран все-таки попало. Это так называемая расистская литература и порнография. Последний раздел нельзя вспоминать без улыбки: там числится, например, невиннейший — по современным представлениям — роман Октава Мирбо «Дневник горничной».

Итак, дореволюционных изданий в спецхране почти нет. Что же есть? Богатства спецхрана вплоть до самого последнего времени (1987—1988 годов) были прямо-таки фантастичны! Я знал людей, которые только там и могли читать. На языке цифр это выглядело так: более трехсот тысяч названий книг, более пятисот шестидесяти тысяч журналов, не менее одного миллиона газет. Почему их не выпустили на свободу в 1955—1956 годах? Почему задержали на тридцать с лишним лет? Боюсь, что одной фразой на этот вопрос не ответишь.

Сначала разберемся, что же это за книги и журналы? Условно я бы разбил их на четыре категории.

I. Книги, журналы и газеты, выходившие в 1917—1921 годах и не прошедшие советской цензуры: издания белых, «зеленых», «бабки нашего Махно», деникинцев, врангелевцев и кочаковцев. Книг здесь немного, около 300 названий, но периодики изрядное количество. В спецхране и сейчас стоит ящичек с наклейкой: «Русские газеты 1917—1921 гг.». Для историка революции и гражданской войны материал бесценный. Гласность нашего времени коснулась этой части спецхрана меньше всего. В основном все осталось на своих местах.

II. Книги 1918—1936 годов, изданные на советской территории и прошедшие цензуру, в которых упомянуты имена или приводятся цитаты из сочинений не реабилитированных до 1986—1988 годов деятелей партии и государства, в первую очередь — Л. Троцкого, Г. Зиновьева, Л. Каменева, Н. Бухарина, А. Рыкова и, разумеется, сочинения самих этих авторов. Таких книг было от семи до восьми тысяч названий.

Среди них много политпросветовской и агитпроповской литературы 20-х годов: ведь достаточно было назвать имя председателя Реввоенсовета (Троцкого), председателя Совнаркома (Рыкова) или председателя исполкома Коммунистического Интернационала (Зиновьева), и книга автоматически попадала после чисток 30-х годов в спецхран. Книги с именем Троцкого без ругательных эпитетов выходили по 1929 год включительно (год его высылки из СССР), а с именем Бухарина — по 1936 год включительно. Почти все книги этой категории после 1987—1988 годов освобождены, то есть переведены в открытый фонд.

III. Книги, журналы и газеты на русском языке, изданные в Западной Европе, США, Южной Америке, Азии и Австралии, эмигрантская литература. Это, может быть, самый интересный для нас раздел спецхрана. К сожалению, никаких цифр привести здесь не могу. Известно только, что 99 процентов русскоязычных эмигрантских изданий шло в спецхран. Даже сборники стихов, где не было ни одной строки о политике. Этот раздел в Ленинской библиотеке весьма богат. Я знаю, что вскоре после войны из Праги привезли несколько вагонов книг из очень хорошей русской эмигрантской библиотеки. Хуже с послевоенными книгами, так как заказывать их боялись или не решались. («Мы не можем тратить валюту на материальную поддержку

эмигрантского отребья», — сказала мне в те годы одна из сотрудниц отдела.) Книги поступали в библиотеку бесплатно, как «дар Главлита» — плод бесчисленных конфискации на международном почтамте, в таможене или во время обысков. Некоторые мои знакомые находили здесь посланные лично им с дарственной надписью книги Б. Зайцева, В. Набокова и т. д. Сколько раз, перевернув книгу, на предпоследнем форзаце я находил пометку карандашом «Дар Гл.». Полностью название нашего цензурного ведомства писать не решались: и так понятно, кому надо. Комплектовать целый раздел национальной библиотеки за счет конфискации у своих граждан — не позор ли? Сейчас, по-видимому, стали кое-что заказывать, но все-таки далеко-далеко не все. В 1987—1989 годах «открыли» примерно 80 процентов этих книг.

IV. Книги, газеты и журналы на иностранных языках. Это, бесспорно, самый большой раздел спецхрана, в несколько раз превышающий остальные три вместе взятые. Начнем с периодики. Все «буржуазные», то есть немарксистские и некоммунистические газеты и общественно-политические журналы шли сюда независимо от содержания (разумеется, выписывается далеко не все, так как валюты вечно не хватает). Сюда шли «Таймс», «Фигаро», «Штерн» и «Ньюсуик». Это особенно постыдная часть нашего спецхрана. Заколоченное окно в Европу. Железный занавес.

Лет двадцать назад был шумный скандал с конфискацией властями ФРГ одного номера журнала «Шпигель». Как включилась наша пресса, вступившись за мужественного издателя Ауштгейна! Но ведь у нас все номера «Шпигеля» (в том числе и этот) были запрещены к продаже и автоматически шли в спецхран. Книг здесь больше 260 тысяч названий. Достаточно было найти один неодобренный абзац о нашей идеологии в толстом томе в 700—800 страниц — и весь том преспокойно отправлялся в спецхран. Даже мимоза не обладает такой чувствительностью к неосторожному прикосновению. И сколько же было такого пустого чтения с единственной целью выловить крамольную фразу или абзац! На многих десятках языков, вплоть до самых экзотических: суахили, малаялам.

Теперь этот раздел освобожден почти полностью. По нынешней официальной формулировке запрещена только литература, призывающая к насильственному ниспровержению нашего политического строя, книги, сеющие рознь между народами, и порнографические.

Когда-нибудь напишут подробную историю советской цензуры и спецхрана. Сейчас для этого не пришло еще время, да и архивы все закрыты. Цензура возникла буквально на другой день после октябрьского переворота: уже 26 октября (ст. стиля) 1917 года была запрещена, например, кадетская газета «Речь», а летом 1918 года — все оппозиционные газеты, включая горьковскую «Новую жизнь».

Не без труда нашел я дату организации Главлита: декретом Совета Народных Комиссаров от 6 июня 1922 года при Наркомпросе создано Главное управление по делам литературы и издательств — Главлит. С первых дней его возглавил Павел Иванович Лебедев-Полянский, бывший в 1917—1919 гг. правительственным комиссаром литературно-издательского отдела Наркомпроса, где выполнял, очевидно, те же цензорские функции. Первые упоминания о спецхране относятся к 1923 году: в инструкции за подписью Н. Крупской, П. Лебедева-Полянского и М. Смущковой сказано: «Не более двух экземпляров всех изъятых в качестве вредных и контрреволюционных книг должны быть оставлены в центральной библиотеке. Такие книги должны храниться в особо запертых шкапах и выдаваться исключительно для научных и литературных работ»¹.

Но по-настоящему спецхран сложился в 30-е годы, после изгнания Троцкого и процессов над оппозиционерами. В спецхран попала, как было замечено выше, практически вся литература по истории партии, изданная в 20-е годы, включая учебники Е. Ярославского, Н. Попова и многие другие. Не пощадили и Ленина: все пять изданий его книги «О Троцком и троцкизме» оказались в спецхране. Что уж говорить о Горьком (три книги) или Луначарском (15 книг)! «Вливающийся» в полном составе Н. Бухарин дал более 180 книг и брошюр, А. Рыков — около 60.

В 40-е годы спецхран продолжал расти. И даже оттепель конца 50-х — начала 60-х годов, выпустившая на волю книги М. Кольцова, Б. Пильняка, И. Бабеля, А. Веселого, П. Васильева и другие, тем не менее сколько-нибудь существенного урона спецхрану не нанесла.

¹ «Красный библиотекарь», М. 1924, № 1(4), стр. 137.

К концу 70-х годов спецхран окончательно сформировался. Теперь это был фонд, куда постоянно добавлялись книги уезжавших или высланных писателей. Давно уже наряду с простым спецхраном существовал как бы двойной спецхран, то есть книги, в верхнем правом углу которых был не один шестигранник с цифрой-номером закрывшего ее цензора, а два («две шайбы» — на жаргоне знатоков). К этим книгам доступ был особенно сложным, а к некоторым и вовсе не было.

На дне нашего книжного ада стояли, изолированные от читателей проводами высокого напряжения, две фигуры — Троцкий и Солженицын. Один весь в прошлом, другой — в будущем. Многотомное собрание сочинений Льва Давидовича Троцкого ГИЗ выпускал в 1926—1927 годах. До самого последнего времени, до 1988 года, я даже не знал, как выглядят обложки этих томов, так totally они были уничтожены, а в спецхране их никто при мне не читал. Есть что-то совершенно иррациональное в неистовстве этого уничтожения. Тому, у кого нашли книгу Троцкого, давали десять лет лагерей. Еще в 70-х годах у нас выходили книги о троцкизме без единой цитаты из Троцкого: не предоставлять трибуну врагу! Понятно, что вопрос стоял жестко: Троцкий или Сталин. Бедная Россия, у которой был только такой выбор! Теперь мы читаем (в частности у Б. Можая), что Сталин лишь осуществил план коллективизации, созданный Троцким. Вообще оказывается, он был чуть ли не главным троцкистом. Заклятые враги и антагонисты на глазах становятся двойниками. Вот бы наш Политиздат в один прекрасный день выложил на прилавки два трехтомника одновременно — Троцкого и Сталина. Произошло бы настоящее короткое замыкание, аннигиляция. Мы показали бы этим всему миру, что освободились от целой страшной полосы нашей истории.

...Солженицын появился в спецхране в середине 70-х годов. Но его книги тоже стояли под знаком двойного запрета, их тоже не выдавали по обычным ходатайствам.

Теперь, когда мы бросили общий взгляд на топографию книжного ГУЛАГа, можно перейти и к более детальным описаниям. В 1987—1989 годах были освобождены из спецхрана более семи тысяч книг советского периода (главным образом 1918—1936 годов). Все они прошли в свое время Главлит, но не угадали будущих колебаний идеологической линии. Помимо литературы политической, было здесь и довольно много ценных работ о литературе. При этом нужно сделать одно существенное уточнение. Спецхраны широко, тем более универсального профиля есть лишь в двух-трех десятках библиотек на страну. Что же касается многих тысяч и даже десятков тысяч других библиотек, то в них такие издания просто активировались (еще один эвфемизм нашей новоречи), то есть сжигались или сдавались в макулатуру.

Назову несколько книг этой категории, чтобы можно было конкретно представить, о чем идет речь.

Вот справочник под редакцией Б. Козьмина «Писатели современной эпохи. Био-библиографический словарь русских писателей XX века», том I (М. 1928). Справочник бесценный, потому что составлялся на основании подробных толковых анкет, заполняемых самими писателями. Например, из статьи о М. Цветаевой мы узнаем, какие книги она особенно любила в детстве и юности и какие потом, кто ее любимые русские и иностранные поэты и т. д. Между тем почти весь тираж книги был уничтожен из-за небольшой и вполне нейтральной статьи о Троцком на страницах 251—252. От двух тысяч сейчас едва ли осталось двести экземпляров. В ГДР сделали репринт, не худо было бы переиздать и нам. Том второй не выходил, но, может быть, где-нибудь в архиве хранится его рукопись.

Вот широко известная в узких кругах антология «Русская поэзия XX века» под редакцией И. Ежова и Е. Шамурина. Это и по сей день самая полная, самая богатая антология русской поэзии конца XIX — первой четверти XX века. Другие антологии не идут с ней ни в какое сравнение. Запретную книгу А. Каплер подарил С. Аллилуевой, и вот как она вспоминает об этом много лет спустя: «Огромная «Антология русской поэзии от символизма до наших дней», которую Люся подарила мне, вся была испещрена его галочками и крестиками около его любимых стихов. И я с тех пор знаю наизусть Ахматову, Гумилева, Ходасевича... О, что это была за антология — она долго хранилась у меня дома, и в какие только минуты я не заглядывала в нее...»².

Представьте себе огромный том в 670 страниц в два столбца мельчайшего шриф-

² Светлана Аллилуева. Двадцать писем к другу. Нью-Йорк. 1981, стр. 166.

та — несколько тысяч стихотворений, причем каждый поэт представлен пятнадцатью — тридцатью произведениями. И это роскошное издание беспощадно уничтожилось только потому, что в предисловии главного цензора страны П. Лебедева-Полянского верноподданнически процитирован стоявший тогда на вершине власти А. Троцкий. Да в разделе поэзии А. Безыменского находим размашистое посвящение стихотворения «О шапке»: «Троцкому. Молодежи». Да еще у Г. Санникова «В ту ночь...» посвящено тому же А. Троцкому. Да еще Г. Лелевич разразился руладами в честь Н. Бухарина. Антология переиздана репринтно в ФРГ, какой-нибудь предприимчивый кооператив переиздаст ее и у нас, но заломит цену похлестче, чем за Валишевского. Грустно обо всем этом писать.

Следующая книга — это тоже достаточно широко известная работа М. Бахтина «Формальный метод в литературоведении» (Л. «Прибой». 1928). Правда, на титульном листе стоит другая фамилия — Медведев, но все давно знают, что основной текст книги написан Бахтиным. Полагаю, это лучшее у нас исследование на данную тему, но в самом конце книги, на странице 225, цитируется Б. Эйхенбаум, а в цитате упомянут Троцкий. Этого достаточно. Яд кураре убивает даже в самых малых дозах. Книга беспощадно изымалась из всех библиотек, после чего уничтожалась. Сохранилась только в двух-трех десятках спецхранов. Последний пример из этого бесконечного списка. В издательстве «Книга» переиздан сборник «Как мы пишем» (Л. 1930). В нем восемнадцать известных писателей подробно рассказывают о технике своей литературной работы. Полвека книга пролежала в спецхране. Почему? Вспоминаю, что повесть Ю. Либединского «Неделя» не раз выходила с предисловием Н. Бухарина. Так и есть: на странице 79 Либединский рассказывает, как «Азбука коммунизма» Бухарина послужила одним из толчков для написания его «Недели». Кстати, на странице 88 и Троцкий лестно упомянут. Значит, в 1930 году такое еще было возможно.

А как отразились цензурные строгости на изданиях русских классиков! Это отдельная и тоже грустная тема. Скажу и об этом несколько слов.

Есть у Гоголя замечательное сочинение — «Размышления о Божественной литургии». Оно входило во все дореволюционные собрания сочинений Гоголя, даже однотомные. Никто никогда, естественно, не сомневался в авторстве Гоголя. Вот, например, что писал об этой работе лечивший писателя доктор Тарасенков: «Перед последней болезнью Гоголь окончательно отделил и тщательно переписал свое заветное сочинение, которое было обрабатываемо им в продолжение почти 20 лет...»³.

Не ищите эту работу в советских изданиях Гоголя. Правда, все издания у нас «избранные», кроме единственного академического полного собрания (1937—1952). В этом монументальном четырнадцатитомнике заветная работа, конечно, есть? Ничуть не бывало. Правда, в восьмом томе, вышедшем в юбилейном, 1952 году, на странице 743 можно обнаружить следующее примечательное объяснение:

«В издание не введено, как не имеющее прямого отношения к литературной деятельности Гоголя и представляющее узко биографическое значение, его богословское сочинение „Размышления о божественной литургии“».

Когда врут, даже язык начинает заплетаться — «представляющее узко биографическое значение»... И это о заветной работе писателя! В полном академическом издании! Вот где настоящий «беспредел». Казалось бы, откуда этот панический страх перед гоголевским словом, прямо как у нечистой силы перед крестом?

Так ни разу в советское время «Размышления...» и не издали.

А Тютчев? Ведь ни в одном советском издании нет его политических статей — «Россия и революция», «Россия и Германия», «Папство и римский вопрос», «О цензуре в России», — которые есть в любом, даже плохоньком, дореволюционном собрании его сочинений.

Расскажу о мытарствах книг русских классиков несть конца. Но все-таки расскажу еще историю единственной в советское время попытки отдельного (не в собрании сочинений) издания романа Ф. М. Достоевского «Бесы». Уж очень она поучительна.

24 января 1935 года в «Правде» появилась небольшая заметка А. М. Горького под названием «Об издании романа „Бесы“». Начиналась она так: «В 20 № «Правды»

³ Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений в 3-х томах под ред. А. Кирпичникова. М. 1902, т. 3, стр. 492.

напечатаны «Заметки» читателя т. Д. Заславского. Автор заметок протестует против издания «Академией» романа Достоевского «Бесы». Мое отношение к Достоевскому сложилось давно, измениться — не может, но в данном случае я решительно высказываюсь за издание «Академией» романа «Бесы», а также однозвучных с ним романов: Писемского «Взбаламученное море», Лескова «Некуда», Крестовского «Марево», т. е. контрреволюционных романов. Делаю это потому, что я против превращения легальной литературы в нелегальную, которая продается «из-под полы», соблазняет молодежь своей «запретностью» и заставляет ее ожидать «неизъяснимых наслаждений» от этой литературы». И далее: «В оценке «Бесов» Заславский хватил через край, говоря: „Хорошо известно, что «Бесы» — как раз наиболее художественно слабое произведение“. Это — неверно. Роман «Бесы» написан гораздо более четко и менее неряшливо, чем многие другие книги Достоевского и, вместе с «Карамазовыми», самый удачный роман его».

Заключается заметка так: «Громко выраженный испуг Заславского кажется мне неуместным: Советская власть ничего не боится, и всего менее может испугать ее издание старинного романа. Но, не устранив Советскую власть и общественность, т. Заславский доставил своей статейкой истинное удовольствие врагам и особенно — белой эмиграции. «Достоевского запрещают!» — взвизгивает она, благодарная т. Заславскому за милостыню, неосторожно брошенную ей».

Чем же закончилась эта история? Казалось бы, о чем речь — разумеется, победила Горький: ведь «Правда» напечатала его заметку, а авторитет Горького и Заславского несопоставим. А между тем как библиофил я знал всю книжную продукцию лучшего советского издательства «Academia» и был уверен, что «Бесы» там никогда не выходили. И вот тут-то начинается самое интересное. В 1980 году в издательстве «Книга» вышел весьма добросовестно составленный каталог книг издательства «Academia». К своему изумлению, под № 209 я нашел там такую запись: «Достоевский Ф. М., Бесы. Роман, т. 1. Ред. вступит. статья и коммент. Л. П. Гроссмана. Предисл. П. П. Парадизова... М.—Л., 1935. 5300 экз.». А внизу краткая заметка от составителя каталога: «Тираж не осуществлен. Известны отдельные экземпляры».

Эту заметку можно расшифровать так: издание вышло, но его арестовали и уничтожили, пустили под нож. Сохранилось, должно быть, десять или двадцать экземпляров, а может быть, и вовсе пяток. Победил все-таки Заславский: в последний момент «дунул» куда надо, и не посчитались ни с «Правдой», ни с Горьким. На дворе стоял 1935 год. Что касается двойного предисловия к уничтоженной книге, тут тоже все знакомо и понятно: товарищ Парадизов конвоировал «беспартийного спеца» Л. Гроссмана и давал четкую классовую оценку романа. И все-таки не спасло, все-таки чувствовали, что не справиться Парадизову с Достоевским.

А как все это переживал Горький? Тут я вспомнил, что у меня есть двухтомный каталог личной библиотеки А. М. Горького (М. «Наука». 1981). Был ли у него экземпляр? По указателю имен нашел все ссылки на Достоевского, но среди многочисленных изданий (№ 928—938, в том числе два полных собрания) этого издания нет. Из добросовестности просматриваю и все остальные упоминания о Достоевском, и вдруг — под номером 4810 — это издание! Оказывается, издания «Academia» стояли у Горького в двух отдельных шкафах и поэтому в каталоге даны отдельно. Вот теперь цепь замкнулась. Конечно, Горькому послали персональный экземпляр. Помните «неосуществленный» тираж 5300 экземпляров? 300 экземпляров были бесплатные и «подносные» — для начальства. Послали, наверное, с курьером, и Горький по-детски радовался своей победе. А на самом деле его просто обманули...

За последние два года трижды напечатаны воспоминания В. Ходасевича о Горьком — сначала с купюрами, а потом и полностью. Последний раз — отдельной книжкой в библиотечке «Огонек». Так что письмо Горького Ходасевичу от 8 ноября 1923 года хорошо известно, но хочу напомнить его в связи со своей темой. Вот это ныне знаменитое письмо, не входящее, разумеется, ни в какие издания писем Горького у нас:

«Из новостей, ошеломляющих разум, могу сообщить, что в «Накануне» напечатано: «Джиоконда», картина Микель-Анджело, а в России Надеждою Крупской и каким-то М. Сперанским запрещены для чтения: Платон, Кант, Шопенгауэр, Вл. Соловьев, Тэн, Рескин, Нитче, Л. Толстой, Лесков, Ясинский (!) и еще многие подобные еретики. И сказано: „Отдел религии должен содержать только антирелигиозные книги“. Все сие будто бы отнюдь не анекдот, а напечатано в книге, имеющей: „Указатель об изъятии

антихудожественной и контрреволюционной литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя"»⁴.

Это письмо нуждается хотя бы в кратких комментариях. Загадочный «М. Сперанский», конечно, не Михаил Несторович Сперанский, специалист по древней русской литературе. Скорее всего память изменила Горькому, и он спутал Сперанского с П. Лебедевым-Полянским. Дело в том, что все списки об изъятии литературы (один из них весьма подробный, из 225 названий, был опубликован в журнале «Красный библиотекарь», № 1(4), 1924) неизменно подписывались сначала Н. Крупской — председателем Главполитпросвета, а затем П. Лебедевым-Полянским, заведующим Главлитом. Что касается упомянутого Горьким списка, то он вызвал такую бурю протестов — особенно за границей, в эмиграции, — что после 1924 года списки вообще перестали появляться в периодике. (Даже перечень 1924 года куда более продуманный.)

Теперь об отдельных именах.

Платон. Как раз в это время (с 1922 года) в издательстве «Academia» выходило Полное собрание творений Платона. Его запретили только в 1929 году. Тем не менее из пятнадцати намеченных томов вышло лишь шесть. Заметим, что при этом старые издания Платона из массовых библиотек были изъяты.

Канта после революции начали издавать с 1934 года («Прологомены»); «Философию искусства» Тэна выпустили один раз в 1933 году; Шопенгауэра и Рёскина после революции не издавали вообще ни разу; первые книги Вл. Соловьева (кроме стихов и писем) и Ф. Ницше появились в 1988 году. Религиозно-этические работы Л. Толстого («В чем моя вера?», «Царство Божие внутри вас») издавались один раз, в 90-томном собрании тиражом в 5 тысяч экземпляров. Роман Н. Лескова «На ножах» не выходил до 1989 года, а «Некуда» — до 1956 года. Так что все в письме Горького подтверждается фактами.

Но самая важная для нас фраза следующая: «Отдел религии должен содержать только антирелигиозные книги».

Понимают ли читатели, какое содержание скрывается за этой фразой? «Святая Русь» имела богатейшую религиозную литературу, насчитывающую несколько десятков тысяч названий. Кто сейчас помнит все разделы богословия — библейскую археологию, экзегетику (истолкование текстов), исагогику (введение в книги Ветхого и Нового заветов), историю церкви, историю догматов, философию религии, апологетику, литургику, гомилетику (науку о проповеди) и т. д.? А сколько выдающихся богословов было в России! Вспомним хотя бы ровесника Вл. Соловьева Василия Васильевича Болотова (1853—1900), автора непревзойденных «Лекций по истории древней церкви» (СПб, 1907—1918, 4 тома). За свою недлинную жизнь (как и Соловьев, он прожил 47 лет) Болотов изучил два десятка языков, включая эфиопский (древний и новый), арабский, древнеегипетский, коптский, армянский и т. д., а на греческом языке переписывался с другим русским богословом Иваном Егоровичем Троицким. А рядом с ним были Л. Бронзов, А. Бриллиантов, Н. Глубоковский, Е. Голубинский, М. Муретов, М. Тареев, В. Несмелов и т. д. — о каждом можно написать книгу! Что же осталось от них?

В алфавитном каталоге научных залов Ленинской библиотеки нет богословских книг. Просто нет — и все. Кто-то позаботился об этом очень давно, может быть, еще в 30-е годы. Они не в спецхране, они выдаются, но как узнать авторов и названия? Систематический генеральный каталог меня не устраивал, так как книги того или иного автора там разрознены по тематическим рубрикам. Значит, надо обратиться к генеральному алфавитному. Туда не пускают. Только летом 1987 года, после долгих хлопот, я получил для этого особое разрешение. Конечно, у меня был список в несколько сот имен. Но то, что я нашел, превзошло все ожидания. Оказалось, что нет такой обычной русской фамилии, на которую бы не было однофамильца-богослова с десятком, а то даже двумя десятками ученых трудов.

Вот тебе и «Иванов, Петров, Сидоров!» А с некоторыми фамилиями — например, Смирнов — творилось и вовсе невероятное: был богослов А. Смирнов, богослов Б. Смирнов, В. Смирнов, Г. Смирнов, Д. Смирнов... И на каждого столько карточек! Только кто же их теперь знает? Почему они столь надежно упрятаны от людских глаз? Почему и я узнал об этом так поздно?

⁴ Владислав Ходасевич. Воспоминания о Горьком. М. «Правда». 1989. (В-на «Огонек». № 44, стр. 22)

Из письма Горького Ходасевичу следует, что в массовых библиотеках религиозная литература была изъята и уничтожена еще в начале 20-х годов... От школьных библиотек перешли к районным, городским и областным. В тридцатые годы все было кончено — остались эти книги только в десятке самых крупных библиотек, но и в них из читательского каталога были изъяты карточки на такого рода книги: ищи свиньи. Вот где еще один огромный спецхран, подумал я.

Кстати, знаете ли вы, какой был разовый тираж научной книги в России в прошлом веке? 1200 экземпляров. Серьезные богословские работы издавались нередко гораздо меньшими тиражами: 600, 350 экземпляров. Теперь представьте, что от этого осталось после чисток 20—30-х годов. А от скольких книг в домашних библиотеках избавлялись сами сознательные и передовые наследники своих отсталых родителей... Словом, тут тоже имел место своего рода геноцид.

В сборнике «Из-под глыб» (Париж. 1974) врезалось в память такое место: «Я не могу забыть мужика на паперти одного из московских храмов: „Православные! Я из Курска — у нас все сожжено, хоть какую-нибудь книжку о Боге, ради Христа..“»

«Из Курска...» А в Брянске разве лучше? А в Иркутске?

Осквернили пречистое слово,
Растоптали священный глагол...

(А. Ахматова)

Параллельно шел другой страшный процесс. О нем рассказал недавно Г. Абрамович («Новый мир», 1987, № 8 — «Библиотека — для чтения!»). Оказывается, в начале 1931 года поступило указание начать изъятие из школьных библиотек всех книг, изданных до революции (по старой орфографии), независимо от их тематики и содержания. Можно представить, сколько тогда погибло бесценных изданий...

Теперь понимаешь, что при тогдашних тиражах (от одной до трех тысяч) каждое дореволюционное издание грозит стать редкостью и может быть занесено в красную книгу культуры.

А сколько было богословских журналов! «Православное обозрение» и «Православный собеседник», «Странник» и «Вера и разум», «Христианское чтение» и «Богословский вестник». Сколько полных комплектов сохранилось в наших библиотеках? Семь, восемь, десять?..

Нужно срочно создать несколько издательств с единственной целью — фотомеханическое воспроизведение (репринты) исчезающих русских книг и журналов. Большой вклад в это дело могла бы внести церковь. Начать хотя бы с перепечатки трудов отцов церкви: Августина, Иоанна Златоуста, Василия Великого и т. д.

Но, разумеется, изымалась не только духовная литература. После войны начался процесс чистки массовых библиотек от сочинений идейно невыдержанных писателей Запада, в том числе и наших бывших друзей Л. Фейхтвангера, Д. Дос Пассоса, Э. Синклера, А. Мальро. Вскоре к ним присоединили группу писателей «упадочников»: Э. Хемингуэя, Э. М. Ремарка и т. д. В конце концов американскую литературу стали представлять только Г. Фаст и А. Мальц. Но в 1956 году рухнул и Г. Фаст. Главлитовские функции выполняли и букинистические магазины. Кроме непринимаемых в них изданий (а у каждого товароведа был трехтомный список таких книг), были еще книги, которые можно было принять, но перед тем, как передать их на прилавок, товароведа должен был выполнять функции компрачикоса: вырезать вступительную статью, стереть фамилию редактора и т. д.

Например, до 1956 года из томов собрания сочинений Д. Дидро (изд. Academia) вырезались вступительные статьи И. Луппола и стиралась его фамилия в выходных данных. В двухтомнике Аристофана того же издательства нужно было вырезать предисловия (к каждой комедии!) А. Пиотровского и стереть его фамилию. И. Луппол и А. Пиотровский были репрессированы, и о них следовало забыть.

В сочинениях Н. Макиавелли (Academia, М.—Л. 1934) и в книге А. Белого «Мастерство Гоголя» (ОГИЗ. М.—Л. 1934) нужно было вырезать — вплоть до 1988 года! — вступительные статьи Л. Каменева (впрочем, в последние годы стали стирать только фамилии, не трогая самих статей). Примеры такого рода можно приводить десятками.

Были ли случаи полной замены текстов, как это происходило в романе Д. Оруэлла «1984», где главный герой, работающий в министерстве правды, вставлял в старые газеты новые тексты, соответствующие колебаниям «генеральной линии»? И такое было, хотя и редко. Старые книголюбы помнят, как в 1953 году в очередном томе Боль-

шой Советской Энциклопедии (2-е издание) они нашли вкладыш — четыре хорошо отпечатанные страницы и извещение такого примерно содержания: «Просим подписчиков в т. 5-м нашей энциклопедии осторожно изъять стр. 21—24 и портрет-вклейку между ними. Взамен их просим вклеить прилагаемые страницы». Речь шла о большой статье, посвященной Л. Берии. Больше всех «повезло» философу Джорджу Беркли: статью о нем пришлось увеличить в два раза. Во всех библиотечных экземплярах эти новые страницы, конечно, вклеены. Такой своеобразный уголок Орузла в нашей БСЭ.

Заметив мою некоторую осведомленность в делах Главлита, читатель может подумать, что автор статьи и сам имеет отношение к этой организации. В действительности не знаю даже, где она находится и есть ли табличка на здании. Интерес к спецхрану возник давно по принципу тяги к запретному плоду. Как в песне про охоту на волков, хотелось за флажки. А там ведь и вправду оказались большие духовные ценности.

Вспоминаю признание одного нашего философа, написавшего официально-ругательную книгу о русской философии XX века: «Я два года читал в спецхране этот мистический бред и говорил на работе, что мне надо давать молоко за вредность, как в горячих цехах».

Тут я не выдержал и решил «врезать» зарпортованному философу: «А по моему, молоко надо давать тем, кто читает Митина и Константинова, да и вашу книгу, а вовсе не читателям Бердяева и Карсавина».

Теперь почти вся русская философия переведена в открытый фонд. Из двадцати с лишним эмигрантских книг и брошюр Бердяева в спецхране осталась только одна — «Истоки и смысл русского коммунизма», да и ту журнал «Юность», как нарочно, перепечатал тиражом в 3 миллиона 100 тысяч экземпляров в ноябрьском номере за 1989 год, впрочем, с большими купюрами.

Не забудем, что Россия — классическая страна запрещенной книги. Здесь не место анализировать причины этого явления. Скажу только, что положению Герцена в XIX веке соответствует положение Солженицына в веке XX. Правда, за весь XIX век было запрещено всего 248 названий книг на русском языке (см.: Л. Добровольский. Запрещенная книга в России. 1825—1904. М. 1962).

Хочу быть понятым правильно. Цензура есть во всех цивилизованных странах. В одних она строже (Великобритания, где нельзя критиковать не только королеву, но и институт парламента), в других — либеральнее (США). Но везде есть свои табу и есть инстанции, которые следят за их соблюдением.

«Что нужно Лондону, то рано для Москвы», — не без лукавства писал молодой Пушкин в «Послании цензору» (1822). По крайней мере пять классиков русской литературы были цензорами, служили в цензуре. И каких классиков: С. Аксаков, Ф. Тютчев, А. Майков, И. Гончаров, Я. Полонский, причем два замечательных лирических поэта — Тютчев и Майков — даже возглавляли Комитет иностранной цензуры.

Однако то, что сложилось у нас после революции, было не цензурой вовсе, а последовательным «огосударствлением» литературного процесса. Уже с начала 30-х годов литература перешла на «госзаказ». Функции цензуры принял на себя многотысячный редакционный аппарат. В Главлит, как правило, все поступало почти стерильно выпаренным, отжатым и выглаженным. Зато уж редакторы читали рукописи не только слева направо, но и справа налево.

И вот в прошлом году почти одновременно рухнули два несущих столпа спецхрана: в журнале «Вопросы истории» стали печатать книгу Л. Троцкого «Сталинская школа фальсификаций» (№ 7—10, 12), а в «Новом мире» — главы из «Архипелага ГУЛАГ» А. Солженицына. Спецхран сразу осел и вообще как бы оказался под вопросом. Конечно, тут еще хранятся труды немногих не реабилитированных деятелей нашей бурной истории — Г. Ягоды, Л. Берии, М. Багирова, В. Деканозова и т. д., но какую опасность они представляют для читателя? Их тоже можно было бы «отпустить» в открытый фонд.

В августе 1988 года в «Известиях» появилось характерное письмо читательницы И. Завгородней из Крымской области: «На днях нас, сотрудников городских массовых библиотек, созвали на внеочередной семинар и, ссылаясь на распоряжение вышестоящих инстанций, потребовали изъять из фондов работы Брежнева, Гришина, Сулова, Черненко и ряда других авторов, а также всю изданную до марта 1985 года политическую и экономическую литературу как устаревшую по содержанию»...

Читательница вполне справедливо спрашивала, не образуются ли таким образом новые белые пятна в нашей недавней истории.

Через два дня (18 августа) в «Известиях» появился ответ читательнице с успокаивающим названием: «Пополнения спецхранов» не ожидается». Читаем: Как нам сообщили в Управлении по делам библиотек Министерства культуры СССР, речь не идет об изъятии трудов бывших лидеров». И далее поясняется, что решено лишь убрать их на дальние полки, но все-таки выдавать по первому требованию читателей. Это нечто новое и отрадное. Ведь сочинения их предшественников — Г. Маленкова, Н. Булганина и т. д. — отправлялись в спецхран незамедлительно — сразу после освобождения их авторов от своих высоких должностей. Да и Сталин побывал в спецхране. Наконец-то начинаем понимать значение любой книги как свидетеля истории.

И все-таки наш «верный Руслан» неисправим. На днях я посетил спецхран, посмотрел картотеку новых поступлений — с 1988 года. Увы, впечатление удручающее. Перебираю карточки: И. Бунин, «Окаянные дни» (Лондон, 1984; опубликованы у нас сразу в четырех журналах); И. Одоевцева, «На берегах Невы» (Париж, 1983; опубликовано у нас в «Звезде» и отдельно «Художественной литературой»); В. Солоухин, «Читая Ленина» (Франкфурт-на-Майне, 1989; опубликовано у нас в журнале «Родина», 1989, № 10); О. Волков, «Погружение во тьму» (Париж, 1987; опубликовано у нас с купюрами в «Советском писателе» и почти полностью — в издательстве «Молодая гвардия»).

Казалось бы, после публикации всех трех томов «Архипелага ГУЛАГ» («Советский писатель», 1989) должна начаться новая эпоха в истории спецхрана. Но, увы!

Почему-то по-прежнему в спецхране книги о його, даже допотопная работа Рамачараки «Пути достижения индийских йогов» (Петроград, 1915). Неужели потому, что кто-то может переусердствовать в занятиях по пословице: заставь дурака молиться, он и лоб расшибет?

Стараются помещать в спецхран все иностранные книги о нашей политической истории после апреля 1985 года. Но ведь в них не столько критики, сколько сочувствия тому, что происходит у нас!

Вижу недоумевающие глаза «верного Руслана» и его сторонников: а что же тогда запрещать? Да ведь об этом говорилось уже столько раз: призывы к насильственному ниспровержению государственного строя, к национальной розни, порнография, наконец. Неужели Бунин, Одоевцева, Солоухин и Олег Волков подходят под эти определения?

Наше путешествие по книжному ГУЛАГу подошло к концу. Да, спецхран еще существует. И все-таки отходит, отходит мерзлота, которая еще вчера казалась вечной.

И вдруг пахнуло выпиской
Из тысячи больниц.

(Б. Пастернак)

Одно только меня смущает: обычно, когда переводят книгу из закрытого фонда в открытый, меняют ее шифр и место на полке. А тут шифры оставляют прежние и место прежнее, хотя книги уже выдаются в обычные залы. Стало быть, завтра по одному слову все это можно переиграть и вернуться к старому.

Будем надеяться, здесь нет подвоха: просто перешифровать и перенести в другое помещение почти триста тысяч томов — слишком трудоемкая и сложная операция.

PS. Пока статья была в наборе, вышла репринтно (с парижского издания), казалось бы, спецхрановская книга Н. Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма» (М «Наука». 1990). Упомянутые выше западные издания книг И. Бунина, И. Одоевцовой, О. Волкова числятся теперь уже и в списке открытых изданий (где-то они на самом деле?). И даже сочинения Л. Берия выдаются всем желающим...

ЖИЖЖЖ ОЕ ОБ ОЗ РЕЖИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

*

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

И. Винокурова. Жестокая, милая жизнь. — Андрей Василевский. Опыты занимательной футуро(эсхато)логии. II.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Руткевич. Имперский век.

Литература и искусство

ЖЕСТОКАЯ, МИЛАЯ ЖИЗНЬ

Николай Гумилев. Стихотворения и поэмы. («Библиотека поэта») Л. «Советский писатель». 1988. 631 стр.

Николай Гумилев. Стихи. Поэмы. 2-е издание. Тбилиси. «Мерани». 1989. 494 стр.

Н. Гумилев. Стихи. Письма о русской поэзии. М. «Художественная литература». 1989. 447 стр.

«Темно-зеленая, чуть тронутая позолотой книжка, скорей даже тетрадка Н. Гумилева прочитывается быстро. Вы выпиваете ее, как глоток зеленого шартреза», — писал Ин. Анненский в своей рецензии на «Романтические цветы». Том Гумилева, выпущенный в Ленинграде, тоже темно-зеленый, чуть тронутый позолотой, но его не выпьешь такими же «сладкими», мерными глотками. Захочется побыстрее перелистнуть страницы, пробраться к последним стихам, — как раз лишенным характерногопряного вкуса. Та же перспектива — быть прочитанным с конца — ожидает, довидимому, и другие гумилевские издания — тбилисское и московское. «Он удивительно поздно раскрывается как большой поэт», — утверждает в предисловии к худитовской книжке Гумилева Вяч. Вс. Иванов, настойчиво рекомендуя не обставлять знакомство с ним «академически, в хронологическом порядке первых сборников, которые могут только от него оттолкнуть...». Он предлагает сразу открыть «Огненный столп», начиная разговор с читателем непосредственно с «Заблудившегося трамвая»¹ — само-

го знаменитого стихотворения книги, и в дальнейшем останавливаясь исключительно на позднем Гумилеве, в его связях как с русской, так и с мировой культурой.

С легкостью перемещаясь вслед за своим героем во времени и пространстве, исследователь, естественно, касается и отношений Гумилева с русским символизмом, с Блоком в частности. Однако тщательно фиксируя и подробно разбирая совпадения между этими двумя поэтами, Иванов почему-то оставляет в стороне полемику между ними, в последние годы особенно напряженную. И интересную нам прежде всего потому, что именно в этой полемике Гумилев обретает отчетливый гражданский темперамент, в чем ему принято — с легкой руки того же Блока — решительно отказывать.

Считая Блока величайшим современным поэтом, без сомнения учась у него, Гумилев в то же время был резко не согласен с целым комплексом важнейших блоковских идей, получивших завершение после революции. И это несогласие выплескивалось не только в прямые, спонтанно вспыхивающие споры, о которых в один голос вспоминают современники, но и в стихи, потом составившие «Огненный столп». Например, гумилевское стихотворение «Шестое чувство» непосредственно сталкивается с блоковской

¹ Хотелось бы добавить, что стихотворение это содержит не только пророчество о собственной смерти («Голову срезал палач и мне»), но, возможно, и предвидение обстоятельств своего «дела». Тема Машеньки, Гринева и Императрицы («Как ты стонала в своей светлице, я же с напудренною косой шел представляться Императрице и не увиделся вновь с тобой») вводит в стихотворе-

ние мотив ложного обвинения в «участии в замыслах бунтовщиков» (Пушкин). Обвинения, которое уже никто не в силах ответить.

статьей «Крушение гуманизма»: и у Блока и у Гумилева речь идет о возникновении «новой человеческой породы», и у того и у другого — о рождении «человека — артиста». Однако сама операция мыслится абсолютно по-разному. Если у Блока это кровавый, революционный акт, то у Гумилева — длительный эволюционный процесс: «Так век за веком — скоро ли, Господь?..» И если у Блока все творится острым «ножичком» двенадцати, то у Гумилева — соответственно — деликатным «скальпелем природы и искусства»...

Любопытно, что этот политический, в сущности, спор возникает не сам по себе, а вырастает из спора эстетического, давнего спора акмеизма и символизма. «Шестое чувство» не случайно начинается акмеистической декларацией:

Прекрасно в нас влюбленное вино,
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которую дано,
Сперва измучившись, нам насладиться, —

декларацией, полемически заостренной против родового символистского недоверия к «плотскому», принявшего у позднего Блока особенно резкие формы. Вот характерная запись из его дневника от 30 декабря 1918 года: «Зуб истории гораздо ядовитее, чем вы думаете, проклятия времени не избыть... Разрушая, мы все те же еще рабы старого мира: нарушение традиций — та же традиция. Над нами — большее проклятие (нежели культурное наследие. — И. В.) — мы не можем не спать, мы не можем не есть». Для Блока мучительна вечная тяга человеческой плоти к «покою» и «сытости» — она мешает работе духа, она придавливает его к земле.

Акмеист Гумилев не знает подобных волнений. Физическое довольство не убивает и не притупляет чувства красоты:

Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой,
Что делать нам с бессмертными стихами?

Ни съест, ни выпить, ни поцеловать...

Это чувство столь же настойчиво требует удовлетворения, вставая в один ряд с другими человеческими инстинктами. И Гумилев торжественно нарекает его — шестым, выражая твердую уверенность в дальнейшем совершенствовании вида.

И если у Блока недостаток духовности связан с тлетворным влиянием «старого» мира, «обескрылевшего и отзвучавшего», а потому и подлежащего уничтожению, то у Гумилева все объясняется (и извиняется)

как раз «молодостью» мира, не реализовавшего еще своих потенций и требующего в силу этого терпения и труда.

Блоковская идея построения «нового» общества путем радикального разрушения «цивилизации» вызывает резкое неприятие Гумилева, свидетельство чему мы, в частности, находим в дневниковой записи Блока от 26 марта 1919 года.

Описывая заседание в издательстве «Всемирная литература» и свой доклад о Гейне, где он затрагивает тему крушения гуманизма, Блок воспроизводит и отзывы кое-кого из присутствующих: «Гумилев говорит, что имеет много сказать, и после закрытия заседания развивает мне свою теорию о гуннах, которые осели в России и след которых историки потеряли. Совдепы — гунны».

Бесстрастно записывая этот разговор, Блок, конечно, понимает, что слово «гунны» Гумилев произносит совсем не так, как его произносили символисты, экзотично призывавшие: «Топчи их рай, Аггала!» Понимает, что для Гумилева важен феномен бесследного исчезновения племени, не оставившего после себя никакого культурного слоя, что он надеется с помощью этой исторической аналогии, самими же символистами и подсказанной, переубедить своего оппонента.

Интересно, что даже в поэтическом младенчестве, будучи еще покорным учеником Брюсова, Гумилев не собирался вслед за своим наставником встречать «грядущих гуннов» приветственным гимном. Идея оживления «одряхлевшего тела волной пылающей крови» была органически для него неприемлема — уж больно горячая кровь «пылала» в самом Гумилеве. Пылала в стихах, от которых исходила такая молодая и мужественная сила, что сами «грядущие гунны» в лице молодых советских поэтов, так называемых революционных романтиков, выбрали его себе в учителя. Правда, оставив без внимания, что привлекавший их жизненный напор изначально берется Гумилевым под строгий культурный контроль.

Ведь уже в «Чужом небе», самой своей акмеистской книжке, воодушевленно утверждая кобственный поэтический характер, тщательно выстраивая систему координат, четко определяясь в симпатиях и антипатиях, Гумилев находит силы на мгновение остановиться. Остановиться в разгаре этих хлопот, чтобы задуматься о правомерности только что рожденного лирического героя — «сильного, злого, веселого». Правомерности с точки зрения традиции, не литературной, конечно, а христианской. Стихотворение «Отрывок» («Христос сказал: убогие блаженны, завиден рок слепцов, ка-

лек и нищих...)» отражает эти раздумья. Резко выделяясь медлительной, тяжелой интонацией на фоне брызжущих весельем стихов «Чужого неба», стихотворение как бы дает толчок той незаметной поначалу, но неуклонной переориентации, что происходит в поэзии Гумилева.

Цветение не только плоти, но в первую очередь духа («Расцветает дух, как роза мая, как огонь, он разрывает тьму, тело, ничего не понимая, слепо повинуется ему») будет все более занимать поэта, становясь темой многих поздних стихов, в одном из которых Гумилев непосредственно приходит к церковным дверям: «Я дверь толкнул. Мне ясно было,— здесь не откажут пришлецу, так может мертвый лечь в могилу, так может сын войти к отцу...»

Заметим, приходит тогда, когда Блок от церковных дверей, по сути, уходит, утверждая в «Крушении гуманизма», что «музыка», явственно им различимая, «противоположна привычным для нас мелодиям об „истине, добре и красоте“»². То есть как раз тем самым «мелодиям», которым Гумилев с волнением внимает в «евангелической церкви»: «А снизу шум вносился многий, то пела за скамьей скамья, и был пред ними некто строгий, читавший книгу Бытия. И в тот же самый миг безмерность мне в грудь плеснула, как волна, и понял я, что достоинство теперь навек обретена».

Но, собственно, этим «мелодиям» Гумилев внимал и раньше. Ими определялось неустанное движение его поэтического характера, та «смена душ», о которой говорится в стихотворении «Память». Ими же исподволь внушено и представление о человеческой и поэтической миссии:

Я — угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле,
Я возревновал о Славе Отчей,
Как на небесах, и на земле.

И этот образ, образ «храма, восстающего во мгле», видится прямой альтернативой той разрушительной стихии, которую восславил Блок.

Трудно сказать наверное, знал ли Блок конкретно эти гумилевские стихи, опубликованные уже после кончины того и другого. Но ведь похоже: ему захотелось не только приватно — в кулуарах «Всемирной лите-

ратуры», — но и печатно Гумилеву ответить. Об этом свидетельствует в 1921 году написанная³ антиакмеистская и антигумилевская статья «Без божества, без вдохновенья». В ней уже обессилевший, смертельно болеющий Блок вдруг обрушивается как на нечто новое, нечто свежее на акмеистские манифесты. Манифесты, обнародованные ни много ни мало восемь лет назад, в течение которых Блоку, кстати сказать, случилось и похваливать «молодого» Гумилева, похваливать за стихи, которые вслед за манифестами сейчас скопом объявляются негодными. И хотя Блок старается вести разговор с эстетических позиций, ему это плохо удается. Он называет Гумилева знатным иностранцем. Он попрекает его упорным нежеланием иметь представление «о русской жизни и о жизни мира вообще», что, надо отметить, отлично прижилось, дожив до наших дней, повторяясь и в сегодняшних, доброжелательных к Гумилеву статьях.

Однако внимательное чтение гумилевских сборников, а главное — соотнесение их с общественно-литературными спорами начала века убеждают в обратном: Гумилев имел не только «представление», но и сложившуюся концепцию русской и европейской жизни. Концепцию, правда, прямо расхолившуюся с общесимволистской. Чтобы это понять, достаточно сопоставить «Итальянские стихи» Блока с «итальянскими» стихотворениями Гумилева, вошедшими в состав его сборника «Колчан» (1916). Даже удивительно, как одна и та же реальность — Италия начала века (Блок посетил ее в 1909, а Гумилев — в 1912 году) — по-разному отзывалась в стихах двух поэтов. Так, если Блоку в лице современной Италии видится страшный, отвратительный распад:

О, Велла, смейся над собою,
Уж не прекрасна больше ты!
Гнилой морщиной гробовою
Искажены твои черты! —

то Гумилеву, напротив, Италия ударяет в глаза своей яркостью, блеском — словом, избытком жизненных сил:

Как эмаль, сверкает море,
И багряные закаты
На готическом соборе,
Словно гарпии, крылаты, —

² В этом смысле показательна реакция Горького на главные положения «Крушения гуманизма», воспроизведенная в блоковском дневнике от 26 марта 1919 года: «Горький говорит большую речь о том, что действительно приходит новое, перед чем гуманизму, в смысле «христианского отношения» и т. д., придется временно ступеяться».

³ По не зависящим от Блока обстоятельствам она была опубликована гораздо позднее — в 1925 году. Вл. Ходасевич в своих воспоминаниях о Блоке говорит о причинах этой задержки (В. Ф. Ходасевич. Некрополь. Paris. YMCA-PRESS. 1976, стр. 132—133).

ослепляет красотою закатов, конечно, не метафорических, а реальных, но все равно полемичных по отношению к еще не сформулированной, но уже носящейся в воздухе метафоре «заката Европы».

И если Блок, бродя по улицам Флоренции, все время наталкивается на зловещие признаки вырождения культуры в «цивилизацию»:

Хрипят твои автомобили,
Твои уродливы дома,
Всевропейской желтой пылью
Ты предала себя сама! —

то Гумилев как раз весело сетует на «нецивилизированность»:

Но какой античной грязью
Полон город, и не вдруг
К золотому безобразью
Нас приучит буйный юг.

И если у Блока, наконец, итальянская «пыль» — «всевропейская», то есть новая, буржуазная, то у Гумилева итальянская «грязь» — «античная», то есть благородно-древняя. У Блока она вдобавок названа желтой (хорошо известно, какой устойчивый негативный смысл несет у него это слово), у Гумилева же «грязь» — «золотая», в полном соответствии с яркостью заката и блеском моря.

Но главная разница — в интонации. У Блока здесь — раздраженная, у Гумилева и здесь, и в остальных стихотворениях итальянского цикла — неизменно веселая. Очень молодо и упруго звучит его стих, последовательно, но ненавязчиво аллитерированный на «р» и «л»:

Пахнет рыбой, и лимоном,
И духами парижанки,
Что под зонтиком зеленым
И несет креветок в банке;
А за кучею навоза
Два носматых старика
Режут хлеб... Сальватор Роза
Их провидел сквозь века, —

и этот поворот темы очень характерен для Гумилева, для его стихов об Италии. Конечно же, вовсе не случайно живые старики кажутся поэту сошедшими с музейных полотен, а нарисованные (стихотворение «Генуя») — живыми. У Гумилева итальянское прошлое и настоящее не враждебны (как у Блока) друг другу, а естественно сливаются в нерасчленимом жизненном потоке. Типичного для символистов контраста между былым расцветом Европы, запечатленным в творениях старых мастеров, и ее нынешним суетным днем поэзия Гумилева не знает.

Зато она знает другой контраст, не менее глубокий и не менее болезненный, — конт-

раст между Европой и Россией. «Русские» стихотворения, которыми переслоены в «Колчане» «итальянские», выделяются на их фоне своей неизбывной грустью. И хотя, наверное, достаточно перечислить только названия: «Почтовый чиновник», «Старая дева», «Старые усадьбы», — все же процитируем:

Жизнь печальна, жизнь пустынна,
И не сжалится никто, —

так начинается «Старая дева».

А вот этим кончается «Почтовый чиновник»:

А песню вырвет мука —
Так старая она:
«Разлука ты, разлука,
Чужая сторона!»

Что-то похожее — и в «Старых усадьбах»:

«Моя Наташа бесприданница,
Но не отдам за бедняка.
И ясный взор ее туманится,
Дрожа снимается рука.

«Отец не хочет... нам со свадьбою
Опять придется погодить».
Да что! В пруду перед усадьбою
Русалкам бледным плохо ль жить?

Но главное, пожалуй, что все это отноудь не «старина», для которой Гумилев нашел в своем раннем стихотворении выразительный эпитет «незолотая». Несмотря на бесконечно повторяющееся «старый», «старое», «старые», это самое что ни на есть «настоящее», явленное обеспокоенному взору Гумилева.

Того, чего больше всего боялись, чего не хотели и все-таки обнаруживали в России символисты — ее стремительное «обуржуазивание», особенно явственное в больших городах, как раз этого-то и не видит Гумилев. В его поэзии вообще нет русских городов, даже их названий. Города как бы остались для него в Европе — и их он охотно перечисляет в самих заглавиях стихов: «Рим», «Венеция», «Неаполь», «Генуя», «Болонья». Можно встретить в его стихах упоминание о Берлине, Париже, Константинополе, даже об Аддис-Абебе, а вот о Москве или Петербурге — нельзя. В гумилевской России — одни только «тихие углы», где идет, а вернее, стоит неподвижная, тусклая жизнь.

Под стать этой жизни — природа:

Как этот вечер грузен, не крылат!
С надтреснутою дыней схож закат,

И хочется подталкивать слегка
Катящиеся вяло облака.

В такие медленные вечера
Коней карьером гонят кучера,

Сильней вяслом рвут воду рыбаки,
Ожесточенней рубят лесники
Огромные, кудрявые дубы...

И Гумилеву, в свою очередь, хочется по-пробовать «расковать косный сон стихий», подтолкнуть Россию... но вовсе не туда, куда толкали ее символисты и Блок, а на совершенно иную дорогу. Гумилевское стихотворение «Городок», вошедшее в его следующий сборник «Костер» (1918), дает, при всей своей подчеркнутой игрушечности, отчетливое представление о характере и направлении этого пути, о «русской идиллии» навырост:

На базаре всякий люд,
Мужики, цыгане, прохожие
Покупают и продают,
Проповедуют Слово Божие.

В крепко слаженных домах
Ждут козявки белые, скромные,
В самаркандских цветных платках,
А глаза все такие темные.

Губернаторский дворец
Пышет светом в часы вечерние,
Предводителей жеребец —
Удивление всей губернии.

Гумилева вовсе не пугает угроза «сытого», «благополучного», «торгового» существования, якобы умерщвляющего дух. Он твердо знает, что дух не умертвишь, — об этом, собственно, стихотворение «Шестое чувство». Не страшит его и перспектива перерождения «культуры» в «цивилизацию», Гумилев вообще не понимает, почему эти понятия надо противопоставлять. За всеми такими абстракциями он видит просто жизнь — «жестокую, милую жизнь», как говорится в стихотворении «Мои читатели», видит «родную, странную землю» — и именно они имеют для него абсолютную ценность.

Если чего и боится этот храбрый человек, то только того, что отвлеченная идея, пусть самая высокая и заманчивая, возьмет и возторжествует над жизнью, пусть жестокой, несовершенной. От чего он и предостерегает в поэме «Звездный ужас». И вовсе не случайно, что «звезды» называются там чужими, — ведь это символистские «кормчие звезды». А вот «ужас» — свой, акмеистский, гумилевский ужас, как и плач по «прежнему» времени,

...когда смотрели люди
На равнину, где паслось их стадо,
На воду, где пробегал их парус,

На траву, где их играли дети,
А не в небо черное, где блещут
Недоступные, чужие звезды.

И это сам Гумилев вместе с одним из героев поэмы восклицает: «Горе! горе! Страх, петля и яма для того, кто на земле родился».

Не случайно эти оказавшиеся пророческими слова вспомнил в разгаре террора второй знаменитый акмеист — Мандельштам, не просто соратник Гумилева по «Цеху поэтов», но и любимый собеседник, друг. Вот что пишет в своей книге Н. Я. Мандельштам: «Нарбута уже не было. Маргулиса уже не было. Клычкова уже не было. Многих уже не было. О. М. бормотал гумилевские строчки — „горе, горе, страх, петля и яма“». И подумалось: не оттуда ли, не от «Звездного ужаса» и идет многократно отмеченная неприязнь Мандельштама к «звездам» (все его «звездные, колючие неправды»), усилившаяся как раз в начале двадцатых годов?..

«Звездным ужасом» завершается «Огненный столп», последний сборник, который Гумилев составлял самостоятельно, хотя вышел он уже после смерти поэта. На этой обобщающей ноте как бы заканчивается его спор с Блоком, спор, в котором Гумилев встает во весь свой рост, перестав наконец быть вечно младшим.

У Вл. Ходасевича в «Некрополе» есть воспоминания о Гумилеве. И, в частности, он рассказывает такой эпизод: «На святках 1920 года в Институте Истории Искусств устроили бал. Помню: в огромных промерзших залах зубовского особняка на Исаакиевской площади — скудное освещение и морозный пар. В каминах чадят и тлеют сырые дрова. Весь литературный и художнический Петербург — налицо. Гремит музыка. Люди движутся в полумраке, теснятся к каминам. Боже мой, как одета эта толпа! Валенки, свитеры, потертые шубы, с которыми невозможно расстаться и в танцевальном зале. И вот, с подобающим опозданием, является Гумилев под руку с дамой, дрожащей от холода в черном платье с глубоким вырезом. Прямой и надменный, во фраке, Гумилев проходит по залам... Весь вид его говорит: „Ничего не произошло. Революция? Не слышал!“.

Таким вот виделся Гумилев современникам, таким же — во фраке и с той же воображаемой фразой на устах, — возможным, он видится и сегодняшним читателям.

А между тем он, конечно, «слыхал» о революции — еще задолго до семнадцатого года. И много думал о ней. И многое предвидел.

И. ВИНУКUROVA.

ОПЫТЫ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ ФУТУРО(ЭСХАТО)ЛОГИИ. II*

- Михаил Веллер. Нежелательный вариант. Милая пьеска. «Радуга», 1989, № 9.
 Александр Кабаков. Невозвращенец. Киноповесть. «Искусство кино», 1989, № 6.
 Елизавета Куциня. «...ун neatнаригу!». «Родник», 1989, № 10.
 Владимир Малагин. В Большом кольце. Драма-эпиграмм. «Современная драматургия», 1989, № 5.

Да, конечно, Солженицын, конечно, «Архипелаг»... А все-таки самой горячей книгой минувшего года, бестселлером номер один (к Солженицыну это слово вряд ли применимо), стал «Невозвращенец» почти неизвестного доселе А. Кабакова. Возвращение книг великого изгнанника было событием символическим, но — ожидаемым. А повесть Кабакова явилась как бы нюткуда — острая, злоб(буквально злоб-)дневная. Поэтому, наверно, и рвали ее из рук, ксерокопировали, «зачитывали». У автора брали одно интервью за другим, спрашивая, заметьте, не о литературе... Спрашивали: ну что же будет? будет-то что?

И это неудивительно, коль там рассказывается, как герой, ученый-«экстраполятор» Юрий Ильич, то и дело переносится из 1988 года в 1993-й и обратно (способ передвижения неизвестен) и в конце концов, захватив с собой жену, становится «невозвращенцем» во времени. Это весьма мужественное решение, поскольку год 1993-й, предпочтительный сделке с совестью в 1988-м, будет (по Кабакову) годом настоящего хаоса в столице и в стране. В остроумном описании этого хаоса и заключается собственно занимательность повести, в этом весь смак — не в фабуле. Критики уже (с удовольствием) цитировали один из выразительных абзацев: «Где-то в стороне Масловки стучали очереди — похоже, что бил крупнокалиберный с бэтэра. Я вытащил из-под куртки транзистор... „Вчера в Кремле, — сказал диктор, — начал работу Первый Чрезвычайный Учредительный Съезд Российского Союза Демократических Партий (повесть писалась непосредственно перед XIX партконференцией. — А. В.)... В качестве гостей на съезд прибыли зарубежные делегации — Христианско-Демократической Партии Закавказья, Социал-Фундаменталистов Туркестана, Конституционной партии Объединенных Бухарских и Самаркандских Эмиратов...». А по Тверской (ныне Горького) шли к центру от Брестского (ныне Белорусского) вокзала усталые люди, «и полы многих шуб, курток, пальто так

же оттопыривались, как и у меня, а кое-кто нес «калашников» и вовсе — по ночному времени — открыто». На улицах бушует уголовщина, неформалы всех мастей, террористы, захватывающие заложников прямо в московских дворах, «афганцы», чинящие скорый (и, судя по всему, неправый) суд над «торгашами» прямо на улицах, подмосковные анархисты («люберы»), вешающие ненавистных столичных «металлистов», а в здании МХАТа на Тверском бульваре располагается Комиссия Национальной Безопасности, куда привозят перед ликвидацией арестованных горожан. «Горбатые» (по аналогии с керенками) деньги ничего не стоят, реально значат что-то только талоны и переводы из-за границы (а что за границей — тоже неясно)... Ничего себе картинка?

Впрочем, автор то и дело не выдерживает серьезно-мрачного тона (напускного, ибо описывает все с заметным азартом), и тогда то упоминается Василий Аksenov в явно пародийном контексте, то «черноподдевочки» с колями в руках, выявляющие в толпе сомнительных инородцев, заставляют прохожих читать наизусть «Слово о полку»... Так он (автор) смеется, что ли? Над чем? Над нашими страхами, томительными предчувствиями? Но, быть может, грешно над этим смеяться (когда я поздним вечером пишу эти строки, по телевидению говорят о боях в Закавказье, опровергают слухи о готовящихся еврейских погромах, якобы назначенных на май — тогда выйдет этот номер журнала).

А вот Кабакову нечего тревожиться за Юрия Ильича и его жену, поскольку вероятность выживания в кабаковском дейяности третьем году прямо пропорциональна личному умению владеть оружием, а Юрий Ильич, судя по всему, это умеет. Я рад за него, но — каково тем, кто не умеет?! Это мой вопрос. Автор его даже не ставит, повесть написана не о таких неумехах, и это не черствость, а неуклонное следование законам избранного жанра. Какого? Своего тяготения к коммерческим образцам писатель не скрывает, весь крут его установок, признается Кабаков, — «установки человека, занимающегося массовой литературой, ориентированной на современное общее восприятие». Мне представляется,

* Публикация продолжает разговор, начатый в «Новом мире» (1989, № 11).

что образцом (колодкой) служит в данном случае типовая модель западного фильма-катастрофы, будь то пожар в небоскребе, небывалое наводнение, землетрясение, нападение инопланетян или нечистой силы, что угодно. Важно, что истинным содержанием таких произведений является в первую очередь сама катастрофа, на воспроизведение которой усилий не жалеют, а основным действием оказывается борьба героя, сильного духом и телом, за свое выживание и за спасение хотя бы одной красотики, он просто обязан выжить, в противном случае нарушается чистота жанра, нарушается негласная, но всем очевидная договоренность между авторами и зрителями, которые уже настроились на определенные правила игры. Зритель, в частности, заранее знает, что кинематографисты не заставят его по-настоящему сострадать всем жертвам катастрофы, страшно — да, но не жалко; камера не задерживается на них, они только статисты, и — вперед, вперед, за главным героем.

Я не случайно назвал эту модель западной, у нас этот жанр не получил (пока) большого распространения. Отсюда, вероятно, проистекает неточное жанровое определение «Невозвращенца» в нашей критике, что приводит к непониманию поставленной автором задачи. В предисловии к «Невозвращенцу» К. Щербakov называет повесть антиутопией, жестким и трезвым предупреждением, вспомнивая, в частности, Замятина, а Р. Арбитман в «Литературном обозрении» относит книгу Кабакова к «литературе предупреждения». Но у самого автора иное мнение, он прямо заявляет (в интервью), что «Невозвращенец» написан не ради футурологической, а ради сатирической его части — вербовки Юрия Ильича сотрудниками таинственной «редакции», читай — госбезопасности. «Едиственное, что я мог сделать,— объясняет Кабаков,— это развлечь (разрядка моя.— А. В.) читателя на то время, пока он читает книжку».

Хотя писатель и открещивается от ампулы политического предсказателя, читатели, по моим наблюдениям, все-таки более склонны воспринимать повесть именно как прогноз (в занимательной облатке), они ждут от писателя прямых политических высказываний и, по существу, навязывают ему эту роль, и он высказывается — «о возможности гражданской войны — на сегодняшний день, по-моему, пятьдесят на пятьдесят... нет, вот коренной ломки не надо... наверное, это уже оскомину набивший библейский образ — сорок лет хождения по пу-

стыне...». В одном из интервью он заявил: «Я как раз о революционных опасностях писал в «Невозвращенце». Я не просто консерватор, а контрреволюционер». Вскоре та же газета напечатала его опровержение: «Я не был и не буду „не просто консерватор, а контрреволюционер“. Я вообще не консерватор в политическом смысле, поскольку у нас быть консерватором — это как раз быть „революционером“». Недоразумение типичное, если учесть выморочность нашего (перестроечного) политического лексикона.

Литература «катастрофы» (тем более катастрофы политической) не имеет у нас своей развитой традиции. Но любопытно, что появление «Невозвращенца» совпало с опубликованием близких ему по теме и приемам произведений, чего широкий читатель, может быть, и не заметил, поскольку публикации эти оказались разбросаны в малотиражных по нашим временам журналах. «Невозвращенец» сразу стал в ряд сочинений о нежелательных вариантах (ближайшего) будущего.

«Милая пьеска» Михаила Веллера, «эмигрировавшего» в 1979 году из Ленинграда в Эстонию, так и называется — «Нежелательный вариант», но в отличие от Кабакова, облекающего свое визионерство «в формы самой жизни», пьеса Веллера выдержана в условно-иронической манере. Время действия: примерно 2016—2017 годы — тридцать лет после Чернобыля, соответственно сто лет после Октября. В этом будущем, по Веллеру, «нас» всего 190 миллионов, да и тем осталось жить считанные месяцы. Страна гибнет «в несокрушимом единстве», как выражается Циник, один из персонажей «пьески». Место действия — бункер. Здесь автором собраны персонажи, гротескные типы времени — Генерал, Партбосс, Мент, Работяга и многие другие, — ассоциирующиеся скорее с марionетками, чем с живыми актерами: настолько они одномомерны, «управляемы» драматургом.

Там, наверху, — военное положение, трава опала, птицы сдохли, поросята трехглазые, в 1999 году была ограниченная ядерная война (с кем-то), столица эвакуирована... Персонажи ожесточенно борются за места в убежище (напрасно, спасения не будет). Фабулы, собственно, и нет, а сюжет образуется сцеплением, движением острых (с и ю м и н у т н о острых) реплик. Но сегодня что-то в душе на эти реплики бесспорно отзывается. «Шар-рах! (это взорвалась ленинградская атомная.— А. В.) — и кранты люльке трех революций... И что, хоть расселили? черта с два, запретили эва-

куацию: все спокойно, все меры принимаются», — вспоминает один из персонажей «марионеток». Но сочувствуем мы в этом случае самим себе, а не персонажам Веллера — так они все антипатичны, что вроде бы и не заслуживают никакого иного варианта, кроме «нежелательного»; отождествить себя с ними невозможно, да автор на это и не рассчитывал.

Мужчина и Женщина в одноактной пьесе Владимира Малягина «В Большом кольце», привычно наблюдающие из окна своего деревенского дома очередное зарево над очередным реактором, воспринимаются почти живыми, но и здесь автор больше сосредоточен на занимательных подробностях глобальной экологической катастрофы: в одиночку в лес ходить опасно — заяц выскочит, не загрызет, конечно, но потопчет (такого он размера), а уж если крыса... Мы невольно усмехаемся, чувствуя себя в безопасности; Чернобыль, конечно, был, но уж зайцев таких у нас не будет. Жить можно. Но и они, персонажи Малягина, тоже считают, что жить можно:

«Мужчина. Как хоть там, в Москве-то?

Володя. Воду и хлеб каждый день выдают, соль по понедельникам...

Женщина. Люди-то хоть не бегут?

Володя. Поначалу, правда, бросились некоторые, да поняли потом, что Москва все равно лучше снабжается...»

Ну чистый Михаил Задорнов, не правда ли? Светопрествление (пьеса заканчивается тьмой и великим трясением земли) становится материалом для игривого «черного юмора»: вроде бы и страшно и жалко, но более всего — смешно. А ведь это «Драма-эпиплог» о гибели России в большом кольце взрывающихся АЭС. «А что, Коля, есть где-то земли нашей лучше?» — «И лучше, должно, есть, Соня, и хуже... Только такой нет нигде и не будет уже никогда...» Каламбур-с!..

Юмора довольно и в коротком рассказе Елизаветы Куцины, изображающем иной, более локальный вариант чисто политической катастрофы и последующего, как бы «потустороннего» существования (после гипотетического «умиротворения» прибалтийских республик в... 1989 году). Трудно сказать, что для автора важнее — колоритные подробности новой жизни вроде талонов в публичные дома или саморазоблачение некоего Кудрявцева, тупого «мигранта» (вот ведь нашелся жупел...). Под окнами у Кудрявцева стоят бронетранспортеры, но он от этого не чувствует себя ущемленным. Напротив, стало спокойно, никто теперь не хватает на улице за рукав: подписывайся,

мол, за «бриву ун неаткаригу» — свободную и независимую Латвию. «Я же первый буду голосовать, чтоб (войска.— А. В.) остались», — рассуждает пьяный Кудрявцев. А спиртного теперь в Риге — хоть залейся, даже в булочной кооперативный самогон; тем более что при новом порядке не пить нельзя, а то утром на работе притянут к ответу: почему трезвый? Может, ты ночью листовки печатал?

Но что же все-таки случилось (-ится)? По крайней мере три автора отвечают однозначно: перестройка закончилась военным переворотом.

Елизавета Куциня: «Как ринулось это железо с разных сторон на Ригу, ну, думали, амбец пришел, туши свет, суши веники. Так ведь и стреляли-то чуть-чуть. Туда-сюда, комендант города, мол, товарищ Хабабуллин, просим-де любить и жаловать».

У Михаила Веллера обреченные спорят — «кто виноват?»:

«Памятливый. У вас был шанс в конце восьмидесятых... И ведь вам поверили, поверили!..

Партбосс. Это такие горлопаны и экстремисты, как вы, все тогда погубили!.. А в результате эти гориллы (кивает на Генерала) подребли все под себя!..

Генерал. Да если б не мы, вас бы всех на фонарях перевешали!..

Партбосс. А вы знаете, кто провоцировал все эти мятежи?.. Кто стоял за Гомельским бунтом — знаете?

Урод. Тридцать лет мутаций после Чернобыля — вот что и стояло».

Вот и у Кабакова персонажи беседуют об агонии общества:

«Извольте, мы начали лечение. Длительный, сложный курс терапии... А в девяносто втором (!) — метастаз: его превосходитество генерал Панаев. Это — верная смерть...»

А честно признаться, в нашем общественном сознании это почти уже общее место¹, в прессе — тема фельетона; у Л. Треера в «Московских новостях» некоему депутату снится, как матросы разгоняют съезд: «И вот сижу я в огромном кабинете с именным маузером на столе. А передо мной стоят удрученные граждане Абалкин Леонид, Шмелев Николай, Попов Гавриил и прочая контра... Вроде бы умные люди, а рыли подкоп под социализм».

Так прогнозы это или нет?

¹ В журнале «Родина» (1989, № 12) А. Назимова и В. Шейнис прямо предрекают нам через «один-два неверных шага» правый переворот, «придет свежая диктатура с обновленными лозунгами (они уже мелькают) и крепкими зубами (их заботливо отращивают)».

Примечательно недавнее признание фантаста Аркадия Стругацкого: раньше они с братом описывали общество, в котором им хотелось бы жить, а сейчас — общество, которого они боятся. «Бойтесь или провидите?» — переспрашивает интервьюер. «Ничего провидеть нельзя». «Ну, просчитываете». «И тем более не просчитываем», — терпеливо объясняет А. Стругацкий. Думаю, что и другие авторы ничего не «провидят», а просто изображают то, чего боятся или делают вид, что боятся. Говорю — делают вид, поскольку авторы (и это сразу, подсознательно воспринимается в процессе чтения) нисколько не соотносят самих себя и нас, ныне живущих, с творимыми ими фантомами. Их персонажи — это какие-то «они» (не мы), в худшем случае истекающие, по выражению Блока, просто клюквенным соком. А кровь-то уже льется — настоящая...

И в то же время независимо от своих намерений авторы как бы причащают нас к мысли о «нежелательном варианте» (см. у Веллера: «Имели шанс при Столыпине — не вышло. При Глебе — не вышло. При Хрущеве — не вышло. При Горбачеве — не вышло»); но существует феномен обратной связи — самоосуществляющийся прогноз, когда мы своими поступками формируем такое будущее, в которое верим (пусть и боимся его): объявленный незадолго до выборов предварительный прогноз их исхода косвенно влияет на результаты самих выборов, а если в условиях здоровой экономики предприниматели и потребители, поверив, что стране грозит инфляция, начнут действовать соответственно этой установке, инфляция и в самом деле неизбежна.

Я далек от мысли видеть в этом некую тягу к небытию во фрейдистском духе, и все-таки с самого начала в нашей перестройке ощутимо присутствовало какое-то мазохистское убеждение, что все равно у нас ничего хорошего получиться не может, какое-то странное «упование на неудачу», которая задним числом еще раз подтвердит проклятие, (будто бы) тяготеющее над страной. Эта заикленность на неудаче, пока еще щекочущей нервы читателю ощущением сегодняшней (совершенно мнимой) безопасности, и вызывает мое неприятие.

Но, может быть, сама тема властно диктует писателям творческие установки, ориентирует на определенные образцы? (Напомним, у Кабакова это западный фильм-катастрофа, у Елизаветы Куцини — монологи Жванецкого, у Малягина — черный «чер-

нобыльский» юмор, у Веллера — политический капустник для кукольного театра.) Можно ли на эту тему писать иначе? Можно. Я даже не предполагаю, я знаю, прочитав рассказ Л. Петрушевской «Новые Робинзоны (Хроника конца XX века)»².

От кого и чего скрывается в деревенской глуши семья бывших горожан? Автор (и это примечательно) не называет главный источник опасности, оставляя простор читательскому воображению. Ясно только, что случилось нечто катастрофическое, небывалое, Старого мира больше нет (радио молчит), вшору начинать новое летосчисление. Страшась таинственных «хозкоманд», бродящих в поисках продовольствия и женщин, семья вновь и вновь отходит на предусмотрительно подготовленные позиции, бросая плоды своего нелегкого труда; но что-то беззащитно обреченное есть в этих ухищрениях и в самой интонации девушки, ведущей рассказ, — в новых враждебных условиях выживает скорее всего кто-то другой, неведомый, руководствующийся блатным правилом «умри ты сегодня, а я завтра». А отец и мать юной рассказчицы человечны и активно сострадательны — принимают в семью³ маленькую девочку, младенца, старуху, хотя все это весьма осложняет их непрерывное отступление все дальше и дальше в леса.

У Петрушевской есть истинное сострадание, неподдельная сердечная тревога за человека, брошенного в конце столетия на произвол истории, ибо «оказалось также, что никакой труд и никакая предусмотрительность не спасут от общей для всех судьбы (разрядка моя.— А. В.)...». «Мы живем, ждем,— заканчивает рассказчица свой монолог,— и там, мы знаем, кто-то живет и ждет, пока мы взрастим наши зерна и вырастет хлеб, и картофель, и новые козлята,— вот тогда они и придут. И заберут все, в том числе и меня... Но нам до этого еще жить да жить». Зерна, козлята — тут (лично у меня) неволью возникают библейские ассоциации, восходящие к той книге Ветхого завета, что считается квинтэссенцией пессимизма, но плохо прочитана теми, кто запомнил из нее только «суету сует»; нет — «все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости» (Екклесиаст, 9, 10). У «робинзонов» в рассказе Петрушевской есть ружье, огоро-

² «Новый мир», 1989, № 8.

³ Характерно, что у Кабакова Юрий Ильич и его жена бездетны. Они могут думать только о самих себе. Нам, читателям, этого не дано. Петрушевская пишет о нас.

собака и кошка, мудрая бабушка — «кладезь народной мудрости и знаний», есть мальчик и девочка «для продолжения человеческого рода», а главное — у них есть чистая вода, не срубленные леса, не зараженная земля; писательница не использует (в отличие от других «футурологов») вариант экологической катастрофы и дарит

своим героям саму Природу, огромные холмные пространства некоего Нового света, на которых еще не поздно начать писать сызнова Книгу Бытия. И этот щедрый жест более убедителен, чем вся заполитизированная «футурология», не знающая надежды и любви.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.

Политика и наука

ИМПЕРСКИЙ ВЕК

Александр Кравчук. Нерон. Исторический роман. Перевод с польского С. Ларина. М. «Радуга». 1989. 295 стр.

Перевод любого исторического романа о временах Нерона, Сенеки, ап. Павла привлекает внимание. Выбор тут имеется: можно издать роман совсем неизвестного у нас (в отличие от всего мира) финского писателя М. Валтари; можно перевести Р. Грейвса, книги которого «Я, Клавдий» и «Клавдий император» были прочитаны за рубежом миллионными (а еще десятки миллионов видели многосерийный фильм, поставленный по этим произведениям).

Но издательство «Радуга» немало удивило читателей, представив как роман книгу польского историка А. Кравчука. Заглянув в послесловие С. Бэлзы, читатель узнает, что Кравчук отрицательно относится к самому жанру исторического романа. Указывая на это отнюдь не для того, чтобы принизить значение рецензируемой книги. Одно время в газете «Жиче Варшавы» раз в неделю появлялись изящные эссе Кравчука о том или ином событии античной истории. Он является автором дюжины книг, отнюдь не романов — последних он не пишет именно потому, что не считает их ни настоящей историей, ни настоящей литературой. В отличие от писателя, который и сам «вживается» в прошлое, и читателя побуждает смотреть глазами давно умершего человека, историк сохраняет дистанцию. Прошлое нужно понять именно в его инаковости. Мы уже никогда не сможем смотреть на мир глазами Нерона, Петрония, Веспасиана, наше «Я» не переносится, не вмещается в римскую жизнь, и историк, пытающийся осуществить герменевтическое «вчувствование», расплывчатается за это искажением прошлого. Мы обращаемся к истории из нашего времени — во многом для того, чтобы понять настоящее и будущее.

Оригинальность книг Кравчука (ранее у нас была переведена его книга о Клеопатре) состоит в том, что он соединяет античное жизнеописание с современным историческим исследованием. Мы находим массу

интереснейших подробностей о быте римлян, о жизни сенаторов и всадников, поэтов и философов, вольноотпущенников и легионеров. В отличие от античных жизнеописаний, целые главы здесь посвящены тем участникам истории, существование которых не соприкасалось с жизнью последнего представителя династии Юлиев-Клавдиев. Главный герой повествования не знал того, что знает историк: насколько его жизнь определялась торговыми связями и политическими институтами, древними полисными обычаями и их преобразованием в условиях империи.

Поэтому автор избегает оценочных суждений. Нерон вошел в историю как один из самых порочных и преступных правителей. «Насколько Нерон потерял добродетели своих предков, настолько же он сохранил их пороки», — писал Светоний; да и кто может родиться от «гнуснейшего во всякую пору его жизни» отца и такой хищницы, как Агриппина? Книга Кравчука, конечно, не является апологией Нерона, однако Нероны возникают при соответствующих обстоятельствах, пороки и преступления не предопределены рождением. Воспитателем Нерона был Сенека, будто бы увидевший во сне, что ему выпало воспитывать Гая Цезаря; к власти привел его добродетельнейший Бурр. Убийства Британика и Агриппины совершались с молчаливого согласия этих мудрых советников, видевших в них государственную целесообразность...

Первое пятилетие, впрочем, почти не было запятнано кровью. «Экономика повсюду развивалась с успехом. Административная машина была четко отлажена. Наместников подбирали умело, злоупотребления сурово наказывались... Народ хвалил бы Нероновы зрелища безо всяких оговорок, не будь они такие культурные и такие греческие». Если сенаторы за что и упрекали Нерона, то лишь за чрезмерное увлечение пением, поэзией, скачками. Из книги мы

узнаем, что Луций Домиций, ставший императором Нероном, был талантливым поэтом, любил рисовать и ваять, не говоря уж о пристрастии к театральному действу. Поджог Рима Кравчук считает тенденциозной легендой, тогда как огромные усилия Нерона по восстановлению сгоревшего Рима являются историческим фактом.

Ни художественные увлечения Нерона, ни его знакомство с астрологией, ни преклонение перед Грецией, ни распутство не объяснят нам, почему изменился характер правления, а Нерон вошел в историю как кровавый лицедей. Стоило растратить казну на строительство Рима и прочие «стройки века», как потребовалось изымать средства у римской знати. Раскрыт заговор, казни вызывают все большее возмущение, начинается хоровод смерти. И завершается все вполне традиционно — начав правление с «золотого века», цезари редко умирают своей смертью. Лишь слова «Какой артист погибает!» отличают этого властителя от прочих.

Дело, таким образом, не в императорах, а в империи. Случались среди цезарей люди с психическими нарушениями — тот же Калигула, но патология власти была не индивидуальной. В свое время Монтескье заметил: «Нет более абсолютной власти, чем та, которой располагает государь, ставший преемником республики, ибо он сосредоточивает в себе всю власть народа, не сумевшего ограничить самого себя». Итогом покорения мира, исполнения «римского мифа» оказывается удовлетворение алчности немногих, народ превращается в разучившуюся работать, ожидающую «хлеба и зрелищ» толпу, которая без сожаления смотрит на гибель богатых и знатных и «находит свою безопасность в своей низости».

В книге Кравчука мы находим массу примеров того, как в условиях империи преобразуются древние республиканские законы. Например, оскорбление величества считалось государственным преступлением, ибо император представлял римский народ — он был наделен традиционно почитаемой властью народного трибуна. Оскорблявший его, не проявлявший должного почтения к его статуе, не присягавший на верность оскорблял величие римского народа. «Обвинения такого типа служили неиссякаемым источником доходов для доносчиков». Так преобразилась римская добродетель, сделавшись орудием имперской власти.

Если современники и укоряли Нерона, то никак не за преследование христиан. Тацит

осудил его только за чрезмерную суровость, а Светоний, перечисляя заслуги императора, пишет: «...всеобщие угощения заменены раздачей закусок, в харчевнях запрещено продавать вареную пищу... а раньше там торговали любыми кушаньями, наказаны христиане, приверженцы нового и зловредного суеверия, запрещены забавы колесничных возниц...» Так, между харчевнями и возницами, стояли в сознании римлян живые факелы Нерона. В христианах видели секту, ожидающую близкого прихода царя, который подвергнет мукам все человечество, за исключением горстки избранных? «А кем будут эти избранные? — восклицает А. Кравчук. — Те, кто презирает все, что составляет радость и прелесть жизни: любовь, забавы, игры, науку и искусство, даже родную землю». Примирение с миром произойдет позже, появятся блестящие богословы, христиане передадут европейским народам античную философию и литературу. А пока их преследуют за «безбожие» — вера в запредельного бога была для античного человека равноценна самому настоящему «атеизму». Куда менее странным кажется нам преследование христиан за отказ от клятв в честь императора. Государственные ритуалы меняются, суть остается неизменной...

Интерес нашего века к императорскому Риму не случаен, как не случайно и воодушевление республиканскими добродетелями двести лет назад. Верлену еще приходилось напрягать воображение, чтобы представить себя «империей в конце упадка», тогда как его переводчику на русский уже было понятно, чего требует от «актера» империя — «полной гибели всерьез». Первая половина XX столетия видела множество крупных и мелких цезарей. Быть может, история — «учительница жизни» — так никого и не научила?

Так или иначе, любовь публики к историческим романам объясняется по большей части не познавательным интересом, а желанием бежать от бед и забот современности. Историческое же повествование А. Кравчука служит не развлечению или поучению. Эта добротная научно-популярная книга отличается ориентацией на самого широкого читателя, стилистическим совершенством, ясностью изложения. Она интересна и тем, кто читал Тацита, Светония, Сенеку, и тем, чьи познания ограничиваются школьным учебником.

В ДОПОЛНЕНИЕ К «ДЕЛУ Н. С. ГУМИЛЕВА»

В июне 1921 года в особый отдел ВЧК поступило детальное заключение оперативной группы по делу, получившему кодовое наименование «Вихрь». Ему было установлено, что подпольная организация в окрестностях городка Себеж, возглавлявшаяся генералом Ф. И. Балабиным, «начальником заграничной белогвардейской контрразведки в районе Псковской и Витебской губерний», действовала под эгидой парижской монархической организации великого князя Дмитрия Павловича Романова, двоюродного брата последнего царя. Отношения между ними поддерживали эмиссары великого князя — представители русских аристократических фамилий; с Балабиным тайно встречался начальник контрразведки Латвии генерал Аккерман. Организация располагала складами доставленного из-за границы оружия и множительной техникой, деятельно готовила широкомасштабное антисоветское восстание в пограничной полосе. В списках выявленных ее членов фигурировали 99 человек: учителя, специалисты сельского хозяйства, врачи, кадровые военные, служители культа. Разработчики тщательно вычертили три схемы связей организации с подпольными контрреволюционными группировками в Москве, Петрограде, Тамбовской губернии, на Украине, с правыми эсерами и заграничными центрами.

Почти месяц по делу «Вихрь» усиленно трудились оперативные сотрудники особого отдела Ж. Х. Бенсон, Л. Н. Мейер и В. В. Ульрих. На заключительном этапе группу возглавил Я. С. Агранов, недавно перешедший с поста секретаря Малого Совнаркома на должность особоуполномоченного особого отдела ВЧК. Еще до первого знакомства с материалами «подпольной группы» Агранов заявил: «Я начинаю считать Себежское дело первостепенным по своей важности».

Для ликвидации опасного антисоветского гнезда на западную границу выехали начальник спецотделения ВЧК Р. А. Пиляр и его помощник К. В. Паукер. Утром 15 июня были проведены аресты. Однако аресты и обыски не дали никаких результатов — ни оружия, ни боеприпасов, ни подпольной типографии обнаружить не удалось. Вскоре Паукеру передали телефонограмму Пиляра, что дело «Вихрь» — провокация и что арестованные 11 человек освобождены.

Сведения о якобы существовавшей организации монархического толка в середине марта 1921 года сообщил пограничникам некий Г. К. Павлович. На предложение сотрудничать он ответил согласием, надеясь использовать связи в корыстных, карьеристских устремлениях. За два месяца «сотрудничества» он поставил рожденные богатым воображением «материалы», послужившие основой для преследования за контрреволюционную деятельность почти сотни человек. Для группы Агранова вздорные доносы единственного информатора послужили базой к раздуванию дела, чтобы тем самым показать свою проницательность, высокую профессиональную ценность и любой ценой продвинуться по службе.

В этом отношении между двумя истинными создателями «Себежского дела» было много общего. Г. К. Павлович ненадолго получил мандат чрезвычайного уполномоченного Совета Труда и Оборона в Псковской и Витебской губерниях. Однако по обвинению в «намеренно злостной провокации» он был арестован и 30 июля 1921 года постановлением судебного заседания президиума ВЧК приговорен к расстрелу. О принятом решении население Себежа извещалось специальной листовкой¹. Само фальсифицированное дело никак не отразилось на судьбе двух главных участников оперативной группы, Я. С. Агранов начал стремительно продвигаться по службе. Второй разработчик «Вихря», В. В. Ульрих, стал впоследствии председателем Военной коллегии Верховного суда СССР.

¹ Архив управления КГБ СССР по Псковской области, д.с.—9416, л. 1—450.

После неудачи с Себежем Агранов с не меньшей энергией продолжает свою деятельность в Петрограде. 26 июля 1921 года на двух полосах «Петроградской правды» публикуются выдержки из доклада ВЧК о раскрытых и ликвидированных заговорах на территории Республики, содержавшие первые сведения об «Областном комитете Союза освобождения России» и его составной части — «Петроградской народной боевой организации» (ПБО). На состоявшемся 31 августа расширенном заседании Петроградского Совета его участники «с неослабным вниманием» слушали подробный доклад председателя губчека Б. А. Семенова о заговоре. Докладчик сообщил, что при проведении арестов погибли 7 и ранены 8 чекистов, изъяты вещественные доказательства — оружие, динамит, тюки антисоветских листовок, — показал образцы прокламаций². В тот же день в «Известиях ВЦИК» появилось обширное сообщение ВЧК «О раскрытом в Петрограде заговоре против Советской власти», перепечатанное 1 сентября «Петроградской правдой». Вот, собственно, и вся известная к настоящему времени «источниковая база» по этому делу.

В делах «Вихрь» и ПБО много странных совпадений. Общими руководили из-за рубежа монархические организации, их члены вели активную шпионскую работу в пользу империалистических спецслужб, главную роль играли бывшие офицеры, обе стремились свергнуть советскую власть вооруженным путем, установили связи с правыми эсерами и т. д. Между тем ни Балабин, ни руководители ПБО не могли рассчитывать на успех выступления силами 99 и 200 человек. По мнению следствия, главную ставку они делали на помощь извне и, учитывая рекомендации из Парижа, приурочивали восстание к моменту сбора продовольственного налога в конце августа — начале сентября 1921 года.

Не выявленные ли в ходе этого следствия планы мятежа в Петрограде и северо-западном регионе обусловили принятие чрезвычайных мер? 13 августа в полномочное представительство ВЧК в Петроградском военном округе поступило распоряжение заместителя председателя ВЧК И. С. Уншлихта обеспечить мобилизацию коммунистов для усиления охраны государственной границы на ближайшие две-три недели. 16 августа президиум ВЧК принял решение усилить пограничные особые отделения и довести численность погранвойск до штатного состава, обеспечив их обмундированием, пайками и т. д. 24 августа председатели ЧК пограничных губерний получили экстренную цифровку за подписью начальников секретно-оперативного и административного отделов ВЧК В. Р. Менжинского и Г. Г. Ягоды. В ней сообщалось, что, по данным ВЧК, на 25—28—30 августа намечалось крупномасштабное вторжение вооруженных отрядов через западную границу Республики. Направленным из Финляндии и Эстонии группам надлежало захватить узловые железнодорожные станции на линии Петроград — Дно — Витебск. Отряды с территории Латвии 28—30 августа занимали Псков. Формирования полковника С. Э. Павловского наносили удар в треугольнике Полоцк—Витебск—Смоленск. Частя Н. Махно 28 августа планировала войти в Киев... Руководство ВЧК приказало образовать в губерниях, уездах и на железнодорожных станциях чрезвычайные тройки, скрытно мобилизовать бойцов частей особого назначения, установить связь с воинскими подразделениями, контроль за коммуникациями и т. д. Указанные меры были приняты. Но сроки прошли, массового вторжения контрреволюционных сил не последовало. Поступила новая директива ВЧК: усиленную охрану ослабить, ибо ожидавшееся вторжение отложено на середину сентября «за неподготовленность»³. В сентябре также никаких массовых акций не произошло. Правда, положение в северо-западном регионе оставалось напряженным: вооруженные формирования савинковского «Народного союза защиты родины и свободы» начали производить опустошительные налеты на пограничные уезды. Но истинная оперативная обстановка не имела ничего общего с безграничными фантазиями. Возникает вопрос: случайно ли совпали телеграмма ВЧК и постановление коллегии Петроградской ЧК о расстреле 61 активного участника ПБО именно 24 августа?

Расстрел не следует увязывать с красным террором. Еще 17 января 1920 года ВЦИК и СНК приняли постановление об отмене смертной казни. Однако 4 ноября того же года ВЦИК и СТО предоставили губернским революционным трибуналам и чрезвычайным комиссиям право «непосредственного исполнения приговора до расстре-

² Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства Ленинграда (ЦГАОРЛ), ф. 1000, оп. 5, д. 20, л. 1—16.

³ Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС), ф. 17, оп. 84, д. 227, л. 45, 47. Партийный архив Псковского обкома КПСС (ПАПО), ф. 1, оп. 1, д. 157, л. 54, 61.

ла включительно» в местностях, объявленных на военном положении. В Петрограде в связи с кронштадтскими событиями было введено военное и осадное положение.

Б. А. Семенов, касаясь в своем выступлении в Петросовете 21 августа 1921 года роли Н. С. Гумилева и некоторых профессоров в ПБО, употребил слово «вовлекались». В опубликованном же постановлении ЧК в отношении Н. С. Гумилева фигурировали формулировки: «активно содействовал составлению прокламаций», «обещал связать с организацией», «получал от организации деньги». Оснований для вывода о вине поэта за недоносительство нет. Ясно, что понятия «обещать», «содействовать» и «вовлекаться» не соответствуют активному участию в заговоре. Известна запись В. И. Лениным мнения М. Горького о приговоре: «...из рук вон плохо»⁴.

Почему после ликвидации ПБО Б. А. Семенов был снят с поста председателя Петроградской губчека? Руководство ВЧК не раз настаивало перед Г. Е. Зиновьевым на его замене, считая, что в Петрограде «должен быть товарищ, более искусный как чекист», организовало централизованную проверку Петроградской ЧК. 20 октября 1921 года Политбюро ЦК РКП(б), заслушав сообщение И. С. Уншлихта о результатах этой ревизии, признало работу ЧК неудовлетворительной и поручило Оргбюро ЦК и ВЧК внести на утверждение новые кандидатуры в коллегию Петроградской губчека, учитывая исключительную важность Петрограда и необходимость работы «авторитетных и вполне компетентных в политических вопросах лиц». Бюро Петроградского губкома РКП(б) удовлетворило ранее поданное Семеновым заявление об уходе с занимаемого поста⁵.

Нет оснований не доверять официальным сообщениям ВЧК, докладу и его обсуждению в Петроградском Совете и ряду ленинских документов. Возможно, параллели в делах «Вихрь» и ПБО, которые вел Агранов, случайны. Но случаен ли сам стиль его работы? Ведь недаром в канун большого террора Агранов сделался одним из руководящих работников НКВД СССР и играл ведущую роль в организации судебных процессов 30-х годов...

Историки и литературоведы не могут сказать ничего определенного о последних месяцах жизни русского поэта Николая Степановича Гумилева. Они вынуждены базироваться в своих выводах на немногих односторонних прямых и косвенных документах, порождающих новые проблемы. Необходимо обратиться к сохраняющимся в архиве томам дела Петроградской боевой организации. Только предусмотренное законом разбирательство прокуратуры и обоснованное судебное решение способны ответить на эти вопросы, давно и безуспешно задаваемые общественностью.

М. ПЕТРОВ,

кандидат исторических наук.

Новгород.

⁴ ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 2, оп. 1, д. 20591.

⁵ См. «В. И. Ленин и ВЧК. Сборник документов (1917—1922 гг.)». М. 1987, стр. 484; Партийный архив Института истории партии Ленинградского обкома КПСС (ЛПА), ф. 16, оп. 1, д. 53, л. 77—93; д. 57, л. 75.

КОРОТКО О КНИГАХ

*

БОРИС КОСТЮКОВСКИЙ, СЕМЕН ТАБАЧНИКОВ. *Время не властво. Повесть о Дмитрии Курском.* М. Политиздат. 1989. 399 стр.

Как сообщает аннотация, авторы «около двадцати лет совместно работают над художественно-документальными произведениями о пламенных революционерах». Герой их новой книги Дмитрий Иванович Курский — «убежденный большевик, участник Декабрьского вооруженного восстания в Москве в 1905 году, нарком юстиции РСФСР в первое десятилетие Советской власти, советский дипломат».

Судить о художественных достоинствах повести я не берусь. А вот называть ее документальной, полагаю, не стоило бы. Напротив, она примечательна именно как образец произвольного искажения или игнорирования общеизвестных фактов.

Курский в изображении авторов книги — правовед высокой квалификации, истинный гуманист, неумолимый защитник справедливости. А потому в книге нет никаких сведений ни о ревтрибунальских тройках, коим официально разрешалось вершить суд и расправу без оглядки на законы, ни о массовых и опять же официально разрешенных внесудебных расстрелах, ни о концлагерях, для отправки в которые довольно было «подозрения в сочувствии противнику», ни о сети лагерей принудительных работ — прообразе сталинского ГУЛАГа. А ведь ко всему этому нарком юстиции имел непосредственное отношение. Знаменитые декреты о трудовой повинности и борьбе с трудовым дезертизмом авторы тоже обошли вниманием.

Поскольку запретных тем очень много, авторам постоянно приходится лавировать, дабы случайно не сказать лишнего. А на этом пути конфуза не избежать. Возьмем так называемый процесс правых эсеров в 1922 году. Ранее амнистированные эсеры после ряда провокаций НКВД были арестованы по заведомо вздорным обвинениям. Фальшивка была настолько явной и грубой, что в защиту обвиняемых выступили зарубежные социалисты и коммунисты, поддерживавшие Горьким, Анатолем Франсом и другими писателями и журналистами. Эти факты сегодня общеизвестны. О чем же мы узнаем от авторов? «Все шло, как полагается по закону», — пишут Б. Костюковский и С. Табачников. Члены ЦК партии эсеров и ее наиболее активные боевики, сообщают авторы, были осуждены на смерть, но Президиум ВЦИК приостановил действие приговора. «Так весь мир узнал о высокой нравственной силе и гуманности советского правосудия». Да, казнь действительно не состоялась, но мир узнал вовсе не о гуманности советского правосудия. Читателю «забыли» поведать одну весьма существенную подробность: осужденные оказались заложниками, ответственными за действия эсеров-эмигрантов. Об этом прямо сказано в постановлении Президиума

ВЦИК, согласно которому смертники должны были ожидать возможной казни, оставаясь в «строгом заключении». Причем было их не шесть, как утверждают авторы повести (перепутав к тому же фамилии), а двенадцать.

Можно привести немало примеров, свидетельствующих о пренебрежении авторов книги к исторической правде. Вот страницы, имеющие отношение к А. М. Горькому, с которым Курский встречался во время дипломатической службы в Италии. Если верить книге, Горький в ту пору жил на Капри, а вилла его называлась «Сорризо». В действительности же он жил в Сорренто, а вилла называлась «Соррито» (Il Sorrito). Озадачит читателя и рассказ о встрече Горького с пассажирами теплохода «Абхазия» — ударниками, премированными «за хорошую работу путешествием вокруг Европы». Оказывается, встречу с Горьким «участники круиза поставили первым условием своего пребывания в Италии». Поскольку это сообщение никак в книге не комментируется, можно лишь гадать, кому было поставлено в 1930 году такое условие: Муссолини, самому Горькому или, может быть, Советскому правительству? Одна совсем уж мелкая, но забавная подробность: беседуя с туристами, Горький «вскидывал непослушную шевелюру, то и дело спадавшую ему на лоб». Когда успел отрастить? На фотографиях 1930 года шевелюры нет...

Д. Фельдман.

*

ВОСПОМИНАНИЯ О ПАВЛЕ ВАСИЛЬЕВЕ. *Алма-Ата, «Жазушы», 1989. 302 стр.*

«Полюны сноп, степное юдо, полуказак, полукентавр» — так писал в 1932 году Николай Клюев о Павле Васильеве... Эти взрывчато ослепительные слова остаются в памяти. Вот почему книгу, где собраны воспоминания о П. Васильеве, открываешь с опаской: удалось ли их авторам поведать о многогранности и кричащих противоречиях личности поэта, о его трагических взаимоотношениях с эпохой, в конце концов приведших к его физическому уничтожению?

В предисловии говорится: «Задача книги — с возможной полнотой и объективностью раскрыть образ большого и сложного художника». Составители сборника, не одно десятилетие занимающиеся библиографическими разысканиями о П. Васильеве, сделали для решения этой задачи все, что было в их силах. Они отыскиали людей, знавших П. Васильева в детстве и ранней юности, побудив их либо написать о поэте, либо рассказать о нем (перенеся затем эти рассказы на бумагу). Большая часть этих воспоминаний, публикуемых впервые, содержит факты, которые, без сомнения, станут составной частью будущей научной биографии поэта,

Важно, что вошедшие в сборник воспоминания,— это очевидно,— не подвергались постороннему вмешательству, так сказать, «цензуре нравов» — и потому на них, как правило, нет «хрестоматийного глянца». И родственники, и близкие П. Васильева, и многие из его друзей и знакомых не умалчивают о тех особенностях характера поэта, которые не раз приводили его к конфликтам с окружающими людьми и с властью предрешающими.

Так, в открывающих сборник воспоминаниях В. Васильева, родного брата поэта, читаем: «Павел унаследовал от отца упрямство, решительность, необычайную силу характера и... частицу грубости и эгоизма». Его первая жена, Г. Анучина, пишет: «Павел был человеком больших чувств и страстей. В нем всегда жили два человека: один хороший, другой — плохой. Он сам мне писал в одном из писем: „Галина, верь мне хорошему и не верь плохому“». Наиболее отчетливо высказался в этом плане поэт М. Скуратов:

«Если б я стал писать о Павле Васильеве всю правду-матку, меня могли бы упрекнуть в клевете на славного русского советского поэта. А он был полон противоречий, в нем умещались добро и зло, и бог знает что!.. «Человек он был!..» — говоря словами Шекспира... он таил в себе уму непостижимые бездны, почти по Достоевскому, которого он любил и отлично знал и понимал... Он был лучше, чем о нем пишут! Живее! При всех своих грехопадениях. А грехопадения были!..»

И все же после знакомства с книгой в целом складывается впечатление, что полноценное художественное воплощение яркой, противоречивой и трагической личности Павла Васильева по плечу не мемуаристам, но биографу-романисту такого же, как у его героя, масштаба дарования. Впрочем, здесь уже идет речь об общих проблемах мемуаристики...

Нельзя обойти молчанием высокопрофессиональную источниковедческую оснащенность книги — такое редко встретишь и в изданиях подобного типа... Послесловие С. Черных и Г. Тюрина «Павел Васильев (К биографии поэта)» содержит множество новых и малоизвестных биографических сведений о семье поэта, его детских и юношеских годах (начиная с уточнения его даты рождения), которые, по существу, вводятся в широкий научный оборот впервые.

В источниковедческом плане хотелось бы сделать лишь два небольших уточнения. Стихотворение П. Васильева «Баллада о Джоне» названо в комментариях неопубликованным; этим мотивировано воспроизведение его полного текста. Между тем оно уже появилось в печати годом раньше — в книге П. Васильева «Верю в неслыханное счастье» (М. «Молодая гвардия», 1988). В послесловии цитируются «Стихи в честь Павла Васильева» М. Голодного со ссылкой на архивный источник (ЦГАЛИ). Однако М. Голодный при жизни П. Васильева опубликовал это стихотворение дважды.

Отметим в заключение, что более чем скромный тираж рецензируемой книги (семь тысяч экземпляров) никак не соответствует значимости ее содержания.

С. Субботин.

✱

АЛЕКСАНДР ЗОРИН. Вверх по водопаду. Книга стихотворений. М. «Современник». 1988. 127 стр.

АЛЕКСАНДР ЗОРИН. Гнездо. Стихи. М. «Советский писатель», 1989. 160 стр.

У Александра Зорина, не слишком изобалованного публикациями, вышли две поэтические книги. Названия их почти взаимоисключающи. «Гнездо» — знак дома, покоя, укорененности. «Вверх по водопаду» — движение, преодоление, напряженный путь. Противоречия здесь нет — таков этот необычный лирический характер, цельный и мятущийся, близкий к судьбе то «столпника», то «путника». С этим вот слиянием крайностей связаны и два ведущих символа зоринской лирики: дом с чадами и домочадцами и звезда да, высокая и одинокая. Поэт мечтает: «И если не выдохнусь, выстрою дом под аркой закатного неба», — но как бы ни крепок был дом — высь вырвет его из тенет уюта

В свинцовый столб воды.
И — силась тьмы громаду
рассечь, на зов звезды —
вверх, вверх по водопаду.

Александр Зорин — поэт очень современный и безжалостный. Он не боится писать страшный быт, «идя на свет сквозь мерзость запустения». Предметом поэтического постижения становится и клиника для умиленных, и тесная общая кухня, и дом престарелых, и бог знает что еще. Вырисовывая неприкрашенный быт, бьющий человека «костоломно кувалдой», Александр Зорин никогда не смакует его, а лишь напоминает нам:

Но смертный да не смеет
в унынье забывать:
где злора матереег,
там крепнет благодать,
внушая благодарность
к Тому. Кто нам велит
принять как знаи, как данность,
что мир во зле лежит.

Принять как данность, но и преодолеть внутренне, высветлить лучами добра. Злу противостоит смирение (но только, как подчеркнет Зорин, не «насильственное смирение»), сострадание к ближнему, «жажда чуда, преданности, лада». Как сказано об одном из героев зоринской лирики, «в нем, в отчаявшемся, вера родилась, невозможная тлея». Вера дает ему силы во всей трагической зыбкости, многокрасочности, изломанности бытия сохранить чистоту и определенность основ: «Здесь только два пути: с Иродом или с волхвами».

В книгах Зорина звучит исповедь души глубокой, живой. Земной материал, преобладающий в этой религиозно одушевленной лирике, формирует не только излюбленные темы автора, но и его поэтику. Письмо А. Зорина отличает извилистый — с резкими, но пластичными переносами, инверсиями, скачками — равный дыханию синтаксис...

В стихотворении «По дороге в церковь» («Попутчица») сливаются две выстраданные поэтом темы — судьба России, предом-

ленная в отдельных горестных народных судьбах, и судьба православия, к которой поэт подходит не с гордынно-теоретическими выкладками, а с земной болью и с доподлинным знанием нашего «здесь и теперь». Стихотворение начинается совершенно прозаическим диалогом (лишь настоящая поэзия способна впустить в себя столь «низкую» материю):

— Сын пьет?
— Пьет... Ладно бы просто пил, — бьет...

Далее в этой стихотворной повести возникают убийственно точные и столь знакомые реалии:

Это он, ирод, в отца. Отец тоже бил,
хоть и не пил.

Война прибрала...

Старуха, героиня стихотворения, уже и не молит Бога за пропадающего сына, только носит на шею второй крест...

Идет. Постукивая посошком.
Окаменел в душе обиды ком.
Но в церкви забывается обидя.
Да, в церкви той, благообразной с вида,
что так же измордована, забита,
как и она, сыновним кулаком.

Так возникает пронзительная метафора, в которой спрессованы глубинные мысли поэта о родине, о сородичах, о вере.

«Мир чист и переливчат, как созвучье. Чтобы его понять и полюбить мне, — о, без метафоры не обойтись...» — признается Зорин. Образность поэта неожиданна и убедительна, подчас причудлива, но никогда не кокетлива.

Однако несмотря на всю живописную яркость и зримость зоринской поэзии, главное ее начало — слово. Он уверен: «Владеющий словом — владеет собой». Понимание для художника незаменимо: оно предполагает, что точность слова неотъемлема от правды духа.

Татьяна Бек.



НАТАЛЬЯ АСТАФЬЕВА. Заветы. Книга стихов. М. «Советский писатель». 1989. 191 стр.

«Поэзия как документ» — так можно было бы назвать рецензию на этот большой по объему стихотворный сборник. Предвижу читательское: как это — документ? Ведь известно, что нет ничего субъективнее, чем слово поэта! Все так. Но нет и ничего достовернее, правдивее, — если поэзия, разумеется, настоящая.

В последнее время мы много спорим о нашем прошлом. Звучит, в числе прочего, и такое: а существовали ли они в самом деле — кристально чистые подвижники, воодушевленные идеей всеобщего блага, или обаятельные образы их — плод позднейшего мифотворчества, а на самом деле была банальная борьба за власть, честолюбие, разговор и переворот со всеми вытекающими отсюда последствиями?

Книга Натальи Астафьевой иллюстрирована (редкий случай для поэтического сборника!) фотографиями из архива автора. Вот

с одной из них глядят на нас две юные девушки в светлых платках, в шляпках по моде начала века. Милые, серьезные лица. И тут же — стихи:

Две девушки родом из Двинска, Наташа
Кононова
и Юзя Юревич (моя мать — Юревич в
девичестве),
учась на бестужевских, вместе снимали
комнату,
мама была биологом, Наташа — на
историческом.

В делах Петроградского охранного отделения
они фигурируют вместе (охранка
усердствовала),
подруги-бестужевки, вместе читавшие
Ленина,
мама была беспартийной,
Наташа тогда эсерствовала...

Стихотворение «Подруги», безусловно, одно из лучших в книге. Уместна и естественна здесь длинная, как бы «прозаическая» строка, уместна и естественно неожиданная и звонкая рифма: «усердствовала — эсерствовала» (последнее хочется отметить особо, поскольку в иных случаях Н. Астафьева бывает, к сожалению, небрежна в стихе, особенно в рифмах). Но сюжет стихотворения не обрывается на воспоминаниях о революционной юности, тифозных бараках и разведках в тылу у Деникина — сама жизнь продолжила его непресказуемо и страшно:

В тридцать седьмом их забрали,
одну и другую вскорости,
двух давних поборниц свободы и
справедливости,
мама была в Долинке Карагандинской
области.
Наташа в Акмолинске, это совсем
поблизости.

И пусть была потом «оттепель» и реабилитация («маме — прижизненная, Наташе — уже посмертная»), не вернуть загубленных лет, не вернуть загубленных людей. Не вернуть отца — польского революционера Ежи Чешейко-Сохацкого (на одной из фотографий он запечатлен анфас и в профиль — так снимали в охранке), не вернуть дядю Стефана — «пылякого подпольщика», который затем

...в красном Двинске возглавлял Совет
и Витебском руководил губернским...

Книга Н. Астафьевой, как, впрочем, и большинство других книг, касающихся тех же тем, не отвечает на вопрос: как это могло случиться? Почему прекрасная мечта обернулась столь страшной реальностью? Просто ли ворвалась в жизнь некая слепая сила, вихрь, рок, как можно понять, читая книгу? Нет, это не в упрек поэту говорится. Поэт не в силах ответить на все вопросы. Он отвечает на один, тоже главный сегодня: да, были, да, жили такие люди! Да, была и духовная чистота, и самоотверженность, и жажда служить людям, и готовность умереть за них. А раз были — значит, не могли пропасть бесследно.

Автор одной критической статьи поспешил не так давно причислить Наталью Астафьеву (с самыми лучшими намерениями!) к числу авторов, Долгие годы дождавшихся своей первой книги. Это не так. Были книги. Была когда-то молодая и свежая,

действительно первая книжка «Девчата». Была не так давно книга «Любовь» — редкая в наши времена книга, целиком посвященная этому вечному и прекрасному чувству. Но что верно, то верно: книга «Заветы» писалась всю жизнь, даты под стихами подтверждают это. Может быть, потому она так неровна, рядом с прекрасными стихами нашли себе место относительно слабые. Едва ли могут быть признаны удачными такие, например, строки, как «шел в черные сукна прохожий одет» или «ненавидя и зевая, этот мир кругом пауч». Но, думается, правы были на сей раз и автор, и издательство, выпустив книгу «непричесанной», такой, какая она есть, какая сложилась за десятилетия. Ведь это — поэзия-документ. Потому что придумано, то, о чем написана книга Натальи Астафьевой, — невозможно.

Илья Фовяков.

*

РАДИЙ ФИШ. Спящие пробуждятся. Исторический роман. М. «Советский писатель». 1989. 528 стр.

Бедреддин Махмуд Симавна Кадысыоглу...

Встретив это имя в романе Радия Фиша, я, пожав плечами, переиначил стихотворную строчку: «Хоть имя чуждо...» Дочитав роман, повторил вслед за Владимиром Соловьевым: «...но мне ласкает слух оно».

Кто ж этот человек, посетивший сей мир бездну лет тому назад?

Мыслитель. И притом не уездного ранга. Полководец, но не покоритель, а освободитель — вождь крестьянской войны. К тому же (пользуясь современным термином) интернационалист. Его трагическая судьба дождалась своего художника.

Исторический романист предполагает у нас с вами некоторую предварительную осведомленность. Боюсь, средние века Османской империи известны широкому читателю несколько меньше, чем другая сторона Луны. Исторический романист имеет дело с обстоятельствами места действия. А тут они таковы, что даже в памяти бывших отличников осталось что-то вроде бледно-сизой контурной карты.

Все это, однако, жухнет перед психологическими трудностями. Их степень возрастает вместе с временной отдаленностью. Сказано давно и сказано справедливо: перебираясь в прошлое, романист должен расстаться с тяжелым грузом домашних впечатлений, представлений, привычек. А это совсем не так просто, как может показаться вчуже. Необходимы жесткий самоконтроль, неусыпная бдительность.

Сдается, на русском языке нет ни одной монографии о Бедреддине (1359—1411). Метода компиляции и прямых заимствований, присущая романисту-скоропечатнику, в данном случае просто-напросто неисполнима технически. От автора требовались и самостоятельные разыскания и самостоятельное осмысление, усилия долгие и добросовестные

Странствуя в духовной сфере, Бедреддин припадал к родникам реальности. Удаляясь от правоверной схоластики, приближался к

еретическому суфизму, как бы аукаясь с протестом плебса, «низов». Кстати сказать, философия этого сложного течения представлена в нашей специальной литературе совсем недавно (М. Т. Степанянц. Философские аспекты суфизма. М. «Наука». 1987; Дж. С. Тримингэм. Суфийские ордены в исламе. М. «Наука». 1989).

Но Бедреддин странствовал и в прямом смысле слова. В тех же широтах и долготях странствовал и автор. Не залетным туристом, а несуетным литератором и востоковедом. Романная панорама Ближнего Востока не романтична, а многоцветна и рельефна; ее видишь глазами героев книги: пышность и лохмотья, тонкая образованность и грубое невежество, быстрая кровь междоусобиц и тяжкий пресс тиранства.

Разрывая плотные завесы веков, Бедреддин шаг за шагом приближается к читателю и доверительно берет за руку. У него страстный темперамент. Его душа работает, ум бодрствует. Он сострадает ближним, даже если они дальние. Он любит женщин. Бедреддин в романе Р. Фиша — человек. А человек только тогда велик, когда он человекен.

Эпопея крестьянской войны занимает в книге (и это оправданно) значительное место. Ее вдохновитель — Бедреддин; предводители — ученики Бедреддина; действующие лица — крестьяне, ремесленники, рыбаки. Именно лица, а не маски. И какая удивительная россыпь подробностей обыденщины, какая пестрота при внутреннем единстве.

Радицев не без горечи отмечал, что пугачевцы, увлеченные мщением, не взбодрили социальную новину. Усилия поднять ее, описанные в романе на багровом фоне не бессмысленного мужицкого восстания, исполнены глубокого значения. То был могучий порыв к справедливости. Попытка придать земные черты поднебесной утопии социалистического толка.

Невнимание к языку, к поэтике исторической прозы — почти хронический грех текущей критики. На том и себя ловлю — обращаюсь вскользь, под занавес. Испытываешь недоверие и даже как бы чувство неловкости, читая повествование о далеком прошлом, написанное шершавым или полированным языком сегодняшнего дня. А роман, напшигованный архаизмами, вызывает что-то похожее на астматическое дыхание. У Радия Фиша и тут были особые трудности. И потому, что он реставрировал очень далекую эпоху, и потому, что изображал людей и события Востока. Думаю, автору удалось избежать и тины архаики, и скороговорки модерна. Это не средний путь; это тернистый путь.

Книга, мне кажется, принадлежит к тем, что ныне называются романами-исследованиями. Она обладает чрезвычайным важным достоинством, пробуждая интерес и тягу к истории Востока, заставляя призадуматься над кривобокостью европоцентризма.

Восток и Запад давно «сошли с мест». И проблемы Востока отнюдь не на проселках проблем мировых

Юрий В. Давыдов.

*

В. И. ВЕРНАДСКИЙ. Начало и вечность жизни. («Публицистика классиков отечественной науки») М. «Советская Россия». 1989. 704 стр.

Как теперь узнать, чья рука захлопывала двери архивов, сжигала рукописи, вычеркивала красным карандашом строки, абзацы, главы? И кто ответит за страшное преступление перед homo читающим — интеллектуальную кастрацию?

Риторические вопросы, и бесполезно сегодня искать на них ответы. Остается только радоваться, что вновь открываются двери, восстанавливаются тексты; что из полного, казалось бы, небытия возвращаются к нам страницы давно забытых рукописей. Жизнь и на этот раз подтвердила булгаковское «рукописи не горят!»: листы, исписанные мелким почерком В. И. Вернадского, сохранились. И пришли-таки к читателю.

Книга «Начало и вечность жизни» почти полностью составлена из ранее не публиковавшихся работ Вернадского — научных, исторических, философских, общественно-политических... Наконец-то шоколадно-конфетный, причесанный и приглаженный, этаким классический профессор с бородой и в очках, отредактированный науковедами в штатском, предстал во всю свою космическую величину.

Да, Вернадский был одним из основателей партии конституционных демократов. Да, он был членом Временного правительства и к тому же глубоко религиозным человеком. И он был ярчайшей звездой научного небосклона Земли, выдающимся мыслителем, ученым-энциклопедистом, добрым и великодушным учителем, защищавшим своих учеников от сталинской дубинки.

Я вспоминаю, как один из составителей книги, И. И. Мочалов, принес в редакцию «Литературной газеты» никогда не публиковавшиеся дневники Вернадского за 1941 год. Немецкие танки стояли под Москвой, а великий ученый предрекал победу. Солдаты шли умирать «за Сталина», а он называл его тираном и дезорганизатором. Все говорили о «несокрушимой и легендарной», хорошо подготовленной к войне армии — Вернадский писал: «Ясно, что <нас> застигли врасплох». Он и Нюрнбергский процесс предсказал: «Варварство немцев—

я думаю — не может пройти без той или иной формы суда».

Дневники были опубликованы. Конечно, с купюрами, два года назад это еще было нормой. Хочется верить, что сегодня такой нормы нет. И все-таки издательство «Наука» безжалостно выбросило из книги Вернадского три (!) печатных листа. Правда, ученый и это предвидел: «...в нашей стране и здесь научная мысль находится в положении, которое мешает правильной ее научной работе. В этом случае наша научная мысль сталкивается с обязательной философской догмой, с определенной философией, которая, как мы это видели, не имеет устойчивого изложения. Эта догма, при отсутствии в нашей стране свободного научного и философского искания, при исключительной централизации в руках государственной власти предварительной цензуры и всех способов распространения научного знания — путем ли печати или слова, — признается обязательной для всех и проводится в жизнь всей силой государственной власти». Эта цитата — из вычеркнутого.

«Десятилетиями, целыми столетиями будут изучаться и углубляться его гениальные идеи, а в трудах его — открываться новые страницы, служащие источником новых исканий...», — писал о Вернадском его ученик А. Е. Ферсман. Действительно, звезда Вернадского только еще начинает всходить на небосклоне XX века. Человечество постигает его учение о биосфере Земли и ее эволюции в ноосферу, когда разум человека становится геологической силой, меняющей лицо планеты.

Составители книги сетуют на то, что настоящее изучение творческого наследия Вернадского лишь делает первые шаги, наконец освободившись от «философской догмы». Архив Вернадского, утверждают они, не только уникален, но и неисчерпаем. И вряд ли будет исчерпан на протяжении жизни ближайших трех-четырёх поколений. В архивах многих стран хранятся интересные документы, имеющие отношение к Вернадскому, к которым рука историка науки еще просто не прикасалась. Так что, читая «Начало и вечность жизни», не будем забывать об открытиях, ждущих нас впереди.

Л. Загальский.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

*

ПОЛИТИЗДАТ

Как была крещена Русь. 320 стр. Цена 2 р.

З. Косидовский. Библейские сказания; Сказания евангелистов. Перевод с польского. 479 стр. Цена 5 р. 50 к.

В. Лейбин. Фрейд, психоанализ и современная западная философия. 397 стр. Цена 1 р. 80 к.

Международный ежегодник. Политика и экономика. Вып. 1989 г. 352 стр. Цена 1 р.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Овечкин. Собрание сочинений. В 3-х тт Т. 1. 464 стр. Цена 2 р. 50 к.

Памятники литературы Древней Руси. Вып. 11. XVII в. Кн. 2. 735 стр., с илл. Цена 4 р. 40 к.

Б. Пастернак. Собрание сочинений. В 5-ти тт. Т. 1. 751 стр., с илл. Цена 5 р.

А. Твардовский. Стихотворения. («Русская муза») 398 стр. Цена 2 р. 40 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Г. Вайнер, Л. Словин. На темной стороне Луны. Повесть. («Стрела») 175 стр. Цена 1 р. 10 к.

Н. Гумилев. Стихотворения. («XX век: поэт и время») 190 стр. Цена 50 к.

Р. Мир-Хайдаров. Двойник китайского императора. Роман. 192 стр. Цена 1 р.

Г. Федосеев. Собрание сочинений. В 3-х тт Т. 3. 575 стр. Цена 2 р. 50 к.

«ПРОГРЕСС»

П. Вацлавик. Как стать несчастным без посторонней помощи. Перевод с английского. 159 стр. Цена 55 к.

Великая французская революция и Россия. 551 стр., с илл. Цена 9 р. 90 к.

Встреча на Эбро. Немецкие писатели в борьбе против фашизма. 1933—1945. Перевод с немецкого. 542 стр. Цена 1 р. 70 к.

Платон. Федр. Перевод с греческого. Кооп. «Гнозис». 132 стр. Цена 5 р.

«РАДУГА»

А. Гиниш. Время мастеров. Роман. Перевод со словацкого. 542 стр. Цена 3 р. 80 к

Н. Гинзбург. Семейные беседы. Романы. Повести. Рассказы. Перевод с итальянского. 443 стр. Цена 2 р. 80 к

Джебран Халиль. Пророк. Перевод с английского. 135 стр., с илл. Цена 5 р.

Б. Шоу. Автобиографические заметки. Статьи. Письма Перевод с английского. («XX век. Писатель и время») 494 стр. Цена 3 р. 20 к.

«ИСКУССТВО»

И. Бергман. Латерна магика. Перевод со шведского. 286 стр. Цена 2 р. 30 к.

Л. Георгиев. Владимир Высоцкий знакомый и незнакомый. Перевод с болгарского. 142 стр. Цена 1 р. 20 к.

С. Михарев. Записки современника. Воспоминания старого театрала. В 2-х тт. Л. Т. 1 — 311 стр., цена 1 р. 80 к. Т. 2 — 525 стр., цена 2 р. 90 к.

Кино Италии. Неореализм. Перевод с итальянского. 431 стр. Цена 2 р.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Р. Гамзатов. Клятва землей. Сказания. Перевод с аварского. 223 стр. Цена 1 р. 70 к.

Ф. Купер. Шпион, или Повесть о нейтральной территории. Перевод с английского. («Библиотека приключений и научной фантастики») 429 стр. Цена 1 р. 80 к.

А. Лебедев. Красота и ярость мира. Очерки становления русской материалистической эстетики (Чернышевский — Плеханов — Луначарский). («Люди. Время. Идеи») 335 стр. Цена 90 к.

МЕСТНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

А. Ахматова. Фотобиография. М. Издательство МПИ. 159 стр., с илл. Цена 3 р. 80 к.

Г. Грин. Путешествия с тетушкой. Стамбульский экспресс. Романы. Перевод с английского. Л. Лениздат. 462 стр. Цена 2 р. 80 к.

Д. Мережковский. Избранное. Роман, стихотворения, эссе, исследования. Кишинев. «Литература артистка». 544 стр. Цена 3 р.

М. Ромм. Устные рассказы. М. Киноцентр 191 стр., с илл. Цена 85 к.

Редакция рукописи не рецензирует и объемом меньше 2 печатных листов не возвращает.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия:

В. П. Астафьев, А. Г. Битов, В. М. Борисов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), Р. Г. Гамзатов, Д. А. Гранин, И. Я. Зиедонис, В. А. Костров (зам. главного редактора), Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, М. В. Тимофеева, Е. Л. Храмов, О. Г. Чухонцев, В. А. Ярошенко

Технический редактор А. С. Гивзбург

Адрес редакции 103806, ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-20

Сдано в набор 19.02.90 г. Подписано к печати 11.06.90 г. А 08463

Формат бумаги 70×108^{1/8}. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л., 24,0 усл. кр.-отт.). 27,02 уч.-изд. л.

Тираж 2.710.000 экз. (12-й завод 2.325.001 — 2.710.000 экз.) Зак. 4577 Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР» 103798, Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Набрано и изготовлены диалозитивы в ордене Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Отпечатано в типографии Издательства ЦК Компартии Узбекистана, ГСП, Ташкент, ул. Правды Востока, 26.

1 р. 20 к.

Индекс 70636

ISSN 0130-7673 Новый мир, 1990, № 5, 1—272.